

Ф.И. Буслаев

Мои воспоминания

ОТ ИЗДАТЕЛЯ В. Г. ФОН-БООЛЯ

Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. - литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г.*

* Мы не помещаем здесь ни биографии покойного Федора Ивановича, ни перечня его ученых и литературных трудов, так как в течение второй половины 1897 г. об этом печаталось во всех столичных и даже провинциальных газетах и журналах. Подробные указания его ученых трудов помещены в V томе Критико-биографического словаря С.А. Венгерова (СПб., 1897 г.).

Еще до своего юбилея Федор Иванович стал замечать, что левый глаз его стал худо видеть; призванный окулист нашел появление желтой воды. Несмотря на принятые меры, вскоре и другой глаз был поражен тем же недугом, и зрение Федора Ивановича стало все более и более ухудшаться. Летом 1888 г. Федор Иванович еще сам подготовлял новое издание своего "учебника русской грамматики, делая в нем дополнения и изменения. Это была последняя его работа; в течение зимы зрение его настолько ослабело, что ему было запрещено самому читать. Хотя он с полной покорностью и с христианским смирением перенес это тяжелое испытание, но уменьшение привычной самостоятельной умственной деятельности, видимо, вредно отозвалось на нем: он стал заметно слабеть. Один из его друзей посоветовал ему заняться диктовкой своей биографии и своих воспоминаний. Сначала Федор Иванович не соглашался на это, говоря, что он не может сообщить ничего

интересного; однако после настояний и уговоров, согласился приняться за эту работу, а начавши ее, продолжал уже не только охотно, но даже с увлечением. Труд этот наполнил его жизнь, и он опять повеселел и стал бодрее. Воспоминания свои Федор Иванович писал в течение 1889, 1890 и 1891 годов; они, как впрочем все, выходявшее из-под его пера, оказались написанными талантливо и дают весьма важные указания для уяснения недавнего прошлого русской литературы и истории Московского университета.

С осени 1892 г., когда "Воспоминания" были окончены, друзья Федора Ивановича были озабочены доставлением ему нового занятия. Было задумано описать собрание его рукописей; предполагалось составить полный каталог этих рукописей, причем Федор Иванович должен был указать время появления каждой из них литературное и историческое значение ее и сделать оценку как самой рукописи, так и тех миниатюр, которые в ней находятся. Работа эта до такой степени заинтересовала Федора Ивановича, что он, постоянно думая о ней, находился в возбужденном состоянии и, по словам его близких, даже бредил о ней ночью. Чтобы не слишком утомлять Федора Ивановича, решено было заниматься только по воскресеньям и праздникам от 12 до 4 часов. В первое же воскресенье все рукописи были разобраны по отделам; в понедельник и вторник Федор Иванович стал рассматривать их, но глаза его от напряжения стали быстро утомляться; от сознания и огорчения, что он не в состоянии заняться этой работой, у него заболела голова, появился жар, и он слег в постель. По всей вероятности, это дало только толчок для развития какой-то скрытой болезни его, так как он проболел всю зиму 1892/93 г., хотя самая болезнь и не была точно определена докторами. Во всяком случае, пришлось отказаться от задуманной работы, и сам Федор Иванович во время болезни не раз высказывал глубокое сожаление о том, что он не может исполнить столь интересный для него труд: "Если бы, - говорил он, - одним годом раньше надоумили меня взяться за него; теперь же глаза мои уже не могут более смотреть: я почти слеп".

Только летом 1893 г. Федор Иванович, живя на даче Наживина (около Покровского), окончательно поправился.

Гуляя летом по парку, Федор Иванович любил спутнику своему

рассказывать из прошлого своей жизни. Часть этих рассказов потом он поместил в "Мои воспоминания", но очень многое не было внесено в них. поэтому один из его друзей начал сам записывать его рассказы, и однажды прочел ему его же рассказ, прося позволения, после каждой беседы с ним, записывать и потом прочитывать ему слышанное от него. Федор Иванович не только согласился на это, но даже взялся сам диктовать ему различные события, не вошедшие в отпечатанные уже "Мои воспоминания". Таким образом, появилась интересная рукопись, которую сам Федор Иванович озаглавил: "Дополнения к "Моим воспоминаниям"". С 24 августа 1893 г. по 1 марта 1896 г. Федор Иванович аккуратно один раз, а когда мог, то и два раза в неделю диктовал "Дополнения" и довел их до конца (рукопись включает в себе 406 страниц листового формата). В заключение "Дополнений" Федор Иванович хотел еще продиктовать две главы: одну педагогического, другую психологического содержания, которые, по его словам, составили бы его profession de foi; но после 1 марта (на Страстной неделе) он заболел инфлюэнцей и слег. Болезнь разом подкосила как физические его силы, так и его память: он не мог ходить и стал забывать самые обыкновенные события. Лето он провел на даче в Люблине, где хотя и поправился, но ни физические силы, ни память его уже не восстановились. Вот почему, по возвращении в город в августе, он отказался диктовать вышеупомянутые две главы; вместо этого он думал привести в порядок свои заметки о слоге Тургенева. Заметки эти Федор Иванович составлял много лет; но они были разбросаны на различных клочках бумаги и отчасти на полях книг; эту-то работу Федор Иванович хотел привести в систему зимой 1896/97 г. Однако и эта работа оказалась ему не под силу, и всю зиму он мог только слушать то, что ему читали и говорили. Он был настолько слаб, что с приезда в город ни разу не решился выйти на воздух. В июне 1897 г. Федор Иванович поехал на дачу опять в Люблино, где вскоре окончательно слег и 31 июля его не стало...

Настоящее издание "Моих воспоминаний" Ф. И. Буслаева мы сохранили в том виде, в каком они были напечатаны в "Вестнике Европы" в 1890, 1891 и 1892 годах; при этом мы восстановили ту орфографию, которой держался сам автор, указывая при диктовке своих записок на те слова, в правописании которых он не

соглашался с Гротом. Что касается "Дополнений к "Моим воспоминаниям"", то хотя четыре главы их и были напечатаны при жизни Федора Ивановича (три главы в "Почине" Общества Любителей Российской словесности 1896 г. и одна в "Вестнике Европы" 1896, № 1), но мы их здесь не поместили, чтобы не нарушать цельность его записок, признавая в то же время печатание "Дополнений" в полном виде пока неудобным. Если "Дополнения" эти когда-нибудь появятся в печати, то отдельной книгой, составив вторую часть "Моих воспоминаний".

Москва, 1897 г.

Декабрь.

Издатель.

I

...В июле месяце 1834 г. отправился я из Пензы в Москву держать экзамен в университет вместе с моим товарищем Даниловым. Мне только что минуло 16 лет 13 апреля, и я был совсем еще маленьким мальчиком, и голос у меня был совсем ребяческий. Выростал я уже потом, в течение всего четырехлетнего университетского курса.

Решительно ничего не помню, как я расставался с своей матушкой, от которой мне еще ни разу в жизни не приходилось отлучаться; не помню, вероятно, потому, что я сильно поглощен был этим необычайным переворотом в моей жизни, горестью разлуки, страхом ожидания будущего.

Поехали мы в кибитке парою, на долгих, не торопясь, шажком. По дороге останавливались кормить лошадей и переночевывать. По всему шестисотверстному пути, должно быть, мне редко случалось глазеть по сторонам, потому что я, не переставая, читал и учил наизусть всеобщую историю, кажется - Шрекка, которою тогда была заменена в гимназиях Кайданова. Живо помню только одно, сильно подействовавшее на меня впечатление. Проехав дней шесть, мы остановились у одной почтовой станции. Перед ней стоял полосатый верстовой столб. На стороне, обращенной назад, было начертано: "От Пензы 300 верст", а на стороне вперед тоже: "От Москвы 300 верст". Должно быть, сильно поразила меня тогда мысль, что я стою на линии великого для меня жизненного перевала.

Впоследствии случалось мне не раз вспоминать об этом верстовом столбе всякий раз, когда я читал, как Вильгельм Мейстер, в "Wanderjahre", отправившись из дому в далекое странствие, добрался, наконец, в самой верхней долине высоких гор, до перевала, отделяющего течение потоков и рек: одни спускались назад, по дороге, уже им пройденной, а другие - вперед. И когда он

только что стал спускаться, живо почувствовал, что он вступил в другие воды и на другие берега, и сердце его сжалось тоскою по родине и тяжелым недоумением: что-то ждет его впереди!?

Наслышавшись дома, как белокаменная Москва, подражая древнему Риму, разлеглась на семи холмах, мы с нетерпением ждали, когда приближались к ней, и вперяли свои взоры вдаль, чтобы увидеть на горизонте ее пресловутые золотые маковки, и, конечно, мы насладились бы невиданным для нас зрелищем с Поклонной горы, если бы ехали по смоленской дороге. Но со стороны Рогожской заставы мы и не заметили, как попали в Москву, и ехали уже по Рогожской улице, полагая, что это еще какая-нибудь слобода; мы все не переставали ждать и надеяться, что вот, наконец, представится уже нам и сама Белокаменная на одном из холмов с своим Кремлем и соборами. Но слобода все тянулась и тянулась. Избы и деревянные лачуги сменялись изредка домиками и домами, а затем пошли и целые улицы с сплошными каменными зданиями. Мы обманулись в своем ожидании и очутились в Черкасском переулке, между Никольской и Ильинкой, в темноватой и затхлой комнатке с одним окном, выходящим на длинную галерею, окружающую двор гостиницы, или, как говорилось тогда, подворья. Таково было первое впечатление при водворении моем в древней столице, где мне суждено было с 16-летнего возраста прожить до глубокой старости. Привыкнув к широкому раздолью гористой Пензы с окружающими ее полями и дремучими лесами, я почувствовал то, что, вероятно, должна почувствовать птичка, попавшая в клетку или в западню. Может быть, это тяжелое впечатление помутилось и чувством разлуки с матушкой, которое тогда с особенной силой меня обуяло, а может быть и потому, что только теперь во всем ужасе предстало передо мной решение ожидающей меня судьбы.

Не помню, сколько дней прожили мы в гостинице, только не долго. Она оставила во мне одно странное воспоминание, которое и до сих пор иногда возобновляется, когда я прохожу по Черкасскому переулку. Это - какое-то особого рода зловоние, какого я прежде никогда не ощущал: это - своего рода запах от всяких нечистот с приправою гнилых лимонных корок, которыми во множестве усеяны были помойные ямы нашей гостиницы. Это были лимонные

кружки из-под чая, которые выбрасывали половые.

Помнится, водворились мы в гостинице около вечерен. Солнце еще было высоко на горизонте. В этот же день мы пошли на поиски. Данилов, как человек несравненно практичнее меня.., должен был нам найти квартиру, разумеется, со столом, а я отправился с письмом от матушки к Кастору Никифоровичу Лебедеву. Жил он у Протасовых, в их собственном доме на Собачьей площадке, в Дурновском переулке. Дом этот стоит и теперь, - первый на правой стороне переулка, вслед за дровяным двором, который выходит углом на площадку. Большую часть жизни проведши в этой местности, всякий раз во время моих прогулок проходя этим переулком, никогда не мог я не вспомнить того далекого времени, когда я с трепетом ожидания и надежды пошел в ворота между флигелем направо и домом налево, поднялся на крылечко и постучался в дверь, - потому что в письме матушки был мой талисман, - и, перешагнув через порог, я делал первый шаг в манящее меня грозное будущее.

Надобно знать, что Лебедев был сын самой близкой приятельницы моей матушки и давал мне уроки, будучи учеником гимназии, когда я мальчиком лет 9 был в приготовительном пансионе его матери, Марии Алексеевны Лебедевой, собственно предназначенном только для девочек, между которыми я составлял привилегированное исключение. Когда я постучался к нему в Дурновском переулке, он уже был кандидат Московского университета и магистрант по истории, любимец профессора Погодина, который пользовался тогда известностью как ученый и литератор. Рекомендуя меня Погодину, Лебедев мог обеспечить и облегчить мое вступление в университет влиянием такого авторитетного профессора. Но мои волнения и ожидания были напрасны. Лебедев, точно, жил у Протасовых, но вместе с ними уехал в деревню, а вернется в Москву не раньше сентября, т.е. когда уже будут покончены вступительные экзамены в университет и когда решится моя судьба. Однако мой талисман, как увидите, оказал свое спасительное действие, и влияние Лебедева, хотя и заочное и без его ведома, и совершенно случайно, дало самый благоприятный исход всем моим заботам и тревожениям.

Очень скоро и удачно мой милый товарищ нашел квартиру, во всех

отношениях для нас удобную и удовлетворительную, а главное вблизи от университета, именно на Арбате, не доходя до Николы Явленного, наискосок против церкви, между Афанасьевским и Староконюшенным переулками. Дом этот существует и теперь - и носит имя того же хозяина: Ариоли, - одноэтажный, с мезонином. Наша квартира была не в этом доме, а на дворе в двухэтажном каменном флигеле, который и до сих пор прямо в глубине двора виднеется с улицы из ворот. Наняли мы себе помещение в квартире сапожника, во втором этаже, куда ведет прямая лестница с навесом. В нижнем этаже была мастерская сапожника и жили его мастера. Наш хозяин и его жена были еще очень молодые люди. Хозяйка, Анна Андреевна, очень заботилась о нас обоих, кормила досыта, и до сих пор я не забыл ее вкусную стряпню. Хозяина не помню как звали, Кузьмою или Кузьмичом. У них было двое маленьких детей, сын и дочь. Помню, мы ими забавлялись, играли с ними, отдыхая от утомительного долбления, приготавливаясь к экзамену. Впоследствии, лет через 20 с лишком, дошли до меня верные сведения, что мальчик, с которым мы играли, вырос здоровенным и ловким акробатом, напяливал на себя в обтяжку трико, искусно плясал на канате, перекидывая из одной руки в другую тяжелые гири. Девочка превратилась в балаганную примадонну и отличалась звонким голосом в пении. Все это я узнал от их матери, которая лет 25 тому назад, когда я был уже женатым профессором, иногда заходила к нам, и мы вместе с ней вспоминали о том, как она нас с Даниловым угощала, лелеяла и покоила. Что касается до ее мужа, то и он тогда еще здравствовал, но увлекся артистической карьерой своих детей; бросил ремесло сапожника, обеднел и пристроился к театру в качестве барышника, предлагающего театральные билеты то у Большого, то у Малого театра, где я несколько раз сряду и встречался с ним как со старым знакомым...

Сколько возможно, я успокоился, углубившись в приготовление к экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердце, а тревожиться было от чего: во-первых, как раз с 1834 г. были назначены приемные экзамены строгие, и их требованиям не могли удовлетворить мои познания, полученные в пензенской 4-классной гимназии, а во-вторых. - и это самое главное, - для меня действительно необходимо было выдержать экзамен не для того,

чтобы только поступить в университет, а чтобы обеспечить самое свое существование, т.е. быть принятым в число казеннокоштных студентов, и притом как можно скорее. Не выдержав экзамена, мне пришлось бы в Москве помереть с голоду, а о возвращении в Пензу нечего было и думать без копейки в кармане. В наличности было у меня тогда всего 25 рублей ассигнациями, по-теперешнему 8 рублей с копейками; этого едва хватало на два месяца за квартиру со столом. Экзамен был для меня только средством для достижения этой цели, и грозная мысль о существовании заслоняла в моих думах заботы об экзамене. Это было для меня какое-то смутное время, и я решительно ничего не помню, как я пришел в первый раз в стены университета и к кому явился подать просьбу о допущении меня к экзамену, и как потом справлялся, в какие дни и часы будет он назначен, и таким образом, будто проснувшись от тяжелого сна, я вдруг очутился на первом экзамене в большой аудитории, наполненной толпою незнакомых мне юношей.

Этой аудиторией была тогда в старом здании университета та большая библиотечная зала, в которой десятки лет происходили публичные заседания Общества Любителей Российской словесности. Экзаменующиеся разместились по лавкам, расставленным в несколько рядов против окон, а впереди на пустом пространстве стояло четыре или пять столиков в расстоянии один от другого, и за каждым по экзаменатору; они сидели задом к окнам.

Решительно не помню, с какого предмета я начал свой экзамен и как я продолжал его и довел до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и как я отвечал. Все это осталось в моей памяти какими-то темными пятнами, из-за которых ярко выступает одно великое для меня событие, которое, как я глубоко убежден, решило судьбу моего экзамена.

И теперь, когда я это рассказываю, живо представляется мне во всех подробностях, как я стою у столика, а передо мною сидит профессор богословия Петр Матвеевич Терновский, с окладистой бородою и строгими взорами - он казался мне тогда таким величественным и недоступным - и слушает, как я ему рассказываю довольно подробно какое-то событие из священной истории. В это самое время подходит к нему молодой человек лет 30-ти в

форменном фраке, остановился, посмотрел на меня и стал слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взгляд точно приласкал меня, воодушевил, и я продолжал рассказывать с такой искренностью, с таким убеждением, которыми я будто хотел ответить на дружеское приветствие старого знакомого. Когда я кончил, молодой человек спросил меня, откуда я родом и где учился. Отвечая ему, я назвал своих учителей и между прочими упомянул о Касторе Никифоровиче Лебедеве. Мне показалось, что его взгляд вдруг просветлел и легкая улыбка мелькнула по чертам лица. Он отвечал, что Кастора Никифоровича хорошо знает, и своим задушевым голосом сказал мне: "Если что вам понадобится, приходите ко мне". Когда я с радостью возвратился на скамейку к товарищам, мне сказали, что я говорил с Михаилом Петровичем Погодиным.

Да. это был первый луч радости, осветивший меня по приезде моем в Москву.

При содействии Михаила Петровича, я благополучно выдержал экзамен, а в сентябре, при его же содействии, был принят в число казеннокоштных студентов.

II

Общежитие наше называлось не бурсою, как принято в семинариях, и не институтом, как были тогда дворянский и педагогический институты, а просто казенными номерами. Помещалось в них по комплекту полтора человека, и именно сто студентов медицинского факультета и пятьдесят философского, разделявшегося тогда на два отделения - на словесное и физико-математическое. Номеров было около пятнадцати, одни: подряд, для медиков, а другие, тоже подряд, для остальных пятидесяти студентов.

Наше общежитие занимало весь верхний этаж так называемого старого здания московского университета, в отличие от нового, в котором теперь читаются лекции, и которое тогда еще не было готово. Лекции читались в том же старом здании под нашими номерами, и только с 1835 г. были переведены они в новое.

К нам наверх было два входа: один с парадного крыльца, через обширные сени, которыми в последнее время входили в университетскую библиотеку, а другой - со стороны заднего двора, с правого угла здания.

В номерах мы проводили весь день и вечер до 11 часов, а спать уходили в дортуары, которые были значительно больше наших номеров и находились в правом крыле университетского здания, если смотреть со стороны Моховой. Номера и спальни размещались по обе стороны коридора, который тянулся по всему зданию от левого крыла, выходявшего на Никитскую, и до правого. Между дортуарами и номерами была большая зала, в которую мы, проснувшись, выходили умываться. Вдоль стен ее стояли сплошные гардеробные шкафы с нашим платьем и бельем, а посередине - две громадные посуды. На каждой в виде огромного самовара или паровика резервуар для воды, которую умывающийся добывал, поднимая и спуская вложенный в отверстие ключ. Таких ключей в посудине было не менее десяти, так что в самое короткое время успевали умыться все полтораста студентов. Здесь же цирюльники брили усы и бороду более пожилым из нас, или, точнее, более совершеннолетним, на которых, озираясь назад от той машины во время умыванья, мы взглядывали с уважением и особенно, когда бреемый вскрикивал и давал пощечину брадобрею. Это осталось особенно живо в моей памяти, потому что случалось почти ежедневно, так как подрядчик-цирюльник обыкновенно командировал к нам неумелых мальчишек, чтобы напрактиковать их в бритье.

Номер, в котором я жил в течение всех четырех лет университетского курса, занимал задний угол здания с окнами на Никитскую и на задний двор университета, где и теперь еще находится сад, в котором мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейках, читали книги или заучивали свои лекции.

Пить чай, обедать и ужинать мы спускались в нижний этаж, в громадную залу, в которой за столами, расставленными в два ряда, могли свободно разместиться мы все в числе полтораста человек.

Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавить, что в том же верхнем этаже, при наших номерах, находились еще две комнаты,

одна побольше, для нашей библиотеки, так сказать, фундаментальной, с книгами более дорогими и многотомными, а другая поменьше, с одним окном, выходящим на задний двор с садом - для карцера. С тех пор, как явился к нам попечителем граф Сергей Григорьевич Строганов в 1835 г., вместе с инспектором Платоном Степановичем Нахимовым, комнатка эта навсегда оставалась пустою. Но в первый год моего студенчества, еще в попечительство князя Сергея Михайловича Голицына и его помощника Дмитрия Павловича Голохвастова, в ней приключилась великая беда.

Карцер помещался как раз над большою аудиториєю первого курса, находящеюся под упомянутою выше библиотечною залою, с окнами также на задний двор. Дело было осенью. Лекцию читал Степан Петрович Шевырев, на кафедре, стоящей к стене между окнами. Мы с своих лавок слушали и смотрели на профессора и в окна. Вдруг направо за окном мгновенно пролетела какая-то темная, длинная масса и вместе с тем раздался страшный, раздирающий душу вопль. Мы все повскакали со скамеек. Степан Петрович опрометью бросился с кафедры, и все мы вместе с профессором стремглав ринулись из аудитории на заднее крыльцо (дверь на него из больших сеней теперь уже заделана). Налево от него, на каменном помосте лежал ничком человек в солдатской шинели, не шелохнувшись; около него уже суетилось человека три из университетской прислуги, поворачивая его навзничь. Он был уже мертв, с окровавленным и изуродованным лицом. Это был казеннокоштный студент, накануне посаженный в карцер за то, что был мертвецки пьян, а на другой день в 12 часов дня бросился из окна, как и почему осталось неизвестным. Тотчас же вслед за этой катастрофой было приказано в это окно вставить железную решетку.

Живя в своих номерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам

менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире. В номере помещалось столько студентов, чтобы им было не тесно. У каждого был свой столик (конторки были заведены уже после). Его доска настолько была велика, что можно было удобно писать, расставив локти; под доскою был выдвижной ящик для тетрадей, писем и всякой мелочи, а нижнее пространство с створчатыми дверцами было перегорожено полкою для книг; можно было бы класть туда что-нибудь и съестное или сласти, но этого не было у нас в обычае и мы даже гнушались такого филистерского хозяйства. Если случалось что купить съестного, мы предпочитали истреблять тут же или на улице. В нашем номере был только один запасливый студент, из математиков. Он как-то ухищрялся экономить свои сальные свечи, и таким образом, держал в своем столике всегда порядочный их запас и ссужал того из нас, у кого не хватало свечи.

Столики были расставлены аршина на два с половиной друг от друга вдоль стен, но так, чтобы садиться лицом к окну, а спиною ко входной двери, ведущей в коридор. Вдоль глухой стены помещался широкий и очень длинный диван с подушкой, обтянутой сафьяном, так чтобы двое могли улечься врастяжку головами врознь, не толкая друг друга ногами. Над диваном висело большое зеркало. Впрочем, не помню, чтобы кто-нибудь из нас интересовался своей личностью и любовался на себя в зеркало, кроме одного. Это был самый неуклюжий- и безобразный из нас, колченогий, весь перекосясь, с бледным рябым лицом, с бесцветными, посоловелыми глазами, с такими же бесцветными, белесоватыми бровями и такими же волосами, которые топырились дыбом, с широким носом и толстыми губами на продолговатом лице. Мы его звали Квазимодо, потому что были уже знакомы тогда с романом Гюго. Это был некто Шнейдер, кончивший курс в так называвшемся тогда холерном заведении, - т.е. для сирот, родители которых померли холерою в 1830 году. Здание, в котором помещалось это учебное заведение, впоследствии было переделано и дополнено новыми корпусами для военного училища, находящегося на углу Знаменки и Пречистенского бульвара. Как только заковыляет Шнейдер по номеру, уж непременно остановится перед зеркалом и внимательно смотрит в него,

устраивая себе умильные взоры и привлекательные выражения.

В помещении, где с утра и до поздней ночи собрано до десятка веселых молодых людей, никакими предписаниями и стараниями нельзя водворить надлежащую тишину и спокойствие. У нас в номере не выпадало ни одной минуты, в которую пролетел бы над нами тихий ангел. Постоянно в ушах гам, стукотня и шум. Кто шагает взад и вперед по всему номеру, кто бранится с своим соседом, а то музыкант пилит на скрипке или дудит на флейте. Привычка - вторая натура, и каждый из нас, не обращая внимания на оглушительную атмосферу, усердно читал свою книгу или писал сочинение. Так привыкают к мельничному грохоту, и самая тишина в природе, по учению древних философов, есть не что иное, как сладостная гармония бесконечно разнообразных звуков. Я не отвык и до глубокой старости читать и писать, когда кругом меня говорят, шумят и толкуются.

Для сношений с начальством по нуждам товарищей и для каких-либо экстренных случаев в каждом номере выбирался один из студентов, который назывался старшим. Он же призывался к ответу и за беспорядок или шалость, выходящие из пределов дозволенного. Последние два года до окончания курса старшим студентом был назначен я.

Ближайшим начальством нашим был дежурный субинспектор. Тут же из коридора был для него небольшой кабинет, нечто вроде канцелярии, так что во всякое время каждый студент мог обратиться к нему с своим делом.

Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплине. Мы вставали в семь часов утра. В восемь пили в столовой чай с булками, а в девять отправлялись на лекции, возвращались в два часа, и в половине третьего обедали, а в восемь ужинали, в одиннадцать ложились спать. Кто не обедал или не ужинал дома, должен был предварительно уведомить об этом дежурного субинспектора, а также испросить у него разрешение переночевать у родных или знакомых с сообщением адреса, у кого именно.

Кормили нас недурно. Мы любили казенные щи и кашу, но говяжьи котлеты казались нам сомнительного достоинства, хотя и

были сильно приправлены бурой болтушкой с корицею, гвоздикой и лавровым листом. Из-за этих котлет случались иногда за обедом истории, в которых действующими лицами всегда были медики. Дело начиналось глухим шумом; дежурный субинспектор подходит и спрашивает, что там такое; ему жалуются на эконома, что он кормит нас падалью. Обвиняемый является на суд, и начинается расправа, которая обыкновенно ни к чему не приводила. Хорошо помню эти истории, потому что и мне, и многим другим из нас они очень не нравились по грубости и цинизму.

Впрочем, эти мелочи заслоняются передо мною одним тяжелым воспоминанием, которое соединено со стенами нашей столовой. Был один медик уже последнего курса, можно сказать пожилой в сравнении с нами, словесниками, среднего роста, с одутлым лицом и густыми рыжеватыми бакенбардами, даже немножко лысый. Фамилии его не припомню. Приходим мы обедать, и только что расселись по своим местам, - на пустом пространстве между столами появилась фигура в солдатской шинели, и медленными шагами, понуриив голову, стала приближаться. Это был тот самый студент. Мы были взволнованы и потрясены неожиданным впечатлением жалости и горя, потому что хорошо понимали весь ужас этого шутовского маскарада. Медленно и тихо прошел он далее и сел у окна за маленьким столиком, назначенным для его обеда.

За большие проступки наказывали тогда студентов солдатчиною. На первый раз, в виде угрозы и для острастки другим, виновный только облакался вместо вицмундира в солдатскую сермягу и как бы выставлялся на позор; если же потом снова провинится, ему брили лоб. Само собою разумеется, рассказанный случай мог произойти только в первый год моего пребывания в университете при князе Сергии Михайловиче Голицыне, который был попечителем только для парада; всеми же делами по управлению округа заведовал Дмитрий Павлович Голохвастов. Тогда зачастую слышалась угроза солдатчиною, и спустя много лет после того мерещилось мне иногда во сне, что мне бреют лоб, и я надеваю на себя солдатскую амуницию. Слава Богу, что на следующий год явился к нам граф Сергей Григорьевич Строганов и привез с собою нашего милого и дорогого инспектора Платона Степановича

Нахимова. С тех пор страхи и ужасы прекратились, и наступило для студентов счастливое время.

Описывая топографию нашего общежития, я должен присовокупить, что целую половину дня, свободную от лекций, мы проводили не в номерах, а в трактире. Он назывался "Железным", потому что помещался над лавками, в которых и теперь торгуют железом - насупротив Александровского сада, где он оканчивается углом к Иверской. Содержал его купец Печкин. Для нас, студентов, была особая комната, непроходная, с выходом в большую залу с органом, или музыкальной машиной. Не знаю, когда и как студенты завладели этой комнатой, но в нее никто из посторонних к нам не заходил; а если, случайно, кто и попадал из чужих, когда комната была пуста, немедленно удалялся в залу. Вероятно, мы обязаны были снисходительному распоряжению самого Печкина, который таким образом был по времени первым из купечества покровителем студентов и, так сказать, учредителем студенческого общежития. В той комнате мы читали книги и журналы, готовились к экзамену, даже писали сочинения, болтали и веселились, и особенно наслаждались музыкою "машины", а собственно из трактирного продовольствия пользовались только чаем, не имея средств позволить себе какую-нибудь другую роскошь. Впрочем, когда мы были при деньгах, устраивали себе пиршество: спрашивали порции две или три, разделяя их между собою по частям.

Особенную привлекательность имел для нас трактир потому, что там мы чувствовали себя совсем дома, независимыми от казеннокоштной дисциплины, а главное, могли курить вдоволь; в здании же университета это удовольствие нам строго воспрещалось. Чтобы соблюдать экономию, мы приносили в трактир свой табак, покупая его в лавочке, и то не всегда целой четверткой, а только ее половиною, отрезанною от пакета. И чай пили экономно: на троих, даже на четверых и пятерых спрашивали только три пары чаю, т.е. шесть кусков сахара, и всегда пили вприкуску несчетное количество чашек, и потому с искусным расчетом умели подбавлять кипяток из большого чайника в маленький с щепоткою чая. С того далекого времени и до сих пор я не иначе пью чай, как вприкуску, только не такой жиденький.

Разумеется, многие из нас были без копейки в кармане, а все же каждый день ходили в трактир и пользовались питьем чая и куреньем. Всегда у кого-нибудь из нас оказывался пятиалтынный на три пары. Сверх того, нам поверяли и в долг.

Чувство благодарности заявляет меня сказать, что кредитором нашим в этом случае был не сам Печкин и не его приказчик Гурин, заведовавший этим трактиром, а просто-напросто половой нашей трактирной комнаты, по имени Арсений (он называл себя Арсентием, и мы его звали так же), ярославский крестьянин лет тридцати пяти, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, подстриженными в скобку, и с окладистой бородой того же цвета, с выражением лица добрым и приветливым. Он был грамотный, интересовался журналами, какие выписывались в трактире, и читал в них не только повести и романы, но даже и критики - и особенно пресловутого барона Брамбеуса. И жена Арсентия, в деревне, тоже была грамотна и учила своих малых детей читать и писать. Арсентий был нам и покорный слуга, и усердный дядька, вроде тех, какие еще водились тогда в помещичьих семьях. Только что мы появимся, тотчас же бежит он за непременно тремя парами и вслед за тем непременно преподнесет номер журнала, в котором вчера еще не была дочитана нами какая-нибудь статья; а если вышел новый номер, тащит его нам прежде всех других посетителей трактира и преподносит, весело осклабляясь.

В финансовом отношении значительно отличались казеннокоштные студенты двух младших курсов от старших: первые пробавлялись немногими рублями, изредка получаемыми от родителей или родственников, а последние могли добывать очень крупные, в наших глазах, суммы от уроков; медики же, кроме того, промышляли и практикою.

Кто бы из товарищей по номеру ни получил денег, это событие доставляло общую радость всем нам, и особенно ближайшему другу счастливого получателя. И вот начинается забавная и трогательная процедура получения присланной суммы. Из университета надо идти на Мясницкую в почтамт с повесткою; но ведь там толкотня, народу гибель, как раз вытащат из кармана драгоценный конверт. Надо идти вдвоем, и получатель, под охраною своего товарища, выносит из толпы пять или много десять

рублей ассигнациями. Теперь новая забота: ассигнация слишком крупна для издержек, надо ее теперь же разменять. Для этой цели мы обыкновенно заходили в трактир, что наискосок против почтамта, и там уже не требовали обычных трех пар, а съедали целую порцию чего-нибудь на целый двугривенный или на четвертак.

Рассказываю все эти мелочи для того, чтобы дать вам понятие, как лишения и нужда, давая цену избытку, воспитывали в нас способность умеючи распоряжаться своими средствами, отдавать в них себе отчет и. довольствуясь малым, быть счастливыми.

Впоследствии, с третьего и даже со второго курса мы, как сказано, стали богатеть и могли уже позволять себе некоторую роскошь, а именно, соединяя приятное с полезным, иной раз, как говорится, покутить не в одиночку, а всегда в товариществе, не забывая при этом излишек суммы употребить на приобретение любимых книг; так напр., будучи уже на втором курсе, я купил себе на французском языке "Эрнани" Виктора Гюго и на немецком "Фауста" Гёте.

Чтобы дать вам некоторое понятие о наших пиршествах и забавах, приведу два-три примера.

Пиршества, происходившие обыкновенно по ночам, разумеется, в известной уже вам комнате "Железного" трактира, состояли в умеренном количестве блюд, которые мы запивали пивом и мадерою или лиссабонским. Пили немного, но с непривычки чувствовали себя совершенно пьяными, может быть, по юношеской живости сочувствия к тем из нас, которые действительно хмелели от водки. Нас опьяняло веселье, болтовня, шум и хохот, опьянял нас разгул, и мы выносили его вместе с собой на улицу, не хотелось с ним расставаться и идти домой, чтобы заспать его на казенной подушке; надобно дать ему хоть немножко простору на свежем воздухе, вдоль "по улице мостовой". Разгоряченным головам нужно было чего-нибудь особенного, небывалого, надо, напр., прокатиться на дрожках, но не так, как катаются люди, а на свой особенный манер. И все мы, человек пять или шесть, должны разместиться порознь, и каждый садится верхом на лошадь, ноги ставит вместо стремен на оглобли, а чтобы не свалиться, руками

ухватится за дугу, а сам извозчик сидит на месте седока и правит лошадей. И вот, при свете луны вдоль Александровского сада плетется гуськом небывалая процессия, оглашаемая хохотом и криками. Это, по-нашему, была пародия на "Лесного Царя" Гёте и на "Светлану" Жуковского.

Другой раз мы охмелели в воинственном расположении духа; мы были в мундирах со шпагой и с треуголкой на голове. Нам пришла счастливая мысль обревизовать будочников, исправно ли они сторожат при своих будках, и кто из них не сделает нам чести под козырек, подобающую нашему офицерскому чину, того колотить. Не знаю, сколько мы совершили опытов такого дозора, хорошо помню только вот что: каждый раз, как только кто из нас обидит будочника, тотчас же сунет ему в руку гривенник или пятиалтынный сердобольный Каэтан Андреевич Коссович, который тогда находился в числе нас. Разные курьезные подробности о нем прочтете в следующей главе.

Самый курьезный образчик наших кутежей я приберег к концу. Дело было зимою, в Николин день. Мы были при деньгах и вечером собрались в "Железном" повеселиться уже под моим председательством, так как я был тогда старшим нашего номера. Было нас человек пять, шесть, между прочими и два брата Езерские, Игнатий и Феликс, поляки, из люблинской гимназии; старший брат, Игнатий, отличался веселым нравом и находчивостью. Решительно не помню, как мы пировали и как сошли вниз по лестнице, чтобы отправиться домой.

Настоящая история начинается с этого пункта. Были ли мы действительно пьяны, или воображали себя пьяными, только мы чувствовали, что не можем ступить шагу по оледеневшему тротуару. На улице, в глухую ночь, ни одного извозчика. Кому-то из нас пришла счастливая мысль перебраться с грехом пополам, хоть ползком, на ту сторону мостовой к угольным воротам Александровского сада; там, по рыхлому снегу можно как-нибудь доплестись до ворот у Манежа, а оттуда рукой подать - университет. Но и по расчищенной дорожке сада было скользко, и мы догадались свернуть в сторону и направились по сугробам, погружая ноги в снег по самые колени. Такой способ переправы оказался очень удобен; он давал надлежащий устой для поддержки

всего корпуса, а если иной раз и свалишься, то на рыхлую постель снега. Направлялись мы, хорошо помню, от одного дерева к другому, цепляясь за сучья и стволы. Переправа совершалась, вероятно, долго. Нам было весело; мы кричали и пели песни. Затем уж не помню, как попали мы на передний двор университета, выходящий на Моховую. Нет сомнения, что мы во время своего странствования по снегам успели настолько отрезвиться, что могли бы хоть ползком взобраться по лестнице главного входа; но веселье, хохот, юный разгул до того нас опьянили, что нам казалось совершенно невозможным попасть наверх. Иные из нас, как сейчас вижу, карабкались даже по стене, чтобы вместо ступенек подняться таким образом до верхней площадки. Тогда, в качестве старшего между своими товарищами, я вменил себе в обязанность позаботиться о водворении их на место жительства. Посередине двора, перед главным входом, был высокий столб; на нем под навесом висел колокол, а от его языка вниз спускалась веревочка. Я добрался до столба и ударил в набат. Благоразумная мера оказалась действительною. Явилось несколько солдат из наших служителей, помогли нам взобраться по лестницам и благополучно уложили нас спать.

На другой день поутру, только что мы проснулись, началась расправа. Платон Степанович нас требует к себе каждого поодиночке, только братьев Езерских обоих вместе. Несмотря на суровый вид и резкость голоса, во всем его существе чувствовалось мне трогательное беспокойство, -точно он потерял какую дорогую вещь или очень нужную официальную бумагу и не может найти, чего ищет. До сих пор он считал меня самым примерным по благонравию студентом, и вот теперь не может верить, не может понять, чтобы я так преступно провинился. Он удивляется и жалеет меня. Разумеется, я сердечно раскаивался и вышел от него со слезами на глазах.

Не знаю, какой нагоняй дал он другим. Вероятно, значительно резче, чем мне, но братья Езерские составляли исключение по своим умственным и нравственным достоинствам, и нас очень интересовало, как их примет инспектор и как будет распекать. Он продержал их долго, конечно, жалел и стыдил их столько же, как и меня, наконец они являются в номер, - Феликс солидный и

спокойный, как всегда, а Игнатий прыгает, кривляется и хохочет до упаду. "Ну что? что такое?" - спрашиваем его. - "Потеха!" - кричит он, а сам хохочет, передразнивая Платона Степановича: "А уж как я на вас надеялся во всем, уж так-таки во всем ставил я вас обоих в пример всем прочим студентам из Царства Польского; как же вам не стыдно, как не грешно изменить мне, обмануть меня такую неслыханною шалостью; да ведь вы, Игнатий, и старше других, и должны держать себя рассудительнее и благоразумнее своих товарищей". - "Да ведь это самое я и чувствовал тогда, - говорю ему, - и сколько мог воздерживался; вот и брат тоже; но что же нам было делать? Между русскими товарищами мы, поляки, находились в исключительном положении, и вы, Платон Степанович, на нашем месте не отказались бы от лишнего стакана: ведь вчера были именины государя императора, все пили за его здоровье, - как же нам-то, полякам, было отказываться от такого тоста!.." - Ну, по добру по здорову, и отпустил нас: "Довольно, убирайся с своим братом! Тебя не переговоришь никогда".

По старинному обычаю Платон Степанович в разговоре с нами употреблял и "ты" и "вы", смотря по расположению духа и по тому, с кем из нас и о чем была речь.

И подумайте только, что все это творилось в царствование императора Николая Павловича, знаменитое своей строгой дисциплиною, и безнаказанно спускались такие шалости, доходившие до решительного буйства! Нас не выгоняли, не отдавали в солдаты, и за пьяную никольщину, оглашенную набатом, никто из нас и в карцере не посидел. Платон Степанович только припугнул нас графом (этим нарицательным именем называли попечителя графа Сергея Григорьевича Строганова): "Ну, а что скажет граф, когда я ему доложу? Смотрите у меня, берегитесь!" Это была его обычная фраза и самая высшая угроза.

Чтобы ориентироваться в соседстве нашего студенческого общежития, я должен несколько познакомить вас с населением всех корпусов университетской усадьбы в пределах Моховой, Никитской и Долгоруковского переулка, соединяющего эту последнюю улицу с Тверской. Платон Степанович занимал левое крыло главного корпуса, идущее по Никитской, но не все: часть его, с окнами на передний двор, отделенная коридором, служила

квартирою секретарю правления Рагузину. Правое крыло, также разделенное коридором, вмещало в себе квартиры главного субинспектора Степана Ивановича Клименкова, который до Нахимова исправлял должность инспектора, синдика университетского правления Назимова и субинспектора Зайковского.

На заднем дворе длинный двухэтажный корпус, который тянется по Никитской до угольных ворот, выходящих на улицу против Никитского монастыря, был занят клинкою и так называемыми кандидатскими номерами, в которых помещались ассистенты клиники и оставляемые при университете лучшие из кончивших курс кандидатов. Тут же была и квартира университетского священника, профессора богословия Терновского.

Надобно припомнить, что так называемая клиника на углу Рождественки и Кузнецкого моста еще составляла тогда самостоятельное учреждение под названием медико-хирургической академии, куда прием студентов был значительно легче и менее разборчив, нежели в университет.

Корпус, о котором я говорю, в то время не был перегороден поперечною пристройкою, так что между ним и садом был свободный проход от главного здания в ворота на Никитскую. Нам, студентам, доставляло особенное удовольствие избирать в летнюю пору именно этот путь. В стороне корпуса, ближайшей к главному зданию, в нижнем этаже тянулась открытая галерея; по ней любила прогуливаться взад и вперед очень красивая девица, стройная, белая и румяная, с роскошными русыми косами; и тут же на балконе обыкновенно сиживал старичок, ее отец. Это был муж главной акушерки, по фамилии Армфельд, которая заведывала родильным отделением клиники, помещавшемся в этой части корпуса.

Ее дочь вскоре вышла замуж за профессора политической экономии Чевилёва, который был дружен с ее братом и вместе с ним воротился из-за границы в 1835 г. Молодой Армфельд был медик и получил в Московском университете кафедру истории медицины.

Подробности эти очень живо представляются мне потому, что они неразрывно связаны в моих воспоминаниях с двумя катастрофами, разразившимися через десятки лет потом в семье обоих этих профессоров.

Несчастливая девица Армфельд, сосланная в Сибирь по суду в политическом преступлении, была дочь этого самого профессора истории медицины. Чевилёв, оставив университетскую кафедру, занял довольно видное место в петербургской администрации. В конце 50-х годов с своим семейством - у него уже был тогда и сын лет 20 - проводил он лето в Царском Селе, занимая помещение в так называемом Софийском дворце, внизу города, за громадным царскосельским прудом. Однажды ночью в квартире его произошел пожар; загорелось в тех комнатах, которые составляли его кабинет и спальню. Пожару не дали распространиться, только пострадала спальня. На постели лежал обгорелый труп Чевилёва. По свидетельствовании оказалось, что он был предварительно полит керосином. Из кабинетного стола было похищено, не помню, десять или двадцать тысяч рублей. Следствие и суд были ведены в большом секрете. По городу ходили разные слухи, которые не хочу повторять. Что случилось с сыном Чевилёва, не имею никаких сведений. Вот какая злосчастная судьба постигла молодую особу, которая, гуляя по своей террасе, бывало, отвечала нам приветливою улыбкою, когда мы, проходя мимо, отвешивали ей усердные поклоны.

Позади сада, в котором, как сказано выше, мы гуляли и читали, между анатомическим театром и клинкою стояла деревянная башня: ее верхняя часть имела вид садовой открытой беседки с крышею на столбах, или деревянной колокольни с пролетом. На месте большого колокола в этой беседке довольно часто в летнюю пору висел с перекладины человеческий скелет, кое-как связанный по суставам веревочками. Надобно вам знать, что в подвалах анатомического театра был склад трупов для лекций по анатомии; из них выбирался один для скелета; служители-солдаты клали его в котел, вываривали кости, и потом для просушки вывешивали в пролетах башни, где обыкновенно сушилось солдатское белье.

На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное

здание, которое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он был тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эстетики Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукою Надеждина, издававшего в то время журнал "Телескоп". Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором.

Однажды вечером приходим мы в "Железный", опрометью бежит к нам Арсентий и вместо трех пар чаю подносит нам номер "Телескопа". "Вот, - говорит, - вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают, удивляются; много всякого разговора". Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать. С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь, но помню и теперь из нее одну только фразу: "Россия приняла христианство из рук растленной Византии".

Дней через десять после этого у нас в номерах разнесся слух, что "Телескоп" запрещен, и что ректору и Надеждину грозит великая беда. Я пользовался расположением субинспектора Степана Ивановича Клименкова и его жены Ольги Семеновны, и был к ним вхож. Чтобы разузнать подробности дела, лучше всего было обратиться к ним. Ольга Семеновна страшно взволнована, в слезах; говорит, сама захлебывается, жалеет Болдырева, негодует на Надеждина, называет его предателем, злодеем. Она была очень дружна с Болдыревыми, да и кроме того отличалась горячим и чувствительным до раздражения темпераментом, и теперь как было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидетельницею преступления, которое вконец погубило ее друзей. Поуспокоившись немножко, вот что она мне рассказала. Дня за три до выхода в свет той книжки "Телескопа", они и Рагузина вечером играли в карты с Болдыревым. Болдырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим увлечением играя по

маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и проценировал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы номер вышел в свое время; но Болдырев, увлекшись игрою, ему отказывал и прогонял его от себя. Наконец, согласились на том, что Болдырев будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью, - пусть читает ее сам Надеждин, - и тут же, во время карточной игры, на ломберном столе подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось, что все резкое в ней, задирательное, пикантное и вообще не дозволяемое цензурою, при чтении Надеждин намеренно пропускал. Зная, с каким увлечением по вечерам играет в карты Болдырев с своими соседками, Надеждин умышленно устроил эту проделку.

Не замедлила из Петербурга и грозная резолюция по этому делу: Болдырева как дурака отрешить от службы, Надеждина как мошенника сослать из Москвы, а Чаадаева как сумасшедшего держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских врачей для наблюдения за его здоровьем. Это сведение мне сообщила та же Клименкова.

III

Дружеские отношения, скрепляемые общими интересами, согласием в идеях и стремлениях, взаимною симпатиею. даже самую привычку жить сообща, преимущественно ограничивались тесным кругом товарищей нашего номера. До известной степени все это несколько обуславливалось возрастом и временем совместного пребывания в номере, то есть, или четыре года целого курса, или один, два года.

При нашем поступлении в университет для философского факультета был курс трехгодичный, а для медицинского - четырехгодичный; прибавка еще года на тот и другой факультет началась именно с нас, так что в 1837 г. выпуска студентов из университета вовсе не было, и потому оба последние года мы были студентами старшими и на третьем курсе, и на четвертом.

Вступив в общежитие нашею номера, я застал нем двух студентов третьего курса, Шпака и Павловского, и нескольких второго и

первого. Все они были словесного отделения, за исключением того математика, который, помните, ссужал нас свечами. Из моих близких друзей и товарищей все были словесники.

Отношения мои к двум студентам третьего курса ограничивались почтительностью с моей стороны и большею или меньшею снисходительностью с их стороны. Шпак, из варшавской гимназии, был довольно любезен со мной, говорил о своих ученых работах; я питал к нему большое уважение, узнав от него, что он переводит с латинского и польского разные исторические документы для одного русского вельможи, Муханова, находящегося в Варшаве, который издает свое сочинение о Самозванце и о Смутном времени. Другой третьекуртник, по фамилии Лавдовский, не помню хорошенько, из Вологды или Костромы, - из семинаристов и говорил на о. И по наружности, и по нраву он походил на Собакевича; я его очень уважал и побаивался, и относился к нему, как ученик гимназии к учителю. Особенное, так сказать, благоговение питал я к нему за то, что он перевел с немецкого все три тома Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзии, по указанию профессора Ивана Ивановича Давыдова, который потом и поместил этот перевод в третьем томе своего курса словесности.

Когда, по окончании курса, я поступил младшим учителем русского языка во вторую московскую гимназию, там застал Лавдовского уже старшим учителем словесности, и некоторым образом официально подпал под его начало. Моя робость перед его авторитетной суровостью не изгладилась и тогда, когда я, возвратившись через два года из Италии в Москву, в 1841 году, однажды встретился с ним на улице. "Ах, здравствуйте, - говорю я, - очень рад вас видеть". "Чему же вы радуетесь?" - спрашивает он. - "Конечно, - отвечаю ему, - нечему особенно радоваться..." Так и разошлись.

Особенно обязан я в умственном развитии и успешном занятии учебными предметами влиянию и содействию двух товарищей, которых я застал на втором курсе: оба они были поляки и оба поступили в университет из полоцкого коллегиума. Это были Класовский и Коссович.

Владислав Игнатьевич Класовский с ранней молодости получил

солидное образование. Кто были его родители, я не знал, но детство свое до шести или семи лет он провел в женском монастыре у своей тетки, монахини; она была француженка и говорила с ним всегда только по-французски. - потому он отлично знал этот язык. Затем его взял к себе в мужской монастырь его дядя, который с ним говорил большею частью по-латыни, что дало ему отличную подготовку для изучения римских классиков. Последние года два обучения в полоцком коллегииуме он жил на квартире один, в одном доме с Коссовичем. Это, как мне кажется, было какое-то надворное строение очень малых размеров; внизу была квартира Коссовича, выходившая в сени, и тут же из сеней была лестница на чердак, по которому надо было сделать несколько шагов, чтобы попасть в маленькую каморку, в которой приютился Класовский. Эти подробности нам пригодятся, чтобы нагляднее представить себе один курьезный случай, о котором будет сказано в своем месте.

Если в первые два года моего пребывания в университете я значительно успел во французском и латинском языках, то этим я обязан Класовскому. Не знаю почему, он особенно полюбил меня и сошелся со мной ближе, чем с кем-либо другим из русских студентов. Все, что задавалось из классиков на лекциях латинского языка, он прочитывал со мною, заставляя меня переводить и объясняя текст грамматическими и реальными комментариями. Иногда, работая над *Виргилием* или *Горацием* за своим столиком, я наталкивался на какое-нибудь затруднение и тогда перекликивался с ним через весь номер, как перевести или понять такую-то фразу, а он сидит в другом углу тоже за своим столиком и отвечает оттуда наизусть целым стихом или двумя стихами, где стоит затрудняющее меня выражение, и переводит целое место.

По-французски он читал со мной из *"Германии"* мадам Сталь, и весь роман Виктора Гюго *"Notre-Dame de Paris"*. Во французском я успел настолько, что, будучи на втором курсе, мог уже осилить один, без помощи Класовского, *"Историю цивилизации Европы"* Гизо.

Сверх того, он упражнял меня в польском на чтении стихотворений Мицкевича. Я и до сих пор помню некоторые выученные мною тогда наизусть стихи, напр., из *"Крымских сонетов"* или из поэмы

"Деды".

Этими уроками польского языка ограничивалась для меня тогда вся область славянских наречий, потому что этот предмет еще не введен был при нас в университетское преподавание, и только на четвертом курсе читал нам Каченовский историю славянских литератур по книге Шафарика.

Влияние Класовского на меня не ограничивалось обучением языков. Он любил со мною беседовать подолгу о разных интересующих меня вопросах философии, религии и так называемой морали; это бывало обыкновенно по вечерам, в сумерки, когда мы вместе с ним взад и вперед гуляли по длинному коридору нашего общежития. Он не высказывал прямо и решительно своих убеждений, но умел ловкими намеками и извилистыми путями доводить меня до того пункта, который назначал он своею целью. Его, очевидно, забавляла моя наивность, и ему было интересно производить надо мною опыты сознательного уразумения добра и зла, и он до некоторой степени успел бросить в смутное брожение моих понятий первые искры свободомыслия. Получив раннее воспитание в двух католических монастырях, мужском и женском, он был плохой католик и потому не затрагивал моего православия. Он был материалист, поскольку это было возможно в эпоху романтизма, и о высших предметах духовного мира отзывался слегка, впрочем, не оскорбляя моей религиозной совести. Как бы то ни было, но в душе моей совершился резкий переворот, которым отделяется беззаботная юность с ее безотчетными помыслами от того возраста смелых порывов мысли и неудовлетворяемых желаний, который я назвал бы периодом бури и стремления (*Sturm und Drang*), как немцы характеризуют свою литературу второй половины XVIII века.

Я был тогда уже на втором курсе. Товарищи видели мою дружбу к Класовскому; она была так сильна и постоянна, что ее не мог не заметить даже и Коссович, который по своей рассеянности не обращал внимания решительно ни на что его окружающее. Однажды, не знаю по какому поводу, он сказал мне с обычным своим добродушием: "А ты полагаешь, Класовский не верит ни в Бога, ни в черта? А я тебе скажу, что он самолично видел черта, и я был при этом свидетелем. Это было месяца за два до нашего

поступления в университет; мы жили тогда в Полоцке, вместе, в одной хибаре, я внизу, а он на чердаке. Раз ночью меня разбудил страшный стук и крики, раздававшиеся сверху. Очнувшись, слышу голос Класовского. Он зовет меня, а сам причитает: "Ай, ай, дьявол, спасите меня! О, Господи, Jesus-Maria!" Я бросился к нему на чердак, и только что влез по лестнице, наткнулся на что-то мягкое и косматое. Это был козел. Я увидел из мрака темное очертание козлиной головы с рогами, которое обрисовывалось в полусвете окна из растворенной двери, а Класовский все бесновался и звал меня на помощь. Я вбежал в его комнату и насилу успокоил его. В тот день хозяин купил козла, чтобы по ночам он оберегал лошадей. Козел, на незнакомом еще ему дворе, вместо конюшни, забрел через отворенную дверь к нам в сени, а оттуда, по своей привычке лазать, попал на чердак. Теперь видишь, что Класовский верует в черта, а кто верует в чертей - верует и в ангелов".

Класовский был самого нервного темперамент и, можно сказать - женоподобного, в котором раздражительность соединяется с деликатною мягкостью. И в наружности он отличался женоподобием. По нежной, как бы прозрачной белизне лица его то и дело вспыхивал легкий румянец, при малейшем движении чувства; самые волосы его, светло-русые, очень редкие и как бы рассыпчатые, до того были мягки и нежны, как шелковые пряди, что при всяком движении головы меняли свое место и болтались, как бахрома, спускаясь на виски и на большой и широкий лоб. Эти растрепанные космы соответствовали, казалось мне, растрепанности блуждающих помыслов его горячей, беспокойной головы. Роста он был среднего, худощав, необыкновенно жив в движениях, но без всякой угловатости; вообще личность далеко не дюжинная, богатая внутренним содержанием, то неотразимо привлекающая, то вовсе неожиданно отталкивающая, именно из таких натур, которые более обречены на то, чтобы волноваться и страдать, а не радоваться и спокойно наслаждаться жизнью.

Когда я переходил со второго курса на третий, он, по выдержании экзамена на кандидата, оставил университет и отправился куда-то далеко от Москвы учителем гимназии, где и прослужил все шесть лет, обязательные для казеннокоштного студента. В течение всего этого времени я с ним не видался.

Когда, по возвращении из двухлетнего пребывания моего в Италии, я получил место учителя русской словесности в старших классах третьей московской гимназии по ее реальному отделению и жил у графа Сергея Григорьевича Строганова в доме князя Гагарина (ныне Бутурлиных) на Знаменке, против Александровского военного училища, Класовский перебрался в Москву и был назначен младшим учителем русского языка в той же гимназии. Наше положение значительно изменилось. Я возмужал, многому научился, работая самостоятельно в Неаполе и в Риме, и всего насмотрелся вдоволь; а он остался тем же, чем был, в неподвижной обстановке провинциального захолустья; он как-то сократился на мой взгляд, присмирел и глубже ушел в себя. Впрочем, потерянное равновесие прежней дружбы и товарищества, по видимости, мало изменило наши старинные отношения, которые мы все же продолжали скреплять товарищеским "ты".

Он поместился очень удобно, около самой гимназии в Варсонофьевском переулке, с Лубянки на правой стороне, в длинном, невысоком, двухэтажном каменном доме, который весь был занят меблированными комнатами, разделенными на отдельные номера, с большою общею залою в верхнем этаже, для всех живущих по номерам. Это было нечто вроде так называемых пансионеров. Тут квартировали учителя разных учебных заведений, гувернантки и учительницы, а также окончившие курс кандидаты и действительные студенты. Дамы жили в верхнем этаже, мужчины - в нижнем. Все они в общую залу собирались обедать, а по вечерам отдохнуть от своих дневных трудов и занятий, поболтать между собою, веселиться, а иногда и танцевать, так как тут было и фортепиано. Между живущими были артисты и артистки. Ежедневно придавали они этим вечерним собраниям разнообразие и новый интерес пением и игрою на инструменте. И мне случалось бывать на этих танцевальных и музыкальных вечерах, когда я навещал Класовского. В собраниях этих слышались звуки более иностранных языков: немецкого, французского, польского, нежели русского.

Так продолжалось никак не больше полугода. Класовский будто скучал, стал молчаливее и раздражительнее. Его уныние я объяснял себе тем, что он недоволен своим положением младшего учителя в

гимназии.

Однажды, очень рано поутру, меня разбудил и переполошил мой товарищ по университету, Каменский, который квартировал в том же пансионе. Он бросился ко мне поскорее сообщить о великой беде, постигшей Класовского, с тем, чтобы я до девяти часов утра успел передать о ней графу и таким образом предупредить официальное донесение от обер-полицеймейстера или от директора гимназии. Вот что случилось с Класовским. Он влюбился в одну из девиц пансиона; осталось неизвестным, пользовался ли он ее взаимностью. Равнодушие ли этой особы к нему или ревность, или что другое довело его до отчаянного поступка, только в эту ночь он решился застрелиться. Каменский, сообщая мне о катастрофе, выразил свое недоумение, как соседи Класовского по обеим сторонам его номера могли к нему ворваться в самый момент стрельбы из пистолета и как спасли его от самоубийства: дал ли пистолет осечку или не попал в цель, но во всяком случае по следствию оказалось, что дверь от Класовского в коридор была не заперта, а только изнутри загорожена мебелью.

В половине девятого, когда граф имел обыкновение пить кофей, я к нему явился и передал сообщенное мне Каменским. "Эх! Все одно и то же, обыкновенная история; вечно польские фокусы!" - сказал граф и поручил мне позвать к нему самого Класовского. Я узнал потом, что граф обошелся с ним снисходительно и тогда же порешил поместить его учителем детей графа Чернышова-Кругликова, отправлявшегося вскоре за границу на два года.

Класовский жил тогда долго в Италии и давал мне о себе весть подарками; так, он прислал мне из Рима очень хорошенький пресс-папье из черного мрамора с мозаическим изображением Св. Петра, с Ватиканом и площадью. Эта вещица как дорогое воспоминание до сих пор у меня в кабинете на столе. Кроме того, оттуда же он внес в мое собрание гравюр очень любопытную итальянскую карикатуру на характеры и нравы XVIII века.

По возвращении в Россию, он основался в Петербурге; вскоре издал очень дельное описание Помпеи с рисунками и небольшую монографию о характерах и физиономии. Тогда же получил место учителя в Пажеском корпусе, а вслед за тем в продолжение

нескольких лет был преподавателем русского языка и словесности детям великой княгини Марии Николаевны; в конце пятидесятых годов, он преподавал те же предметы и покойному цесаревичу Николаю Александровичу в объеме гимназического курса.

В это время я был вызван в Петербург Яковом Ивановичем Ростовцевым, по поручению которого я тогда изготавлял мою "Историческую Грамматику" и большую "Историческую Хрестоматию" для пособия учителям военно-учебных заведений и, разумеется, навестил Класовского. Он только что женился на миленькой немочке, белой и румяной толстушке. Она показалась мне очень доброй и изящно-простой в обращении. В ее отсутствие я передал Класовскому приятное впечатление, произведенное на меня его женою; он мне на это ответил, что главное ее достоинство состоит в том, что у нее нет ни души родных; был отец, да и тот, возвращаясь однажды со службы, пропал без вести.

Разговаривая с ним о русской литературе, мы коснулись XVII века, когда она сильно подчинена была польскому влиянию. Я ему, между прочим, сказал; "Вот вам бы, Владислав Игнатьевич, заняться этим периодом; вам, конечно, коротко знакома польская литература того времени". Мы в то время уже друг другу "выкали", называя друг друга по имени и отчеству. "Почему это вы так думаете? - отвечал он вопросом. - Вы это сделаете гораздо лучше моего, я и по-польски ничего не понимаю. Да вот еще что я хотел вам заметить: вы забыли, как меня зовут. Ведь я не Владислав, а Владимир". - "Вот тебе на!" - подумал я. С тех пор я не видался с ним до декабря 1859 года, когда я вызван был в Петербург преподавать историю русской литературы покойному цесаревичу Николаю Александровичу.

Разумеется, я не замедлил обратиться к Класовскому за получением сведений о степени познаний цесаревича в русском языке и словесности, для того чтобы в строгой последовательности завершить гимназический курс, пройденный его высочеством, своими лекциями в подлежащем объеме университетского преподавания.

В течение всего 1860 года я виделся довольно часто и с Класовским, и с его женою, принимал участие в их семейных

интересах, а через несколько лет по возвращении в Москву я получил письменное известие от жены Класовского о его смерти, с приложением выдержки из газет, где помещено надгробное слово его духовника. В этом слове в умиленных выражениях было высказано, каким примерным, глубоко верующим христианином окончил он свою жизнь. Мир его праху и тревоженной душе!

Теперь пора воротиться нам к нашему студенческому общежитию. Каэтан Андреевич Коссович представлял собою самую резкую противоположность Класовскому. Это была натура цельная, наивная, или, как говорится, непосредственная, в себе самой сосредоточенная, всем довольная, но без малейшей тени личного эгоизма, натура счастливая, наделенная благодатной способностью не ведать зла, не понимать возможности его существования. Константина Дмитриевича Кавелина, бывшего профессора Московского университета в сороковых годах, товарищи называли "предвечным младенцем": этот почетный титул с большим еще правом мог бы носить Каэтан Андреевич.

Он был великий чудак. Большого оригинала мне никогда не случалось знать. В Петербурге слыл за курьезного оригинала Костомаров, но его чудачество было более или менее сознательное, и мне самому случалось лично от него слышать о его собственных оригинальных выходках. Коссович был вполне бессознательный чудак. Все в нем было не так, как у других. Он не обращал никакого внимания на мелочи обыденной жизни. Он их не презирал, но они сами проходили мимо него, не нарушая его, так сказать, олимпийского самодовольствия: этот эпитет, впрочем, и не будет при его особе фразою, потому что в то время он постоянно витал на высотах Олимпа, погруженный всецело в чтение римских и греческих классиков. Он углубился в это дело без всякого предварительного плана, без всякого обдуманного намерения. Удовольствие, беседовать с классиками, проводить в их сообществе целые дни само собою, без его личной воли, увлекало его, и он, прочитав одного классика, тотчас же брал другого, и таким образом с беспримерной неутомимостью перечитал их всех до одного по изданиям, какие мог он найти в нашей университетской библиотеке. Когда я поступил в университет, он доканчивал чтение латинских авторов, и все остальное время пребывания в

университете употребил на чтение греческих.

Сосредоточенность Коссовича была изумительна. Книга всегда у него в руках: то сидит он за своим столиком, согнувшись над книгой, а сам покачивается, то вдруг вскочит, но не отнимая глаз от читаемой страницы, ходит взад и вперед по номеру с своей книгой, то медленно, чуть шагая, то остановится, то вдруг побежит, натываясь на проходящих. Особенно забавно было смотреть на него, когда он, бывало, носился взад и вперед с каким-нибудь огромным фолиантом, иной раз весом до полупуда. Однажды случился вот какой курьез. С таким фолиантом он поместился на нашем большом диване, положил его вместо подушки, а сам лег ничком и читает, ногами подрагивает и весь как бы сотрясается и бормочет: должно быть, этими судорогами он отбивал себе такт, читая стихи. Вместе с ним сотрясался и фолиант и понемножку скатывался с дивана, а Коссович, ухватившись за него обеими руками, продолжал чтение: но фолиант вдруг скатился на пол, а вместе с ним скатился и сам Коссович, безостановочно продолжая свое чтение и растянувшись тоже на полу.

Я с ним был дружен и он любил меня, впрочем, кого же он мог не любить? - но я принадлежал к тому тесному кружку товарищей, в удовольствиях которого он принимал участие, как я уже раз упомянул вам об этом. В моих занятиях он принес мне не малую пользу, объясняя затруднения при чтении греческих классиков. Сверх того, впоследствии, когда оба мы уже вышли из университета, в начале сороковых годов, он же учил меня по-санскритски. Тогда этот язык сделался ею главной специальностью.

Будучи профессором этого предмета в Петербургском университете, он с обычным своим увлечением предался изучению и других восточных языков, между прочим, и арабского, и женился на аравитянке в тех видах, чтобы иметь случай постоянно говорить с нею на ее родном языке. Я лично не знал ее и передаю, что мне рассказывали. *Se non e vero, e ben trovato.* (Если это и не правда, то хорошо придумано (ит.).)

Из моих товарищей по первому курсу расскажу вам только о двоих: о Новаке, который уже года за два до меня сидел в университете, и

о Н.В. Еленеве. поступившем в одно время со мною.

Новак (по имени никогда его не называли, - так он и слыл у всех только Новаком) был, по его словам, венгерец, учился в Воспитательном доме, в мужском институте, теперь давно уже закрытом. Росту был маленького, нрава спокойного и веселого, большой забавник и балагур и вместе человек положительный, равнодушный к так называемому миру идей; не придавал большой цены познаниям и наукам и с снисходительным презрением относился к тем, кто тратит время на такие пустяки. Понятно, что мы были ему не под пару, и он не любил с нами водиться. Он сильно испивал и выбрал себе товарища по душе между медиками из семинаристов, по фамилии Холуйского. Это был парень лет двадцати пяти, долговязый и сухопарый. Худоба этого верзилы особенно бросалась в глаза благодаря его чрезмерной высоте, которая на глазомер увеличивалась еще и тем, что мы его постоянно видели под пару с маленьким Новаком. казавшимся тогда уже совсем карликом. Когда, по окончании курса. Холуйский был командирован в качестве военного врача куда-то далеко на Кавказ, о нем ходила у нас легенда, будто он имел обычай, вместо лошади, выезжать из крепости не иначе, как на верблюде верхом, чтобы не волоклись по земле его длинные ноги.

Оба они брезговали всякими мадерами и сотернами и кроме водки ничего не пили. Бывало, когда нам случалось вместе с ними выходить из университета, направляясь в "Железный" трактир, оба они оставляли нас на полудороге, повертывая в находившийся по пути кабак или полпивную. Странное дело: мы видели, что это вовсе не хорошо, однако, как будто им и завидовали, что они могут делать то, чего мы опасались, и даже относились как бы с уважением к их молодечеству.

Платон Степанович хорошо знал, что Новак порядочно испивает, и часто журил его, но относился к нему милостиво и даже любил его, т.е. уж очень жалел и старался его исправить. Ему нравился веселый и разбитной нрав Новака и искреннее, как ему казалось, даже слезное раскаяние и обещание исправиться. Призывая его к себе, Платон Степанович встречал его словами: "Опять пьян, смотри у меня!" (Он всегда говорил Новаку "ты"), - "Никак нет-с, Платон Степанович, ни росинки во рту не было". - "Ну-ка, подойди,

дыхни на меня". И затем начинается длинная процедура дыхания или выдыхания. Новак никак не может широко раскрыть свой рот, а если и раскроет, не дышит как следует, явственно, - точно сказочный дурак, которого яга-баба сажает на лопату, чтобы бросить в пылающую печь, а он не умеет на лопате усесться. К таким рассказам о себе Новак обыкновенно прибавлял: "Этот опыт проделывал со мною Платон Степанович всегда натошак, а после обеда никогда, потому что, как известно, и сам любит выпить, и стало быть, моего духу не расчухает". Раз Новак нас потешил такой, очевидно, выдумкой, будто он явился к Платону Степановичу совсем пьяный, лыка не вяжет, и на его вопрос: "Ну. чем же ты натрескался, пьяница этакая?" - "Да только сладкой водочкой", - будто бы отвечал Новак, желая как бы смягчить свою вину. - "Эх ты. голытьба! Пил бы, по крайней мере, простую сивуху". - "Он, - присовокупил Новак, - так выразился, должно быть, не потому только, что сладкая водка мне не по карману, а и потому, что она не пользительна для желудка, как ему самому хорошо известно по опыту".

В видах нравственного исправления Новака, Платон Степанович заботился о его религиозной совести в исполнении православных обрядов; потому внимательно следил, чтобы он посещал церковную службу. Новак пораньше заберется в церковь и непременно как-нибудь юркнет в глаза Платону Степановичу, как только он появится, а затем тотчас же уходит. Однажды, возвращаясь от всенощной, Платон Степанович на углу университета столкнулся с Новаком, который, переходя Моховую, направлялся к университету. Инспектор поймал студента с поличным и, не говоря ни слова, потащил его к себе в кабинет. - "Так-то ты молишься за всенощной! Ну, говори, пьяница, где ты был?" "Я был на Никольской, в греческом монастыре: там уж очень умильно служат и поют хорошо". - "А от своей православной всенощной ушел?" - "Помилуйте-с, Платон Степанович, ведь и греческое служение такое же православное, как и наше: и равноапостольного князя Владимира обратили в крещеную веру греческие священники, и Кирилл и Мефодий с греческого же перевели нам на церковный язык и обедню, и всенощную". - "Полно врать-то про свою ученость и ступай вон".

Так рассказывал нам Новак; но мы мало придавали веры его рассказам. Вообще надо заметить, что в анекдотах о Платоне Степановиче много было выдуманного и баснословного; но в них была и значительная доля правды, которая вымышленные подробности всегда освещала одной и той же идеею. Мы, старые студенты Московского университета, в своем милом Платоне Степановиче видели как бы воочию эпического героя русских былин и высоко ценили в нем подвиги благодушия, милосердия и снисходительности, которыми он в своей простоте и наивности мог достигать того, что недоступно суровому правосудию с его крутыми мерами.

Несколько лет никому из нас не было известно, что случилось с Новаком по выходе его из университета, разумеется, в звании только действительного студента; но во второй половине сороковых годов он очутился в Москве и стал показываться своим университетским товарищам, но уже в рабьем образе крайней нищеты: на нем была изодранная офицерская шинель и военная фуражка. Он просил подаяния, упорно оставаясь в передней. Сначала мы давали ему по рублю, он тотчас же пропивал; стали давать меньше - и это тащил в кабак. Потом мы узнали, что он на улице попал под экипаж и был взят в больницу, где и помер.

Вместе со мною поступил в университет и был принят в студенческое общежитие Еленев. Это был юноша моих лет, а, может, годом и постарше, и несколько выше меня ростом; белый и румяный, с большими глазами навывкат и с полными, сочными губами, а над ними показался уже пушок народившихся усиков. Юноша пухлый и не то чтобы дряблый, а скорее женоподобный, и голос у него был нежный: он мог бы петь тенором. К таким бывают благосклонны энергические дамы, которые любят покровительствовать и распоряжаться по-своему... Подобные типы Жорж Занд нередко выводит в своих романах. Еленев потому интересовал меня, и я не раз вызывал его на признания о его сердечных делах, но он всегда отмалчивался и заводил речь о другом предмете. Он напоминал мне счастливого пажа в рыцарских романах, который, пользуясь благосклонностью прекрасной хозяйки замка, упорно хранит свою тайну, но не столько потому, что он великодушен и скромн, а потому, что смертельно боится,

как бы чего не узнал ее муж.

Науками Еленев интересовался мало и не любил углубляться мыслями во что-нибудь серьезное, зато очень любил романы и читал их с увлечением. В этом отношении он оказал некоторое влияние и на меня, и я познакомился тогда с произведениями Вальтера Скотта в русском переводе, кажется, Шапплета. Из области свободных искусств он особенно предпочитал бильярдную игру, и в этом деле был большой мастер. Бывало, как только улучит свободную минуту, катает себе шары в бильярдной, в том же "Железном" трактире. Студенческий вицмундир на нем всегда в мелу, будто у математика, который трется у своей черной доски, выводя на ней мелом математическую задачу. Бильярдная страсть до того врезалась во все существо его, что где бы он ни был - в комнате, на улице, в аудитории, даже в церкви, он всегда с бильярдной точки зрения вглядывался в предметы, когда они случайно оказывались расставленными, как шары на зеленом поле бильярда, и прицеливался воображаемым кием, чтобы ударить одним предметом в другой. Особенно соблазняли его изображение головы людей, по своей округлости больше всего подходящие к бильярдному шару. Однажды, во время экзамена, в аудитории, я сидел с ним рядом на передней скамейке; за столом, близ кафедры, сидели экзаменатор, его ассистент, Голохвастов, который был помощником попечителя и при графе Строганове, и четвертый - Платон Степанович Нахимов. Еленев сидит неподвижно, весь выпрямился, а сам поднимет обе руки к правому глазу и опустит, поднимет и опять опустит. Я его спрашиваю: "Что ты делаешь? Глаз что ли у тебя болит?" А он мне совсем серьезно: "А вот я прицеливаюсь, что Платоном Степановичем положить в лузу Голохвастова".

Между мною и Еленевым не могло возникнуть искренней, настоящей дружбы, но мы были хорошими товарищами. Нас связывала обоюдная польза. Я ему помогал в лекциях и приготовлении к экзамену, а он сблизил меня с семейством Клименкова, который был ему земляком, из Смоленска, и давал ему постоянно приют у себя в квартире, так что Еленев большую часть времени проводил не в номере, а у Клименковых, и я туда часто приходил к нему.

По своей специальности Степан Иванович Клименков был медиком очень искусным и имел большую практику; состоял в должности главного субинспектора, он был вместе и врачом студенческой больницы, для которой была отведена особая камера при клинике. Во втором семестре первого курса я опасно захворал горячкою и пролежал в больнице около месяца. Клименков вовремя захватил мою болезнь и заботился обо мне, как о родном; а когда я, выздоровев, быстро стал подрастать, - любовался на меня и говаривал, что моя болезнь была к росту. Когда явился к нам инспектором Платон Степанович, Клименков рекомендовал ему меня как хорошего и благонравного студента. Тогда он был еще совсем молодой человек и недавно женат. Деятельность его была невероятная: вечно суетится, то в аудиториях, то у нас в номерах, то в студенческой больнице, а между тем рыщет по всей Москве, посещая своих больных, а вечера, чтобы отдохнуть от своих трудов и занятий, обыкновенно проводил в клубе за картами. Он был человек очень добрый, ласковый, и студенты его любили.

О его жене, Ольге Семеновне, я вам уже говорил по делу о Чаадаеве, Надеждине и Болдыреве. Тогда ей было около двадцати лет. Это была особа очень красивая, в полном цвете свежей молодости, белая и румяная, - как говорится, кровь с молоком; росту была небольшого, как раз под пару своему мужу, который был невысок. Я вам уже говорил о ее нервном темпераменте и о ее склонности принимать живейшее участие во всех, кого знает. Каждое движение сердца отражалось в чертах ее лица: то побледнеет, то вспыхнет густым румянцем, а то вдруг зальется горькими слезами. Я мог несколько познакомиться с ее характером потому, что и она, как и ее муж, ласкала меня, обращалась не как с чужим и любила со мной иногда побеседовать вечерком. Мне случалось оказывать ей и некоторые услуги.

Когда я возвратился из-за границы, Еленев был уже учителем гимназии в одном из губернских городов. Там он вскоре и женился, и женился на такой красавице, какую редко мне случалось и видывать. Он обладал тонким вкусом в женской красоте, и за то был награждаем вниманием прекрасного пола. Потом в том же городе он променял учебную службу на гражданскую, был чем-то вроде советника какой-то палаты или правления и повышался в

чинах, благодаря влиянию своей жены.

Когда мы перешли на второй курс, в наш номер прибыло студента два-три из только что поступивших в университет. Между ними я нашел себе отличного товарища, который потом сделался моим истинным другом. Это был Войцеховский, из Литвы, хотя и первокурсник, но постарше меня: он уже брился. Бывают люди такого нежного сердца, которым на роду написано любить преданно и неизменно до той крайней степени самоуничужения и верноподданности, какая доступна только сердцу женщины. Войцеховский принадлежал именно к разряду таких друзей. Так как некоторые лекции читались младшим курсам вместе со старшими, то вдвоем с Войцеховским мы составляли лекции, учились и читали. Поступив в университет, он знал уже по-еврейски и стал меня учить этому языку. И теперь еще помню из его уроков первый стих книги Бытия: "Брешит бара элогим эт гашамаин бет гаарец".

Наше близкое товарищество не ограничивалось учеными занятиями. Войцеховский был моим неразлучным спутником во всех забавах и веселых похождениях, неизменно вместе со мной сидел за трактирным столом при трех парах чаю, вместе с ним мы лакомились какой-нибудь вкусной порцией, и он, как старше меня и опытнее, позволял себе тогда рюмку водки. Оба мы были не избалованы роскошью, и такие исключения в продовольствии доставляли нам истинное наслаждение. Никогда не забуду одной наивной сцены, которая и теперь отзывается во мне чем-то трогательным. Войцеховскому некоторое время нездоровилось, он похудел; к тому же дело было перед экзаменом, и мы с ним много работали. Не помню, у кого из нас в кармане был достаточный капитал для хорошей, дорогой порции. "Пойдем, - говорит он, - закусим чего-нибудь поплотнее: я отощал и похудел, надо хорошенько подкрепиться". Приходим в "Железный", спрашиваем себе раковый суп - блюдо, которое, по понятиям Войцеховского, преимущественнее других придает силу, свежесть и полноту. Такое же действие он приписывал и рюмке водки. Итак, сначала он выпил рюмку водки, а потому вместе принялись мы уписывать раковый суп. Во время еды вдруг он остановил меня: "Погоди немного", - говорит, а сам сжал свои толстые губы, отчего несколько надулись

его щеки, и, помолчав немного, спрашивает меня, - посмотри-ка мне в лицо; кажется, я уж немножко пополнел", - и опять сделал такую же мину, поглаживая и осязая пальцами обе свои щеки. "Постой, что-то не разберу, - отвечаю я, - ты сжал губы и задержал дыхание: оттого, может, и разботело твое лицо, а ты открой-ка маленько рот". Он несколько раздвинул свои губы, и я с удовольствием заметил ему, что он и вправду будто немножко пополнел.

В наших разгульных похождениях был он неоцененным товарищем. Собираясь кутить, мы заранее гордились возможностью охмелеть настолько, что не будем в состоянии вести себя как следует и непременно растеряем из кармана деньги, и потому все их отдавали ему; а он, как бы пьян ни был, аккуратно берег наш капитал и в точности расплачивался, сберегая всякую копейку.

В сороковых годах, когда я жил у графа Строганова, Войцеховский был уже учителем гимназии в одном из ближайших в Москве губернском городе. Мы с ним переписывались, и он в письмах продолжал упражнять меня в еврейском языке, посылая мне свои грамматические замечания на еврейские тексты. Тогда я читал псалмы Давида. Бывало, начнет письмо всякой всячиной, и затем вдруг переходит к еврейской грамоте. Некоторые из его писем, как дорогое воспоминание, хранятся у меня и до сих пор.

Он с пылкой страстью предавался тому, что изучал или просто читал. Он так же сердечно относился к книге и вообще к миру идей, как он отнесся бы к любимой женщине. И он действительно влюбился и под влиянием этой страсти восторженно писал мне о греческих идеалах, о римских завоеваниях и о молитвословиях еврейского народа. Привожу целиком это письмо, чтобы дать вам понятие о милых крайностях идеализма того поколения, которое слывет теперь под названием "людей сороковых годов".

"Да, брат, - писал он, - не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что кому нравится, - а то хорошо, что кто любит, а то еще лучше, во что кто влюбился. Я все думал, думал, что значит влюбиться? - и увидел, что влюбиться может не всякий; а счастлив тот, кто влюбился... Влюбиться - значит: пришел, увидел, победил! Не

знаю, как ты думаешь, а по-моему влюбляется не только частный человек, а даже целые народы. Кто любил, тот жил; а кто влюбился, тот будет жить весь век, если не здесь, так там, т.е. если не в теле, то в духе целого человечества. Да, брат! Взгляни на прежние века и спроси, кто был влюбленный народ??? Грек любил свою землю, - он был влюблен в свою природу, в свое небо, он жил и умер для природы. Он олицетворил свою природу в тысяче богов, он воплотил свою природу в миллионы лучших произведений рук, ума и фантазии, и оставил нам любоваться ими, или лучше *ею*; - он образовал свой язык для природы. Какая чудная была его природа! Явилась другая любовь и пожрала, и съела греческую любовь. Влюбленный в войну и завоевания, римлянин пришел, увидел и победил нежно влюбленную Грецию. Да, римлянин любил войну и влюбился в войну. Вся римская добродетель (*virtus*??), вся римская честь и слава - в войне. Весь пламенный патриотизм подчинялся войне. Кто из римлян не воевал, тот не жил; кто не завоевал, тот проклят Римом. Итак, у грека вся его добродетель (*τοῦχαττον*), его отечество, заключались в его изящной природе; остановили его любовь к природе, запачкали и осрамили его землю - и он погиб вместе с своим языком. У римлянина вся добродетель подчинялась войне; его отечество было там, где он мог воевать и завоевать; он дрался с самим собою; из-за чего? - чтобы только воевать. Ему не дали воевать, и он пропал вместе с своим языком, который ему нужен был только для войны и для войны. Араб влюбился в Алкоран (*al-horan*), в маленькую книжечку - и как он жил весело, роскошно! Да, брат, не будь Корана, араб не более был бы известен, как чухна. Вся слава его, вся поэзия пламенная, как стих Корана, все это - от Корана и для Корана; всякая малейшая пьеска начинается заглавными словами Корана. Но явилась другая любовь и уничтожила арабскую любовь. Ты знаешь ее. Вот что значит любить и влюбиться. Но я тебе расскажу еще про одну любовь. Был великий и гениальный поэт и ученый. Он все умел, все знал, все имел, хотел любить, да не было кого, - хотел пламенно влюбиться, да все было не по нем; пролетел на крыльях гения всю вселенную и встретил он Иегову, влюбился весь в него, да влюбился не так, как те влюблялись: он всю науку свою, весь гений свой и себя самого отдал Иегове; он более не смел сказать мудрецам мира: смотрите, что я делаю! Он говорил: смотрите, вот чудеса Иеговы! Всю свою душу, свою веру, своих богов и божков заковал в цепи и именем

всех своих богов, которых, может быть, до миллиона было, назвал своего Иегову; этого мало - он охватил мир и принес его в жертву одному слову Иеговы; вот как он любил! Как любил он, так пламенно любили и его потомки. Да, Израэль более любил своего Иегоцу, нежели кто-нибудь кого-нибудь - он своих собственных чад в жертву обрек было Иегове, да только Иегова не захотел этого. Израэль всей душой, всей жизнью влюблен в Иегову, который для него все - сын и отец вместе, - и укрепитель счастья Израэля. Да, Израэль все посвятил своему возлюбленному - своему жениху... своему единственному Иегове. Тело и дух, ум и фантазию он употребил для славы, для чести, для прославления Иеговы. Он более любил его, нежели боялся, он более обожал его, нежели страшился. Я думаю, никто так не любил, как Израэль, никто так не влюблен, как Израэль; кто хочет любить и не умеет, пусть тот читает еврейские памятники; кто не влюблялся, кто еще не жил любовью пламенной, любовью всего сердца, любовью всей души, тот пусть прочитает все, что было пето о любви к Иегове, - и он будет любить, - и влюбится пламенно, горячо, бесконечно, всем сердцем, всем воображением. Это так. Да и теперь как он его любит!!! Рассеян по лицу земли, а все влюблен в Иегову. Вот как оправдывается истинная любовь! Грек и не помнит о том, что было. Подлый грек.

Посмотри далее. Француз влюблен в ассамблеи и, следовательно, ежедневную перемену платья; немец до безумия влюблен в свой Geist, для которого он пожертвовал своей жизнью, своей поэзией, всем своим я, для которого он исковеркал свой язык; я думаю, что немец сам себя не понимает: он ведь и чужое все (греч. и римск.) коверкает на свой лад. Во что влюблен русский-славянин? Как ты думаешь? Ну, брат, скажи свое мнение. По-моему, русский-славянин влюблен во все, а во все быть влюблену невозможно, не правда ли? Мне кажется, что русский-славянин должен просто влюбиться в свой язык; он должен принести в жертву все свое знание, всю свою жизнь языку. Он должен учиться греческому и латинскому языку для своего русского языка; он должен знать по-итальянски, чтобы дать ту певучесть своему языку, - по-французски, чтобы подарить все те нежности и комплименты своему языку, - по-немецки, чтобы уломать свой язык к ученым понятиям (ведь и немецкий язык не родился с теми словами, какие

встречаются теперь), - по-английски, чтобы увенчать свой язык той высокой поэзией Шекспира и Байрона. Учись по-английски, и мне после покажешь. Но греческий и латинский языки он должен учить не на немецкий лад, а на русский лад; пока русский будет учиться греческому и латинскому языку по-немецки, все это ни к селу ни к городу. Извини, брат, я заболтался.

Я перевел тебе два псалма *буквально*; советую тебе выучить наизусть по-еврейски. Ты можешь 150-й псалом петь почти на голос: "Ты не поверишь, как ты мила"... Они простеньки и очень легки, потому что повторяются все те же слова.

Всегда твой *Войцеховский*".

И вот полюбил, наконец, и мой милый друг Войцеховский, и не тою собирательною, всенародною любовью, а полюбил лично, сам по себе и сам для себя. Восторженно и страстно влюбился он в дочь директора той гимназии, где служил, и влюбился "напропалую", в настоящем, полном и страшном значении этого слова: он не снискал себе взаимности, и в минуту отчаяния погиб от безнадежной страсти.

Однажды утром призывает меня к себе в кабинет граф Сергей Григорьевич и тревожным голосом сообщает только что полученное им официальное донесение о внезапной кончине Войцеховского. Он зарезал себя бритвою.

Когда я перешел на третий курс, в наш номер поступили два новых товарища, только что принятых в университет из одной провинциальной гимназии, в которой оба они кончили курс. Это были Александр Иванович Селин (а не "Селин", как потом его стали называть) и Сергей Дмитриевич Шестаков. Когда попечитель, граф Строганов, ревизовал свой округ, он заметил того и другого еще на гимназической скамье, как отличных учеников, приласкал их, а когда они стали студентами, постоянно интересовался обоими и следил за их успехами. Тот и другой стали потом профессорами: Селин - русской литературы, в Киевском университете, а Шестаков - латинской, в Московском.

Между всеми моими университетскими товарищами Селин

отличался особенною своеобразием. Оригиналом назвать его не могу, как я назвал Коссовича, но ему дана была от природы способность оригинальничать, вечно играть роль, всегда позировать, всегда казаться чем-то другим, а не тем, что он есть, так что, бывало, не разберешь, таков ли он в самом деле или только кажется таким. Росту он был среднего, худой и тщедушный; на бледном лице иной раз пятнами мелькал слабый румянец, глубоко ввалились глаза под густыми бровями, щеки ввалились, образуя по сторонам губ продольные морщинки. На широкий лоб падали каштанового цвета кудри, но, в противность пословице, не "со радости вились эти кудри и не секлись они со печали", потому что он всегда был грустен и печален, всегда удручен жизнью; скорбящей наружности его вполне гармонировал и скорбный голос, не то безнадежные рыдания, не то задержанные вопли отчаяния, не то замогильные звуки пришельца с того света. И все это не раздавалось громко, а как слабое эхо, иногда доходящее до шепота, таинственно передавало то глубокое и далекое, что бушевало на дне души его. Даже в самых жестах его выражалось что-то не от мира сего: когда он говорил с волнением, он касался руки слушателя оконечностями своих пальцев так нежно, будто дуновение легкого ветерка.

Я бы назвал Селина предвестником теперешних поэтов мировой скорби и безнадежности, если бы он скорбел о бедствиях всего человечества и о безотрадном и безвыходном его положении, - напротив, его скорбь была сосредоточена в себе и на себе; но о чем он горевал, что он оплакивал, никто не знал и понять не мог. В университете учился он хорошо, всегда был из лучших студентов; даже по его отрывочным признаниям и намекам его близкие товарищи - в том числе и я - могли догадываться, что ему жилось хорошо, что он любил и был любим, что его ласкали и даже баловали, что какая-то светская дама дарила его своими милостями, что было какое-то похищение новой Елены, даже через забор, или свидание с нею, когда Сёлин сидел на заборе, а она в саду - не помню хорошенько, только из его отрывистой речи с обычным шепотом удержались в моей памяти забор и видение прекрасной Елены. Таков был Сёлин в молодости, на студенческой скамье; с тех пор как он сел на профессорскую кафедру, я уж с ним не встречался ни разу до самой его смерти. Но тогда мы видели в нем

олицетворение Гамлета, разменянного по мелочам, и именно в том его типе, какой придал ему знаменитый в то время трагик Мочалов, с прикрасою своих обычных жестов -левой рукою бить себя в лоб, а правой хлопать себя по ляжке; только Селин, в согласии с тихим унынием своей души, смягчал эти жесты: медленно и нежно касался лба рукою, а по ляжке вовсе не колотил, вероятно, находя это неграциозным.

Впоследствии из него вышел красноречивый профессор. Студенты любили его. На публичных лекциях в Киеве он производил эффект.

Шестаков был годом моложе Селина, а может быть и двумя. Думаю, - что он поступил в университет одних лет со мною, скорее немножко помоложе меня; он также выросал уже будучи студентом, на моих глазах. Был нежный и миленький мальчик, смуглый, с большими кроткими глазами, с крупными чертами лица; густые пряди каштановых волос легкою волною спускались на его широкий лоб. Он был самый младший из товарищей нашего номера, игривый и шаловливый, как ребенок. Войцеховский, витая в области библейских типов и образов, называл его Вениамином нашего товарищеского кружка. Его лелеяли и оберегали, а я, как старшой номера, взял его под свое покровительство. Этим началась наша дружба и с годами усиливалась до самой его кончины.

Еще на студенческой скамейке сблизился он коротко с своим товарищем по курсу, Петром Николаевичем Кудрявцевым, который был потом профессором всеобщей истории в Московском университете, а затем, по выходе из университета, подружился с Павлом Михайловичем Леонтьевым и жил с ним вместе до самой своей смерти. Товарищеская связь с обоими этими учеными скреплялась единством научных интересов, как это должно быть известно всякому, кто следил за разработкою всеобщей истории, классических древностей и классической литературы.

Преждевременная, ранняя смерть Шестакова лишила меня самого искреннего, горячо мною любимого друга, а ученую литературу - высокодаровитого и неустанно трудившегося деятеля.

Подробно рассказал я вам о моих товарищах и друзьях для того, чтобы вы могли составить себе некоторое понятие о том, каков я был тогда сам, по пословице: "Скажи, с кем ты знаком, - и я скажу, кто ты таков". Но так как мое знакомство не ограничивалось пределами университетской усадьбы, то поведу вас своими воспоминаниями по московским урочищам и улицам с переулками.

Поведу вас сначала опять на Собачью площадку, в Дур-новский переулок, где, помните, я постучался к Кастору Никифоровичу Лебедеву. Когда он возвратился в Москву, принял во мне живейшее участие, которым, впрочем, я не мог долго пользоваться, потому что он через несколько времени перебрался в Петербург. Ему не удалось пристроиться к университету. Он раздражил против себя некоторых из профессоров, представив научные их взгляды и убеждения в карикатурном виде, в написанной им сказке о царе Горохе. Можете сами прочесть ее: она была напечатана, кажется, в "Русской Старине". В Петербурге он променял ученую карьеру на юридическую, успешно и с отличием служил чиновником министерства юстиции и скоро вошел в милость у министра, графа Панина; был командирован за границу, именно в Пруссию, для наглядного и практического ознакомления с судебным делопроизводством, и по возвращении напечатал подробный отчет о своих наблюдениях. В начале пятидесятых годов занимал должность обер-прокурора Правительствующего Сената в Москве, а потом должность сенатора в Петербурге.

Теперь переберемся за Москву-реку, на Донскую улицу, к церкви Риз Положения. Наискосок против этой церкви к стороне Калужских ворот в то время выходил на улицу длинный забор; воротамиходишь на большой двор, будто площадь, покрытый зеленой травой. На этом лугу, налево стоял небольшой каменный дом, построенный в XVIII столетии, двухэтажный, с толстыми-претолстыми стенами, окна маленькие, внизу с железными решетками, заржавелыми от многолетия; наружная дверь тоже была железная и такая же ржавая; к ней поднимались по двум каменным ступеням, изрытым и истертым донельзя. Отделенный от двора решеткою, простирался большой луг; на нем кое-где высокие столетние деревья с голыми сучьями наверху. Тут летом паслись две-три коровы. В правом углу этой луговины рядами тянулись

рядки со всяким овощем, огороженные плетнем. Этот пустырь, не тронутый в 1812 г. французами, описываю вам для того, чтобы дать понятие, как тогда жилось в Москве широко и привольно. Недаром иностранцы называли нашу древнюю столицу колоссальной деревней. Я вас ввожу в одно из поместий этой деревни. Этот дом, более похожий на крепость или тюремный замок, принадлежал Наталье Васильевне Кушечниковой, старой девице лет за пятьдесят; она занимала верхний этаж, а в нижнем жила ее родственница и старинная подруга, Елизавета Романовна Верховцева, вдова, с своим сыном Аполлоном Ильичом. Она была родная сестра моего вотчима, который давно уже скончался, когда я прибыл в Москву.

Аполлон Ильич был замечательно красивый молодой человек, лет двадцати пяти, с правильными, так называемыми античными чертами лица, с большими карими глазами, брюнет; позднее носил длинные и тонкие бакенбарды, которые изящно обрамляли его смуглое лицо. В обществе он производил эффект, как своей наружностью, так и отличным голосом: у него был замечательный тенор. Он служил в опекуновском совете и впоследствии дослужился до звания почетного опекуна. До глубокой старости умел сохранить свою красоту разными искусственными средствами. До последнего времени его можно было видеть председательствующим на выпускных экзаменах Екатерининского и Александровского институтов.

По приезде в Москву я не замедлил отправиться на Донскую улицу. Елизавета Романовна и Наталья Васильевна приняли меня как родного. Я у них проводил по праздникам целые дни, а случалось и гостил по неделям в вакантное время. Летом мне привольно было гулять по большому лугу и читать свою книгу под тенью развесистого дерева. Аполлон Ильич оказывал мне дружеское снисхождение и при случае давал мне уроки, как вести себя в обществе прилично, по-светски, с соблюдением собственного достоинства.

Из лиц, которых мне случалось видеть у Верховцевых, самым интересным был для меня Сергей Николаевич Глинка, автор пользовавшихся некогда большой известностью "Писем русского офицера". Он всегда являлся во фраке и белом высоком галстуке,

на ногах ботфорты.

К обеим обитательницам старинного дома у Риз Положения вот что писала моя матушка, от 7 августа 1834 г.:

"Почтенные, добрые, милые мои сестры, Елизавета Романовна и Наталья Васильевна! Голубушки мои, очень вы обрадовали меня вашим письмом. Я не сомневалась, чтобы вы приняли моего Федора чужим. Матушки мои, вас Бог наградит за вашу родственную ему ласку. Боюсь, не охладил бы он вас: он холоден и угрюм. Извиняйте ему, если вы его найдете таким: это его характер, - и его кроме наук ничто, кажется, не разгорячит. И если что вам в нем не будет нравиться, пожалуйста, останавливайте, несмотря на его рост, а помните его лета; выдерите уши, если он заслужит. Да вот он уже и заслужил. Каково невнимание! Не писал. Если бы не вы, мои друзья, то я не знала бы на что и подумать. Теперь, слава Богу, покойна, что он жив. Родные мои, узнайте, что за квартира, можно ли ему стоять на ней".

Еще к ним же от 16 октября того же года: "Милые мои, добрые, бесценные сестры! Голубушки вы мои, если бы вы знали, как вы меня обязываете вашей лаской к моему Федору. Вас за это Господь наградит. Вы, мой друг, сестрица Наталья Васильевна, пишете, что в одной комнате спите с Феденькой. Это мы часто с ним делали дома, и верно, когда он ночует у вас, то полагает, что он близок к матери". Затем, мое знакомство в Москве ограничивалось приезжими из Пензенской губернии, - больше из уездных городов и деревень, нежели из самой Пензы. Их было довольно, но я обращаю ваше внимание только на двух помещиц: на Капитолину Яковлевну Никифорову и Марфу Андреевну Владыкину. О первой я много слышал хорошего, но лично не был с нею знаком; вторую же знал коротко, давно пользовался ее расположением и очень любил ее.

Когда Никифорова ехала в Москву, мой двоюродный дядя, Андрей Сергеевич Сергеев, рекомендовал ей меня, а мне написал, чтобы я явился к ней непременно. Из его письма я знал, что она приехала с сыном, годом старше меня, который поступает в школу гвардейских подпрапорщиков, и с дочерью моих лет. Это было в конце сентября, я только что поступил в университет, чувствовал себя на вершине блаженства, но ни мундира, ни вицмундира у меня

еще не было. Как же мне явиться к новым знакомым в стареньком сюртучишке? Я уже заранее гордился своим студенческим мундиром, при шпаге, с треуголкой. Да, дескать, себя знать перед будущим гвардейцем и перед его молоденькой сестрицей, и положил идти к ним тогда, когда будет готова моя амуниция. Ждал, ждал, наконец надели на меня вицмундир, а мундира все еще нет. Я уже решил было надеть чужой, от кого-нибудь из товарищей старших курсов, но у них форма была еще с малиновыми воротниками и только с нас, новобранцев, пошли синие воротники, те самые, какие приняты и теперь. Ничего больше мне не оставалось, как надеть мундир Класовского с малиновым воротником и явиться, наконец, к Никифоровым на Спиридоновку. Рассказываю вам эти пустые подробности, да и вообще упоминаю о Никифоровых для того только, чтобы вы прочли, как моя матушка делает мне выговор.

От 11 декабря того же года:

"Да вот еще твоя глупость непростительная. Тебя благодетельный твой дядя рекомендовал почтенным своим знакомым: первое, ты его не благодарил, а второе, не был у почтенной Никифоровой, и велишь, чтобы я за тебя благодарил дядю. Меня это все очень огорчает и дает мысль о тебе, как о неблагодарном и нечувствительном. А тебе ли разбирать приличные платья? У тебя есть вицмундир, он один у тебя, и ты везде, где должно, можешь в нем быть, и эта твоя нечувствительность к почтенному и лестному для тебя знакомству меня огорчила. Я не воображала, чтобы мой сын был так нечувствителен к благодеяниям милого и доброго своего дяди. А я за все это сержусь на тебя. Подумай хорошенько, и ты почувствуешь, что ты стоишь этого. И если ты хочешь со мной помириться, то исполни все это: пиши дяде приличное его благодеяниям письмо, сходи, или даже сходи к Никифоровой и извинись, что не мог раньше быть, потому что не хотел показаться им невежливым быть в вицмундире, но не дождался мундира. Если тебе покажется грубо письмо мое, то подумай хорошенько и ты увидишь, что я правду от тебя требую и прошу в таких обстоятельствах быть почувствительнее. У Никифоровой будь непременно. Доброму, милому Кастору Никифоровичу мою душевную благодарность и почтение скажи, милым сестрам тоже.

Аполлону Ильичу также кланяйся. Я радуюсь, что ты в восхищении от своих лекций; но, мой друг, и еще скажу, что одно без другого не годится; приличие и благодарность - это чувства не последние для молодого человека..."

Теперь прошу вас вместе со мною от Спиридоновки перенестись в Зубово, к Неопалимой Купине, в деревянный дом с мезонином, в переулке, который с задней стороны этой церкви тянется параллельно Смоленскому бульвару. В этом доме поселилась приехавшая в Москву из Чембарского уезда помещица Марфа Андреевна Владыкина с своим сыном, годом моложе меня, Алексеем Степановичем, и с его гувернером французом, Александром Богдановичем Ломбаром, который при мне был учителем французского языка в нашей гимназии. Моя матушка давно была с нею знакома, и когда обе они овдовели, матушка - после моего вотчима, а Владыкина - после мужа, их знакомство перешло в дружбу; обе - молодые вдовы и ровесницы. У Владыкиной я нашел такой же радушный родственный прием, как и у Верховцевых. Сверх того, мои посещения Владыкиных приносили нам обоюдную пользу. Марфа Андреевна поручила мне давать уроки русского языка и истории ее сыну, который тогда готовился к поступлению в военную службу. Впоследствии он служил в гусарах.

Из посетителей, которых мне случалось встречать у Владыкиной, назову вам Белинского, которого она знала еще мальчиком и говорила ему "ты". Его отец, уездный лекарь, в течение многих лет был у ней в имении домашним врачом и пользовался ее расположением и доверием. При этом замечу вам кстати, что и Белинский был моим учителем русского языка в 1829 г., когда я только что поступил в первый класс гимназии, а он, только что кончивши в ней курс, не мог за недостатком средств отправиться в Московский университет, как он намеревался, и, оставаясь в Пензе, в звании ученика гимназии, занимал вакантную должность учителя. Странно, что именно от той далекой поры врезалось в мою память, как у него в классе мы учили наизусть:

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества...

И еще:

О, дети, дети! Как опасны ваши лета!
Мышонок, не выдавший света,
Попал было в беду. И вот как он об ней
Рассказывал в семье своей...

V

Чтобы дать вам некоторое понятие о том, при каких условиях слагался мой характер в период студенчества, я должен познакомить вас с письмами моей матушки. В них я находил для себя и чувствовал охранительную силу, которая должна была сдерживать и утолять мои стремления и порывы в охватившей меня новой жизни казаннокоштного товарищества. Но сначала мне следует рассказать вам, кто такая была моя матушка и какова была она.

Моя матушка, дочь армейского офицера Ивана Андреевича Андреева, участвовавшего в Суворовском походе через Альпы в Италию, родилась в г. Керенске в 1802 г., а в 1816-м, четырнадцати лет от роду, вышла замуж за моего отца Ивана Ивановича Буслаева, состоявшего в должности керенского уездного стряпчего. В начале XVIII столетия его прадед Аким Никитич был "с приписью подьячий" керенской канцелярии воеводского правления, жалован указом Петра Великого в 1723 г. поместным окладом "ста шестидесятью четвертями".

Будучи шестнадцати лет, моя матушка родила меня 13-го апреля 1818 г., а когда мне минуло только что пять лет, я остался при ней сиротою. Вот что значится в ее записной книжке, которую я берегу вместе с ее письмами: "Первое мое замужество - в 1816 г. ноября 8-го дня. Жила с мужем шесть лет и шесть месяцев и двадцать пять дней, то есть, он скончался 1823 года июня 3-го числа, и с тех пор-то веду дни бедственные".

Мне очень хотелось бы покороче ознакомить вас, во-первых, с чертами лица и вообще с наружностью моей матушки и, во-вторых, с ее характером; но ни того ни другого сделать не могу, как следует. С тех пор, как я стал себя чувствовать, мы жили с ней

одною жизнью, совокупно радовались одними и теми же радостями, горевали в одних и тех же печалях, однообразно проводили день за днем в тех же привычках, и потому я не мог сознательно отрешиться от этого нераздельного существования и сделать мою матушку предметом для своих наблюдений. Иное дело - казеннокоштные студенты, мои товарищи по номеру, которых я мог характеризовать вам подробно: тут било мне в глаза новизною, непривычные впечатления останавливали на себе мое внимание и изощряли во мне наблюдательность, а потом в продолжение многолетних сношений и знакомства с этими товарищами и друзьями они окрепли и глубоко врезались в памяти, как готовый материал для воображения. Что касается до моей матушки, то я жил с нею вместе только до шестнадцатилетнего моего возраста, да еще потом провел с ней один месяц в Москве, куда она приезжала зимою навестить меня, когда я был уже на втором курсе. После этого я уже не видал ее: она скончалась в 1836 г., тридцати четырех лет от роду. Обо всем этом я расскажу вам подробно, где следует.

Моя матушка была высокого роста, телосложения крепкого, ни худа, ни полна. Портрета от нее не осталось. Как ни стараюсь, решительно не могу в своем воображении представить ее лицо в полной совокупности его очертаний; вероятно, и прежде никогда не мог я этого сделать. Впрочем, некоторые подробности ее физиономии иной раз мелькнут в моей памяти и затем мерещутся, будто смутные фигуры в потемках.

Лоб у ней был, кажется, широкий, но какие были глаза - совсем не помню, голубые или серые, а носик - хорошо помню - был немножко вздернут, что придавало ей на мой взгляд особую грацию. Губки были прехорошенькие. Но что особенно рисуется в моем воображении, так это ее длинные и густые русые волосы. Она заплетала их в две толстые косы и накладывала их себе на голову в виде венка. Она была блондинка и, как я хорошо помню, гадала о себе в картах на бубновую даму.

Когда я зажмурю глаза, эти отдельные черты, каждая по себе, рассыпаются врознь, мелькая передо мною, как звездочки в небе, и никак не хотят собраться вместе, чтобы слиться в одно цельное и полное представление дорогого мне образа. Здоровья она была необыкновенно крепкого, "гигантского и неизносимого", как она

сама о себе говорила. Она не знала усталости и не остерегалась ни холода, ни даже мороза. В зимнее время она выходила наружу, не набросив ничего на свое платье, не покрыв головы и не надевши теплых сапог на легкие туфли, и так перебегала по снежному двору во флигель или по хозяйству в кухню, а то и в амбар. В летние жары, когда все живое изнемогает от духоты, она любила прохладиться в погребе, сидя с каким-нибудь рукодельем на одной из ступеней лестницы, спускающейся в яму. С крепким здоровьем в ней соединялась физическая сила. Она любила ухаживать за опасно больными, без сна проводить у их изголовья целые ночи, поворачивать и поднимать их. Когда мне было шесть и даже семь лет, она носила и держала меня в руках подолгу, если это оказывалось почему-либо нужным.

Говорить вообще о ее характере и об умственных и нравственных ее качествах я не буду из опасения, чтобы не дать вам повода заподозрить мои слова в пристрастии сыновней любви. Обо всем этом можете судить сами из подробностей повествования, к которому теперь и возвращаюсь после этого краткого эпизода.

Мы остановились на кончине моего отца, о которой вы узнали из слов моей матушки в ее записной книжке. Он опасно занемог еще в Керенске и для излечения был переведен в Пензу, где месяца через два и помер. Моя матушка не могла уже воротиться на житье в Керенск, где была она так счастлива с своим мужем, и с тех пор навсегда водворилась в Пензе, в которой прежде не бывала ни разу.

Вскоре купила она себе дом на высоком, крутом берегу реки Пензы, в гористой местности, на вершине которой расстилается городская площадь с собором, с присутственными местами, с гимназиею, с семинариею, дворянским собранием и театром, принадлежавшим тогда некоему Гладкову, а также с казенными зданиями для губернатора и архиерея. За площадью через несколько домов поднималась широким гребнем старая березовая роща, которая называлась тогда "гуляньем". От рощи гора понижается крутыми спусками, покрытыми кустарником, которые ниспадают на широкую и далекую равнину с лугами и нивами. С этой низменности направо от "гулянья" поднимается церковь Боголюбской Божией Матери при кладбище, на котором покоится

прах моего отца.

Крутой берег, на котором стоял наш дом, направо идет в город к городской площади, а налево постепенно спускается на расстоянии домов двадцати пяти и, наконец, ниспадает до уровня воды широкою песчаною полосою там, где у последнего дома река круто поворачивает налево. Дома через четыре вниз с нашего, перекинут мост через реку с этой нагорной стороны на низменную, прямо к нашей приходской церкви Казанской Божией Матери. Не знаю, как теперь, но в мое время там врассыпную торчали кое-где вдоль берега только убогие лачуги с огородами, а за ними далеко и широко простиралась песчаная низменность, которая в весенний разлив вся покрывалась водою.

Наш дом был с мезонином и выходил к набережной палисадником, в котором были разбиты между клумбами цветов дорожки, покрытые песком; вдоль решетчатого забора поднимались невысокие кусты сирени и воздушного жасмина. Передняя часть дома состояла из залы и гостиной, которая для нас с матушкой была вместе и кабинетом, где мы оба читали какую-нибудь книгу или я учил уроки, а она что-нибудь работала.

В то время бумажных обоев еще не было в употреблении, и стены этой комнаты были покрыты темно-лазуревой краской, а белый потолок разрисован гирляндами и букетами из тюльпанов, роз и всяких других цветов.

У стены, отделяющей гостиную от залы, стоял диван, а перед ним круглый стол. Над диваном висели в рамках под стеклом две небольшие гравюры, одна под другой. Верхняя, поменьше, должна была изображать Наполеона I на острове Святой Елены, хотя самого императора на ней не было видно. Был только представлен высокий берег над морем, налево роща, переднее дерево которой резко вырисовывалось по белому фону причудливыми изгибами своего ствола и сучков.

Рядом с этим деревом, немного отступя, стояло тоже искривленное деревцо, немного пониже. Вот и все. Вам говорят, что это Наполеон на острове Святой Елены, а вы его не видите и до тех пор не найдете, пока вам не укажут на белую полосу бумаги, очерченную

извилистыми линиями обоих деревьев. Тогда вместо полосы пустого пространства вы увидите белую мраморную статую самого императора, стоящего боком, с античным профилем его лица, в треугольной шляпе и мундире: он стоит, по своему обычаю, скрестив руки на груди. И когда вы разгадаете этот фокус, вы уже всегда будете видеть между двумя деревьями не пустое пространство, а мраморную статую в форме силуэта.

Да, и в ту пору для нас с матушкой "он был властитель наших дум".

Нижняя гравюра была побольше и значительно длиннее в ширину; на ней в трех кругах было изображено по портрету: на одной стороне поясной портрет императора Николая Павловича, на другой - императрицы Александры Феодоровны, а между ними в середине - цесаревича наследника Александра Николаевича, семи лет от роду, в курточке и с отложным и очень широким полотняным воротником. От матушки я уже знал тогда, что он мне ровесник, что родился в том же году и в том же месяце, как и я, только четырьмя днями моложе меня. "Гляди на него, мой дружок (она любила называть меня так): он ведь будет твоим царем".

Спустя многие десятки лет, через целое полстолетие, в скорбные дни, последовавшие за 1-м числом марта 1881 года, - не знаю, какими судьбами вдруг воскресла в моей памяти эта гравюра с тремя портретами, давным-давно забытая мною, и светлый образ милого мальчика с добрыми, приветливыми глазками не переставал носиться в моем воображении, будто утешая меня и озаряя своим присутствием мои мрачные, горькие думы.

Особенно помнится мне угольное окно нашей гостиной. Подолгу сживали мы у него с матушкой друг против друга. Она поверяла мне свои заботы и планы, свои надежды и опасения, свои горькие печали и немногие радости, которые редко выпадали на ее долю после того, как она лишилась моего отца. Эти дружеские беседы сливаются в моих воспоминаниях с широкою панорамой, которая из окна перед нами расстилалась. Направо верхняя часть города своими спусками круто ниспадала к самой реке, а налево за рекою поднимались холмы, покрытые темною зеленью дремучего соснового бора.

Перед окном из-под крутого берега тянулась широкая и далекая равнина. На ней на расстоянии версты от города с левой стороны виднелась роща, перед которой белела церковь Всех Святых с городским кладбищем; направо же, верст на двенадцать по небосклону, тянулась гора, при подошве которой стояло село Валяевка, куда ходили на богомолье к источнику святой воды.

Вдоль задней стороны дома тянулась крытая галерея с крыльцом. Перед ней на дворе стояли рядом амбар с сусеками для овса, крупы и всякого другого снадобья, сарай с сеновалом наверху и конюшня, а при ней собачья конура с большим черным псом, Барбосом, или - как его обыкновенно кликали - Барбоскою. По другую сторону двора, образуя прямой угол с этими строениями, стояли кухня, флигель и у самых ворот погреб. Небольшое пространство между погребом и флигелем, покрытое кровлею, предназначалось для курятника.

В самом углу, который приходился прямо против ворот, был вход в сад с разными фруктовыми деревьями. Отлого спускался он вниз к длинной полосе огорода с поперечными грядками капусты, огурцов и всякой другой зелени. Там же внизу была построена баня.

У матушки, по наследству от ее отца, а моего деда, была крепостная дворня. Овдовев, осталась она с хорошими средствами, которые не только обеспечивали ее существование, но и давали возможность располагать удобствами жизни.

Самые ранние мои воспоминания относятся ко времени, когда мы поселились в нашем пензенском доме. Прежде всего возникает передо мною глубоко врезавшееся в моей памяти событие, которое поразило меня ужасом и нестерпимою жалостью. Это было утром после обедни в день Светлого Христова Воскресения. Матушки не было дома; я ждал ее в гостиной. Вдруг слышу говор, шум и суетню, и вслед за тем опрометью вбегают матушка, хватая меня в объятия и прижимает к своему окровавленному лицу. Вот только этот один момент, ошеломивший меня, как удар грома, и застрял в моей памяти. Не будь его, я бы давно забыл и не рассказал бы вам о благочестивом обычае, который в день Пасхи справляла моя матушка в первые годы своего вдовства. После обедни она отправлялась в острог христосоваться с колодниками и оделять их

кусками кулича и пасхи. На этот раз между заключенными, был один сумасшедший. Он сидел в особой камере. В порыве восторженного состояния духа моя матушка непременно должна была похристосоваться и с ним, веруя и надеясь, что благовестие о воскресении Христа и в этом безумном воскресит остолбенелые его мысли и просветит померкший рассудок; но безумный стремглав бросился к ней и укусил ее в щеку.

К этому же далекому времени относится и другое событие, но оно не промелькнуло передо мною одним мгновением, а протянулось в моей памяти длинным следом томительной и жуткой боязни. С ранней молодости у моей матушки была горячо любимая ею подруга, которая потом вышла замуж за городничего в уездном городе, от Пензы верстах в сорока, именно в Мокшане. Перед самым началом весенней оттепели, после трудных родов, она опасно захворала и вызвала мою матушку к себе. Решительно не помню, как мы попали в Мокшан, долго ли моя матушка ухаживала за своею больною подругой и как на ее руках она и скончалась. На другой или на третий день после ее похорон матушка решила почему-то немедленно же оставить дом городничего и вернуться в Пензу, несмотря на весенний разлив Суры и впадающей в нее реки Пензы, который теперь отделял Мокшан от нашего дома.

В Мокшан мы приехали на санях, а оттуда отправились на колесах в тарантасе. Путь шел большою дорогою по песчаной низменности, на которую спустился сосновый лес с тех темно-зеленых холмов, которые - помните - виднелись из угольного окна нашей гостиной. Перед нами прямо тянулась столбовая дорога, которая вдали превращалась в канал, а по обеим сторонам его вместо берегов поднимался сосновый лес. Сначала мы ехали по грязи и по мокрому песку и вскоре затем по воде, в которую мало-помалу стал погружаться наш экипаж; она покрыла уже и ступицы колес, но не успела еще подняться до кузова, как мы подъехали к платформе, пристроенной к какому-то домику, стоящему - как сейчас вижу - на правой стороне затопленной разливом дороги. У платформы стояла большая лодка с несколькими гребцами; мы перебрались в нее со всем нашим багажом и тронулись с места. По мере того как уровень дна спускался ниже, разлив становился все глубже и глубже. Сначала мы измеряли его верстовыми столбами. Вот

высунулся из воды один только наполовину, а следующий затем торчал уж одной верхушкой, будто кочка. Теперь пришлось соображаться только с высокими стволами деревьев этой необычайной аллеи; но и стволы, чем дальше вперед, тем глубже и глубже тонули в воде. Наконец, дорога сузилась от торчащих с обеих сторон сучьев соснового леса. Надобно было держаться по самой середине, чтобы лодка не задела сучок и не опрокинулась. Тут еще легко можно было справиться, покамест следы нашей аллеи обозначались по обеим сторонам хотя бы маленькими зелеными ветками сосновых верхушек. Но и они потонули, и гребцам в течение нескольких минут приходилось так направлять нашу лодку, чтобы она не наткнулась на невидимый под водою сучок и не перевернулась вверх дном. Однако мы еще не спаслись от всех бед опасного плавания; самая большая ожидала нас далее. Перед нами расстилалась гладкая, как зеркало, равнина широкого разлива, но не в далеком расстоянии по ней поперек перекинулась широкая волнистая полоса бурого цвета. Это был след, отмеченный руслом бурливой реки на поверхности стоячей воды разлива. Когда мы стали приближаться к этой полосе, нам казалось, что мы направляемся по прозрачному хрустальному берегу к водовороту мчащегося вперед потока. Чтобы безопасно перебраться через него, надобно было умеючи попасть в него и умеючи из него выбраться: нельзя было направить лодку ни под прямым углом, ни под слишком косым; в том и другом случае она непременно перекувырнулась бы. Но пензенские лодочники были мастера своего дела, и мы благополучно спустились в шипучий водоворот, понеслись по волнам потока и долго не могли из него выбраться: это гораздо опаснее и труднее, чем попасть в него. Тут нужна ловкая сноровка, приобретаемая опытом и привычкою, и, благодаря Бога, мы успешно проскользнули на другую сторону.

На все эти подробности моих смутных и тоскливых впечатлений, вероятно, наводила мое внимание матушка, соображаясь с веселою болтовнёю лодочников, которые привыкли неустрашимо бороться с опасностями водной стихии.

Да, в характере моей матушки твердая решимость соединялась с геройскою отвагою ее отца, суворовского солдата, который переходил в альпийских горах через Чертов мост.

Летом 1825 года проезжал через Пензу император Александр Павлович. Его ждали в соборе. День клонился к вечеру. На площади толпилась сплошная масса простонародья и поднималась вверх по длинным ступеням широкой и высокой лестницы, ведущей к южным вратам собора. Отсюда должен был войти государь. Начинало уже смеркаться, а собравшуюся в церкви такую же сплошную толпу нарядных дам и мужчин в парадной форме ярко освещали зажженные паникадила, лампы и свечи. Тут были и мы с матушкой. Она держала меня на руках. Когда государь вошел в собор, она в сумятице расступившейся перед ним публики припорожилась так, что мы очутились впереди, и он близехонько прошел около нас. В том же году зимою мы были с матушкой свидетелями другой церемонии, которая своей мрачной безотрадностью составляла резкий контраст с этим светлым торжеством. Дело было ночью. На площади, тоже у собора, только с северной его стороны, а не с южной, тоже собрался народ, но не сплошную толпою, как тогда, а кучками врозь, которые тихо двигались из стороны в сторону, медленно подходили к церкви и отступали назад. При свете луны на белом снегу и у белой стены собора поднималась громадная черная колесница без лошадей, под черным же балдахином: на колеснице стоял саркофаг, в саркофаге был гроб, а в гробу - усопший император Александр Павлович. Вот как он возвращался с далекого юга и свою северную столицу через Пензу, где недавно встречали его в радостном ликовании.

Вокруг печальной колесницы стояли караулом дежурные генералы и офицеры. Между ними находился тогда молодой тридцатилетний флигель-адъютант граф Сергей Григорьевич Строганов, бывший впоследствии попечителем Московского университета.

Около этого времени матушка моя сблизилась и вскоре подружилась с Марьей Алексеевной Лебедевой, матерью Кастора Никифоровича, о котором я уже не раз говорил вам. Главною причиной этого сближения, я полагаю, было желание матушки отдать меня в приготовительную школу, которую содержала Лебедева для проходящих девочек из зажиточных семейств города. В этой школе и я был проходящим и учился в ней до 1828 года, когда 10 лет от роду поступил в 1 класс пензенской гимназии.

Марья Алексеевна была вдова, годами десятью старше мой

матушки, и по тогдашнему времени довольно образована, т.е. говорила по-французски и играла на фортепьянах. Через нее матушка познакомилась с моим вотчим и, вероятно, при ее же посредстве вышла за него замуж в 1825 году, всего двадцати трех лет от роду; в 1826 году у ней родилась дочь Софья, а в 1827 - другая дочь, Серафима. Первая была брюнетка и похожа на своего отца, вторая же уродилась в матушку - блондинкою. Их обеих я очень любил, особенно последнюю. Давно уже скончались они, еще в царствование Николая I.

Первые годы вторичного замужества моей матушки остались у меня в тумане. Кажется, мой вотчим ласкал меня; по крайней мере, я не помню, чтобы он чем-нибудь меня обидел или оскорбил. Впрочем, в моих воспоминаниях о нем ничего не осталось ясного и определенного до той поры, когда его дурное поведение, доходившее до возмутительного бесчинства, повергло матушку в бездну несчастий.

У меня не хватает духу входить в подробности нашего бедственного положения. Мне самому становится до крайности стыдно при одном о них воспоминании и оскорбительно для памяти моей матушки. Вотчим не только пьянствовал, пропадал по целым неделям и возвращался домой как бешеный, но и вконец разорил состояние моей матушки.

Ничто так не скрепляет дружбу, как страдание вдвоем, и в это скорбное, безнадежное время я стал для матушки не только горячо любящим сыном, но и задушевым искренним другом, с которым она вместе страдала и проливала горькие слезы.

Несчастье сильно способствует развитию детей. Будучи только двенадцати лет, я уже чувствовал и поступал как взрослый, когда дело касалось моей злополучной матери. Однажды, зимою 1829-1830 годов, вотчим пропадал без вести недели две, если не больше. В это время матушка родила мне сестрицу Надю. Девочка была хворенькая: ее надобно было поскорее окрестить; я был ее крестным отцом. К вечеру она скончалась, а на другой день вместе с моей нянькой мы повезли ее хоронить на кладбище у той церкви Всех Святых, что виднелась из окна нашей гостиной. Живо помню, как мы с нянькой проезжали далекую снежную равнину по

ухабистой дороге, старательно придерживая на коленях маленький гробик, чтобы он при ухабе как-нибудь не выскользнул из наших рук.

В сентябре месяце 1830 года Пензу постигла небывалая еще в России страшная болезнь - холера. Мой вотчим продолжал вести свою разгульную жизнь и по-прежнему пропадал из дому. Однажды утром привезли его к нам зараженного холерою. Он едва держался на ногах; как сейчас вижу его посинелое лицо, обезображенное судорогами. Тотчас же его перенесли на кровать, а меня матушка немедленно отправила из дому гостить в коротко нам знакомом семействе прокурора фон-Фриксиуса; сама же осталась одна-одинехонька при умирающем, потому что вся прислуга в испуге разбежалась из дому и попряталась кто в кухне, кто во флигеле, а кто в сарае или в конюшне. Целые трое суток тянулась агония умирающего, и матушка ухаживала за ним без посторонней помощи; никто из дворовых не осмеливался ступить ногою в зараженные комнаты, и если ей что нужно было вынести или что взять, она выходила на заднюю галерею и подзывала к себе кого-нибудь из прислуги.

Подробностей о том, как она проводила эти дни и ночи, я от нее никогда не слышал, и решительно не могу представить себе, как доставало ей сил выносить страшное зрелище отвратительных корч, обыкновенно сопровождающих эту моровую язву, и нестерпимое зловоние заразительных извержений. Она покорно и твердо исполняла свой долг и вовремя успела пригласить священника для напутствования Святыми Дарами умирающего, который внушал ей теперь только милосердие и сострадание.

Озлобление и ненависть были чужды ее всепрощающему великодушию, и признавая моего вотчима виновником ее бедствий, она умела сохранить беспристрастие к его родной сестре, не переставая питать к ней дружеское и сердечное расположение, о чем вы сами можете судить из приведенного выше письма ее к Елизавете Романовне Верховцевой. Вообще, в переписке с ней умела она с простодушием и с искреннею откровенностью соединять тонкое чувство деликатности, чтобы не нанести оскорбления, когда речь касалась щекотливых намеков на ее

вторичное замужество.

За год до своей кончины и спустя пять лет по смерти моего вотчима, вот что писала она к его родной сестре, от 4 июня 1835 года:

"Вот, моя родная, что сделало мое безрассудное замужество! Оно отняло у меня решительно все: имя, состояние и даже гигантское, неизносимое бы в лучшей жизни мое здоровье. Голубушка вы моя, не оскорбила ли я вас своим ропотом? Но благоразумие ваше - я знаю - так велико, что вы не оскорбитесь ропотом страдающей женщины".

Тотчас же по смерти моего вотчима будто тяжелая гора свалилась у нас с плеч. Наконец-то мы с матушкойдохнули свободно. Правда, мы очутились в бедности, но скудные остатки разоренного состояния все же давали нам возможность кое-как пробавляться, не впадая в крайнюю нищету, от которой спасала матушка свою семью рассудительной бережливостью. В ее доме водворились по-прежнему спокойствие и добропорядочность. Участие друзей и знакомых радовало ее и подкрепляло ее силы к энергической деятельности; к ней воротилась прежняя ясность бодрого ее нрава; она даже повеселела и опять, как бывало давно, она сделалась центром и душою того маленького общества, которое ее окружало.

Из наших знакомых остановлю ваше внимание только на двух семействах, именно на Меркушовых и фон-Фриксиусах, потому что матушка коротко подружилась с ними не из одной лишь приязни, как со всеми другими, но и в личных интересах моего обучения и вообще образования.

Семейство Меркушовых состояло из матери, вдовы лет сорока с небольшим, из дочери, мне ровесницы, и из сына Василия Филипповича, только что кончившего курс в казанском университете и состоявшего тогда учителем математики в нашей гимназии.

Прокурор Карл Карлович фон-Фриксиус был старик лет 60, имел жену, четырех дочерей, из которых младшей было уже лет 14, и двоих взрослых сыновей. Любил жить весело, угощал хорошими

обедами и устраивал танцевальные вечера. В этом-то семействе гостил я, когда мой вотчим умирал от холеры; сюда же на время переселилась и матушка, пока из нашего дома выкуривали заразу какими-то ядовитыми зельями. Одна из дочерей фон-Фриксиуса, Анна Карловна, вышла замуж за Александра Христофоровича Зоммера, учителя немецкого языка в нашей гимназии, и оставалась навсегда одною из лучших приятельниц моей матушки.

Таким образом, матушка сблизилась и подружилась с двумя преподавателями гимназии, где учился ее сын.

VI

Гимназический курс продолжался тогда только четыре года и состоял из четырех классов, с тремя уроками в день, по два часа на каждый из них, всего шесть часов; два урока до обеда с 8 часов утра и до 12-ти и один после обеда, с 2 до 4-х.

Я поступил в гимназию десяти лет, в 1828 году и оставался в первом классе два года, а окончил курс пятнадцати лет, в 1833 году. Тогда принимали учащихся в университет не моложе шестнадцатилетнего возраста, и мне пришлось по окончании курса пробывать в Пензе целый год, что принесло мне великую пользу, дав мне возможность пополнить пробелы гимназического обучения и подготовиться к университетскому экзамену.

Мы жили близехонько от гимназии: идти обыкновенной ходьбою - каких-нибудь минут пять, а если бежать, как переносятся с места на место гимназисты, - будет не больше двух минут. Это каменное двухэтажное здание, теперь занятое, кажется, уездным училищем, стоит на углу не раз уже упомянутой мною городской площади и Троицкой улицы, насупротив семинарии, которая стоит тоже на углу этой же площади и отлогого спуска к крутому берегу, где был наш дом.

Вход в гимназию посреди фасада, обращенного на площадь, по нескольким ступеням вводил в длинный коридор, разделявший здание на две половины: тотчас же налево была дверь в первый класс с окнами на площадь, а из него дверь во второй с окнами на задний двор. Над этими классами по тому же плану в верхнем

этаже были размещены третий и четвертый, также соединенные дверью. Правая сторона здания внизу была занята двумя квартирами для учителей гимназии: в обращенной на площадь жил Меркушов, а в задней - Зоммер. Над ними в верхнем этаже была актовая зала с библиотекой и физическим кабинетом.

Наш директор, Григорий Абрамович Протопопов, человек пожилой, приземистый и коренастый, бывший прежде преподавателем математики в казанском университете, занимал квартиру не в гимназии, а на Московской улице при уездном училище на дворе в каменном флигеле, с большим тенистым садом назади, выходившем своею стеною на Троицкую улицу, дома за четыре до гимназии. На том же дворе занимала квартиру и Марья Алексеевна Лебедева со своим пансионом, куда некогда я ходил учиться у нее и у Кастора Никифоровича. Что же касается до уездного училища, то оно помещалось в большом двухэтажном каменном доме, выходившем на Московскую улицу. В этом же здании были квартиры для преподавателей училища и гимназии.

Директор Григорий Абрамович ежедневно посещал гимназию, большею частью в утренние часы. Он шел медленным шагом с Московской улицы на площадь, заложивши руки назад с тростию и понутив голову, летом в форменном фраке, а зимой в зеленой бекеше с енотовым воротником, и проходил под окнами первого и третьего классов, чтобы подняться на крыльцо гимназии, так что мы всегда знали о его приближении, и он не мог застать нас врасплох.

Система гимназического обучения согласовалась с продолжительностью двухчасового урока.

Учителю предоставлялось очень подробно и не спеша излагать содержание каждого параграфа в руководстве и заставлять учеников по несколько раз пересказывать это изложение, так что от многократного повторения заданный урок был уже готов к следующему классу без затверживания его на дому. Особенно удавался этот метод в классах математики, логики и риторики. Очень хорошо помню, что мне никогда не приходилось дома готовиться к урокам алгебры и геометрии, и я был из лучших учеников у Василия Филипповича Меркушова. Какой-то учебник

логики и риторика Кошанского были у нас в руках только во время класса, и мы шутя заучивали все, что было нам надобно, со слов преподавателя этих предметов, Насона Петровича Евтропова. В логике забавляли нас различные виды силлогизмов, и мы любили между собою играть в сориты, энтелимы, дилеммы и в разные софизмы, завязывая и распутывая хитросплетенные узлы умозаключений. Точно так же играли мы в так называемые "общие места" и в тропы и фигуры, выдумывая свои собственные примеры для этих терминов.

Двухчасовой урок давал много простора практическим упражнениям. В классах французского и немецкого языков мы сидели больше с пером в руке, нежели за книгою: то писали под диктант, то списывали из хрестоматии, то переводили на русский язык. Учитель латинского языка прочитывал с грамматическим разбором несколько строк из Корнелия Непота или из Саллюстия, и сначала мы переводили на словах, а вслед за тем тут же в классе и письменно, и таким образом вполне облегчалось нам приготовление заданного урока. По латыни мы не шли дальше этих двух писателей. Учителя истории и словесности также упражняли нас постоянно в практических занятиях. В уроках Знаменского (не помню его имени и отчества) мы успели прочесть несколько томов "Истории государства Российского" Карамзина: иногда он сам читал, но обыкновенно - кто-нибудь из учеников, а другие слушали. Вместо истории русской словесности, которой впрочем тогда вовсе и не существовало в ученой литературе, Евтропов читал с нами сам или заставлял читать кого-нибудь из нас произведения писателей как старинных, например, Ломоносова. Державина, Фонвизина, так и особенно новейших, какими тогда были Батюшков, Жуковский, Пушкин; очень любили мы и наш учитель повести Бестужева (Марлинского) за игривость и бойкость слога, испещренного цветистыми украшениями, которые тогда вовсе не казались нам вычурными. На гимназической же скамье узнали мы в первый раз и Гоголя по его "Вечерам на хуторе близ Диканьки". Эти повести читал нам в классе с большим воодушевлением товарищ наш, Татаринов; но они мне тогда не понравились, потому ли, что я не умел войти в обстановку изображаемого в них малороссийского быта, или же потому, что не понимал всей прелести совершенно нового

для меня изящного их стиля.

В ту пору господствовал очень хороший обычай, вызванный и поддерживаемый условиями времени, который много способствовал укреплению нас в правописании и давал обильный материал для выработки нашей речи и слога. Книги были тогда редкостью; они были наперечет; книжной лавки в Пензе не находилось, а когда достанешь у кого-нибудь желаемую книгу, дорожишь ею как диковинкою и перед тем, как воротить ее назад, непременно для себя сделаешь из нее несколько выписок, а иногда и целую повесть или поэму в стихах, не говоря уже о мелких стихотворениях, из которых мы составляли в своих тетрадках, в восьмую долю листа, целые сборники. Таким образом, у каждого из нас была своя рукописная библиотечка.

Эта литературная забава способствовала развитию в нас охоты к сочинительству, которою Евтропов умел пользоваться с успехом, постоянно упражняя нас в письменных работах. Темы для них, разумеется, он давал сам, но иногда позволял нам брать и свои. Сочинения эти мы обыкновенно писали в классе, если они небольшого размера, а более обстоятельные изготовляли на дому.

При этом не могу умолчать об одном курьезном анекдоте, чтобы дать вам понятие о простоте нравов в учебных заведениях того далекого наивного времени. В четвертом классе был у нас один товарищ, по фамилии Озеров, годами двумя старше меня, из хорошей дворянской семьи, серьезный и даровитый. Он написал такое удачное по содержанию и слогу сочинение, что Евтропов не мог довольно им нахвалиться, и для примера и поощрения принес и прочел его в классе ученицам женского пансиона госпожи Ломбар, в котором он давал уроки русской словесности. Девушки пришли в восторг и горели нетерпением взглянуть на автора этого гениального произведения, а дочка содержательницы пансиона, лет пятнадцати, учившаяся вместе с другими ученицами, страстно влюбилась в него заочно. Во что бы то ни стало, а надобно было непременно его увидеть. Пансион был недалеко от гимназии, минут пять, много десять, ходьбы. Надобно было так устроить послеобеденные ежедневные прогулки пансионеров мимо гимназии, чтобы встретить учеников, когда они в четыре часа выходят из классов на улицу. Этот план удался как нельзя лучше, и

Озеров с девицею Ломбар сделались героем и героинею самого интересного для гимназистов и пансионеров романа.

Эти прогулки и встречи продолжались очень не долго; вероятно, в пансионе приняты были надлежащие меры для обуздания страстей и для успокоения умов. Но в наших глазах небывалый успех Озерова сделался предметом соревнования и подражания. Каждому хотелось попасть в герои, и нас обуяла непреодолимая рьяность сочинительства. Каждый питал надежду, что его произведение увенчается такою же наградой от прекрасных ценительниц. У нас в классе производилось настоящее состязание трубадуров, и мы наперерыв рекомендовали свои литературные способности нашему учителю. И я представил ему опыт своего восторженного измышления, но, к великому моему оскорблению, Евтропов не только не одобрил мое писание, но пришел в удивление и много издевался надо мною, как могли мне затесаться в голову такие трескучие фразы с пустозвонными эпитетами, невообразимыми метафорами и с чудовищными гиперболами. Должно быть, в излишнем усердии я перехитрил самого Бестужева-Марлинского и хватил через край. Впрочем, данный мне нагоняй пошел мне впрок: я стал бережливее на красивые словечки и осторожнее в их выборе.

Однако влияние Озерова принесло и свою долю существенной для нас пользы. Невзирая на очевидную взаимность в любви, он чувствовал непреодолимую потребность страдать и терзать себя. Самый лучший способ для воспроизведения над собою этих опытов истязания он нашел в чтении Гётева романа: "Страдания молодого Вертера", разумеется, в русском переводе, изданном в начале нашего столетия, в шестнадцатую долю листа; и все мы, не переставая подражать Озерову, перечитали эту небольшую книжку. Таким образом, еще будучи гимназистом, я познакомился с этим великим произведением Гёте.

Практический метод, обусловливаемый двухчасовым уроком, давал много льготы и учителю, и ученикам, которая могла бы вести к полезным результатам, если бы не была злоупотребляема.

Большую часть времени в гимназии мы проводили сами по себе, так сказать, по методу взаимного обучения, без надлежащего руководства и наблюдения со стороны учителей. Мы

слушали, что один из нас читал, а то и сами читали, каждый про себя, или же что-нибудь списывали, переводили с иностранных языков на русский, изготовляли свои сочинения. Между тем учителя ходили взад и вперед по классу и разговаривали между собою, всегда двое: в нижнем этаже - учителя первого и второго классов, а в верхнем - третьего и четвертого; внизу обыкновенно избирался для прогуливания второй класс, а в верхнем - четвертый. Потому в обоих этих классах наши оригинальные опыты льготного взаимного обучения несколько нарушались хотя бы и пассивным надзором находившихся налицо учителей, которые сновали из стороны в сторону перед нашими скамейками, впрочем, мало обращая на нас внимания.

Любопытное исключение составлял преподаватель физики, минералогии и ботаники, Нил Михайлович Филатов, человек очень образованный и довольно богатый помещик. Искалеченный и хромоногий, он не мог и думать о военной карьере, которой обыкновенно предназначали себя тогдашние молодые люди из зажиточных дворян, но, желая получить чин по выходе из университета, искал себе какую-нибудь приличную и притом самую легкую службу, и не нашел себе ничего лучшего, как быть учителем гимназии. Он был очень добр и ласков с нами, и мы любили его. По своей искалеченности, он не мог забавляться прогулками по классу с своими товарищами и был принужден сидеть за учительским столом перед нашими скамейками. Впрочем, он несколько не мешал нашему взаимному обучению, потому что постоянно был углублен в чтение французских романов. Для нашего развлечения он позволял нам рассматривать разные породы минералов или же делать физические опыты при помощи снарядов и машин, которые тогда приносились в наш класс. От уроков естественной истории остались у меня в памяти только одни разрозненные термины, без всякого смысла тогда задолбленные: излом кварца, поляризация призмы, явнобрачные и тайнобрачные растения и т.п. Впрочем, самое главное о ботанике сообщу вам потом, когда буду рассказывать о наших забавах, увеселениях и загородных прогулках.

Долг справедливости заставляет меня присовокупить, что из числа наших учителей были двое таких, которые в течение всего

двухчасового урока ни на минуту не оставляли нас без своего внимательного надзора и строго исполняли свои обязанности, а именно: во-первых, Зоммер, неукоснительно соблюдавший во всех своих действиях и поступках врожденную его натуре немецкую аккуратность, и, во-вторых, законоучитель, который, без сомнения, находил неприличным достоинству своего духовного звания неуместное праздничное шатание взад и вперед по классу.

Решительно не понимаю, как могло случаться, что директор, являясь в гимназию, ни разу не заставал нас врасплох. Только что появится он у нас перед окнами, тотчас же по всем классам разносится осторожный шепот: "Григорий Абрамович! Григорий Абрамович!" Учителя опрометью спешат, каждый на свое место, ученики наскоро убирают со столов всякий свой хлам и чинно рассаживаются, насторожив глаза и уши. Директор, разумеется, находит все в надлежащем порядке, послушает немножко учителя, у кого-нибудь из нас заглянет в книгу или в тетрадку, одного погладит по головке, а другому для острастки даст выговор. Тем дело и кончалось. Директор уходил, и мы, ученики и учителя, опять принимаемся за свое.

В моей памяти живо сохраняются следы впечатлений, которые ежедневно были производимы на нас такими комическими сценами. Мы видели и понимали укрывательство и фальшь наших наставников, но не замечали ничего предосудительного в их поступках, ничего такого, что могло бы в наших глазах унижить их достоинство. Все это нам нравилось и нас забавляло; мы даже еще больше любили своих учителей, видя в них удобных сообщников нашего веселого времяпровождения в классе, и тем охотнее и услужливее помогали им при каждом неприятельском нашествии, нарушавшем ровное течение наших гимназических порядков.

И как же мы любили свою милую гимназию! В "неурочное" время, то есть, когда не сидели мы смирно на скамьях перед учителем, считали мы ее своею собственностью, которую никто и не думал отнимать у нас, потому что тогда еще не было ни классных надзирателей и наблюдателей, ни инспекторов, ни всякой другой напасти. Было только всего два служителя из солдат, по одному на каждый этаж, но это были свои люди, они нам мирволили, хорошо разумея, в простоте сердца, что "вольному воля": пускай, дескать,

ребятки тешатся. В стены гимназии манили нас резвые наши сходбища для игр и забав; тут же был сборный пункт, откуда направлялись наши увеселительные похождения.

Рано поутру, никак не позже семи часов, вскакивали мы с постели и, наскоро снарядившись, спешили в гимназию учиться и по малой мере за полчаса до начала уроков были уже почти в полном сборе. Надобно вам знать, что тогда не было у нас в Пензе обычая рано поутру поить детей чаем, да и некому было этим распорядиться, потому что старшие в доме еще не вставали. Для утоления нашего голода каждому из нас накануне выдавали они по медному грошу. Подбегая к гимназии, мы покупали себе по довольно объемистой булке у старухи, которая тут же у крыльца ждала нас с своей коробьею, наполненной этим снадобьем, и затем размещались по классам. Таким образом, каждый учебный день начинался у нас товарищескою трапезой.

Через несколько лет потом живо припомнилась мне эта пензенская старушка, когда в первый раз посетил я Лейпцигский университет, в 1839 году. Проходя по длинному коридору, ведущему в аудиторию, я увидел такую же услужливую старушку, но уже немку, в чепчике с широкими оборками, которая у прилавка кормила студентов бутербродами.

По мере того, как мы, переходя из класса в класс, возрастали и развивались физически и нравственно, менялись и наши игры и забавы, улучшались и облагораживались, постепенно переходя от буйной отваги и задорных шалостей к безобидному веселью и приятному препровождению времени.

В нижнем этаже гимназии постоянно господствовало воинственное настроение духа, вызванное и постоянно поддерживаемое непримиримой враждою между первым и вторым классами; раз объявленная война никогда не прекращалась. Образцом военных действий служили для нас кулачные бои, которые по зимам в праздники затевались у слободских мужиков на ледяной поверхности реки Пензы. Мы всегда присутствовали на этих доморощенных турнирах и восхищались молодечеством удалых бойцов; но особенно интересовали нас ряды храбрых мальчишек, которые с криком и гамом геройски предшествовали каждой из

двух вступающих в бой армий. Мы решительно завидовали этим маленьким героям, присматривались к их ухваткам и размахам и горели нетерпением подражать им. Это была хорошая школа для наших военных экзерциций. Поприщем наших неприятельских стычек были двери, которые соединяют и вместе разделяют оба класса. Мы настолько знали историю Греции, что прозвали этот проход нашими Фермопилами. Из подробностей наших подвигов застряла в моей памяти одна, довольно характеристическая. Когда в пылу сражения от натиска врагов иной раз становилось нам плохо, нас выручал из беды один из наших ратников, который пускал тогда в дело изобретенный им самим метательный снаряд. Этот искусный метальщик, по фамилии Беляев, маленький и юркий, до поры до времени прятался в толпе, но лишь наставала опасность - откуда ни возьмется и очутится впереди, мгновенно прижмет указательным перстом правой руки правую ноздрю своего носа, а из левой в тот же момент стрельнет густым потоком прямо в лицо надменному предводителю врагов и залепит ему глаза. Пользуясь наступившею затем минутою смятения в неприятельских рядах, мы вламываемся в Фермопильское ущелье и победоносно вступаем в завоеванное нами государство.

Самое подходящее для наших потех и удовольствий время был двухчасовой промежуток, отделяющий утренние уроки от послеобеденного. Наскоро отобедавши, бегом возвращались мы в гимназию за час, а иногда и за полтора до начала урока. В это время мы обыкновенно затевали разные увеселительные экспедиции, для которых хорошо умели пользоваться гористою местностью Пензы и особенно березового рощею, или так называемым "гуляньем", отстоявшим от гимназии минут на пять, много на десять, для наших прытких ног.

Одною из любимых забав, преимущественно для гимназистов низших классов, было в зимнее время катанье с горы. Надобно было перебежать наискосок по площади к упомянутому уже мною театру Гладкова, чтобы очутиться у большого пустыря, который от площади спускается крутою горою к садам и огородам улицы, тянущейся внизу вдоль уступа, который потом ниспадает к речному берегу. Летом этот спуск был покрыт густою травой, а зимою ровною и гладкою поверхностью снега, который, будучи обращен

на юг, под лучами солнца немножко подтаивал, а за ночь леденел, и по мере того, как напал новый снег и в свою очередь леденел, этот спуск сам собою обращался в нерукотворенную ледяную гору. Когда нужно было кому здесь пробраться с площади вниз или снизу наверх, на левой стороне этого пустыря у плетня была протоптана дорожка. Вот по этой-то ледяной горе мы и катались. Салазок мы не употребляли, да и негде было их взять: мы ведь сбегались из классов гимназии. В своих тулупчиках и капотах мы просто-напросто садились на лед и стремглав катились вниз.

По случаю наших капотов замечу мимоходом, что беззаботная распущенность гимназических нравов облакалась тогда разнокалиберного бесформенностью костюма.

Из потех на катаньях с ледяной горы упомяну вам об одном фокусе, достойном любого клоуна. Был у нас товарищ (фамилии не припомню) с виду карапузик, но лихой головорез и преуморительный шут. Он рассудительно находил, что ёрзая с горы сидючи, как раз прошмыгаешь одежду насквозь; потому из экономии он предпочитал изнашивать свой тулупчик так, чтобы трение по льду доставалось не сиденью только, но равномерно и рукавам, и спине, и обеим полам. В этих видах он ложился поперек спуска горы и, вытянувшись, стремительно катился кубарем вниз; когда же потом он вскакивал, то от головокружения не мог держаться на ногах и валялся на снег, потом опять вскакивал и опять падал, производя эту попытку до тех пор, пока не станет твердо обеими ногами; затем, раскинув обе руки, будто крылья, начинает вертеться волчком, но уже в другую сторону, противоположно той, в которую он скатывался с горы. Это он делал для того, чтобы развинтить свою голову, которая чересчур закрутилась от скатыванья, и сделать ее годною для употребления.

С ранней весны и до поздней осени, за исключением каникул, разгульное приволье нам давала наша милая березовая роща, с теми покрытыми кустарником спусками к кладбищу Боголюбской Божией Матери, о которых я упомянул вам прежде. В течение всего гимназического курса роща эта была немою свидетельницею нашего постепенного физического и нравственного развития и усовершенствования, начиная от детских шалостей и буйных забав мальчишества до благодетельной чинности добропорядочного

юношества, которое и в веселых досугах знает цену времени и умеет соединять приятное с полезным.

Ученики младшего возраста, бывало, со всего разбега гурьбою врываются в рощу и стремглав рассыпаются в разные стороны, оглашая воздух криками, гамом и хохотом; куда ни обернешься, везде кишат резвые бегуны: тот карабкается на дерево, а тот уж высоко сидит верхом на толстом сучке; другой лезет за ним, чтобы стащить его за ногу; там один кувыркается вверх тормашками, упираясь головою в землю, а там двое или трое упражняются в искусстве вертеться колесом, прыгая вбок попеременно обеими руками и обеими ногами. Иные уже затеяли кулачный бой, но не толпою, как в "Фермопилах", не стена на стену, а врассыпную, единоборством: там сражаются две враждебные армии, а здесь производятся опыты в гимнастических упражнениях. Любезное дело - драться на просторе: рука бьет широким размахом, да и бороться льготнее - шлепнешься не на жесткий пол, а на густую траву.

Но вот кипучая рьяность неукротимых молодых сил начинает угмоняться: и руки примахались чуть не до вывиха, и ноги оттоптались, зудят и немеют; жара пронимает насквозь, и в горле у всех пересохло. Одолевает жажда: так и тянет освежиться хоть единым глоточком. Но где добыть пойла? Не знаю, как теперь, а тогда в нашей роще не было ни водоема с фонтаном, ни ключей, ни источников. Но шалуны знают, как помочь горю. Стоит лишь выбрать березу, не старую, не кряковистую, с заматерелою, глубокими морщинами изрытою корою, а такую, чтобы была среднего возраста, с белою и гладкою берестою. Один из товарищей, который поискуснее и ловчее, аккуратно пробуравит перочинным ножичком в той березе довольно глубокое отверстие, так, чтобы из него хлынуло березовым соком. Каждый из нас поочередно прикладывается губами к этому отверстию и высасывает свою порцию этого слащавого пойла, довольствуясь немногими его каплями.

Необузданная юркость туда и сюда мечущейся шаловливой отваги другой раз принимает определенное направление к намеченной цели. Тогда замышляется план и немедленно приводится в действие каким-нибудь ухорским набегом. Например. Со стороны

городской площади подходили тогда сады с куртинами цветов, прямо к нашей роще, отделенные от нее невысокой изгородью. Здесь была всегдашняя приманка для опустошительных погромов. Как стая хищных птиц, маленькие грабители одним взмахом через изгородь набрасываются на куртины, топчут и рвут цветы, кто со стеблями только, а кто вытягивает и с корнем. Последнее предпочиталось, потому что тогда растение можно было пересадить у себя на дому. Время для опасной потехи самое удобное: садовники после обеда в час пополудни отдыхают и спят; впрочем, не всегда благополучно приходилось улизнуть от погони.

Однажды в минуты побега случилась было нешуточная катастрофа, грозившая великою бедою. Меня там не было, и расскажу вам так, как передавали мне товарищи.

При этом я должен заметить мимоходом, что в отчаянных шалостях, доходящих до буйства, я не принимал участия, потому ли, что от природы был опаслив и осторожен, или потому, что раннее обучение в женской школе Марьи Алексеевны Лебедевой, сообщая с девочками, придало моему нраву какую-то мягкость и робкую застенчивость, или же, наконец, и потому, что я безусловно, покорялся, предусмотрительным советам и заботливым внушениям моей милой матушки.

Итак, наши хищники, почуяв погоню, мигом дали тягу и помчались во всю прыть с награбленною добычей. Их было человек пять, в том числе и сам Беляев. Наш отчаянный метальщик совершил в этом побеге геройский подвиг, превосшедший все другие небывалою дерзостью, и спас себя и товарищей от богатырских кулаков гнавшегося за ними по пятам здорового парня. Каждый момент грозил неминуею бедою. Беляев, как самый юркий, разумеется, бежал впереди своих товарищей. Вдруг он повернулся назад и стал как вкопанный, а в правой руке у него длинное растение с мохнатым корнем, запорошенным землею и песком. И только что товарищи промелькнули мимо него, он очутился как раз перед парнем и хватил его корнем прямо в лицо, ослепив ему глаза песком. Ошеломленный парень попятился и бросился в сторону. Тем погоня и кончилась.

Для увеселительных походов были и другие интересы, хотя и

не такого буйного, наезднического характера, но все же далеко не безобидные, всякий раз, как только задорная шаловливость выступит из границ и бьет через край. В мае месяце, когда певчие птички (мы их звали малиновками и пеночками) в своих теплых гнездышках кладут яйца и выводят детенышей, сорванцы направляли свои набеги в густые кустарники на тот изрытый ямами и промоинами крутой спуск, который от "гулянья" ниспадает к кладбищу Боголюбской Божией Матери. Здесь потешались они охотою на певчих птиц.

Врассыпную шныряют они по кустам, забираясь в самую густую, непроходимую их чащу, где добыча вернее, подползают под наклоненные, стелющиеся по земле ветви и, как ищейки, обнюхивают и подслушивают, насторожив уши. Это они выслеживают, не попадется ли гнездышко: птичка свивает его в самой глухой чаще, иная при стволе на том месте, откуда разветвляются сучка два или три, а иная совсем на земле у самого корня дерева, в прошлогодних сухих листьях. Охота ведется в полнейшей тишине и молчании: главная задача не в том, чтобы найти гнездо с яичками или еще лучше с детенышами, но и особенно в том, чтобы накрыть в нем и самоё матку. Последнее было одною мечтою, но первое иногда удавалось, - впрочем, весьма редко. Самые неудачи и трудности в хлопотах о добыче только разжигали стремление к поискам и обостряли соревнование. Счастливицу завидовали, и всякий хотел удостовериться в его находке и непременно совал свой нос в гнездышко, чтобы взглянуть на содержимое в нем. Особенно живо представляется в моей памяти одна подробность, не раз повторявшаяся в этой охоте. Когда взбалмошные мальчуганы, разграбив гнездо, бывало, в триумфе возвращаются с своею добычею, осиротелая матка вслед за ними и около второпях тревожно перепархивает с кустика на кустик, а сама таково жалобно и тоскливо почиливает, как есть - причитает и навзрыд плачет горемычная мать на похоронах своего детища. Потеха разорять птичьи гнезда всегда была мне не по сердцу, да и кое-кому и другим из моих товарищей.

Я уже говорил вам, что эти мальчишеские шалости не могли больше нас привлекать в рощу, когда, перешедши в старший класс, мы начинали чувствовать себя более степенными и

благовоспитанными. Для нас было довольно и тех прогулок, которые предпринимал в ней вместе с нами наш милый учитель, Нил Михайлович Филатов, для практического, наглядного изучения ботаники; но по своей хромоте поспевать за нами он не мог и обыкновенно усаживался на лавочке где-нибудь в тени берез и преспокойно почитывал свой французский роман, а нас отпускал гулять по роще в продолжение всего двухчасового урока, который всегда назначался после обеда. Этого времени было нам вдоволь и для дружеских бесед, и для занимательного, а иногда и полезного чтения, так как каждый из нас приносил с собою какую-нибудь книжку, обыкновенно небольшого формата, чтобы укладывалась в задний карман сюртука. Так прочел я больше половины "Писем русского путешественника", по изданию в 16-ю долю листа, в часы наших ботанических уроков.

Заговорившись с вами не в меру о пустяшных мелочах школьного житья-бытья, наконец-то очень радуюсь, что довел свою речь до более серьезного и существенного. Итак, расскажу вам, что я читал и как понимал прочитанное.

Но сначала я должен познакомить вас с происхождением и составлением книжного запаса, каким я мог располагать. У моей матушки была своя собственная маленькая библиотечка, так сказать, фундаментальная, которая потом изредка и случайно пополнялась новыми изданиями. Она состояла из старинных книг XVIII века и досталась ей по наследству от моего деда и отца, который принадлежал, говоря относительно и в самом умеренном скромном смысле, к образованной молодежи уездного города Керенска. О степени его развитости я могу судить по его товарищам и друзьям, которые десятками лет пережили его и которых я хорошо знал. Это были мой двоюродный дядя, Андрей Сергеевич Сергеев, и помещик Керенского уезда, Иван Асафович Броницкий, сын которого, Александр Иванович, женатый на княжне Енгальчевой, был помощником библиотекаря в библиотеке Московского университета. Когда я учился в гимназии, мы с матушкой часто бывали у моего дяди в Керенске, и я хорошо помню его довольно большую библиотеку, размещенную на полках в двух шкафах, под стеклом. Тут впервые увидел я многотомные издания "Образцовых Сочинений" и "Российской Вивлиофики", а

также "Московский Телеграф" Полевого и "Телескоп" Надеждина.

Книжная и всякая другая образованность и культура переходила тогда и распространялась по уездным и губернским городам из дворянских поместий. Верстах в двадцати от Керенска у дворянского предводителя, Алексея Ивановича Ранцова, была громадная библиотека старинных французских изданий и собрание гравюр в папках. Провинциальный мелкий люд пользовался от богатых помещиков не одними модами и книжною и всякою другою новизною, но и вообще удобствами жизни в удовлетворении своих потребностей более развитого культурного свойства. Так, например, у нас в Пензе была очень искусная кухарка из дворовых, потому что матушка отдавала ее учиться стряпать у поваров одного богатого помещика. Матушка любила музыку и желала, чтобы я выучился играть на гитаре. Фортепианы составляли тогда принадлежность зажиточных дворян, а гитара и небогатым была по карману; к тому же была она тогда и в моде. Учителя на этом инструменте матушка добыла мне тоже из помещичьей усадьбы, отставного арфиста, состоявшего некогда музыкантом в боярском оркестре. Это был высокий, худощавый старичок, очень опрятный и деликатный, в длинном суконном сюртуке синего цвета и в высоком белом галстуке. От той далекой поры засел в моей памяти разученный мною тогда знаменитый дуэт Дон Жуана с Церлиною из оперы Моцарта. Понадобилось матушке учить меня танцам: в Пензу явился один молодой, вертлявый франт, по фамилии Скоробогатов, из балетных плясунов тоже какого-то домашнего театра, и я получил от этого крепостного артиста первые уроки в танцевальном искусстве, впрочем, по мнению матушки, недостаточно удовлетворительные.

Из наследственной библиотечки моей матушки назову сначала книги обиходные, т.е. справочные и настольные.

А именно: "Сонник", содержащий в себе подробное объяснение и толкование всевозможных сновидений; книга "Соломон", с изображенным на первой странице человеческим лицом в кругу, для известного гадания посредством воскового шарика, который бросают на эту фигуру. Потом Брюсов календарь с подробными на каждый месяц характеристиками темперамента, характера и нрава родившихся и с предсказаниями о их судьбе. Брюса почитали тогда

великим чародеем и всезнайкою и верили ему на слово. Матушка не в шутку принимала к сведению мой гороскоп, который находила в его календаре под апрелем месяцем. Далее - "Песенник", толстая книга, в большую осьмушку, от многолетнего употребления сильно затаस्कанный, изорванный и засаленный. Тогда простонародная поэзия еще шла об руку с искусственной или образованною, и в этом издании между народными и полународными, или, точнее, лакейскими и мещанскими песнями матушка отыскивала и бывшие тогда в моде романсы. У нее был хороший голос и музыкальный слух, и она любила за рукодельем сопровождать свою работу пением. Мне доставляет удовольствие припомнить теперь некоторые из ее любимых песенок, может быть, и с ошибками, но именно так, как они остались в моей памяти от того далекого времени.

Среди долины ровных на гладкой высоте
 Цветет, растет высокий дуб
 В могучей красоте...

Взвейся выше, понесися,
 Сизокрылый голубок...

Стонет сизый голубочек,
 Стонет он и день и ночь...

Дубрава шумит, собираются тучи
 На берег зыбучий...

Вечор поздно из лесочка
 Я коров домой гнала...

Всех цветочков боле
 Розу я любил...

На толь, чтобы печали
 В любви нам находить...

Гляжу я безмолвно на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль...

К этому же разряду настольных и справочных книг надобно отнести еще две другие, которых мы с матушкой хотя и не читали, даже не перелистывали для справок, но она берегла их обе в сохранности, как великую драгоценность в память о моем отце, вместе с теми фамильными документами, на которые я уже ссылался, когда упомянул о моем пращуре. Эти книги были: "Уложение царя Алексея Михайловича" и "Екатерининский Наказ". До издания "Свода Законов" подьячие у нас в Керенске пользовались в делопроизводстве этими обоими законодательствами, дополняя их выходившими в течение многих лет правительственными указами. Тот считался хорошим дельцом, кто умел справиться с этою громадною массою отдельных узаконений. Мой отец, как передавали мне дядя Андрей Сергеевич и Броницкий, хотя и умер в молодых годах, но был великий мастер в этом деле.

Пора, однако, обратиться к книгам, которые служили нам не для одних только справок, но и для настоящего чтения, полезного и приятного.

Из самого раннего детства очень хорошо помню я балагурную книжку: "Не любо - не слушай, а лгать не мешай", и презанятный по коловратным запутанностям интриги роман "Английский милорд Георг". С таким обаятельным увлечением наслаждался я этим романом, что он решительно взбаламутил мое воображение и чувства до крайней степени напряженности. И до сих пор живо представляется мне один из кризисов этого раздражения. Дело было вечером при свечах. С сердечным увлечением разделяя горе и радости моего героя, я читал тогда, как он в сладостной надежде на близкое свидание с обожаемой им красавицей вдруг очутился в подземелье захваченный своими врагами. Как раз на этом месте чтение мое было прервано матушкой, которая, вышедши из столовой, позвала меня ужинать. Мы сели за стол вдвоем (обе девочки, мои сестры, в это позднее время обыкновенно уже спали). Только что стали мы ужинать, как я разразился горьким плачем навзрыд. Матушка в испуге бросилась ко мне, спрашивает, что со мною? "Ничего, - отвечаю я, продолжая рыдать и всхлипывать, - теперь уж все прошло: это я укусил себе язык, страх как больно".

Мне уж очень стыдно было перед матушкой признаться в своей плаксивой сентиментальности.

С той же ранней поры я знал о существовании Робинзона Крузэ и Дон-Кишота (так называли тогда Дон-Кихота), с присоединением немногих подробностей о их похождениях; только не помню, откуда получил я эти сведения, - сам ли я читал, или слышал от матушки. Надобно вам знать, что после Ясона Петровича Евтропова она была для меня главной воспитательницей и наставницей в литературе. Большую часть поэтических произведений в стихах и прозе мы читали с нею вместе, попеременно - то она, то я. Матушка особенно любила слушать мое чтение, сидя рядом со мной за рукодельем.

Хотя и увлекалась она сентиментальностями XVIII века, во вкусе Жан-Жака Руссо, Карамзина или князя Долгорукова, но отдавала решительное предпочтение новым веяниям романтизма в произведениях Жуковского, и многие из его баллад знала наизусть и любила их декламировать. Из сентиментальных произведений самую избранную, самую любимую ее книгою, которой никогда не могла начитаться досыта, было собрание стихотворений князя Долгорукова, под чувствительным заглавием "Бытие моего сердца". Никогда не мог я забыть, с какой сердечною искренностью и со слезами на глазах, в минуты тяжелого раздумья, читала она наизусть:

Вот здесь, когда меня не будет,
Вот здесь уляжется мой прах.

В этих стихах князь Долгоруков указывает на то кладбище, где будет он похоронен, а именно Дорогомиловское, около Москвы по Смоленскому шоссе. Не знаю, там ли его могила, но мое заключение основываю на следующем соображении. Еще в 40-50-х годах в Москве на Плющихе, на правой стороне, если идти от Смоленского рынка, резко отличалась от соседних домов одна обширная барская усадьба. К улице выходила она большим широким двором, покрытым в летнюю пору зеленой травой. В углублении двора тянулся длинный одноэтажный деревянный дом, какие бывали у помещиков в деревнях, с двумя подъездами, один на правой стороне, а другой на левой; вдоль окон поднимались

кусты бузины и сирени; по лугу на дворе часто можно было видеть бродящую корову. По ту сторону дома спускается по высокому и крутому берегу Москвы-реки фруктовый сад. Отсюда из окон открывался бесподобный вид на Поклонную гору, а внизу направо на Дорогомиловское кладбище. Дом этот принадлежал поэту князю Долгорукову, и в нем жил он со своим семейством. Из окон кабинета он видел постоянно то кладбище, которое воспел в своих стихах. В течение многих лет, квартируя в переулках около Арбата, я часто гулял по Плющихе и заходил иногда в усадьбу князя Долгорукова, тогда уже опустелую, и всякий раз подолгу любовался широкою панорамною окрестностей Москвы по ту сторону дома, вспоминая заветные стихи. И чудился мне милый голос моей матушки: "Вот здесь, когда меня не будет..."

Из старинных, унаследованных моею матушкою книг я назову еще две; это были "Потерянный рай" Мильтона и "Четыре времени года" Томсона, - первая в большую осьмушку, а вторая в 16-ю долю листа. Ту и другую попеременно читал я в нашей "гимназической роще", как раз в то время, когда Озеров растравлял свое истерзанное сердце "Страданиями молодого Вертера". Этим протестом я думал заявить мое полнейшее равнодушие к соревнованию, а также и решительное презрение к его женоподобным слабостям. Но попытка моя оказалась тщетною, и мне не удалось пустить в моду между товарищами эти достопочтенные, пресловутые произведения.

Мне особенно полюбился перевод "Потерянного рая" торжественным слогом, вместе и высокопарным, и - так сказать - корявым. Впоследствии, лет через тридцать, мне пришлось увидеть экземпляр этого старинного издания в Москве на рынке под Сухаревою башнею. Однажды, пересматривая книжное старье, размещенное букинистом на столе, я услышал за собою скромный, но и внушительный голос: "А нет ли здесь "Потерянного рая"?" Я обернулся и вижу - стоят два молодых парня, с небольшими бородками, в длинных кафтанах, оба такие благообразные, пристойные. Здесь не нашли они своего "Рая" и направились далее к другим столам с книгами; я последовал за ними. Поиски их увенчались успехом, и они с удовольствием заплатили свой полтинник за эту редкую книгу. Удивителен русский народ,

лучшего, что создавалось тогда в русской литературе и впервые выходило в свет на страницах именно этих сборников: и стихотворения Пушкина, и басни Крылова, и, помнится, Жуковского отрывок из перевода "Орлеанской девы", а также и критические обзоры литературы, - кажется, Бестужева, и многое другое. Это была для меня бесподобная хрестоматия современной русской литературы, в высокой степени наставительная, - и столько же плодотворная своим художественным обаянием для моего нравственного совершенствования.

При этом почитаю не лишним сделать одно замечание, чтобы предупредить недоумение, которое, может быть, пришло вам теперь в голову: как позволялось и допускалось тогда, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, распространение изданий декабристов в читающей публике и даже между гимназистами. Вы еще более удивитесь, когда я скажу вам, что в стенах самой гимназии мы читали "Войнаровского" и "Думы" Рылеева и переписывали некоторые из них в тетрадки для своих рукописных собраний. При современном порядке вещей, в конце XIX столетия, конечно, очень трудно, почти невозможно представить себе многое из того, как жилось, думалось и чувствовалось в те старинные времена и в обстановке провинциальной глуши, куда я переношу вас своими воспоминаниями. Тогда никому и в голову не приходило соединять преступные деяния декабристов с их невинными литературными произведениями и еще тем более с такими изданиями их, как книжки "Полярной Звезды", в которых печатали свои новые произведения самые благонамеренные и безукоризненные в нравственном и политическом смысле писатели, как Жуковский, Крылов и многие другие, которых имена вы сами найдете, если вздумаете перелистать "Полярную Звезду". Скажу вам еще вот что. Читая и переписывая "Думы" Рылеева, мы, гимназисты, вовсе и не воображали, что Рылеев государственный преступник, и знать - не знали, что он был казнен. Напротив, он казался нам добрым патриотом, и я до сих пор помню начало его одной думы, которую мы все знали наизусть:

"Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!" -
Сусанину с гневом кричали враги.

Извините, если память обманула меня. За второй стих не ручаюсь.

Сверх того, мы вовсе и не знали, что такое декабристы, а если и слышали это название, то не придавали ему никакого смысла. В то время вообще не принято было говорить о предметах такого рода, даже считалось опасным; а если кому приходилось не только в обществе, но и у себя дома между своими сказать что-либо опасное, отзывающееся грозой, то говорилось шепотом, втихомолку, чтобы не слыхать было не только прислуге, но и детям. Для примера расскажу один случай. В Пензу приехал ревизор, вовсе не знаю, для какой potrzeby и что именно ревизовать. О нем много шушукалось с соблюдением строжайшей тайны, но в этой тихомолке мне не раз звучалось слово "Горголи", должно быть, имя того таинственного обозревателя. Невольно сближая это слово с античною Горгоною или Медузою, я представлял себе этого грозного незнакомца безобразным страшилищем с длинными волосами наподобие змеиных хвостов. Я еще не знал тогда, что в произведениях классического искусства Греции и Рима лицо Горгоны всегда отличается если не полною красотою, то прелестью, которая переходит в отупелое сластолюбие.

Это идиллическое настроение духа в непонимании различия между запрещенным цензурою и дозволенным не могло быть нарушено и тем, что мне привелось тогда познакомиться с одним великим произведением русской литературы по рукописному, а не печатному экземпляру. По принятому в то время обычаю составлять для себя собрание копий с печатных изданий, я полагал в простоте сердца, что и эта рукопись была того же разряда, нисколько не подозревая, что она содержала в себе сочинение, запрещенное для печати. То была комедия Грибоедова "Горе от ума". Дядя Андрей Сергеевич привез ее из Керенска матушке в подарок и сам читал ее нам, как мне тогда казалось, очень искусно и с большим одушевлением, ярко подчеркивая бойкие и занозливые эпиграммы Чацкого и смехотворные пошлости Фамусова, Скалозуба и Молчалина. При этом не могу не заметить, что многие из метких изречений Грибоедова, ставших потом всенародными пословицами, были и тогда уже оценены, подхвачены и разносились повсюду вслед за быстрым распространением копий.

Доказательством тому служит захолустный Керенск, куда попала эта комедия, вероятно, из какой-нибудь барской усадьбы.

Хотя в Пензе не было книжного магазина, как я уже говорил вам, однако немногочисленная, так называемая образованная публика этого укромного губернского города настолько была развита и восприимчива к быстрым успехам русской литературы того православного Пушкинского периода, что мы могли стоять вровень с читателями других более торных и бойких средоточий русской жизни. Например, вам хорошо известно, что "Евгений Онегин" появился в печати не весь вдруг, а выходил постепенно, отдельными главами. Немедленно по отпечатании первой главы этого произведения, распространилась она по нашему городу во множестве экземпляров, из которых один - не знаю, какими судьбами - попал и к нам в виде тоненькой брошюры, в восьмую долю листа - как сейчас вижу - в желтой обертке.

Хорошо помню эту драгоценную брошюру потому, что матушка подарила ее мне, вместе с комедией Грибоедова, для собственной моей библиотеки, которая, по заведенному между моими товарищами обычаю, состояла в рукописных копиях с печатных повестей и стихотворений, как я уже говорил вам об этом. Эта печатная брошюра не была исключением в моем рукописном собрании. Время от времени я обогащал и разнообразил его грошовыми лубочными изданиями забавных повестей и народных сказок с картинками. На эту потребу матушка давала мне изредка по гривеннику или двугривенному, поощряя мое пристрастие к книгам. В последние два года до поступления в университет я мог покупать этот дешевый товар у коробейников и на свои собственные, заработанные мною деньги. Я давал уроки, по одному часу в день, десятилетнему мальчику, сыну Любовцова, состоявшего советником в каком-то присутственном месте; за уроки получал в месяц по десяти рублей ассигнациями, понынешнему три с полтиной, и всегда отдавал эти деньги матушке на хозяйство, и она каждый раз уделяла мне из этой суммы по двугривенному на покупку книжного хлама. Эти рукописные и ксилографические, а по-нашему лубочные, сокровища были у меня в надлежащем порядке помещены на полке, прилаженной к стене в детской комнате. Что же касается до книг моей матушки, то они

сохранялись в длинном ящике, вышиною не более двух четвертей, называемом укладкою, который всегда стоял под кроватью. Вместо полка, держать домашнюю библиотеку в сундуке некогда было в обычае не только у нас, но и на Западе, как привелось мне видеть в кабинете некоего ученого мужа, относящемся к XVI веку, а теперь перенесенном сполна из какого-то монастыря в Зальцбургский исторический музей. Мне припомнилась тогда матушкина укладка. Но я уже слишком далеко увлекся от прерванного мною рассказа о чтении книг. Прошу припомнить: речь шла о новых, как говорится теперь, литературных веяниях, которые полстолетие назад были современными в истории цивилизации города Пензы. Нарасхват переходили тогда из рук в руки романы Загоскина "Юрий Милославский" и "Рославлев". Из таинственных замков, построенных фантазией госпожи Ратклиф, с привидениями, выходцами с того света и с разными другими диковинными похождениями и ухищренными загадками, эти новые русские романы переносили меня на твердую почву родной земли, в обстановку очевидной действительности, в понятия и интересы русской жизни и в ее историю. С тех пор мне ни разу не случилось прочитать ни того, ни другого из этих двух романов, но и теперь любовно припоминаю, как Кирша по глубоким сугробам шагнул на пчельник к колдуну и как потом молодецки умчался на аргамаке. Из "Рославлева" застряли в моей памяти два пункта: во-первых, станция Завидово, куда прискакал на ямских какой-то заливчатский офицер, и во-вторых, с растрепанными волосами в одной рубашке женская фигура, которая диким голосом распевает: "Со святыми упокой". Я стоял тогда уже за исторический роман, который передо мною выводил на чистую воду помутившуюся фантазию моего "Английского милорда", но романа нравоописательного я не взлюбил, может быть, потому, что впервые познакомился с ним по "Ивану Выжигину" Булгарина. Впрочем, прошу вас не приписывать мне чести в прозорливом усмотрении недоброкачественных способностей автора: его навязчиво-поучительный роман был для меня просто скучен и вял. И в какое негодование пришел я, когда в "Библиотеке для Чтения" прочел гнусную, на мой взгляд, выходку барона Брамбеуса, будто бы исторический роман есть незаконнорожденный сын истории и поэзии. Из сказанного видите, что и в Пензе, несмотря на плохое учение в гимназии, я мог кое-как с грехом пополам ориентироваться в серьезных вопросах по теории

словесности.

Я нарочно приберег к концу два таких капитальных произведения, которые и впоследствии оказали на меня заметное влияние в моих ученых работах. Мне случалось не однажды в разное время читать и просматривать то и другое; потому, чтобы не смешать ранних впечатлений моей юности с позднейшими, я не могу в точности указать вам, как и что именно интересовало меня в этих книгах, когда я читал и не раз перечитывал их в Пензе по экземплярам, хранившимся в матушкиной укладке.

Это были, во-первых, "Письмовник" Курганова, толстая книга, в большую осьмушку, и, во-вторых, "Письма русского путешественника" Карамзина, несколько томиков в 16-ю долю листа. С пылким увлечением, интересуясь в высшей степени занимательным для меня чтением того и другого сочинения, я, разумеется, не чувствовал и не мог понять, что оба они предлагали мне богатое и разнообразное содержание из истории европейской литературы чуть не от инкунабул XV века и до конца XVIII столетия. Письмовник Курганова был для меня настоящею энциклопедиею учебного, ученого и литературного содержания, а "Письма русского путешественника" - зеркалом, в котором отразилась вся европейская цивилизация. Карамзин казался мне самым просвещенным человеком в России, представителем той высокой степени развития, до которой она могла достигнуть в то время, наставником и руководителем каждого из русских, кто пожелал бы сделаться человеком образованным. Эту мысль, проверенную мною на себе, когда я был еще гимназистом пятнадцати и шестнадцати лет, высказал я потом с кафедры московского университета в речи на Карамзинском юбилее, которую, если захотите, можете прочесть во второй части "Моих досугов".

Теперь перехожу к повествованию о последнем годе моего пребывания в Пензе по окончании гимназического курса. Для университетского экзамена я должен был пополнить свои скудные сведения и, сверх того, поучиться греческому языку, который тогда в пензенской гимназии не преподавался, но был обязателен для поступающих на филологический факультет, называвшийся тогда словесным отделением философского факультета. Моим

постоянным желанием было сделаться медиком, чтобы обеспечить матушке независимое положение; но она, найдя меня решительно неспособным к изучению анатомии и хирургии, прочила меня и всеми силами содействовала для поступления в филологический факультет и притом именно Московского университета, ставя мне в образец Кастора Никифоровича Лебедева, которого очень уважала и любила. Сверх того, суровым обязанностям врача, по ее мнению, не соответствовали ни мои способности, ни характер.

Потому она озаботилась дать мне хорошего учителя греческого языка, предложив ему у нас в мезонине квартиру за полцены с тем, чтобы он учил меня. Это был Дмитрий Осипович Львов, преподаватель греческого языка в пензенской семинарии, из кандидатов Московской Духовной академии.

Кроме греческого языка, он занимался со мной и латинским. Под его руководством я изучил и с удовольствием вы зубрил наизусть несколько од Горация, по маленькому карманному изданию, предназначавшемуся "ad usum Delphini" (в пользу Дельфины (лат.)). В этой книжке под текстом Горация были помещены краткие комментарии, а на полях против каждого затруднительного и неясного стиха - переложение его в прозу общепонятною, как говорится, кухонного латынью. Таким образом, издание это было мне как раз по силам.

Влияние пензенской семинарии не ограничивалось для меня уроками одного и ее преподавателей. Целая половина флигеля на нашем дворе была отдана внаем семинаристам. Их было человек до десяти из младших и старших классов, которые по главному предмету, преподававшемуся в каждом классе, назывались: грамматика (вместо этимология), синтаксис, риторика, философия и богословие. Помнится, было еще два начальных, так сказать - пригготовительных класса. Семинаристы трех старших классов называли себя риторами, философами и богословами.

Когда я был мальчиком лет до тринадцати, любил проводить время с младшими учениками семинарии. Поприщем для забав был наш двор и сад с огромным огородом. В зимнее время по снегам этого огорода мы вперегонку скользили на лыжах, а то выкапывали для себя в сугробах медвежьи берлоги и уютно укрывались в них от

вьюги и согревались, как нам казалось, в трескучий мороз. В летнее время играли в бабки, которые в Пензе назывались "кознами", и особенно соревновались друг перед дружкой приобретением наилучшей "битки", т.е. такой бабки, которою сшибают с кону обыкновенные "козны", поставленные на кону в один или в несколько рядов. Хорошая битка должна быть велика размером и тяжела, для чего и наливается обыкновенно свинцом. Такою биткою гордился ее владелец. В летнее же время мы любили валяться в сене на сеновале или же сидеть у его широкого отверстия над воротами сарая и твердить уроки. К вечеру на закате солнца - живо помню - с каким интересом ожидали мы возвращения из леса посланных матушкою людей за какой-нибудь хозяйственной надобностью. То кучер Левонтий въедет во двор с возом скошенной им за городом травы, и мы помогаем ему разметывать ее по двору для просушки, а между тем отыскиваем в траве сочные и вкусные стволы шкерды и дягиля; то бабы вернутся из лесу с телегой, доверху наполненной груздями и рыжиками, а нас одевают лесными гостинцами - пучками костяники, клубники или ежевики.

Рассказываю вам всю эту дребедень для того, чтобы дать вам понятие о том, какие впечатления соединяются в моем воображении с дорогими воспоминаниями о нашей пензенской усадьбе.

Если с семинаристами младших классов я делил свои игры и забавы, то риторы и философы нашего надворного флигеля приносили мне существенную пользу, расширяя круг моих гимназических сведений. Они познакомили меня с двумя руководствами на латинском языке, принятыми тогда в семинарии. Это были: Риторика Бургия и Философия Баумейстера. Русские учебники, по которым я проходил риторику и логику в гимназии, достаточно подготовили меня к понимаю обоих семинарских руководств, которые сверх того были мне полезны как практическое упражнение в латинском языке.

Тогда я был очень заинтересован философиею: "philosophisch gesinnt" ("философски настроенный" (нем.)), как говорят немцы. Случайно увидел я у Дмитрия Осиповича Львова рукописные лекции Голубинского, впоследствии знаменитого профессора

философии в Московской Духовной академии; выпросил их у своего наставника и стал читать их с живейшим увлечением, но едва ли с толком. Меня особенно занимало философское учение о я и не-я, а также о пространстве и времени, и о бесконечном. Передам вам, сколько помню, какие делал я над собою опыты для наглядного уразумения философских терминов я и не-я. Например: ум - мой, чувство - мое, рука - моя, но это все не есть я, то есть не-я: что же такое есть это загадочное, неуловимое я? Давай посмотретья в зеркало: вот и лицо с глазами и носом, и грудь, и руки, и ноги, и весь я - все это не-я: таким образом, оба эти термина начинают спотыкаться и перепутываться в моей голове, а я все смотрю на себя в зеркало: и мое лицо кажется уже не моим, а чужим, и руки кажутся чужими, и весь являюсь я для себя чужим; это уж не я, а мой страшный двойник. В испуге я трясую головой, махаю над нею обеими руками, будто гоню из нее дьявольское наваждение, и бегу стремглав от своего страшного двойника на волю, под открытое небо. Что же касается до философии о пространстве и времени и о бесконечном, то в ней обращал на себя мое внимание вопрос о бесконечном. Я ухищрялся разрешить его себе также путем наглядности. Для времени я брал настоящую минуту и от нее вел самого себя и назад, в беспредельное прошедшее, и вперед в беспредельное будущее; то же делал и для пространства, исходя от того пункта, где сижу или стою, и также направляясь мысленно назад и вперед в бесконечную даль. Мне очень понятно и ясно представлялась возможность вечно идти вперед или вечно вперед жить до бесконечности и в бесконечности; но когда мысли мои обращались назад для пространства и времени, я никак не мог представить себе вразумительно и наглядно ни беспредельности, ни безначальности и становился в тупик, а чем сильнее напрягал свои мысли и воображение, тем глубже тонул в потемках своей философской путаницы. Этот умозрительный кошмар сильно меня озадачивал тогда и потому засел клином в моей памяти.

Моею охотою философствовать Дмитрий Осипович удачно воспользовался для практических упражнений в латинском языке. Он читал со мною Баумейстера и из прочитанного и объясненного делал мне вопросы по-латыни, и я должен был отвечать ему на том же языке. К этому надобно прибавить, что и содержание од

Горация, упрощенное прозаическим переводом, давало ему повод говорить со мною по-латыни. С благодарностью воспоминал я эти беседы, будучи студентом третьего курса, когда Дмитрий Львович Крюков читал нам римские древности на латинском языке и на экзамене требовал от нас ответов по-латыни.

Из этого рассказа о моем школьном обучении вы видите, что оно состояло из двух периодов: из гимназического и семинарского. Оба они были организованы и приведены в стройный порядок предусмотрительными заботами и бдительным попечением моей матушки. Вот почему с живейшею признательностью всегда воспоминал я и теперь воспоминаю вместе с вами о моем школьном обучении. Оно пробудило во мне любовь к науке, которая потом навсегда сделалась предметом и целью всей моей жизни.

VII

После этого длинного эпизода перехожу к письмам, которые матушка писала ко мне из Пензы в Москву в течение двух лет, от августа 1834 г. до мая 1836 г. У меня сохранилось их до 30. Предлагаю из них следующие выдержки.

"79-го августа 1834 г. Друг мой Феденька! Письмо твое меня утешило тем, что ты привыкаешь к одиночеству на чужбине. Ты пишешь, что ты писал ко мне прежде этого письма и отправил 8-го августа, а я ничего не получала, даже и известия, хотя бы от извозчика, который вас возил; но он не приезжал. Напиши все ко мне: почем нанял квартиру, и что заплатил извозчику, и много ли у тебя осталось денег. Хозяйский чай не пей. а свой всегда пей: это дешевле и лучше. Не мори себя, покупай на завтрак белый хлеб, ты любишь его: кушай, - мы себе откажем в лакомстве: нас много, мы и черный будем есть; он у нас сделался в половину дешевле. Ради Бога, не сиди убийственно за своим приготовлением к университету, ты уморишь себя да и не одного себя".

"21-го августа 1834 г. Первое письмо твое в дурном расположении духа писано. Что делать! Имей терпение. Это есть первое горе в твоей жизни, и ты так дурно его выносишь. Молись милосердному Создателю. Мне предчувствие говорит, что ты будешь счастлив за

бедствия мои. Ты мне не сказал, был ли ты у Иверской Божией Матери и святых мощей; если не был, то, пожалуйста, сходи и помолись им, что должно бы быть первым твоим выходом с квартиры. Я не получила на этой почте от тебя письма, - не сроптала. Пиши, покуда не переменится твоя судьба, всякую почту. Ты говоришь, что дорого за квартиру платишь. Нельзя дешевле этого. Я рада, что не дороже. Напиши, как вас содержат, какие кушанья и кто белье моет. Не мори себя; верно, у вас на квартире только обед и ужин, а ты захочешь еще покушать: покупай. У вас хорошие сайки и вообще белый хлеб".

"28-го августа 1834 г. Ты меня пугаешь своей грустью и страхом, что тебя не примут в университет. Что делать! Ты не с тем ехал, что имел верную надежду, чтобы тебя приняли. Мы и дома с тобой рассуждали, что это нам будет тяжело. Год, который ты должен быть вольным слушателем, Господь милостив, Он даст нам средства не умереть с голоду. Не горюй, мой милый! Обними меня своими твердыми руками; поцелуй меня, как друга и мать. Мне тоже не легко: обстоятельства мои опять худы... Пиши ко мне обо всем, что ты чувствуешь и что с тобою случится во время экзамена. Наталья Васильевна мне пишет, что ты ласков к ним и просил, чтобы они тебя перекрестили на экзамен. Это меня радует. Будь всегда хорош, мой друг, утешь меня: это одна моя отрада в этой гибельной для меня жизни".

"11-го сентября 1834 г. Обними меня, милый мой студент! Поздравляю тебя, мой голубчик! Целую тебя. Господи! Как мы все обрадовались, что ты принят. Я это услышала в первый раз на Рождество Богородицы. Мне сказали Яворского дети*, и я сделалась, как безумная: плачу, молюсь, смеюсь, целую их; потом пришла в себя и не хотела верить до тех пор, пока письмо твое мне скажет. И теперь нет сомнения: мы с тобою счастливы, мой друг. Одно остается - просить на казенное содержание, но Господь милостив. Ты пишешь, что тебе и обещали. Но одно остается мне - молить Господа, чтобы ты не изменился в своих правилах, - и тогда я счастлива".

* О Яворском см. ниже, в письмах от 8 января 1835 г.

"2-го октября 1834 г. Здорово, друг мой, Федюша! Расцелуй меня, голубчик мой! Как бы посмотрела я на тебя в новом твоём чине и в новом жилище! Поздравляю тебя с этим счастьем, и себя поздравила и благодарила Господа за Его к нам милость, точно неожиданную по строгостям. Друг мой. ради Господа и бедственности твоей матери, веди себя так, как я привыкла тебя знать и помнить".

При этом письме приложены две записки от моих пензенских учителей, одна от Александра Христофоровича Зоммера, а другая от Дмитрия Осиповича Львова, в ответ на мои письма. Помещаю их здесь обе.

"Поздравляю вас от души, любезнейший Федор Иванович, с благополучным окончанием экзамена вашего. Зная вашу нравственность и прилежание, твердо уверен, что вы и на окончательном поприще вашего просвещения будете столь же счастливы, как и на первоначальном. Утешайте меня и впредь, хотя изредка, вашим приятным уведомлением; сим вы обяжете преданнейшего вам - А. Зоммер".

"Любезный мой Федор Иванович. Ваши блестящие успехи в вашем предприятии меня очень радуют и подают надежду еще на большие. Благодарю искренно вас и за память ко мне, и за желание мне доброго. Желаемого и вам желаю получить; с сим чувством и моим к вам почтением есть любящий вас - Д. Львов".

"16-го октября 1834 г. Только, милый мой Федюша, я было успокоилась: ты писал мне, что ты уже переходишь в университет жить; письмо твое от 1-го октября меня потрясло. Я боюсь, что ты не поступишь в число казенных воспитанников. Денег 20 рублей ассигнациями тебе посылаю сполна. Пожалуйста, на книги меньше употребляй. Я знаю, что казенным воспитанникам не только книги, даже карандаши и бумага даются казенные. А если книги покупать, ты знаешь наше состояние, а на книги надобно много денег.

Если можно из этих денег что-нибудь употребить на книги, то на

самые необходимые и недорогие. Рада, мой друг, что ты знаком с такими значительными людьми и образованными, только прошу тебя ни с кем из них не дружить. Ты поехал в Москву с хорошей нравственностью, и это в глазах добрых и честных людей ценится лучше графства и княжества. Береги себя в тех правилах, которые утешали меня. Кастору Никифоровичу поклонись от меня и скажи ему мою искреннюю благодарность за приветствие тебя. Вот, дружок мой, ты узнал горе и нужду. В письме твоём говоришь о себе: "нет беднее меня". Горько слышать это матери. Куда девалось твоё благословение бедности? Ты меня часто утешал и говаривал, что я не умею нести своей участи с терпением. Это потому, что не тебя касались мои горькие обстоятельства".

"17-го ноября 1834 г. Знаешь ли, как ты меня огорчил своим молчанием? Я все придумала худшее с тобою, а больше всего, что ты болен, или уже нет тебя па свете. Но сейчас письмо твоё получила, и оно сделало радостное волнение во всем доме. Дети кричат: "Письмо от братца!" Андрюша* прыгает, крича: "Письмо от Федора!" Одна я молчу и верно больше всех чувствую. Пожалуйста, мой друг, пиши, хотя недели через три, если через две не можешь. Денег я тебе послала 20 рублей ассигнациями, ещё октября 15-го или 16-го числа. Я не понимаю, как так долго ты их не получил. Я как приехала из Керенска, то с первою же почтою их послала. Надобности твои для меня очень уважительны, и я скорей откажу себе во всем необходимом, нежели милому моему Федору. Письмо твоё меня очень обрадовало, что ты теперь под надзором лучшего родителя, благодетеля сирот, нашего милостивейшего монарха. Да продлит Господь ему многие лета за милости до нас, сирот. Молись за него больше, нежели за меня. Он облегчил мою участь и дал тебе образование. Я бы хотела взглянуть на тебя в твоём новом костюме. Я думаю, что ты ещё вырос. Мне нравится и я даже благодарю тебя, что ты учишься ещё танцевать: это ведь тоже полезно в обществе... Ты пишешь, что грустишь. Это оттого, я думаю, что и я имею эту слабость. Хоть и журю сама себя часто, но все-таки не исправляюсь. Расцелуй, мой друг, меня... Поклонись милому моему Кастору Никифоровичу и скажи ему мою безграничную благодарность за тебя".

* Мой дядя.

"27-го ноября 1834 г. Не знаю, милый дружок, и не пойму твоего невнимания, почему ты редко пишешь. Письмо твое ведь писано октября 21-го, последнее, которое я получила. Неужели целый месяц ты не нашел времени мне писать? Это не хорошо, мой друг. Если бы я не уверена была в тебе, то могла бы усомниться, подумав, что ты теперь можешь жить без моей помощи, и потому не хочешь беспокоить себя перепиской. Но я знаю тебя, и потому-то мне мудрено твое молчание. Дядя пишет тоже ко мне, что он писал и тебе, и не получил ответа. И Никифоровы пишут ему, что ты у них не был, и он не знает, на что подумать. Сделай милость, умей ценить к себе расположение. Сходи к Капитолине Яковлевне Никифоровой, тебя там очень обласкают, и напиши к Андрею Сергеевичу. Я ужасаюсь за тебя. Ради Господа, береги себя и не будь опрометчив к дружеству, а в московском университете это ужасно: слухи, убийственные для матерей, имеющих сыновьев в оном. Там необузданная молодежь* не умеет ценить благодеяний нашего милостивейшего, незабвенного, благодетельного монарха. Друг мой, умоляю тебя ради всех моих бедствий: помни милости отца нашего государя, молись за него, а связи с товарищами ничего не могут дать тебе хорошего, кроме поселять неблагодарность к тому, что должно чтить, как святыню. Все-таки умоляю тебя, не имей дружества: оно опасно и кроме зла ничего не приносит. Убегай всего, кроме твоих занятий, а знакомства с товарищами меня ужасают. Мне часто приходит в голову, что я тебя потеряла. Пожалей, милый мой Федюша, меня. Я все уже испытала бедствия, а это меня убьет. Любовцовы** тебе кланяются. Озеров*** принять в казанский университет; он по юридическому факультету, живет у профессора. Пиши ко мне; не забывай, что твои письма радуют меня, даже все семейство оживотворяется от твоего письма. Федюша! Мне хочется видеть тебя и без тебя. Попроси Аполлона****, чтобы он утешил глупость матери: он хорошо рисует - нарисовал бы твой портрет, если захочешь меня этим одолжить. Помнишь, как Лопатин***** удачно карандашом с тебя скопировал. Душенька, похлопочи, а если

* Это намек на Полежаева, Герцена и др.
** В этом семействе я давал уроки, будучи гимназистом.
*** Тот гимназист, который познакомил своих товарищей с Гётевым "Вертером".
**** Т.е. Аполлона Ильича Верховцева.
***** Молодой человек из помещиков нашей губернии.

Аполлон не может, то кто из товарищей, или какой бедняк сделает нам это за безделицу. Ты этим меня утетишь. А величины портрет чтобы был с эту бумажку; она вырезана по медальону".

"20-го декабря 1834 г. Друг мой! Каково, мой милый, должно быть твое восхищение, когда ты узнаешь, через кого получишь это письмо. Да, мой голубчик, почтенная, добрая, милая Марфа Андреевна* уехала от меня. Эта потеря для меня была не очень чувствительна, если бы она не в Москву поехала. Вот как Господь милостив до нас с тобою. Ты думал, что в Москве не найдешь души знакомой: ан явились и благодетели, милые, добрые родные, нет - больше этого. Я знаю тебя, что ты тоже умеешь ценить, всегдашнее помня ее доброе расположение, и потому не для чего напоминать тебе, чтобы ты, как к родным, в свободное время ходил к Владыкиным. Я уверена в них, что и тебя, не как чужого для их чувств, примут. Писать не могу больше, потому что не очень здорова".

* Владыкина.

"1-го января 1835 г. Друг мой! Ты ропщешь на меня и думаешь, что я сержусь на тебя. Нет, милый, ты меня очень утешил своим послушанием. Письмо твое с тою почтою, также и к дяде, я получила. Оно меня утетило и обрадовало. Милый мой, обними меня, мой добрый и послушный сын! Я молчала оттого, что была больна. Две недели, как я в постели; убийственные ревматизмы меня опять посетили. День Рождества Господня, не знаю, как прошел. Нынче лучше. Вот и рука может марать. Не беспокойся

теперь обо мне. А ты оскорбляешься, что я прошу тебя беречь свои правила. Нет, милый, не оскорбляйся: я не думаю, чтобы они изменились, но сообщества я боюсь, а ты уверил, что не имеешь его, - и я покойна. Не обижай меня и не избирай поверенных. Я горжусь правилами моего сына. Одна молодость твоя меня иногда ужасает. К Никифоровым ходи. Они пишут и брату, что очень тебя полюбили, и особенно этот молодой Зиновей Иванович* тебя очень полюбил. Не теряй этого знакомства. Обними меня, мое сокровище! утешь меня бесценной любовью".

* Никифоров, сын Капитолины Яковлевой.

"8-го января 1835 г. Я думаю, милый мой Федюша, ты уже знал, как я встретила праздник и Новый Год. Тебя, мой друг, благодарю, много благодарю, что ты писал ко мне это время всякую почту. Это меня утешало. Нынче я, слава Богу, сижу и могу пройтись по своей спальне; на Крещение в гостиной сидела и видела крестный ход. Слаба еще очень, но ужасные ревматизмы не много уже беспокоят. Лечил меня нынче почтенный Яворский*. Как жаль мне его: он переведен в Москву. Кому-то лечить меня без ничего? Я рада, что ты весело провел праздник и с милыми, добрыми родными. Мне досадно, что ты праздником не был у Никифоровых. Если этому мешал все мундир, то я уже начинаю сердиться на мундир и, право, советую тебе любить вицмундир лучше мундира, которого у тебя нет, и будь доволен тем, что есть. Сходи к Никифоровым нынче и извинись, почему не мог быть праздником; будь откровенен, ходи к ним. Этим угодишь дяде, да и для тебя не дурно. Напиши, имел ли ты хоть маленький случай потанцевать в Москве, и что твое ученье танцев, - продолжается или нет? Да и где твое имущество, взятое из дому? Напиши мне. Дают ли казенные носочки? И что и чего тебе дали? Напиши, это не тяжело тебе, а мне знать необходимо надобно, а иначе я не сумею, как пещись о тебе. Устала я, Федюша, прости, обними меня, мой милый, и поцелуй. Благословение Господне над тобой. Дети тебе кланяются и целуют. Софья очень хорошо учится, читает прекрасно. Она часто для меня читает, когда я сама устану. Софья - милая девочка и трудолюбивая. Она мало

нынче играет: или учится, или работает, или мне что читает. Это меня восхищает: я с ней, как бывало с тобою, советуемся и разговариваем.

* Главный врач в Пензе, человек очень богатый и наш добрый знакомый. Разумеется, лечил всех нас даром (см. в письме 11-го сентября 1834 г.).

А Серафима? Ах, Серафима! Она меня пугает, то такая беззаботная голова. Она, кажется, о земном нисколько не заботится, учится - и это все машинально. Читает ужасно еще дурно. Когда учитель ей подпишет в аттестате: "хорошо", я спрашиваю ее, за что ей хорошо подписали? Она говорит: "Не знаю, что ему вздумалось это написать", и пойдет к учителю, спрашивает его: "За что вы мне подписали: "хорошо"?" Я училась дурно, а вы вздумали подписать мне "хорошо"?" И вот ее чудесное правило. Софья тебя целует и обнимает, тоже и Серафима целует тебя. Вчерась и нынче замучила она меня, велела написать: долго ли, говорит, мне его ждать? Я соскучилась. Неужели до Святой недели он еще не приедет? И даже сердится за это на тебя. Нянька тебе кланяется".

"22-го января 1835 г. Здоровье мое очень медленно, но, слава Богу, поправляется. Голубчик мой, ты пишешь, что грустишь о родине и о нас. Это потому, что мое, изнуренное болезнью и горестью, бедное сердце тоскует и весть дает отлетелому твоему детскому сердчишку. Да, Федюша, наше свидание неизвестно: проклятая бедность! ты всему виною. Я хожу по комнатам, но не знаю, кажется, я всю зиму не почую свежего, зимнего, морозного воздуха. У меня сколько постояльцев и какие, ты хотел знать. Кажется, ты писал мне когда-то. Первый Дмитрий Осипович*, и к нему на той неделе приехал Павел Осипович, его брат, а в детской, или кабинете - и как бы эту комнату назвать, в которую ход из лакейской и из девичьей - квартирует недавно приехавший из московской академии инспектор здешней семинарии на всем столе, а в зале поденно кто-нибудь приезжий из Керенска".

* Учитель семинарии, с которым я занимался по-гречески и по-латыни.

"2-го июля 1835 г. Сейчас получила письмо твое. Как весело, как радостно! Ты портрет свой прислал, и я увижу твое изображение, увижу моего Федора, моего милого студента, мое утешение. Но не знаю, скоро ли посылку принесут с почты. Ты меня, много, очень много обрадовал. Расцелуй меня: да, я скоро буду целовать твое изображение. Брат* мне сказал, что я могу ехать с ним в Москву; но я боюсь, чтобы это как не переменилось. Я так несчастлива, что все, что бы ни задумала для пользы своей, или обратится мне во вред, или вовсе не удастся. Я писала тебе, что у меня будут выгодные постояльцы. Это я хлопотала о казенных мальчишках. И добрый Платон Филиппович** обещал мне, что их непременно ко мне поставят. Но он уехал, а губернатор отказал мне в этом. И верно тебе определено снять тяжесть судьбы, давившей меня так сильно столько лет".

* Андрей Сергеевич Сергеев.
** Советник Любовцов.

"16-го июля 1835 г. Я очень тебе благодарна, мой друг, за портрет. Расцелуй меня, мой милый. Но мало, кажется, похож на тебя, особенно нос. Неужели год так чудесно переменил тебя? Да и волосы совсем почти темные, а ты уехал, имея светло-русые. Но я смотрю на него, воображаю тебя. Все-таки, мой милый, как ты меня обрадовал этим подарком! Я думаю, он тебе дорого стоит*, да и книга Сонечкина тоже для тебя не дешева. Скажи, мой друг, после таких издержек не обеднел ли ты? Соня очень обрадовалась книге; говорит всем, что ей братец подарил. Ты не пишешь, как нашел французское письмецо Софьи. Я думаю, много ошибок; зато она сама сочиняла и писала. Ах, Федюша, как тяжело для матери, когда ее дитя учат из жалости! Мадам Софьина, Дюбют, ужасного характера, и я много, очень много от нее испытала. Она - как сильно очарует при первом с ней свидании, так вдвое разочарует в продолжение знакомства. Но если бы она не занималась несколько

минут с Софьей, то давно бы я кончила с нею знакомство. Это нестерпимая эгоистка, ужасная педантка, и к тому же ужасный характер. И я для пользы своего детища поклоняюсь этому беснующемуся идолу. Тяжело, очень тяжело, ну, как не сказать: о бедность проклятая! Горе жить с тобою. - Друг мой, ты просишь моего согласия, учиться ли тебе на этот год еще двум языкам. Ты знаешь мое правило: я не терплю того, чтобы браться за многое и ни в одном не усовершенствоваться. По-моему, лучше советую тебе заниматься тем, что преподают по твоему отделению, и в том усовершенствоваться. Но если ты имеешь столько желания и времени, чтобы еще учиться двум языкам, то лучше английскому и итальянскому, нежели арабскому и персидскому. Я советую лучше первым двум, а впрочем, как ты хочешь; ты в этом лучше знаешь, да и то больше меня помнишь, что восточная словесность основательнее преподается в Казанском университете, нежели в Московском**. Ты пишешь, что через год мы будем вместе, т.е. в Пензе с тобой. Точно, я все силы употреблю, чтобы это сделать. А как бы я хотела побывать у тебя, мое сокровище, взглянуть на тебя, поговорить с тобою, обнять тебя".

* Портрет писан акварелью на слоновой кости не дорогим, но порядочным живописцем. Я был тогда при деньгах, потому что, по рекомендации Степана Ивановича Клименкова, давал уроки в одном богатом семействе.
** Тогда восточное отделение было только в одном Казанском университете, славившееся знаменитыми преподавателями. Потом было оно переведено вместе с профессорами из Казанского университета в Петербургский.

VIII

Опасаясь нарушить порядок моих студенческих занятий и желая сколько возможно больше провести время вместе со мною, моя матушка выбрала для поездки в Москву рождественские праздники. Она приехала ко мне в половине декабря 1835 г., оставалась со мною до конца января 1836 г., и все это время гостила у Марфы Андреевны Владыкиной, которая квартировала, как вам уже известно, в Зубове, у Неопалимой Купины. На все время этих праздников, продолжавшихся для университета около

трех недель, и я из своего студенческого номера перебрался к Владыкиным, чтобы пожить с матушкой, как жилось нам, говорилось и чувствовалось в Пензе. Разумеется, и в будничные дни лекций я улучал себе каждый возможный час и шел к ней в Зубово с своими тетрадками и книжками.

Когда я представляю себе все эти дни и недели сполна и огулом, мне мерещится смутная путаница святочных вечеров у Владыкиных и Верховцевых, с знакомыми гостями и с незнакомыми наезжими посетителями в масках и разнокалиберных костюмах, с играми в фанты и со всевозможными святочными гаданиями, потом ложа Большого театра с пением тенора Бантышева: "Уж как веет ветерок" - в "Аскольдовой могиле", с роковыми словами Мочалова: "Быть или не быть - вот в чем вопрос" - в "Гамлете", потом... но всего не перечтешь. В этом перепутанном клубке всяких подробностей с оторванными концами я не умею отыскать нити, по которой в последовательном порядке я мог бы рассказать вам, как день за день проводили мы с матушкой все это время. Да и вообще взаимные чувства матери и сына после долгой разлуки и в краткий срок желанной встречи трудно поддаются описанию, по крайней мере мне не по силам.

Из того, что неотвязчиво копышится в моей памяти и ярко всплывает в воображении, сообщу вам следующие три эпизода.

Во-первых, в один из долгих зимних вечеров в маленькой комнатке мезонина, у Неопалимой Купины, сижу я за столом и пишу, составляя лекцию по черновым наброскам, наскоро начерченным каракулями со слов профессора. То была лекция Михаила Петровича Погодина. О чем была она, я решительно забыл, но живо и ясно помню и до сих пор те душевные волнения, которые в тот вечер я перечувствовал. Я один-одинехонек, около меня тихо, - и снаружи, в глухом переулке, и внутри по комнатам мезонина; все домашние собрались внизу, может быть, с гостями; там же и матушка. А я сижу себе и по складам разбираю свои мудреные иероглифы, и из каждой каракульной черточки, будто из музыкальной ноты, извлекаю себе по словечку, и каждое словечко звучит в моих ушах голосом самого профессора, как он произнес его мне на лекции. Вдруг входит матушка, я оставляю работу и начинается разговор. Ей интересно знать, что я пишу, и я подробно

рассказываю ей содержание всей лекции, будто профессору на экзамене, и чем больше она заинтересовывается, тем сильнее я одушевляюсь, и из роли студента перехожу в роль Михаила Петровича, которого и тогда я уже так полюбил. Матушка слушает и смотрит на меня, любит, и, наконец, не вытерпела - расхохоталась, обнимает меня и целует. Ей и радостно, и уж очень смешно, как ее милый сынок корчит из себя ученого мужа и профессора. Вот вам первый опыт, которым я дебютировал свое призвание на университетскую кафедру, и первым лицом из всех моих слушателей и слушательниц была моя матушка.

Второй эпизод - в нашем студенческом номере казенного общежития, около трех часов пополудни. Пообедав, мы только что вернулись из столовой. В комнате толкотня, какая бывает обыкновенно, когда только что войдут в нее несколько человек и никто не успеет еще приняться за свое дело. Вдруг между нами является моя матушка. Она поджидала нашего возвращения в прихожей, ведущей в коридор, и вошла вслед за нами. Она намеренно назначила себе этот час, чтобы не помешать нашим занятиям и вместе с тем взять меня с собою на весь вечер в Зубово. Мне известно было ее намерение посетить наш номер, но я не знал наверное, когда именно будет оно ею исполнено. Появление дамы в стенах нашего студенческого общежития было такою необычайностью, что поступок моей матушки в течение всего четырехлетнего моего пребывания в этих стенах оказался единственным исключением. Ласково приветствуя моих товарищей, она выразила опасение, не помешала ли она и извиняла себя тем, что желала увидеть своими глазами, где и как живет ее сын, и лично познакомиться с его товарищами, о которых она так много хорошего от него наслышалась. В ответ на эти приветливые слова стеснительная принужденность моих товарищей, вызванная этою непривычною случайностью, заменилась услужливою вежливостью: кто снимает с нее салоп и кладет на диван, кто принимает от нее скинутый ею с головы капор, кто придвигает ей стул к моему столику, чтобы сесть ей рядом со мною. Находясь в таком исключительном положении между своими товарищами, я был чрезвычайно взволнован, и разумеется, не могу теперь припомнить ни слова из беседы, которую вела матушка со мною и с моими товарищами. Желая знать все, что касается меня, она

должна была непременно увидеть, какие вещи и как берегутся у меня в ящике и на нижних полочках моего столика. Товарищи помогали мне вытаскивать оттуда бумагу, перья, носовые платки, книги. Между ними было карманное издание сочинений Шиллера в нескольких томиках, которое я приобрел на вырученные уроками деньги. При этом матушка говорила товарищам, что знанием немецкого языка я обязан пензенскому учителю Зоммеру, и присовокупила, что, воротившись из Москвы домой, как порадует она его, рассказав ему обо всем этом. Она не ограничилась посещением номера. Ей необходимо было видеть Степана Ивановича Клименкова и жену его Ольгу Семеновну, чтобы поблагодарить их за их внимание и ласку ко мне. К ним из нашего номера вниз проводил ее Еленев, уже знакомый вам из моих рассказов.

Это посещение университета моею матушкою принесло мне великую пользу, внушив убеждение и товарищам моим, и непосредственному, ближайшему начальству, что сын такой рассудительной и заботливой матери не может сделаться дурным человеком.

Третий эпизод - самый коротенький. Матушка уезжает от меня из Москвы. Я ее провожаю. Сижу рядом с нею в крытых санях. Из Зубова, направляясь к Рогожской заставе, мы ехали, вероятно, по Пречистенке, потому что очутились на набережной Москвы-реки у Тайницких ворот кремлевской стены. Только это одно и помню. Здесь мы должны были расстаться. Прощаясь со мною, она благословила меня последний раз на этом свете. В трудные и горькие минуты жизни всегда укрепляло, спасало и утешало меня это последнее ее благословение.

Задолго до поездки моей матушки в Москву, еще в июле 1835 г., я писал к ней о моем решительном намерении в течение года от уроков скопить себе столько денег, чтобы на следующее лето 1836 г. я мог побывать у ней в Пензе. Вот что отвечала она в письме от 6 августа 1835 г.

"Ты угадал, мой друг Федюша, что очень обрадуешь меня. Да и как не радоваться нам, мой друг: твое счастье - и мое тут же, твоя радость - и моя вместе. Господь услышал наши малые молитвы, и я

начинаю чувствовать радость для меня еще новую. Я вами маленькими только любовалась и радовалась, смотря на вас; но теперь моя радость большую от той имеет разницу. Мой сын один, уже без опоры слабой руки матери, живет целый год, и о нем я слышу радостные, лестные, усладительные для матери известия. Обними меня, расцелуй, мой милый, за все то, что я о тебе слышу. Ты заслуживаешь, если бы можно, удесятить мою любовь к тебе; но любовь моя к тебе сильна и возвыситься уже не может больше... В саду у нас яблоков довольно. Как досадно, что не можешь ничем пользоваться. Ну, зато, если Богу угодно будет, чтобы ты был на будущий год, тебе, я думаю, всякое кислое яблоко с своей яблони будет тогда казаться вкуснее московских персиков. Да, мой друг, мне очень хочется, чтобы ты был на будущий год в Пензе. Боюсь загадывать. Но если не будешь - нет, непременно ты должен быть у нас. Да и не так тяжел будет проезд. Вас много там: если троим ехать, то очень дешево будет, и особенно когда ты сам будешь хлопотать, чтобы легче сделать для меня твой переезд к нам".

Летом 1836 г. я приехал в Пензу и не застал уже моей матушки в живых. Она скончалась, заразившись горячкою от одной своей приятельницы, за которою неусыпно ухаживала несколько дней до самой ее смерти. Как жила на земле, так и отошла в вечность моя матушка, принося себя в жертву милосердию и состраданию к ближним.

IX

В своих воспоминаниях о студенчестве я остановился на самом главном, и существенном, именно - на университетском преподавании, которым пользовался я в течение четырехлетнего курса, с 1834 г. по 1838 г. Сначала надобно сказать несколько слов об аудиториях, где слушали мы лекции. Первые два года они были в старом здании университета, и для словесного отделения - те самые две залы, о которых я уже говорил вам в начале моих воспоминаний, т.е. одна, где производился наш вступительный экзамен, и другая, под нею, где читал нам лекцию Шевырев, когда несчастный студент бросился из окна карцера на землю. Последняя назначалась для первого курса, а первая - для двух старших (студентов четвертого курса тогда еще не было). В 1835 г. было

окончено перестройкою новое здание университета, и последние два года мы слушали лекции уже в нем. Нам дана была большая словесная аудитория, именно та самая, в которой потом в течение многих лет и я, будучи профессором, читал лекции своим слушателям.

Сколько всего было тогда в университете студентов, наверное сказать не могу, чтобы не ошибиться в целой сотне, а считались они в то время еще не тысячами, как теперь, а только сотнями. Вы сами можете назвать приблизительную цифру вот по какой смете. На лекциях богословия первые курсы всех четырех факультетов свободно могли уместиться в упомянутой выше словесной аудитории первого курса нашего отделения, и студенты всегда были налицо почти в полном их составе, потому что протоиерей Петр Матвеевич Терновский строго взыскивал со студентов посещение его лекций, каждый раз заставляя того или другого из нас пересказать, что было читано в прошедший раз, отсутствующего же отмечал в своем списке. Не забудьте при этом, что только с нашего поколения студентов началась надбавка еще одного годового курса на каждый факультет. Таким образом, когда мы перешли на четвертый курс, число студентов увеличилось, а через год и еще прибавилось, когда медики перешли на пятый курс. Не помню, в котором году, предписано было закрыть в Москве Медицинскую академию, помещавшуюся в зданиях клиники, что на углу Рождественки и Кузнецкого Моста. Она упраздняялась, кажется, не вдруг, а постепенно, начиная с низших курсов, и по мере того ежегодно пребывал лишний наплыв слушателей в медицинский факультет университета и вместе с тем умножалось число студентов. Впрочем, все это совершилось, когда мы уже кончили курс.

Несмотря на однообразие мундирной формы, общий состав студентов отличался большею разрозненностью от того сплошного уровня, какой представляет теперь студенческая корпорация. Наглядное доказательство этому можете составить вы сами, когда я познакомлю вас с формою печатных студенческих списков по всем четырем факультетам. Каждый список разделялся на три рубрики, с особым заглавием для каждой. Первая рубрика: казеннокоштные студенты, вторая -своекоштные студенты и третья - слушатели.

Обратите внимание: в последней рубрике уже "не студенты", а только "слушатели", но это не то, что теперь называется "вольными слушателями": лица этой рубрики имеют право носить студенческий мундир и ходить на лекции, но студентами быть не могут потому, что с этим званием соединен известный чин, а они по закону не могли иметь на него права, потому что принадлежали к податному сословию и числились в нем до тех пор, пока не выдержат окончательного экзамена. Таким образом, мещанин или купец (за исключением почетного гражданина) только с приобретением звания действительного студента или кандидата получал увольнение из податного сословия и уравнивался в правах со всеми своими товарищами по университету. Впрочем, и то сказать, что между "податными" слушателями были больше мещане, так как купцы, по крайней мере у нас в Москве, смотрели тогда на университет недоверчиво и косо и даже боялись его для своих сыновей, чтобы они в студентах не "обофицерились". - Сверх того, отделение казеннокоштных студентов под особую рубрику от своекоштных постоянно бросалось в глаза и университетскому начальству, и профессорам, и самим студентам и невольно напоминало о контрасте между неимущими и имущими, или, по крайней мере, между бедными и богатыми. Согласно такому порядку вещей, само собою приходилось и в рубрике своекоштных отличать разночинцев от столбовых дворян и вообще незнатных от знатных.

Этому делению по сословиям и состоянию соответствовало и яркое различие, и пестрота в костюмах, когда мы все явились на вступительный экзамен и потом в течение некоторого времени, пока мы еще не успели нарядиться в студенческий вицмундир. На бедняках из разночинцев и мещан по большей части сюртуки разных покроев и всевозможных цветов: кто в длиннополом и широком, сшитом на рост или с чужого плеча, кто в коротеньком и узком, засаленном, надтреснутом по швам, с явными признаками, что напяливший на себя эту оболочку давно уже вырос из нее и руками, и ногами, и всем-корпусом. Богатые и знатные - в черных курточках и непременно в голландских широких воротничках, спускающихся на плечи, гладких и белых, как снег, и потому мелькавших светлыми пятнами по серому фону остальной толпы.

Пущему нарушению уровня вступающих в университет помогало значительное их различие по летам и возрасту: мальчикам-гимназистам (тогда у них формы не было) и подросткам в курточках годились бы чуть не в отцы совершеннолетние богословы, которые по окончании курса в семинарии, вместо дьяконства и священничества, избирали себе университетскую науку.

Ко всему сказанному я должен прибавить об одной характеристической особенности, которою резко отличались от всех прочих своих товарищей некоторые из студентов высшего сословия. Таких было в нашей аудитории человек пять-шесть. В течение всего первого года каждый из них являлся в университет в сопровождении своего гувернера или воспитателя, который оставался тут же в аудитории на всех лекциях. Эти спутники своих питомцев помещались не на скамьях вместе со студентами, а на стульях по обеим сторонам кафедры. В полуденную смену, в промежуток между лекциями, столпившись у окна близ кафедры, они завтракали, вынимая из кармана куски белого хлеба. Этот, по теперешнему странный и невозможный, обычай тьюторского надзирательства никому из нас не бросался в глаза своею неуместностью; он был в порядке вещей, когда дозволялось поступать в университет без аттестата "зрелости", и забота родителей о своих несовершеннолетних студентах казалась тогда делом самым естественным и необходимым. Я нарочно медлю на этой оригинальной особенности, чтобы дать вам почувствовать атмосферу тогдашнего университета, ввести вас в его обстановку, столь необычайную для теперешних нравов. Эти охранительные проводники студентов в аудиториях, неудобопонятные и немыслимые в конце XIX века, требуют для своего объяснения стольких же комментариев, как Виргилий, которого Дант взял себе тоже в проводники, когда заблудился в дремучем лесу на пути своей жизни.

Вы не осудите меня в педантской выходке за это сравнение, когда узнаете, что в числе приставников, поневоле дежуривших на лекциях при своих питомцах, находился один человек, который вполне заслуживает этого сравнения по неукоснительному исполнению высокого призвания быть руководителем и охраною

своего собственного сына, еще мальчика шестнадцати лет, вступавшего теперь на новое и великое поприще науки и жизни. Это был Федор Васильевич Самарин, отец поступившего вместе с нами в университет, по словесному отделению, Юрия Федоровича, впоследствии знаменитого государственного деятеля по освобождению крестьян.

Приступая теперь к перечню некоторых из моих университетских товарищей своекоштного разряда, начну с Юрия Федоровича.

В то время богатые и знатные дворяне приготавливали своих сыновей к вступительному в университет экзамену у себя дома, и не только в своих поместьях, но и в самой Москве, где тогда был очень хороший дворянский институт; впрочем, он предназначался для дворян средней руки и ограниченных средств. В гимназиях по преимуществу учились дети горожан и местных чиновников и, как вы уже знаете, приобретали очень скудные познания, которые не могли удовлетворять требованиям образованных людей из высшего дворянства. Этим объясняется настоятельная потребность того времени учреждать в благовоспитанных зажиточных семействах сколько возможно полные и правильные домашние школы для своих детей с надлежащим количеством воспитателей и наставников. Такая домашняя школа, примерная и образцовая, процветала в Москве более двадцати пяти лет в семействе Федора Васильевича Самарина, начиная с детства Юрия Федоровича и потом по мере возрастания его пятерых братьев. Это домашнее учебное заведение оставило по себе самые светлые из моих воспоминаний о старинной Москве, потому что я сам лично принимал в нем участие много лет сряду в качестве наставника и экзаменатора, и мог вполне оценить высокие достоинства отца семейства, когда он с сердечным рвением, а вместе и с неукоснительною точностью и примерным благоразумием исполнял обязанности директора и инспектора своей родной школы.

На летнее время эта образцовая школа из московского дома Самариных, находившегося на углу Тверской и Газетного переулка, переносилась в их имение Измалково, отстоящее от Москвы в двадцати верстах по смоленской дороге, и обучение в ней без всякого перерыва и в том же порядке шло. как и в Москве. Экипаж,

запряженный четвернею, с пунктуальной точностью часов и минут, ежедневно доставлял учителей из города в деревню и отвозил назад. Радужие и приветливая угодливость, с какими Федор Васильевич там принимал нас, своих сотрудников по школе, теперь в моих воспоминаниях получают какую-то мечтательную, поэтическую окраску, благодаря одному семейному преданию, которое, вероятно, займет видное место в фамильной хронике Самариных. Будучи женихом, Федор Васильевич подарил своей невесте, Софье Юрьевне (урожденной Нелединской-Мелецкой) очень богатое ожерелье. В течение всего первого года их супружества Софье Юрьевне ни разу не привелось надеть на себя эту драгоценность, и она предложила своему мужу дать этому заветному подарку другой и более полезный для нее вид, купивши на цену ожерелья подмосковную деревню, и таким образом было приобретено Измалково.

Чтобы дать вам понятие о предусмотрительности и благоразумной сметливости Федора Васильевича в выборе наставников для Юрия Федоровича, достаточно будет сказать, что эта домашняя школа при самом начале своем дала Московскому университету двух преподавателей, из которых один был гувернером Юрия Федоровича, именно - Пако, впоследствии лектор французского языка, а другой - его учителем латинского и русского языков, логики и словесности - магистр Московской Духовной академии, а потом профессор эстетики, Николай Иванович Надеждин.

Когда мы с Пако были товарищами по преподаванию в филологическом факультете Московского университета, он много интересного рассказывал мне о фамилии Самариных из того далекого времени, когда Юрий Федорович был еще мальчиком, и, между прочим, сообщил мне один прелюбопытный анекдот, который по своей исторической значительности должен занять место в моих воспоминаниях, если только он не был уже напечатан где-нибудь прежде.

Во второй половине двадцатых годов нашего столетия Самарины находились в Риме. Однажды Софья Юрьевна с детьми поехала кататься в коляске, запряженной парой лошадей. При ней в экипаже были Юрий Федорович с своим гувернером Пако и двухлетний Миша на руках у няньки (он давным-давно помер

чахоткою, вскоре по окончании университетского курса). Прогулка была направлена к базилике Maria Maggiore, и экипаж, обогнув по площади эту церковь, въехал в длинную и прямую улицу, упирающуюся в площадь базилики Иоанна Латеранского.

В то время улица эта была одна из самых глухих и пустынных, между огородами и виноградниками, от которых с обеих сторон отделялась она непрерывно тянувшимися высокими каменными стенами, которые кое-где перемежались воротами. На всем ее протяжении, с обеих же сторон, шли широкие тротуары, отделенные от проезжей дороги высокими и развесистыми деревьями, которые в солнечный день манили гуляющих под свою освежительную тень. И папа Григорий XVI любил прогуливаться пешком по этой улице, запросто одетый в свою белую рясу монахов грегорианского ордена. Осенью 1840 года именно здесь привелось мне с ним встретиться. Я шел в тени по тротуару; вдруг очутился передо мною каноник в черной рясе и приглашает меня сойти с тротуара на середину улицы, потому что навстречу мне пойдет под деревьями сам папа. Вышедши на дорогу, я остановился, чтобы ходьбою не сократить себе времени для рассмотрения Его Святейшества в наибольшей подробности. Между тем, опережая меня, стремились навстречу святому отцу благочестивые итальянцы, человека два-три становились на колени и преклоняли голову, а он осенял их крестным знаменем. Когда он стал подходить ближе, передо мною очутился англичанин и, размахивая обеими руками и подняв надменно голову, прошел мимо папы, даже не снимая шляпы. Меня покорило от этой дерзкой невежливости, и я обрадовался случаю заткнуть за пояс британское нахальство. Когда Григорий XVI поравнялся со мною, я мгновенно решил показать ему, что я не католик, но человек благовоспитанный. Я стоял на ногах, не тронувшись с места, и, обнажив свою голову, поклонился ему в пояс, как кланяются коронованным особам, а он любезно приветствовал меня общепринятым у итальянцев жестом, слегка помахивая правой рукою, на манер того, как дамы обвевают свое лицо опахалом. Только что успел я воротиться с середины проезжей дороги на тротуар, как ко мне подошел тот же папский слуга и вежливо спросил, кто я такой? - "Русский из Москвы, студент Московского университета". - отвечал я. - Знай, дескать, наших. Но извините,

римские воспоминания далеко увлекли меня, и я немножко заболтался. Мы оставили Самариных, когда они только что повернули с площади Maria Maggiore в ту пустынную улицу (как она называется, теперь не припомню). Проехав несколько минут, Софья Юрьевна, желая пройтись в тени деревьев, вышла из коляски, а за нею и Пако с Юрием Федоровичем; но ребенок, покоясь на коленях няньки, так увлечен был удовольствием кататься на лошадях, что расплакался, когда его хотели взять с собою. Надобно было оставить его с нянькою в экипаже. Таким образом, Софья Юрьевна с своей маленькой свитою шла по тротуару, а рядом по дороге тихонько тащилась коляска. Вдруг из ворот выскочил осел с двумя корзинками по обоим бокам и заверещал благим матом; лошади шарахнулись в сторону, а потом во весь опор помчались вперед вдоль по улице. Пако, ошеломленный внезапностью переполоха, мог мне припомнить из этих мгновений тревоги и отчаяния только то, как несчастная мать, обезумев от ужаса, стремглав бросилась вслед за уносящимся от нее ребенком, как она не раз спотыкалась и падала и все не уставала бежать. Но только что коляска домчалась до площади Иоанна Латеранского, Пако, постоянно вперяя свои взоры вдаль, вдруг заметил, как мелькнула какая-то фигура около взбесившихся лошадей, и они мгновенно остановились. Когда все трое добежали до спасенного от гибели Миши вместе с нянькою и экипажем, они увидели красивого молодого человека, щегольски одетого и в светлых перчатках, который держал под уздцы обеих лошадей. Это был Луи-Наполеон, будущий император французов.

Теперь от фамилии Самариных перехожу к обещанному уже мною коротенькому перечню тех из своекоштных студентов моего времени, с которыми тогда или потом, много лет спустя, приводилось мне вступать в более или менее близкие отношения. Все они были только из двух факультетов - филологического и юридического; что же касается до своекоштных медиков и математиков, то из них ни с кем вовсе не был я даже и знаком. Начну с филологов, следуя алфавитному порядку.

Андре, Александр Александрович. Учился в первой московской гимназии. Между нами, студентами, был самый прилежный и во всем исполнительный; считался одним из лучших знатоков

латинского языка и пользовался особым расположением Дмитрия Львовича Крюкова, нашего профессора римской словесности. Большую часть своей трудовой жизни был директором коммерческого училища в Москве.

Бецкий, Иван Егорович. По окончании университетского курса несколько лет служил где-то в провинции, потом уж очень давно переселился во Флоренцию, где и живет безвыездно больше тридцати лет престарелым холостяком во дворце Спинелли-Трубецкой, на улице Гибеллини, т.е. во дворце, принадлежавшем некогда старинной итальянской фамилии Спинелли, а теперь - князьям Трубецким. Весною 1875 г. провел я целый месяц во Флоренции и чуть не каждый день видался с Бецким, возобновляя и освежая в памяти наше далекое, старинное студенческое товарищество, и тем легче было мне молодеть и студенчествовать вместе с ним, что он, проведя почти полстолетия вдали от родины, как бы застыл и окаменел в тех наивных, юношеских взглядах и понятиях о русской литературе и науке, какие были у нас в ходу, когда в аудитории мы слушали лекции Давыдова, Шевырева и Погодина. Этот милый монументально-окаменелый студент у себя дома в громадном кабинете забавляется откармливанием певчих птишек, которых развел многое-множество в глубокой амбразуре всего окна, завесивши его сеткою. А когда он прогуливается по улицам Флоренции, постоянно держит в памяти свою дорогую Москву, отыскивая и приобретая для нее у букинистов и антиквариеров разные подарки и гостинцы, в виде старинных гравюр и курьезных для истории быта рисунков, и время от времени пересылает их в Московский Публичный и Румянцевский музей.

Бычков, Афанасий Федорович. Директор Императорской Публичной библиотеки в настоящее время первый знаток славянорусских рукописных и старопечатных памятников.

Катков, Михаил Никифорович. Знаменитый публицист и редактор "Московских Ведомостей" и "Русского Вестника". Сначала был профессором философии в Московском университете, а впоследствии - директором основанного им вместе с Леонтьевым лица цесаревича Николая.

Кудрявцев, Петр Николаевич. Даровитый литератор и такой

замечательный профессор всеобщей истории в Московском университете, что сам Грановский, его учитель, отдавал ему перед собою первенство. Кудрявцева увидал я в первый раз не в аудитории, а в нашем казенном номере, и - как сейчас вижу - с повязанным по щеке белым платком: у него болели зубы. Он пришел тогда к своему товарищу по курсу, Сергею Дмитриевичу Шестакову, которого потом всегда считал самым близким из своих немногих друзей.

Князь Мещерский, Борис Васильевич. В течение многих лет был губернским предводителем дворянства в Твери; кое-какие подробности о его студенчестве расскажу вам потом.

Панов, Василий Иванович. Он был моложе меня по курсу годами двумя, и потому в ту пору я мало его знал, но зимою 1840-1841 гг. сошелся с ним товарищески в Риме, и потом мы были с ним хорошими приятелями и в Москве, о чем разные подробности сообщу вам в свое время.

Филимонов, Александр Иванович. Попечитель граф Строганов отличил его еще между студентами и впоследствии взял к себе на службу правителем канцелярии Московского учебного округа.

Эмин. Имени и отчества его не припомню, потому что познакомился с ним и изредка встречался, когда он был уже профессором армянского языка в Лазаревском институте восточных языков. В ученой литературе он приобрел себе почетную известность своими работами по истории, литературе и древностям Армении.

Теперь из своекоштных студентов по юридическому факультету:

Граф Делянов, Иван Давыдович. Министр народного просвещения. Кончил курс первым кандидатом в обновленном при попечителе графе Строганове юридическом факультете. Попов, Александр Николаевич. По окончании курса держал экзамен на магистра и написал диссертацию о "Русской Правде", потом занимал видное место на службе в Петербурге. На студенческой скамье я его не знал, но после сошелся и подружился с ним через графа Александра Сергеевича Строганова, с которым он был в самых

близких товарищеских отношениях, о чем расскажу вам некоторые подробности, где следует.

Граф Строганов, Александр Сергеевич, тот самый, о котором сейчас было упомянуто. Его отец, граф Сергей Григорьевич, ничем не мог лучше и полнее выразить своего доверия, уважения и любви к Московскому университету, как тем, что, немедленно по вступлении в должность попечителя, он отдал в него учиться своего старшего сына и наследника огромного майората, даже рискуя впасть в немилость у государя Николая Павловича, который очень не жаловал студентов.

Князь Черкасский. Известный государственный деятель, особенно прославившийся своими административными качествами в Болгарии по освобождении ее от турецкого ига. В студенчестве я не был с ним знаком, да и после того очень редко с ним встречался, потому не знаю ни имени его ни отчества; но живо представляю его себе и теперь в студенческом мундире по одному случаю, который крепко застрял в моей памяти. Когда помощник попечителя, Дмитрий Павлович Голохвастов, женился на Новосильцевой, то взял себе в шафера именно этого самого князя Черкасского. Бракосочетание совершалось в церкви Иоанна Богослова на Тверском бульваре, около большого каменного дома Голохвастовых, в углублении обширного двора, с двумя каменными же корпусами, выходящими с обеих сторон к бульвару. Теперь он принадлежит какому-то богатому промышленнику. Мы, студенты, сгорая любопытством видеть собственными глазами одного из своих товарищей в великом почете, с венцом в руке над головою нашего грозного принцепала, собрались гурьбою и переполнили всю церковь. Для порядку шнырял между нами один из субинспекторов. Церемония происходила в летние сумерки, но еще засветло. Из растворенных окон виднелась сплошная толпа любопытствующих; между ними мелькали и студенческие вицмундиры. Вдруг оттуда раздалось пение петухов - в публике произошло движение; субинспектор засуетился и бросился вон из церкви; я и стоящие около меня товарищи перепугались до смерти, почуяв беду: ну, как это закричал петухом кто-нибудь из наших, да попадется - что тогда будет! Но дело обошлось благополучно: субинспектор воротился к нам, и петухи замолкли. Не раз после

этого мне виделось во сне, будто меня отдают в солдаты, а в ушах раздаётся "кукареку".

Должно быть, в одно время со мною слушали лекции в Московском университете на младших курсах будущие профессора: Соловьев, Леонтьев, Кавелин и Калачев, но я их решительно не помню студентами.

Наше студенчество от 1834-го по 1838 г. было настоящею эрою, которая отделяет древний период истории Московского университета от нового, и, как нарочно, это была именно самая середина нашего четырехгодичного курса. По ту сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а по эту сторону - новое здание университета, отмеченное и на его фронте 1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров, только что воротившихся из-за границы, где обучались, каждый по своей специальности, а одновременно с ними вместе явился и новый, тоже молодой (всего сорока лет), попечитель Московского учебного округа, граф Сергей Григорьевич Строганов, тогда еще свитский генерал, с серебряными эполетами и такими же аксельбантами, а потом генерал-адъютант, один из немногих любимцев Николая Павловича и его ровесник по годам, а при новом попечителе и новый инспектор, наш возлюбленный Платон Степанович Нахимов, в амуниции моряка, по чину капитан второго ранга.

После двухлетнего гнета под ферулою Дмитрия Павловича Голохвастова, мы, студенты 1834 года, могли вполне оценить и радостно почувствовать на себе самих благотворную силу обновления во всем строе университетской жизни. Предшественник графа Строганова, князь Сергей Михайлович Голицын, знаменитый и первый вельможа в Москве и тоже любимец императора Николая, был человек решительно добрый и благотворительный, но, странное дело, ровно ничего для университета не делал, а вполне предоставлял Голохвастову делать все, что угодно. Он даже будто вовсе и не любил университета, и при нас в течение двух лет ни разу не был в аудиториях на лекции; только однажды посетил он нашу казенную столовую во время

обеда, прошелся взад и вперед между столами и, закинув голову, смотрел по верхам в потолок, на студентов же вовсе ни на кого и не взглянул. Граф же Строганов чуть не каждый день посещал лекции профессоров и внимательно слушал каждую с начала до конца, никогда не оскорбляя профессора преждевременным выходом из аудитории; а во время переходных и выпускных экзаменов любил знакомиться с успехами и способностями экзаменуемых студентов и с особенным вниманием и участием следил за теми из них, которые были уже у него на примете по дарованиям и прилежанию. Таких он прочил для будущего их назначения в профессора или в учителя, как например, Соловьева, Каткова, Селина. Кудрявцева, Шестакова, Кавелина, Ершова, Давыдова, Авилова. Столько же следил он и за преподаванием в гимназии, и, присутствуя на уроках, знакомился с учителями и с даровитейшими из учеников, из которых многие и потом всегда пользовались его вниманием и покровительством, как например, Басистое, ученик второй московской гимназии, впоследствии известный педагог и литератор, или Михаил Илиодорович Ляпин, из самого первого выпуска учеников по реальному отделению третьей московской гимназии. Этого, как специалиста, приготовленного к практической промышленной деятельности, граф взял к себе на частную службу в качестве комиссионера по сбыту железа из строгановских заводов. Впоследствии Ляпин стал известен всей Москве учрежденными им в его домах бесплатными квартирами для студентов и вообще для бедных людей.

Граф не оставлял без внимания и низших школ и, посещая их время от времени, лично наблюдал за успехами преподавателей, а иногда и учеников, с которыми любил разговаривать, чтобы знакомиться с их способностями. Вот один анекдот, который он сам рассказывал мне. Однажды в каком-то приходском училище он был на уроке из катехизиса. Дело шло о едином Господе Боге в трех ипостасях. Законоучитель вызвал одного ученика лет семи повторить сказанное и объясненное. Мальчуган, с серьезною и спокойною миною, не стесняясь присутствием начальства, медленно и твердым голосом передал учение о Боге Отце, о Боге Сыне и о Святом Духе. Граф, заинтересованный даровитым мальчиком, спросил его: "Ну, а как же ты сам понимаешь, что такое Святой Дух?" Мальчик подумал и, не торопясь, отвечал: "Птица". "Какая же птица?" -

воздерживаясь от улыбки, спросил граф. Мальчуган опять подумал и также медленно проговорил: "Курица". С трудом преодолевая себя, чтобы не расхохотаться, граф серьезно и ласково спросил его: "Почему же ты это знаешь, мой милый?" - "А потому, - отвечал тот немедленно и с уверенностью, - что сам видел на образе в церкви".

"Этот ответ, - присовокупил граф к своему рассказу, - окончательно убедил меня в даровитости и в сметливой находчивости семилетнего ребенка. Действительно, на старинных иконах символический голубь не летит с распростертыми крыльями, а стоит смиренно, подобрав и прижавши их к себе, и кажется как есть дворовую птицею, если намалеван неумелою рукою сельского иконописца".

В первый же год своего попечительства граф Строганов оказал великую услугу народному просвещению, примирив государя императора с Московским университетом, который он не переставал держать в опале со времени печальной истории, окончившейся солдатчиною Полежаева и ссылкой Герцена. Николай Павлович называл наш университет волчьим гнездом, и когда случалось ему проезжать мимо него, долго оставался в дурном расположении духа. Потому надобно признать за особую его милость к графу Строганову, что он соблаговолил посетить вместе с ним Московский университет и именно казеннокоштное общежитие. Не знаю, как в других номерах, но в нашем попечитель представил государю всех нас до одного, особенно рекомендуя некоторых по успешным занятиям в той или другой специальности филологического факультета. Хорошо помню, что Шестаков (Сергий Дмитриевич), будущий профессор римской словесности, был рекомендован ему как отличный латинист.

Граф Строганов непременно должен был в скорейшем времени снискать расположение царя к Московскому университету, чтобы оправдать в его глазах помещение своего собственного сына в корпорацию студентов, которая до того времени была заподозрена правительством. Акт примирения верховной власти с университетским преподаванием блистательно завершен был все милостивейшим решением государя Николая Павловича послать своего собственного сына и наследника цесаревича Александра Николаевича в Московский университет - слушать лекции

анатомии и физиологии у профессора Эйнброта. Этот курс лекций состоялся по зиме того же года и был читан специально для цесаревича и его немногочисленной свиты, в одной из зал старого здания университета, направо от ворот.

В этой свите находился и поэт Жуковский. Я тогда видел его в первый и последний раз в большой словесной аудитории нового здания, на лекции Степана Петровича Шевырева о греческих лириках и в особенности о Пиндаре и Анакреоне. От этой лекции осталась в моей памяти одна курьезная подробность. Вошедши в аудиторию вместе с профессором, Жуковский не сел на кресло у кафедры, а направился к передней скамье и как раз к тому ее краю, на котором сидел я. Надобно вам сказать, что у наших скамеек для каждого студента было отдельное сиденье, которое, как у кресел, набито мочалом и покрыто кожей, и каждое помещалось в свою перегородку, вдвигаясь в нее и выдвигаясь. Когда я посторонился, чтобы дать Жуковскому свое место, он, садясь на подушку, которая несколько выдвинулась из перегородки, покачнулся и тихонько сказал мне: "Как бы тут не провалиться!" - "Не опасайтесь, - отвечал я, - надобно только покрепче двинуть сиденье", - и помог ему это сделать, а Шевырев между тем не начинал своей лекции, пока мы усаживались.

Теперь перехожу к профессорам. Мне легко было объяснить вам, как обновился наш университет перемещением аудиторий из старого здания в новое и заменю старой администрации новой. Тут самые предметы резко отделялись друг от друга, как полосы различного цвета. Иное дело с профессорами: в их среде обновление происходило в большей постепенности и не в одинаковой значительности по разным факультетам. Сверх того, старое поколение профессоров, в силу преемственного развития, само собою шло к усовершенствованию, так что в наше время оно давало представителей трех разрядов: отживающего, среднего и молодого. Это вы сейчас увидите из перечня профессоров, который я ограничиваю нашим факультетом.

В старшем поколении к первому разряду относятся профессора с самого начала нашего столетия. Как люди, отжившие свой век, они удивляли и забавляли нас своей оригинальностью и разными причудами, вместе с патриархальной простотою в их обращении со

студентами, которым они обыкновенно говорили "ты", и переходили на "вы" только с теми, на кого сердились. Вот два милых образчика таких старожилых чудаков.

Профессор греческой литературы Ивашковский. Он являлся всегда в высоких ботфортах и в белом галстуке. Студенты, ожидая его на лекцию, непременно должны были все до одного ходить взад и вперед по аудитории, так чтобы Ивашковский незаметно вошел в нее и незаметно же смешался с толпою, будто на толкучем рынке. Сохраняя такое инкогнито, он, разумеется, никому не кланялся, и мы не должны были замечать его присутствия. Задевать и теснить его в толпе не только позволялось, но даже было ему приятно. Когда мы потолкаемся таким образом минут десять, он станет у кафедры и, продолжая молчать, начнет медленно поворачивать голову в ту и другую сторону и с ласковою улыбкою поводить глазами на толпу. Это значит, что пора приниматься за дело. Мы, стуча и шумя, усаживаемся по скамьям, и когда наступит тишина и порядок, Ивашковский, не торопясь, взлезает на кафедру, и лекция начинается. Главною задачею нашею было, чтобы вместе с профессором прогулять если не всю лекцию, то, по крайней мере, насколько возможно. На это были между нами гораздые молодцы, человека два-три. Они умели подластиться к нему и будто невзначай обронить словечко и исподволь втянуть его в беседу, а он, очнувшись из забытья, сначала ответит нехотя, а потом мало-помалу разговорится. Цель достигнута: раздался звонок, и лекция благополучно покончена, а милый Ивашковский, растерянно ухмыляясь, второпях вышмыгнет из аудитории: сам, дескать, виноват, вперед буду умнее.

Другой такой же оригинал был профессор политической экономии и статистики. Измаил Алексеевич Щедритский. Мы очень любили его за доброту и снисходительность к нам и за его простодушное патриархальное обращение с нами на "ты". Свои лекции он читал нам вместе с юристами. Один из последних, детина ражий, веселого нрава, но осанистый и с внушительными манерами, по фамилии Соловьев, пользовался особым вниманием и расположением Щедритского. Этот студент имел обычай, как бы узаконенный давностью, являться к нам, когда Щедритский уже сидел на кафедре и читал нам свою лекцию. Соловьев входил в

аудиторию в фуражке и с толстою палкою, которою, подпираясь, стучал, и, подойдя к кафедре, останавливался, снимал фуражку, отвешивал низкий поклон и провозглашал густым басом: "Измаилу Алексеевичу мое глубокое почитание!" Щедритский, привыкнув к этой церемонии, ласково взглянет на него и кивнет ему головою, и станет продолжать лекцию только тогда, когда совершится процесс усаживания Соловьева на одной из передних скамеек, стоявшей направо от кафедры; садиться же он привык, как всем было известно, не иначе, как только на самой середине скамейки, и для того находившиеся на ней студенты, чтобы дать ему место, слезали с нее, топая ногами, и потом размещались по обе его стороны. В аудитории водворялся порядок, и Соловьев, ни разу не шелохнувшись, в величественном спокойствии, не спуская глаз, любовался на Измаила Алексеевича до самого конца лекции. Потому, вероятно, этот милый старичок и любил его, что видел в нем одного из своих усердных слушателей.

Я должен вам сказать о другом столько же внимательном его слушателе. Это был известный уже вам забудыжный Новак, неразрывный друг долговязого Холуйского. Он любил с похмелья безмятежно дремать на лекциях Щедритского и, чтобы ему никто не мешал, обыкновенно садился прямо против кафедры на переднюю скамейку, на которой всегда было просторно, потому что студенты избегали ее, не желая торчать перед глазами профессора. Для своего дремотного успокоения, он, сидя на скамье, прижимался к стоящему перед ним столу и, поставив на него оба локтя, поддерживал свою отяжелевшую голову ладонями с обеих сторон. Его неподвижная поза внушала профессору уважение к его сосредоточенному вниманию. Был один случай, грозивший нарушить эту сосредоточенность, к которому именно я и веду свою речь. К числу юных подростков первого курса принадлежал упомянутый уже мною Александр Иванович Филимонов. Он был веселого нрава, вертлявый и юркий и большой хохотун и гримасник. За эти качества Новак отличил его своим благосклонным вниманием и позволил ему садиться рядом с собою на лекциях Щедритского, в тех видах, чтобы Филимонов успел вовремя разбудить его и не дать ему ткнуться носом об стол. Это очень забавляло Филимонова, и он, как юла, вертелся на своем месте: то взглянет на профессора, то шепнет на ухо Новаку или

дотронется до его локтя, как кошка лапкою, то обернется к товарищам и начнет подмигивать: да взгляните же, дескать, как мой соседка сладко почивает. Однажды случилось Щедритскому застать этого забавного кривляку врасплох: "Эй ты, востроглазый, коль сам балбесничаешь, так не мешай же другому слушать мою лекцию! Перестань егозить, не то выгоню вон!"

Назову вам еще одного из представителей университетской старины. Это был Михаил Трофимович Каченовский. Некогда знаменитый ученый и журналист, не щадивший своею едкою критикою ни Шлёцера, ни Карамзина, ни даже самого Пушкина, в наше время отживал или, точнее сказать, совсем отжил свой век, и, будучи ректором университета после злосчастного, как вам известно, Болдырева, читал нам на четвертом курсе вместе с третьим историю литературы славянских наречий по немецкому учебнику Шафарика. Он был тогда уже глухой и почти слепой: вдаль кое-как видел, но читать мог только в очках, которые, помогая ему вблизи, застилали перед ним в тумане все окружающее, и чтобы увидеть нас с кафедры, он должен был снимать с носа свои очки, что производил он довольно медленно, осторожно вытаскивая их из-за ушей. Таким образом, мы, сидя на лавках перед самою кафедрою, были для него отделены как бы темною завесою. Всякий раз Каченовский приносил с собою Шафариков учебник, разлагал его на кафедре и старческим дряблым голосом, с передышкою, подстрочно переводил немецкую речь на русские слова. Монотонность такого чтения с неизбежными паузами, когда переводишь экспромтом, наводила на нас томительную скуку, и тем больше потому, что нам самим хорошо была знакома эта немецкая книга; но мы терпели по необходимости и боялись отсутствовать на лекции. Каченовский и без того всегда отличался строгостью, а в то время, будучи ректором, требовал от нас неукоснительного исполнения своих обязанностей, и для того выдал приказание, чтобы перед каждою его лекцией дежурный субинспектор делал нам перекличку по списку и отмечал на нем отсутствующих, для доклада ректору. Нам ничего не оставалось более делать, как всем сполна приходить на лекцию, сидеть смиренно и для развлечения каждому читать свою книгу. Это продолжалось не долго; мы нашли выход из такого стеснительного положения.

Но предварительно я должен здесь с вами объясниться. Дело идет о наших ребяческих проказах в аудитории. Сначала я думал было вовсе умолчать о них из опасения навлечь на себя порицание за то, что они могут оскорбить память маститого профессора и вместе с тем выставить с забавной стороны студенческие подвиги таких из моих товарищей, которые впоследствии пользовались известностью и всеобщим уважением. Но мне было бы жаль не поделиться с вами таким воспоминанием, которое в течение многих лет нередко мелькало передо мною, когда я, будучи профессором, входил в аудиторию читать лекцию или когда выходил из нее - это была именно та большая словесная, в которой мы, студенты, скучали у Каченовского. Не могли бы выступать в моей памяти так заманчиво и приветливо эти увеселительные проказы, если бы в основе их было что-нибудь недоброе, злое и оскорбительное и для профессора и для его слушателей. Мы не переставали уважать Каченовского как беспощадного скептика, посягнувшего на достоверность Несторовой летописи, и сильно боялись его как взыскательного профессора и строгого ректора; но самое уважение и боязнь должны были возбудить в нас молодецкую отвагу, бравировать на его лекциях, спасаясь от нестерпимой скуки разными потехами, но так чтобы не нанести ему лично ни малейшего оскорбления и не навлечь на себя его справедливой кары. От всего этого нас спасала слабость его зрения и слуха, и мы забавлялись на скамейках перед самой его кафедрой, будто отделенной от него каменной стеною. Это была своего рода игра в жмурки или в кошку и мышку, а еще лучшие - игра кипучих сил юности, которые иногда бьют и через край.

Шаловливые забавы наши имели вид театральных представлений, соединяющих в себе как бы мимику с музыкой, если только крик и грохот можно отнести к музыкальному роду. Для этих представлений были, как следует, и зрители, которые своим вниманием и одобрением поощряли нас и воодушевляли. Но чтобы объяснить их присутствие, я должен ориентировать вас на месте действия. Тем из вас, кто не бывал в большой словесной аудитории, надобно знать, что дверь в нее находится у самого угла, образуемого наружной стеной с окнами и внутренней глухой, с приставленною к ней кафедрой на самой ее середине. В этой-то двери и собирались наши зрители и могли вдоволь любоваться на

наши проделки. То были студенты других факультетов и преимущественно юристы.

Подобно античному театру, в наших увеселительных представлениях были действующие лица и хор. Не по предварительному избранию из нашей среды, а по дарованиям и храбрости, были нашими героями Юрий Федорович Самарин и князь Борис Васильевич Мещерский, а все мы составляли дружный хор.

Представления эти в ту пору соединялись в моем воображении с одним из воспоминаний моего детства. Солдаты, стоявшие у нас в Пензе постоем, разыгрывали в каком-то сарае смехотворную интермедию о Дон-Жуане, его слуге Педриле (так переименовали они Лепорелло) и о командоре, - не помню, как они его звали, генералом или губернатором. У нас в аудитории был свой Дон-Жуан - Самарин, свой Лепорелло, его наперсник и пособник - князь Мещерский, и своя грозная статуя Командора - в фигуре профессора, восседающего на кафедре. Эту интермедию Юрий Федорович дополнял тем, что состоял при нашем командоре в должности ординарца, вестового и глашатая, именно глашатая, в полном смысле этого слова.

Каченовский читал нам лекции от 12 до часу, в полдень - как раз время завтрака. Потому слушание или, точнее, неслушание каждой его лекции мы начинали завтраком. Архитриклином, а попросту - нашим кормителем был Самарин. В то время на Моховой, против старого здания университета, была колбасная Маттерна с небольшим рестораном. Оттуда перед лекциею университетский солдат доставлял Самарину по числу всех нас целую грудку пирожков в большом свертке на манер сахарной головы. Самарин всегда сидел на конце передней скамейки перед кафедрой, но налево от нее и потому ближе к выходной двери. Как только начнется лекция, он вытащит из-за стола этот пакет с угощением и пустит его по рукам товарищей, но так, чтобы пакет передавался от одного к другому на виду у всех, высоко над столом. Завтрак начинался только тогда, когда у каждого из нас будет по пирожку, а держать его надобно также на виду и откусывать понемножку, чтобы продлить эту сцену для наших зрителей, столпившихся у

растворенной настежь двери.

Под самым окном у этой двери тянется крыша галереи, соединяющая здание университета с корпусом, выходящим на Никитскую. Однажды во время лекции Каченовского рабочие у самого окна починивали эту кровлю и, прибывая гвоздями железные листы, так громко стучали, что заглушали слова Михаила Трофимовича, а он, не замечая стукотни, продолжал чтение своей лекции. Между тем Самарин подозвал к себе князя Мещерского, о чем-то пошептался с ним и велел ему сесть на другом конце той же передней лавки, на которой, как сказано, всегда сидел и сам, а гул ударов по железу не переставал раздаваться по всей аудитории. Будто по команде, оба они привстали, и каждый с своей стороны, ухватясь обеими руками за конец тяжелого стола, стоящего перед скамейкой, приподняли его в одно и то же время и вдруг опустили. Он тяжело бухнул на пол с оглушительным грохотом. Каченовский встрепенулся, вскочил на ноги и, стаскивая очки, грозно вскрикнул: "Что это такое? Кто стучит?" Самарин встает и почтительнейше докладывает, что стучат кровельщики и указывает на окно. Поднялась тревога: надобно прогнать рабочих, надобно призвать на расправу субинспектора, эзекутора. Самарин суетливо бежит из аудитории исполнить приказание ректора; ему помогают собравшиеся у дверей юристы. Там за дверями поднялся шум и гам, а в аудитории водворилась полнейшая тишина: оборванная на недоконченной фразе лекция уже не продолжалась. Каченовский молча сидит на кафедре и без очков обзирает нас. Немедленно являются подсудимые, и расправа начинается.

Забавная игра столом произвела эффект и удалась благополучно. Надобно было ее повторить, но уже без аккомпанемента стукотни кровельщиков, и повторить как можно скорее, пока не остыло еще и не изгладилось впечатление мгновенного испуга, произведенного грохотом стола. На основании этого психологического соображения, Самарин и князь Мещерский на следующей же лекции повторили свой опыт с полнейшим успехом. Каченовский опять встрепенулся, но не всполошился: замолк на полуслове и не спеша принялся вытаскивать из-за ушей свои очки, потом, осмотревшись во все стороны, стал продолжать свою лекцию. Очевидно, он подумал, что ему померещилось.

Учащать такие оглушительные фокусы было опасно, и потому Самарин с князем Мещерским заблагорассудили прибегнуть к менее громогласным звукам, чтобы пробуждать дремотную атмосферу нашей аудитории. Для того была принята ими обоими и усвоена каждым из них с различными вариациями особого рода перекличка, потешавшая публику в дверях аудитории, но недоступная слуху сидящего на кафедре профессора. Самарин аукнет, а Мещерский ему отзовется, а то один, как сторожевой на карауле, крикнет: "Слушай!", а другой ответит тем же. Случалось и так, что Михаил Трофимович очнется и вздрогнет, потом спросит довольно сурово: "Что там за шум?" - "Это все юристы шумят и галдят за дверями", - рапортует Самарин, и, по его приказанию, стремглав бежит прогонять юристов, крича на них, что есть мочи. Комедия оканчивается хохотом, свистом и рукоплесканиями за стеною аудитории.

Однако этим шутовским комедиям судьба решила прекратиться. Разразилась в нашей аудитории настоящая гроза уже не шуточную, а действительно трагедией. Между нашими товарищами был Иван Егорович Бецкий - припомните - тот самый, который лелеял и кормил певчих пташек в амбразуре своего кабинета, в флорентийском дворце Спинелли-Трубецких. Милый, со всеми ласковый, веселый и миролюбивый, он очень не жаловал одного из нас, юношу глупого, но занозливого нахала, который надоедал ему своими дурацкими подковырками. В аудитории оба они сидели налево от кафедры, Бецкий на передней скамейке, а надоедливый подлипала на второй, как раз позади его. Однажды на лекции Каченовского они повздорили не на шутку. Бецкий вскочил и, обернувшись назад, принялся колотить его; тот также вскочил, и началась перепалка, и такая крупная, что даже сам Михаил Трофимович очнулся от своего усыпительного чтения, поторопился вовремя стащить очки и узрел перед собою воочию на своей лекции кулачное единоборство. Всех нас объял ужас и трепет. Грозный ректор дал себя знать. Для суда и расправы предстал перед нами и сам инспектор, наш милый Платон Степанович. И как было ему все это и горестно, и жутко! Ректор настаивал - Бецкого немедленно выгнать из университета, а другому дать нагоняй и засадить в карцер; но наш инспектор хорошо знал цену обоим и по-своему смотрел на это дело. В тягостные минуты суда, кажется, нам

одинаково было жаль и Бецкого и Платона Степановича.

К великой радости, наказание Бецкого ограничилось карцером, благодаря заступничеству инспектора перед попечителем. Преступление было смягчено и низведено до мальчишеской шалости. Мы убедились, что правосудие в некоторых случаях может быть без греха подкупаемо состраданием и милосердием, и мы не стали от того хуже. А между тем Платон Степанович не переставал нас пугать и грозить нам графом Сергием Григорьевичем, а для порядка и надзора распорядился, чтобы впредь на каждой лекции Каченовского присутствовал дежурный субинспектор. С тех пор прекратились и наши завтраки.

Покончив с этими рассказами, я должен напомнить вам, что вел речь о профессорах старого закала, относимых мною к первому или раннему отделу; теперь перехожу ко второму или среднему, представителем которого будет для нас Иван Иванович Давыдов.

В свое время он считался человеком очень образованным, но не был специалистом ни в одном из предметов, которым посвящал свои ученые занятия. Впрочем, тогда вообще господствовал энциклопедизм, и особенно в нашем словесном отделении философского факультета. Каченовский до своих лекций о литературах славянских наречий по Шафарику читал нам статистику России на третьем курсе, а прежде того, еще до нас - даже эстетику, хотя по призванию, как скептик, был он особенно расположен к исторической критике. Знаменитый профессор латинского языка Тимковский, не стесняясь своей специальностью, издал Несторову летопись по Лаврентьевскому списку. По следам этого филолога Иван Михайлович Снегирев еще при нас читал лекции римской словесности на старших курсах, когда мы были на первом, и вместе с тем особенно любил заниматься русской народностью и стариною, о чем свидетельствуют его многочисленные труды по этим предметам. Давыдов был хороший математик и знаток римской словесности, свободно и складно говорил по латыни. Как энциклопедист, он был достаточно подготовлен для философии, и до нас читал лекции по этому предмету, но еще больше простора для своих энциклопедических сведений нашел он на поприще педагогическом. Уже при нас он был инспектором так называвшегося тогда "холерного" заведения,

превращенного потом в Александровское военное училище (что на углу Знаменки и Пречистенского бульвара), а в 1847 г. вовсе оставил профессорскую кафедру и водворился в Петербурге, заняв место директора Педагогического института, переименованного теперь в Филологический. Кроме того, состоя в звании ординарного академика, он был избран председателем второго отделения Императорской Академии Наук.

Нам он читал, на третьем и четвертом курсах, теорию словесности по руководству Блера, которое он старался перестроить на новых основаниях философии Шеллинга, по Эстетике его ученика Аста, и сверх того дополнил примерами из русской и из иностранных литератур. Эти лекции, нами тогда составленные со слов Давыдова и по его программам, он издал в двух томах и присовокупил к ним третий, содержащий в себе сочинение Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзии, в сокращенном переводе Лавдовского, о котором я уже имел случай говорить вам, когда знакомил вас с некоторыми из моих казеннокоштных товарищей. В предисловии к первому тому переименованы мы все как участники в составлении этого издания. Теперь решительно не могу отличить, которую из лекций составлял я, а очень жаль, потому что это была вторая моя работа, удостоившаяся печати; что же касается до первой, то о ней будет речь впереди. Впрочем, и из всего курса, за исключением Шлегелева сочинения, я ровно ничего не помню, кроме отрывочных эстетических тезисов, основанных, по философии Шеллинга, на принципе противоположностей, которые сливаются между собою в примиряющем их сосредоточии, как например: образ и звук, а слияние их - в слове; так называемые образовательные искусства и музыка, а слияние их - в поэзии; эпос и лирика, а слияние их - в драме.

Из чтений Ивана Ивановича живее сохранились в моей памяти три эпизода, выходившие из рамок общей системы курса. Такие отступления на лекциях были тогда в обычае и у других профессоров, когда они чувствовали потребность поделиться с нами тем, что в данную минуту их особенно интересовало. Один из эпизодов состоял в риторическом разборе предисловия Карамзина к его "Истории государства Российского". Разбор этот тогда произвел на меня сильное впечатление авторитетной строгостью в

неукоснительном преследовании нелогического сопоставления и порядка мыслей при неточности их выражения, как в отдельных словах, так и в оборотах речи; но и теперь на основании этого мастерского опыта полагаю, каким образцовым инспектором и директором учебных заведений мог быть Иван Иванович Давыдов.

Другой его эпизод был далеко не так удачен. В то время прогремел в литературе и публике некий Бенедиктов своими звонкими и фигуристыми стихотворениями, которые как раз совпали с появлением вычурной прозы Марлинского, еще не совсем заглушенной тогда, благодаря господствовавшему у нас в тридцатых годах шовинизму. Увлечшись прелестью новизны и громкою молвою, Иван Иванович сгоряча ускорил поделиться с нами своим восторгом и принес на лекцию стихотворения Бенедиктова; прочитал из них несколько выдержек и превознес новоявленного поэта чуть не до уровня с самим Пушкиным. Но Бенедиктовский пустоцвет не продержался и одного года, завял и был выброшен за окно. К чести Давыдова я должен сказать, что он настолько уважал себя, что откровенно сознавался в своем увлечении.

Третий эпизод заслуживает особенного внимания, свидетельствуя о примерном педагогическом такте, с каким Давыдов умел пользоваться подходящим случаем для умственного развития и усовершенствования своих слушателей. Чтобы приобрести степень доктора, профессор Петербургского университета Никитенко напечатал небольшую книжку и с успехом защитил ее тезисы. Теперь не помню ни ее заглавия, ни содержания, только хорошо знаю, что в ней говорилось вообще об изящных искусствах, о прекрасном, о поэзии, при полнейшем отсутствии положительных фактов. Давыдов раздал нам несколько экземпляров этого сочинения, и когда мы внимательно прочли его, устроил для нас в своей аудитории, так сказать, "примерный" диспут, в таком же смысле, в каком маневры примерно изображают сражение. Профессор, укрепившись на кафедре, стойко защищал позицию, а мы врассыпную громили крепость со всех сторон и разнесли ее в пух и прах.

И по образованию своему, а может быть, и по врожденной склонности, Давыдов решительно предпочитал философское умозерцание подробному разрабатыванию фактических мелочей

и, как философ, ограничивая свои лекции теорией словесности вовсе и не занимаясь историей литературы. Он был убежден, что русская словесность в настоящем ее смысле начинается только со времен Петра Великого, и древнерусским письменным и старопечатным памятникам не придавал никакого собственно литературного значения. В языке Нестора или Слова о полку Игореве видел бессмысленную порчу церковнославянской грамматики и хаотическое брожение не установившихся, грубых элементов русской речи, а к народному языку былин и песен относился с презрительным снисхождением. Как математик он больше всего умел ценить точность в соразмерности между словом и выражаемой им мыслью и не владел эстетическим чутьем настолько, чтобы в неистощимо обильных сокровищах нашего языка подмечать разнообразие в колорите и оттенках, которые математической точности выражения придаю! ясность и наглядность пластической и живописной формы. Как академик строгого закала, он наблюдал безукоризненную чистоту слога и брезгливо выметал малейшую соринку, навеянную из безыскусственной и обиходной разговорной речи в тесный крут языка книжного, заколдованный для профанов законами светского приличия.

Оканчиваю свои воспоминания об Иване Ивановиче Давыдове изъявлением ему моей сердечной благодарности. По его указанию и совету, я впервые познакомился с таким филологическим сочинением, которое впоследствии оказало решающее влияние на мои ученые работы. Это было исследование Вильгельма Гумбольдта о сродстве и различии языков индогерманских (т.е. индоевропейских).

Теперь приступаю к третьему отделу преподавателей, относящихся, как уже сказано, к тому периоду, который предшествует появлению у нас новых профессоров, воротившихся из Германии с новым запасом сведений и с новыми порядками университетского преподавания. Из этого третьего отдела буду говорить только о Надеждине, Шевыреве и Погодине. Отношения этих лиц молодого поколения к старшему хорошо обозначил Давыдов, сказав мне однажды о Шевыреве: "На моих глазах возрастал он от младых ногтей, и я помню, как Амалтея питала его своим млеком". Иван

Иванович любил иногда ради шутки уснащать свою речь прикрасами академического слога, под которыми в данном случае надобно разуметь, что мальчика для укрепления здоровья поили козьим молоком.

Из трех названных профессоров начну с Николая Ивановича Надеждина, потому что могу сказать о нем очень немного. В моей памяти он представляется молодым человеком среднего роста, худеньким и чернявым, с вдавленной грудью, с большим и тонким носом и с темными волосами, гладко спускающимися на высокий лоб. Читая лекцию, он всегда зажмуривал глаза, точно слепой, и беспрерывно качался, махая головою сверху вниз, будто клал поясные поклоны, и это размахивание гармонировало с его размашистою речью, бойкою, рьяною; цветистою и искрометною, как горный кипучий поток. Его лекции эстетики, хотя и не богатые содержанием, привлекали толпы слушателей из всех четырех факультетов и особенно медиков. Собственно нам, первокурсникам, он читал логику по руководству шеллингиста Бахмана, очень толково, понятно и ясно.

Образование свое получил он в Московской Духовной академии, что в Сергиевой лавре, у Троицы. Между студентами ходила о нем легенда, за достоверность которой не смею ручаться. В обычаях этой академии, получивших силу непреложности, было принято давать степень магистра только таким из учащихся, которые, еще будучи студентами, примут монашество, хотя бы и не вполне достойные по своим знаниям этой степени. Надеждин на последнем курсе изъявил свое призвание к монастырскому житию, но надрывая свои силы неусыпным прилежанием в приготовлении к экзамену, захворал и по крайнему истощению и по слабости здоровья не мог с подобающим благоговением в настроении духа воспринять монашеский чин и получил разрешение постричься в монахи по окончании курса, а на выходном экзамене получил степень магистра. Оставив лавру, он немедленно переселился в Москву, занялся составлением диссертации на латинском языке о романтической поэзии для получения степени доктора и блистательно защитил ее. Из моих воспоминаний вы уже знаете, как плачевно оборвалась его профессорская служба в Московском университете.

Согласно духу времени и научным требованиям от профессоров нашего факультета, Степан Петрович Шевырев и Михаил Петрович Погодин, каждый усердно предаваясь своей специальности, далеко раскидывались в своих интересах по широкому поприщу литературы в качестве журналистов, критиков и беллетристов. Впрочем, об их литературном и общественном значении, об их отношениях к Пушкину, Жуковскому, о их дружбе с Гоголем и о многом другом столько уже было печатано, что я нахожу излишним повествовать вам обо всем этом в моих воспоминаниях. Ограничусь только тем, что более касается лично меня.

В первый год университетского обучения Шевырев читал нам вместе с юристами, так сказать, пригготовительный курс, имевший двойное назначение: во-первых, по возможности уравнивать сведения поступивших в университет прямо из дому или из разных учебных заведений, казенных и частных, с неустановившеюся еще для них всех одинаковою программю обучения, и, во-вторых, теоретически и практически на письменных упражнениях укрепить нас в правописании и развить в нас способность владеть приемами литературного слога.

В лекциях этого курса Шевырев знакомил нас с элементами книжной речи в языке церковнославянском и русском, отличая в нем народные или простонародные формы от принятых в разговоре образованного общества. С этой целью он читал и разбирал с нами выдержки из летописи Нестора по изданию Тимковского, из писателей XII века и из древнерусских стихотворений по изданиям Калайдовича, из "Истории" Карамзина, из произведений Ломоносова, Державина, Жуковского и особенно Пушкина. При этом вдавался в разные подробности из книги Шишкова о старом и новом слоге, из заметок Пушкина о русском народном языке. Все это, низведенное теперь в программу средних учебных заведений, было тогда свежелою новостью на университетской кафедре, как вы сами можете ясно видеть, припомнив сказанное мною об Иване Ивановиче Давыдове.

Эти лекции Шевырева производили на меня глубокое, неизгладимое впечатление, и каждая из них представлялась мне каким-то просветительным откровением, дававшим доступ в неисчерпаемые сокровища разнообразных форм и оборотов нашего

великого и могучего языка. Я впервые почувствовал тогда всю его красоту и сознательно полюбил его. Чтобы дать вам понятие о силе животворного действия, оказанного на меня Степаном Петровичем в его филологических наблюдениях и анализах, достаточно будет сказать, что они воодушевляли меня и были положены в основу моих грамматических и стилистических исследований, когда я работал над составлением моего сочинения: "О преподавании отечественного языка" (издано в 1844 г.). Невыразимо радостно и лестно было мне видеть в экземпляре этого сочинения, подаренном мною Степану Петровичу, отметки его собственной рукою на полях страниц: "моя мысль", "мое замечание".

Приготовительный курс, о котором идет речь, был читан Шевыревым в первый раз именно нам. А начал он свои лекции в Московском университете историей иностранных литератур: еврейской и индийской. Лекции эти произвели большой эффект не только между студентами и профессорами, но и в избранной московской публике, переполнявшей аудиторию Степана Петровича. Когда мы поступили в университет, они были уже отпечатаны, и я на первом же курсе с жадностью читал их, наслаждаясь и восторгаясь. Тогда же заронилась во мне мысль учиться по-еврейски и по-санскритски, но я привел ее в исполнение впоследствии при помощи моих казеннокоштных товарищей. Еврейскому языку учил меня, как вы уже знаете, Войцеховский, а потом санскритскому Коссович.

На первом же курсе с неменьшим интересом прочел я обстоятельную монографию о Данте и его "Божественной Комедии", представленную Шевыревым в факультет для снискания права читать лекции в Московском университете. Уже тогда я пленился великим произведением Данта, и в течение всей моей жизни было оно любимым для меня чтением в часы досуга и наконец сделалось предметом моих многосторонних исследований, когда по поводу шестисотлетнего юбилея дня рождения Данта читал я студентам лекции о нем и о его времени целые три года сряду.

До Шевырева в нашем университете читалась только теория словесности вроде упомянутого мною курса Давыдова. Степан Петрович обновил кафедру этого предмета историей литературы,

сначала только иностранной, а потом уже при нас и русской. Сверх того, он читал нам целый год теорию поэзии в историческом развитии. Свой курс без разделения на лекции и с некоторыми дополнениями издал он в виде диссертации и защитил ее на публичном диспуте для получения степени доктора. Эта книга, хотя немножко и устаревшая, до сих пор пользуется у нас заслуженным авторитетом. Ее постоянно рекомендовал я своим слушателям, когда читал им на первом курсе энциклопедическое введение к специальным занятиям по филологии, лингвистике и литературе, с указанием важнейших источников и пособий.

Из иностранной литературы Шевырев читал нам историю греческой поэзии. Особенно заинтересовало меня и прочно улеглось в моей памяти, что сообщал он по Вольфу о позднейшем прилаживании и сочетании отдельных рапсодий в искусственные формы целых эпосов, названных "Илиадою" и "Одиссеею". Не помню, ставил ли тогда Шевырев в параллель с гомерическими рапсодиями наши былины, или после, когда читал нам историю русской литературы, но во всяком случае эта мысль в первый раз пришла мне в голову со слов Степана Петровича.

Нам же в первый раз стал читать Шевырев в Московском университете историю русской литературы, как и тот приготовительный курс. Готовясь к своим лекциям, он сам постепенно разрабатывал источники русской старины и народности по рукописям, старопечатным книгам, народным песням и преданиям. Неослабный интерес, возбуждаемый в профессоре беспрестанными открытиями в новой, еще вовсе не разработанной, области науки действовал на нас обаятельною свежестью воодушевления. По крайней мере мне чудилось, будто мы идем по только что проторенным путям в непроходимых лесах и дебрях, по следам отважного проводника, который на каждом шагу открывает нам все новые и новые сокровища родной земли. В этих лекциях Степан Петрович уже пользовался знаменитым собранием русских песен, которое принадлежало Петру Васильевичу Киреевскому.

Этот курс истории русской литературы впоследствии внес Шевырев в свои публичные лекции с разными изменениями и дополнениями, которые крайностями чрезмерного славянофильского направления, как вам должно быть известно,

навлекли на него целую бурю озлобленных нареканий.

В заключение о читанных нам лекциях Шевырева я должен прибавить, что каждую из них он тщательно писал своим четким, красивым почерком на листах с отогнутыми полями, на которых вкратце обозначал содержание каждого параграфа или абзаца. Следуя примеру моего незабвенного учителя, и я в течение всего моего многолетнего профессорства каждую лекцию писал, только не так четко и старательно и без всяких отметок на полях страниц.

О лекциях Михаила Петровича Погодина говорить много не буду, потому что все, что я мог и умел сказать о нем, как о профессоре, предложено в речи, читанной мною вскоре по его кончине в публичном заседании Общества Любителей Российской Словесности. Она напечатана в 2-м томе "Моих Досугов", а цитировать самого себя я не намерен.

На первом курсе он читал нам из всеобщей истории о религии, политике, торговле, о нравах и обычаях древних народов, по известному сочинению Герена (Heeren). Именно тогда я живо почувствовал и оценил великое значение народного быта, на разработку которого в пределах русской земли я посвятил большую часть моих ученых работ. Лекции Погодина я постоянно записывал с его слов и каждую старательно и любовно составлял, пользуясь добытым из университетской библиотеки немецким оригиналом, и как благодарил я тогда Александра Христофоровича Зоммера, что еще в пензенской гимназии научил он меня толково разбирать немецкую грамоту! Лекции по Герену, составленные студентами, Погодин напечатал, и в эту-то книгу попала частица и моей работы, самая ранняя и первая проба пера, удостоившаяся печати.

На старших курсах Погодин читал нам уже настоящий свой предмет - историю России. В этих лекциях больше всего заинтересовал меня вопрос о скандинавском происхождении варягоруССов. Я обратился к Михаилу Петровичу с просьбою указать мне какое-нибудь руководство для изучения древних немецких наречий. Он назвал мне грамматику Якова Гримма и велел обратиться за этим сочинением к профессору Редкину, читавшему тогда в Московском университете энциклопедию и философию права. Таким образом, из уст Погодина в первый раз

услышал я имя великого германского ученого, который своими многочисленными и разнообразными исследованиями потом оказывал на меня такую обаятельную силу, так воодушевлял меня, что я сделался одним из самых ревностных и преданнейших его последователей.

Погодину же я обязан великою благодарностью и за то, что он первый научил меня читать и разбирать наши старинные рукописи, во множестве собранные в его так называемом древлехранилище, которое помещалось тогда в собственном его доме, на Девичьем поле. Эти занятия мои начались вот по какому случайному поводу. Знаменитый чешский ученый Шафарик для своих филологических работ имел надобность в точной копии с одной из самых древнейших наших рукописей, которая находилась в древлехранилище. Это была хорошо известная специалистам "Толковая Псалтырь" XI века, так называемая Евгениевская, по имени митрополита Евгения, которому прежде принадлежала. Погодин поручил мне снять эту копию. Работа оказалась для меня в высокой степени полезной и была не особенно трудна, потому что древняя рукопись составляет только малую часть всей псалтыри. В пособие для справок он снабдил меня старопечатным текстом и ныне принятым исправленным.

Одновременно с этою работой он познакомил меня на образцах по оригиналам с разными почерками старинного письма: с уставным, полууставным и с скорописью, мудреные завитки которой учил разбирать меня по складам.

Таким образом, мое университетское обучение разделялось по двум местностям: в аудитории и в Погодинском древлехранилище. Сказанного почитаю достаточным, чтобы дать вам понятие о моей безграничной благодарности Михаилу Петровичу за все, чем я обязан его попечениям и заботам о моем образовании в продолжение всех четырех лет студенчества, начиная, как вы уже знаете, с самого поступления моего в университет и с водворения в казеннокоштном общежитии. Он же, как увидите потом, был для меня руководителем в первых опытах моих на широком пути журнальной литературы.

Новый период в истории Московского университета, как сказано,

начинается вместе с появлением к нам молодых профессоров, получивших свое образование за границей, преимущественно в Германии. Это были: на нашем факультете Печорин, Крюков и Чевилев; на юридическом Крылов, Баршев и Редкий; на медицинском - Анке, Армфельд, Иноземцев, Филомафитский и еще кто-то, не припомню, а на математическом, кажется, никого. Во избежание недоразумений, спешу предупредить, что несколько других профессоров той же категории появились в Московском университете, когда мы уже кончили курс. А именно: на нашем факультете - Меньшиков, Бодянский и Грановский, на юридическом - Лешков, на математическом - Спасский и Драшусов.

Профессор греческого языка (ни имени его, ни отчества не припомню) был совсем молодой человек, самый юный из всех прибывших вместе с ним товарищей, небольшого роста, быстрый и ловкий в движениях, очень красив собою, во всем был изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком, задушевном голосе, когда, объясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом. Но, к несчастью, мы пользовались его высокими дарованиями и сведениями очень недолго, менее года. Он вдруг исчез из университета и из Москвы, а куда девался - никто не знал. Так и простыл его след. Спустя года два-три, дошел до меня слух, будто он где-то за границей учителем или гувернерствует в какой-то фамилии - русской или иностранной, неизвестно. Потом, спустя много лет, кто-то говорил мне, что нашего Печорина видели в одеянии католического монаха, помнится, в Бельгии.

Вскоре по исчезновении Печорина, его заменил выписанный из Германии немецкий ученый, по фамилии Гофман, еще молодой человек, высокий, толстый и румяный, с длинными русыми волосами, ниспадавшими на плечи, милый чудак с замашками наивного бурша. По-русски он не говорил ни слова и переводил с нами греческих классиков на латинский язык. В летописях Московского университета его имя связано с одною катастрофою, наделавшей много шума по всей Москве, о чем я расскажу вам в своем месте.

Профессор римской словесности, Дмитрий Львович Крюков был

немножко постарше Печорина и, как он, такой же любезный и изящный, но в его приветливом обращении с нами чувствовалась сдержанность снисходительного величия, а изяществу манер, голоса и речи и всей своей осанке умел он придавать некоторый лоск щеголеватости, которая, в пределах строгого приличия, не нарушает достоинства чистокровного джентльмена. Он был среднего роста, блондин, с наклоном к полноте, но здоровый и свежий, румяный и белый, как кровь с молоком; отличительную черту его лица составлял высокий и широкий лоб, а глаз из-под очков было не видать.

Вскоре по приезде его из-за границы между нами распространилась о нем внушительная репутация ученого автора, напечатавшего в Германии книгу на немецком языке, под псевдонимом "Peregrino", итальянская благозвучность которого так согласовалась с его щеголеватой изящностью. Ни содержания, ни даже названия этой книги теперь не припомню; знаю только, что это была монография по какому-то очень специальному вопросу из истории римского быта.

Из лекций Крюкова помню, что он заставил меня полюбить Тацита и особенно Горация, к которому симпатию я вынес еще из пензенских уроков Орлова. Сам же Дмитрий Львович предпочитал из всех римских писателей Тацита, и в последние годы своей недолгой жизни переводил его "Анналы" на русский язык, старательно обогащая и усвершенствуя свой слог внимательным чтением наших старинных мемуаров, государственных грамот и договоров, посланий и летописей, не говоря уже об историках, начиная от Щербатова и до "Пугачевского бунта" Пушкина.

На четвертом курсе читал он нам римские древности на латинском языке. Этот предмет так заинтересовал меня, что в дополнение к нему я посещал лекции Крылова по истории римского права. Сверх того мне желательно было познакомиться с взглядами знаменитого юриста Савиньи, о котором так много говорилось в то время. Когда перевели нас на четвертый курс, то профессора, привыкнув излагать свой предмет в пределах трехлетнего срока, нашли возможным расширить объем своего преподавания практическими занятиями студентов на этом курсе, разделив нас по специальностям на три отделения: на классическое, историческое и

славяно-русское. Таким образом, для нас же впервые были введены в Московском университете так называемые семинарии, но, кажется, это нововведение только и ограничилось одними нами. После нас семинарии не продолжались и были вновь сформированы уже много лет спустя.

Я избрал себе отделение славяно-русское. Давыдов дал мне для изучения так называемую "Общую Грамматику" известного французского филолога Дю-Саси в немецкой переделке Фатера, с дополнениями из немецкого языка. Эту книгу я перевел всю сполна и добавил грамматические подробности Дю-Саси и Фатера русскими и церковнославянскими. Мой перевод был одобрен факультетом для напечатания, но остался в рукописи. По счастливой случайности она сохранилась у меня до последнего времени, и недавно я отдал ее вместе со всеми моими лекциями в рукописное отделение московского Публичного музея, что на Знаменке. А для Шевырева я составил систематический свод грамматик: Смотрицкого, Ломоносова, академической, больших, или полных, грамматик Греча и Востокова и церковнославянской Добровского. Над обеими этими работами я трудился весь год и по мере изготовления приносил на лекции, что успевал сделать в неделю, для доклада тому или другому из моих наставников. Таким образом, благодаря этим практическим занятиям, я достаточно был вооружен сведениями, необходимыми по тому времени для всякого доброкачественного учителя русского языка.

В конце мая 1838 года я окончил университетский курс.

Х

Окончив в мае 1838 года университетский курс кандидатом словесного отделения философского факультета, я тотчас же, по рекомендации проф. И.И. Давыдова и инспектора студентов П.С. Нахимова, поступил домашним учителем в семейство гофмаршала барона Льва Карловича Боде. Таким образом, прямо из казеннокоштного "общежития" и еще в студенческом вицмундире переселился я в подмосковное имение барона, Подольского уезда, в село Покровское-Мещерское; туда уже прежде перебралось его семейство на лето с московской квартиры, помещавшейся в Кремле, во втором кавалерском корпусе, который теперь содержит

в себе Оружейную палату.

На первых же порах при моем вступлении на поприще новой жизни выпала мне счастливая доля снискать благосклонное внимание и затем в течение целого полувека упрочить за собою дружеское расположение одной из образованнейших и почетных фамилий русского дворянства. По самому происхождению и по семейным преданиям, в высоких ее качествах неразрывно сочетались приветливая сановитость и феодальные доблести непоколебимого легитимизма с величавою простотою, благодушием и строгою набожностью старинного боярского рода, который в свою летопись, по женской линии, внес житие святого мученика Филиппа митрополита, пострадавшего от царя Иоанна Грозного.

Бароны Бодэ происхождения французского. В XIV веке у них были имения в провинции Турени. Гонимые как гугеноты они перешли в Германию и поселились в городе Ахене, имели владения на Рейне и впоследствии были признаны членами франконского округа Стейгервальд и утверждены императором Карлом VI в древнем дворянстве и баронском достоинстве. Французская революция конца прошлого столетия застаёт родителей барона Льва Карловича уже в Эльзасе, в их ленном имении, в городе Сульцсу-Форе. Его отцу грозила гильотина, и когда жандармы сыскной полиции ворвались к нему в дом, он успел от них скрыться через задний двор и сад. Жену его и малолетних детей они не тронули и пустились в погоню за беглецом. Но все обошлось благополучно, и барон с своим семейством успел эмигрировать в Россию. Императрица Екатерина II приняла его благосклонно и пожаловала ему имение в 12.000 десятин в Херсонской губернии, именуемое Крамеровы Балки, и другое - в Крыму.

В 1815 г. барон Лев Карлович женился на Наталье Федоровне Колычевой, из того старинного боярского рода, о котором сказано выше. Я застал еще в живых ее мать, Анну Никитишну, милую старушку, и пользовался от них обеих приветом и ласкою.

Когда я водворился в семействе Льва Карловича и Натальи Федоровны, у них было два сына, Лев и Михаил, и шесть дочерей: Анна, Наталья, Марья, Екатерина, Елена и Александра. Из них двое тогда отсутствовали: старший сын Лев Львович служил в

лейбгвардии, а старшая дочь Анна Львовна находилась в Зимнем дворце фрейлиною при особе императрицы Александры Феодоровны, которая ее очень любила.

Мои воспоминания об этой бесподобной фамилии, рассеянные на расстояния, как я уже сказал, целого полустолетия, сливающиеся и перепутанные со множеством других, всякий раз, как только я вызываю их перед собою, высвобождаются из рамок хронологического порядка и сами собою сосредоточиваются на отдельных лицах, которые, по принимаемому мною участию, представляются мне разделенными на группы. Таких групп всего три. Одну составляет самое младшее поколение: Александра Львовна, десяти лет, и Елена Львовна, двенадцати; другую - старшие их сестры, мне ровесницы: Наталья Львовна, годом старше меня, Марья Львовна, моих лет, и Екатерина Львовна, годом моложе меня. В центре третьей группы возникает передо мною величавый и прекрасный образ Михаила Львовича, возлюбленного моего ученика и неизменного друга до самой его кончины, последовавшей в 1888 г. Им я начну, им же заключу мои воспоминания о фамилии барона Льва Карловича, а те две группы внесу в них, как эпизоды.

И все-то названные мною особы, дорогие моей памяти, отошли в вечность! Осталась в живых только Анна Львовна, самая старшая из своих сестер и братьев, давно уже вдовствующая княгиня Долгорукова. От своего брата наследовала она дружеское ко мне расположение, а от сестер, незабвенных моих учениц, - те симпатии, которыми отвечали они на преданность и усердие их наставника.

Барон Лев Карлович пригласил меня в свой дом собственно для того, чтобы в течение года приготовить четырнадцатилетнего сына его Михаила Львовича в старший класс пажеского корпуса, а двух младших дочерей учить русскому языку.

Мне предоставлялось давать уроки Михаилу Львовичу из русской грамматики, истории и словесности по моему собственному разумению, потому что никакой учебной программы у нас не было, да и никто о ней не заботился, а я и подавно. В пензенской гимназии мы пробавлялись, как вы уже знаете, самоучкою, без

всякого порядка и системы. Мои жалкие педагогические попытки в студенческие годы были не настоящим делом, а плохой поделкой, не пробой пера, а каракулями. Теперь приходилось самому, без посторонней помощи и без всяких пособий, производить первый настоящий опыт на учительском поприще с ответственностью экзамена моему ученику. Всю надежду возлагал я на сведения, вынесенные мною из университета. Правда, мои практические, письменные работы по грамматике на последнем курсе, у Шевырева и Давыдова, давали для моего опыта материал подходящий, но уже слишком громоздкий и широко разбросанный; из него можно было кое-что извлекать, но как и в какой мере - я не мог сообразить. По русской истории лекции Погодина для моих уроков не годились, а курс истории русской литературы, читанный нам Шевыревым, был недоступен ни разумению, ни интересам моего ученика, столько же, как и теория словесности Давыдова с ее философскими обобщениями и обременительными подробностями о родах и видах поэтических и прозаических произведений. Больше годился для моей цели выше объясненный мною приготовительный курс Шевырева о языке и слоге; но для школьного обучения этот предмет надобно было высвободить из рамок систематической теории и дать ему практическое применение на чтении литературных произведений и в письменных упражнениях. А между тем никаких учебников у нас под руками не было, да, сверх того, мой сметливый, проницательный и необыкновенно даровитый ученик, но резвый, живой и нетерпеливый, питал решительное отвращение к голословным предписаниям грамматики Востокова и риторики Кошанского.

Замечу мимоходом, что все эти затруднения, встретившие меня при самом вступлении на педагогическое поприще, тогда уже залегли глубоко в моей душе и не переставали занимать меня до тех пор, пока в 1844 г. я не разрешил их себе, как умел и мог, в исследовании: "О преподавании отечественного языка".

Михаил Львович был только шестью годами моложе меня, да и сам я, безбородый юноша, всего двадцати лет, по возрасту и развитию подходил к нему, не как учитель к ученику, а как старший товарищ к младшему, который доверчиво и усердно пользуется его советами и наставлениями. Такие отношения установились между нами

очень скоро, еще в Мещерском (так говорилось вместо Покровского-Мещерского).

Я по себе хорошо знал, сколько по доброй воле может сделать для своего умственного образования четырнадцатилетний мальчик, и в дарованиях своего ученика видел залог его будущих успехов, на которые я тем надежнее рассчитывал, что легко и скоро заметил в его откровенном и простодушном характере способность энергически стремиться к достижению предположенной цели и упорно домогаться исполнения своих желаний. В то время, при моей неопытной молодости, конечно, я не мог так ясно и точно сознавать все эти соображения, как теперь излагаю их вам; однако и тогда был я уже настолько развит, что мог, хотя и смутно, но живо их почувствовать, как бы по инстинкту оберегая себя в совершенно новом для меня, в небывалом положении.

Прежде всего мне надлежало воспитать в моем ученике охоту к серьезным занятиям и пробудить любовь к науке, пользуясь его живою восприимчивостью и пытливым умом, но так, чтобы с первого же разу не причинить ни малейшего насилия этим способностям скукою и чересчур напряженным трудом, как это обыкновенно бывает с начинающими учиться, когда насильно таскают их по томительным мытарствам элементарного учебника. Оставив теорию в стороне, я избрал метод практический, и тем более потому, что он вполне согласовался с предметами моих уроков, с родным языком и отечественною историею, которая в общих чертах была уже несколько знакома Михаилу Львовичу. Сверх того, он уже не только умел разбирать церковную грамоту, но и достаточно понимал церковнославянский язык, потому что в набожной фамилии барона Льва Карловича Священное Писание и богослужебные книги далеко не были в забросе, как бывают они у других сплошь да рядом. Проживая летом в Мещерском, его старшие дочери, владея хорошими голосами, любили петь на клиросе, а для басов и теноров приезжали из ближайшего соседства молодые князья Оболенские. Когда подросла Елена Львовна, у нее оказался великолепный контральто, который мог бы произвести эффект на любом концерте. Иногда и звонкий дискант Михаила Львовича раздавался в этом семейном хоре. Кто-нибудь из певцов за церковной службой читал Апостола, а Екатерина Львовна -

шестопсалмие.

Положив в основу наших занятий чтение и рассказ или письменное изложение прочитанного, я соединил вместе уроки истории с изучением языка, слога и литературы, разумеется, придерживаясь для себя некоторой системы в постепенном ознакомлении моего ученика с каждым из этих разнородных предметов и не обременяя его внимания излишними подробностями. Впрочем, он сам помогал мне в этом деле, облегчая его. а часто и направляя своими пытливymi вопросами, и таким образом наше, так сказать, толковое чтение иногда незаметно переходило в серьезную беседу о какой-нибудь вычитанной нами подробности. Чтобы неослабно поддерживать и возбуждать его любознательность, я должен был сколько возможно делать свои уроки ему приятными, и для этой цели я ничего лучше не умел придумать, как занимательное и вместе поучительное чтение: а когда он втянулся в него и приохотился, случалось, что в выборе книг и статей я согласовывался с его желанием.

Тогда я вовсе не знал, а по своему личному опыту в пензенской гимназии не мог и предполагать, что обучение, в силу дисциплинарных правил педагогики, должно воспитывать в учащихся навык к неукоснительному исполнению обязанностей и к выносливому терпению, чтобы преодолеть трудную работу. Вместо того я избрал путь занимательного препровождения времени и достиг преднамеренной мною цели: Михаил Львович полюбил науку и полюбил страстно, со всем увлечением своего пылкого темперамента, и, как вы увидите, доказал это на деле, занимаясь в течение всей своей жизни собиранием, приведением в порядок, изучением и научною обработкою письменных источников русской старины и даже художественною реставрациею ее иконописных и монументальных памятников.

А надобно вам знать, что после кратковременного пребывания в старших классах пажескою корпуса Михаил Львович более нигде уже не учился и постоянно до самой своей кончины говаривал, что всем своим научным образованием он обязан одному мне; я же с своей стороны скажу вам, что по времени это был первый настоящий мой ученик и один из самых преданнейших.

Однако я должен вам рассказать, сколько могу припомнить о том, в чем именно состояли наши учебные занятия, как в уроках, так и в свободное от них время. Главным источником и пособием для нас была многотомная история Карамзина, из которой, не всегда придерживаясь хронологического порядка, но руководствуясь своими соображениями, я выбирал наиболее интересные эпизоды не только государственного и вообще политического содержания, но и особенно бытового, из частной семейной жизни наших предков и всенародной, гражданской и церковной. Карамзин же давал нам и точки отправления для истории нашей древней литературы в своем мастерском переложении письменных ее памятников и в обширных примечаниях, где приводил он их в оригинале. Таким образом, от "Истории государства Российского" мы незаметно переходили к чтению выдержек - из летописи Нестора по изданию Тимковского, из Киево-Печерского Патерика, из древних русских стихотворений или былин Кирши Данилова. Из новой литературы интересовали Михаила Львовича особенно: Загоскина - "Юрий Милославский" и Пушкина - "Борис Годунов" и "Капитанская дочка".

Пытливая любознательность моего ученика, воспламененная разнообразным чтением, по стремительной живости его характера, не знала удержа и увлекала его из тесных пределов отмеренного часами урока. Он забегал в мою комнатку, летом в деревенском флигеле, направо от большого дома, а зимою в верхнем этаже дворцового корпуса, и когда заставал меня за книгою - непременно хотел знать, что такое я читаю, и я должен был подробно рассказать, что в этой книге содержится и почему и для чего она интересует меня, а он не перестает спрашивать и допрашивать, вставляя свои замечания и недоразумения; между нами завязывается оживленная беседа, и учитель с учеником превращаются в двух школьных товарищей, которые иной раз наперерыв состязаются в разрешении мудреных, хотя бы и непосильных для них, задач науки и жизни.

Этим немногим ограничиваю я свои воспоминания о годах учения Михаила Львовича. Я был бы очень рад, если бы в этом любознательном четырнадцатилетнем мальчике вы могли признать моего двойника из той далекой поры, когда я преуспевал в

пензенской гимназии по методу взаимного обучения, когда с моей матушкой читал разные книги, а с Михаилом Осиповичем Орловым вел философские беседы на латинском языке.

Теперь перехожу к моим ученицам и именно к первой, или младшей группе, т.е. к Александре Львовне и Елене Львовне. Обе они были прехорошенькие, но каждая в своем роде. Первая была миниатюрная десятилетняя девочка, настоящая игрушка высокой нюрнбергской работы, резвая и живая, как ртуть; бывало, она не ходит, как ходят другие, твердо ступая на всю ногу, а как-то грациозно прыгает на цыпочках и перепархивает с места на место и из одной комнаты в другую. Беленькая и нежная до прозрачности, вся она будто соткана была из радостей и веселия, которое то и дело выступало наружу то мимолетной улыбкой, то полусдержанным смехом, а то и целым взрывом задушевного хохота. Прозрачную ясность своей души и быстроту мыслей и телодвижений и этот беззаботный хохот сберегла она в себе и в старости до самой смерти. Елена Львовна, двумя годами старше своей маленькой сестры, была привлекательна и мила в другом роде. Значительно выше ее и полнее, она отличалась плавностью в движениях и деликатною сдержанностью в обращении. Во всей ее натуре чувствовалось что-то спокойное, ровное и неизменное, какое-то в себе сосредоточенное, так сказать, ленивое самодовольство, которое придает обаятельную прелесть хорошенькой женщине. Со временем эти достоинства завершились новою прелестью, когда она пела своим бесподобным, задушевым контральто. Лицом она больше других сестер была похожа на Михаила Львовича, а спокойною сосредоточенностью - на Наталью Львовну.

Обе эти ученицы мои были очень понятливы и достаточно прилежны; заниматься с ними мне было приятно, а благодаря внезапным вспышкам забавной хохотуньи, даже и весело, но гораздо труднее, нежели с Михаилом Львовичем. Тут должен я был вести свое дело в строгой системе постепенного преподавания, чтобы предложить им ясное понятие об основных началах грамматики в той мере, сколько это требуется для вразумительного разбора отдельных слов и предложений при чтении и вместе с тем для правописания. Хотя старшая из моих учениц несколько

опередила свою сестру в элементарных сведениях по русской грамматике, но она знала кое-что только из этимологии, а я, по принятому мною уже и тогда новому методу, начал с ними обучение грамматики синтаксическим разбором предложения - и на цельной его канве, с подлежащим, сказуемым, с словами определительными, дополнительными и обстоятельственными, располагал отдельные части речи с их изменениями в склонениях и спряжениях. Таким образом, я уравнивал учебные интересы обеих сестер, и мои уроки были новостью одинаково для той и другой. Разумеется, и с ними, так же как с Михаилом Львовичем, я принял метод практический - на чтении и письменных упражнениях, состоявших в диктанте и списывании с печатного. Не помню, с чего я начал наше толковое чтение, вероятно, с отдельных предложений и периодов, но очень скоро приступил к басням Крылова и к сказке Пушкина "О рыбаке и рыбке", грамматический разбор которой впоследствии я с пользой употреблял в первом классе третьей московской гимназии, а потом в 1844 г. и напечатал в моем сочинении "О преподавании отечественного языка".

В наших уроках мало-помалу водворился некоторый порядок школьной дисциплины, благодаря влиянию старшей сестры на младшую не только примером, но и внушениями - то тихонько произнесенным словом, то взглядом, то каким-нибудь жестом. Укрощению необузданной, беспричинной веселости Александры Львовны способствовал и самый метод преподавания, требовавший, чтобы мои ученицы постоянно упражнялись практически, то на чтении, то в диктанте. Когда Александра Львовна во время урока что-нибудь читала вслух, или что писала, она до известной степени сосредоточивала свое внимание на этих занятиях и таким образом лишала себя возможности смехотворно наблюдать окружающие ее предметы; но и тут выпадало не мало случаев к мгновенным взрывам ее веселости: ну, как же не расхохотаться, в самом деле, до слез, когда в басне Крылова обезьяна надевает себе на нос очки, или когда в диктанте вместо надлежащего слова очутится у нее сама собою такая бессмысленная чепуха, что и не придумаешь, как она туда попала!

Вы, может быть, удивитесь, если я скажу вам, что эта добродушная и простосердечная смешливость моей маленькой ученицы принесла

лично мне много пользы. Перенесенный так внезапно, будто пощучьему велению, из разнокалиберного товарищества казеннокоштных номеров в аристократическую семью, живо почувствовал я угловатую неуклюжесть своих бурлацких манер, которые на каждом шагу могли бы нарушать условные правила светских приличий и благовоспитанности, если бы я не держал себя настороже. Самолюбие не позволяло мне резко отличаться доморощенными привычками в этой новой среде, куда я попал, да и сознание собственного своего достоинства в качестве наставника обязывало меня во всем до последней мелочи держать себя так, как поступают и ведут себя другие. В этих опытах самовоспитания я не встречал себе никаких затруднений или неприятностей, благодаря безукоризненно вежливой и деликатной снисходительности и приветливому вниманию барона Льва Карловича и баронессы Натальи Федоровны со всеми детьми их. Разумеется, могли быть с моей стороны некоторые недосмотры в соблюдении кое-каких мелочей в общепринятых манерах и привычках, и вот в таких-то случаях веселые вспышки Александры Львовны были для меня настоящим кладом. Как иной раз взглянет она на меня и если захихикает и сделает насмешливую гримаску, я тотчас же проэкзаменую себя, не растрепались ли у меня на голове волосы, или не съехал ли на сторону мой галстук.

Вскоре по переезде фамилии барона Льва Карловича из Мещерского в московский Кремль, к двум моим ученицам присоединилась и третья. Это была Анна Петровна Колычева, их троюродная сестра, круглая сирота, немедленно по смерти отца привезенная к нам из ее наследственного имения, - не помню, какой губернии, - по завещанию ее отца, под опеку и на попечение ее тетки, баронессы Натальи Федоровны. Это была тринадцатилетняя девочка, ростом с Елену Львовну, но казалась выше по своей худобе; довольно красивые черты лица ее оттенялись строгостью выражения и недо-умелым, как бы растерянным взглядом, который не смеет или не хочет на чем-нибудь остановиться, чтобы не застигли его врасплох. С первого же разу эта особа, выходящая из ряда вон, произвела на меня и потом всегда производила сильное впечатление какой-то замкнутой в себе самой сосредоточенности, оторопелой опасливости, недоступного отчуждения. Нет сомнения, что отдельные черты этой характеристики сложились в цельное

представление не вдруг, а последовательно налагались одна на другую в течение долгих лет, пока, наконец, не получили в моей памяти настоящую свою форму как бы в изваянном образе безутешной скорби и окаменелого отчаяния.

Само собою разумеется, что в благодушном семействе барона Льва Карловича Анна Петровна нашла себе вполне родной приют, и чем трогательнее было ее сиротствующее положение, тем сердечнее и нежнее о ней заботились, тем предупредительнее отзывались на ее желания и намерения. Ей хорошо было, как у себя дома, в деревне; она скоро это почувствовала и стала развязнее, повеселела и прояснилась.

Когда в 1841 г., после двухлетнего пребывания за границу, воротился я в Москву, я застал двух старших моих учениц уже взрослыми девицами. В 1842 г. Анна Петровна вышла замуж за барона Льва Львовича, старшего брата моего ученика. Недолго спустя вышла замуж и Елена Львовна за Андрея Ильича Баратынского, приходившегося племянником известному поэту. Жила она очень счастливо со своим мужем в его имении где-то далеко от Москвы на юг. Оба страстно любили музыку. Она, как вы уже знаете, пела своим восхитительным контральто: он мастерски играл на скрипке. По вечерам съезжались к ним из соседства аматеры; тогда устраивались квартеты для музыки и дуэты или трио для пенья. Елена Львовна скончалась в 1862 г., всего тридцати шести лет, в полном цвете красоты и здоровья, оставив по себе троих сыновей и четырех дочерей. Ее муж, доживая свой век в том же имении, помер в конце восьмидесятых годов.

Александра Львовна после этих обеих моих учениц вышла замуж за князя Оболенского, одного из тех молодых людей, которые, помните, приезжали из близкого соседства в церковь петь на клиросе в хоре с баронессами Боде. Детей у них не было.

Пока в фамилии барона Льва Карловича устраивались эти брачные союзы и выделялись из нее новые семьи с нарождающимся юным поколением, мои сношения с нею на несколько лет прекратились не по каким-либо недоразумениям, а так сами собой, частью вследствие размножения ее вовсе незнакомою мне родней, а еще больше потому, что собственная моя жизнь, осложненная новыми

интересами в своей семье, в университете на кафедре, а дома за учеными и литературными работами, далеко увлекла меня в разные стороны по другим течениям, на которых мне уже не приходилось встречаться ни с кем из фамилии барона Боде. Впрочем, незабвенная для меня связь с нею, скрепленная взаимною приязнью, никогда не могла уже ослабнуть. Потому и в этот долгий промежуток нашего ненамеренного разобщения выпадали редкие случаи, когда Михаил Львович или кто-нибудь из его сестер напоминали мне о себе своими ласковыми приглашениями.

Так случилось и с княгиней Александрой Львовной Оболенской. После того, как она вышла замуж, я не встречался с нею ни разу до шестидесяти годов, когда, переселившись на некоторое время из деревни в Москву, квартировала она на Остоженке в большом деревянном доме с колоннами, наискосок против Коммерческого училища (не тот ли это, в котором некогда жил Тургенев с своею матерью?). Она встретила меня радушно и дружелюбно, будто я только что вчера давал ей урок вместе с ее сестрою Еленой Львовной, которой, увы, не было уже в живых; высказывала свое удовольствие при свидании, говорила без умолку, не давая мне промолвить ни слова, и улыбалась, и смеялась, но не по-прежнему. В выражении ее лица, в быстрых движениях, во всей ее фигуре чувствовалось что-то тягостное, удручающее, и улыбалась она невесело, будто насильно, и в звуке ее смеха слышалась какая-то разладица. Впрочем, я уже предвидел это печальное превращение. Ее муж, совсем еще молодой, тридцати с небольшим лет, был неизлечимо болен, хотя и не чувствовал никакого страдания: у него отнялись ноги и были лишены всякого движения. Спустя некоторое время, его вывезли к нам в комнату на низеньких креслах с колесами. Весь седой, он казался хилым и дряхлым, сидел сторбившись и тяжело поднимал и опускал свою голову, обращаясь ко мне, когда я стоял около него и говорил с ним.

Александра Львовна вызвала меня к себе вот по какому делу. Чтобы найти хотя бы некоторое развлечение в своем горестном положении, отвести душу и хоть минутно забыться, она, за неимением своих детей, решила посвятить себя воспитанию осиротелых племянников и племянниц и заботам о них. Я должен был дать ей советы и указания и рекомендовать наставников для

малолетних детей Елены Львовны и для двоюродной племянницы, Варвары Андреевны, дочери барона Андрея Андреевича Боде, приходившегося родным племянником барону Льву Карловичу по брату Андрею Карловичу.

В заключение, о первой, или младшей, группе моих учениц я должен сказать вам несколько слов о судьбе баронессы Анны Петровны. Она страстно любила своего мужа, но недолго наслаждалась счастьем: в 1855 г., во время крымской войны, он скоропостижно скончался от заразной горячки, свирепствовавшей в отряде ополченцев, которым командовал. Безутешная скорбь, сменившая тупое, окаменелое отчаяние, навсегда охватила подавляющим гнетом ее нравственное бытие. Зародыши замкнутого в себе отчуждения, которое так заинтересовало меня в оригинальной девочке-сироте, завершилось в молодой, тридцатилетней вдове самоотречением от всяких интересов жизни и упорным разобщением с людьми и миром. Свои радости и заботы, свои думы и мечты похоронила она в могиле вместе с обожаемым мужем, и теперь ничего другого не осталось ей на земле, как скитаться с своими малолетними детьми по юдоли плача и проливать свои горькие слезы в молитвах к Богу, щедрою рукою жертвуя Ему на алтарях монастырей и скитов всем, что осталось у нее в здешнем мире, - не только своим громадным состоянием, но даже и детьми. Своего сына, уже зачисленного в пажеский корпус, она отдала послушником в Оптину пустынь, а оттуда перевела, в том же звании, в Задонский монастырь; но по совершеннолетию он поступил в гусары. Старшую дочь, красавицу пятнадцати лет, отдала она в Бородинский девичий монастырь, где и скончалась эта несчастная на двадцать третьем году, будучи пострижена в монахини. После многолетнего странствования по монастырям, Анна Петровна пожелала, наконец, водвориться на покой в своей собственной обители и построила себе в землянском уезде, воронежской губернии, в так называемой "Рай-Долине" Знаменский монастырь, где и скончалась монахиней в тайном пострижении, которое разрешает монашествующим носить светскую одежду.

Теперь перехожу ко второй, или старшей, группе дочерей барона Льва Карловича. Из них только две были моими ученицами:

Екатерина Львовна и Наталья Львовна, - о них и буду теперь говорить; что же касается до Марьи Львовны, то о ней скажу потом.

Мои занятия с этими двумя особами относятся к тому времени, когда после двухлетнего пребывания в Италии я воротился в 1841 г. в Москву. Они пожелали учиться итальянскому языку, и в течение каких-нибудь трех месяцев я довел их до того, что они стали свободно говорить со мною по-итальянски. Это собственно не были уроки, определяемые известными днями и сроком часов, потому что я не хотел, да и не мог ставить себя в ложное положение какими-либо обязательствами, сопряженными с званием учителя. Раз или два в неделю они приглашали меня обедать в семействе барона Льва Карловича, а до обеда или после обеда я с ними занимался итальянским языком. И сами они не могли уделять мне много времени, будучи стесняемы развлечением великосветского общества на балах и раутах, в которых по своему высокому образованию, любезности и грации составляли лучшее украшение. Екатерина Львовна славилась своею красотою и необыкновенной прелестью и изящной ловкостью в танцах, особенно в вальсе. Было признано всеми, что лучше ее вальсировать уже невозможно, и самое имя ее в краткой типической форме: "Кетти Бодэ" - разносилось и чествовалось в аристократическом обществе не только Москвы, но и далеко за ее пределами.

Тогда я бредил Италией времен гвельфов и гибеллинов и весь погружен был в таинственные видения Божественной Комедии Данта. Мои ученицы, легко и скоро усвоив себе склад итальянской речи в прозе Манцони и в стихах Торквато Тасса и Петрарки, с большим нетерпением желали разделить со мною мои восторги к великому флорентийцу. Романтизм был тогда в полном разгаре, и безотчетная сентиментальная мечтательность, теперь осмеянная и заподозренная в искренности, была тогда господствующим настроением умов. Вся обстановка жизни, все ежедневное, с его толкотнёю и суматохою, с так называемою злобою дня, казалось пошлым и невзрачным: надобно было зажмуривать глаза и затыкать уши. чтобы ничего повседневного не видеть и не слышать; надобно было уноситься от всех этих дрызгов в необозримую даль прошедшего и в фантастических потемках

средневековья искать светлые идеалы своих тревожных мечтаний. И вот, в эту-то привольную, таинственную область и переселял я воображение моих учениц самым подробным изучением "Божественной Комедии", сколько тогда мог и умел. Я был тогда твердо убежден, что делаю самое лучшее, ибо я, безусловно, веровал в свой девиз, вычитанный мною у Августа Шлегеля, что "Дант есть отец романтизма".

Мои ученицы имели под руками лучшее в то время школьное издание этого произведения, составленное итальянским ученым Бьяджоли, а я пользовался большим изданием в пяти томах, известным под названием "Минервы", по прозвищу типографии, где было оно напечатано. Оно содержит в себе обширные выдержки из всевозможных комментариев Данта, от самых ранних времен и до двадцатых годов нашего столетия. Вы не осудите меня за эти излишние библиографические подробности, когда узнаете, почему они мне дороги и милы. Досужие дантовские уроки с баронессами Боде были первою и довольно удачною пробою тех лекций о Данте, которые потом, в шестидесятых годах, я читал студентам Московского университета в течение целых трех лет.

Серьезные занятия моих учениц далеко не ограничивались этими уроками. Несмотря на развлечения светских обязанностей, обе они любили читать умные и дельные книги, иногда руководствуясь моим выбором и указанием. Так прочли они, например, на итальянском языке автобиографию Альфиери и на французском - Рио об умбрийской и других древнейших школах итальянской живописи.

Таким образом, благодаря неутомимой любознательности моих учениц, наши литературные досуги, сосредоточенные на Божественной Комедии, мало-помалу стали далеко расширяться в своем объеме множеством интересов самого разнообразного содержания, которые приходилось обдумывать, взвешивать и решать. Между нами сами собою завязывались оживленные беседы, в которых мечтания перепутывались с условиями действительности и книжная ученость - с настоятельными вопросами жизни. Далекое прошедшее сливалось для нас с настоящим и целиком вступало в него, как необходимая

перспектива в ландшафте.

Наши интересные занятия и беседы продолжались не более двух лет. Екатерина Львовна вышла замуж за Олсуфьева, а вслед затем Наталья Львовна 30 ноября 1843 г. внезапно скончалась, простудившись где-то на бале.

Вот вам несколько строк об этом прискорбном событии из моей записной книжки. "Сегодня во втором часу умерла Наталья Львовна Боде. А все не верится: странно читать на бумаге рядом с ее именем: "Умерла"! Последний раз, как я видел ее, сидел я с нею довольно долго. Она рассказывала, как поедет в Петербург, как дорогой будет читать мою книгу "Жизнь Альфиери", как барон Моренгейм* будет пересылать ей содержание публичных лекций Грановского. Когда она воротится, я обещал продолжать с ней чтение Данта. Будто на смех человеческой судьбе, все предсмертное свидание наше было посвящено мечтаниям и планам на будущее. Жизнь так и заманивала вперед: казалось, еще так много остается доживать, доделывать начатое и предположенное. И смерть так внезапно пала на нее, что не знаешь, выполнять ли поручения живой, или исполнять завещание усопшей? Да успокоит Господь ее душу!"

* Студент Московского университета, в настоящее время русский посол во Франции.

Екатерина Львовна через несколько месяцев по бракосочетании с Олсуфьевым овдовела, а лет через семь вышла замуж за князя Вяземского. Скончалась сорока восьми лет, еще в полном цвете своей неувядаемой красоты.

Теперь остается сказать несколько слов о третьей особе, которою дополняется группа старших дочерей барона Льва Карловича. Марья Львовна была ростом мала и не в меру с большой головой, что нарушало пропорцию всей ее фигуры. Родись она в другой семье, которая не отличалась бы такой породистою красотой, она казалась бы вовсе не дурна собою, но в сравнении с своими

сестрами была некрасива. И наружностью, и талантами не походила она на них, но так же, как они, была добра, простодушна и мила. Казалось, ничто не занимало ее в интересах окружавшего ее мира; бывало, сидит где-нибудь в стороне от других и молчит себе, пока кто не обратится к ней с вопросом; она коротко ответит и смолкнет. Когда ее сестры друг за дружкой выбывали из семьи, - которые шли замуж, а которые и умирали, - она осталась одна-одинехонька при своих уже престарелых родителях, и тогда-то во всей силе обнаружилось ее высокие достоинства глубоко любящей и беззаветно преданной дочери. Наконец померли и они. Тогда почувствовала она себя лишнею, чуждою между людьми и в 1862 г. пошла в московский Вознесенский монастырь, где потом и скончалась, нареченная в монашестве Паисиею.

Не надобно смешивать Марью Львовну с другою баронессою Боде, игуменьей московского Страстного монастыря, Валериею, о которой много говорилось во время знаменитого процесса игуменьи Митрофании, ее близкой приятельницы. Вера Александровна, в монашестве нареченная Валериею, была дочь барона Александра Карловича, одного из братьев Льва Карловича, и приходилась двоюродною сестрою Марье Львовне.

Останавливаю ваше внимание на характеристической особенности этой оригинальной фамилии баронов Боде. Вот уже четвертую монахиню называю я вам в ее истории. Была еще и пятая, но уже не православного исповедания, а католического, игуменья какого-то монастыря недалеко от Рейна, родная сестра барона Льва Карловича.

Возвращаюсь теперь к Михаилу Львовичу. Наши сношения возобновились, когда уже был он женат на Александре Ивановне Чертковой, которая по матери приходилась родною племянницею графу Сергию Григорьевичу Строганову, и, таким образом, дружественные симпатии к моему дорогому ученику завершились его родством с этим во всех отношениях замечательным человеком, которому я так много обязан моим умственным и нравственным образованием и успехами в жизни.

В то время Михаил Львович уже предался тем историческим исследованиям, которым посвятил остальные двадцать пять лет

своей жизни. Он работал без устали, соединяя в себе благоговейную любовь русского боярина к родной старине и преданиям с упорною решимостью феодальных баронов в неукоснительном преследовании принятых мер для достижения назначенной цели. Он не разбрасывался по необозримому историческому поприщу событий и лиц, не направлял своих поисков в разные стороны, а сосредоточился вокруг себя, как рыцарь средних веков в своем замке. Ему и в голову не приходило выбирать себе из громадной массы исторических предметов какой-нибудь один, более излюбленный: он был дан ему при рождении и унаследован от предков. Это был боярский род Колычевых, род обожаемой его матери, и на прославление своих предков он чувствовал в себе призвание, как бы от них самих ему завещанное.

Свое дело начал он собиранием письменных документов, изустных преданий и вещественных предметов повсюду, где только боярский род Колычевых, расплодившийся по семьям, мог оставить по себе какие-либо следы; затем собираемое приводил он в порядок, разделял на группы и составлял коллекции. Когда же окончательно выяснились результаты его поисков и исторический материал был наготове, он в течение нескольких лет написал объемистую книгу и замыслил дать ее содержанию наглядное и осязательное представление в монументальной форме целого ряда сооружений, построенных им в его подмосковном селе Лукине, по смоленской железной дороге, недалеко от станции Одинцово. В прежние времена, в конце прошлого столетия и в начале нынешнего, русские помещики строили себе в деревнях высокие палаты в стиле позднейших итальянских вилл и версальского дворца Людовика XIV; при этих палатах разводили сады с аллеями из замысловато и на разный манер подстриженных деревьев, с затейливыми, в стиле рококо, беседками и павильонами, которым давались идиллические прозвища эрмитажей, бельведеров, сан-суси, мон-репо, а из-под темно-зеленой листвы повсюду, куда ни взглянешь, белыми пятнами вылезают на божий свет мраморные фавны и нимфы, аполлоны и музы, амуры и другие обыватели классического Олимпа, искаженные тою вычурною, растрепанною манерностью, которую итальянцы называют "барокко".

Михаил Львович для своих строений в Лукине избрал решительно

другой стиль и такой именно, который вполне согласовался с его симпатиями, привычными воззрениями и с основными идеями его исторических исследований. Он вырос в московском Кремле, окруженный зданиями, в которых первенствующее место занимают святыни византийско-русского зодчества. В юные годы он присматривался, как под заведыванием и, наблюдением его отца возобновлялись старинные царские "терема" и сооружался Большой дворец. Пример родителей и светлые воспоминания детства не минуют в жизни бесследно. Михаил Львович основал себе в Лукине свой собственный кремль со стенами и башнями и так же, как в московском Кремле, отделил от других зданий построенные им церкви оградой. Главную идею этого своеобразного архитектурного произведения, сложенного из массы отдельных сооружений по всей усадьбе, было чествование предков и в особенности из боярского рода Колычевых, высшим представителем которых выступает в сиянии мученического венца святитель Филипп, митрополит Московский.

В лукинский кремль вступают через проезжую башню, над воротами которой устроены так называемые "боярские палаты", в стиле московских царских теремов. Вместо двора, перед домом большой круг, густо обсаженный высокими деревьями; в его центре поднимается высокий каменный обелиск, который весь испещрен именами предков владельца усадьбы. Самый дом снаружи не представляет ничего особенного. Он двухэтажный, но большая зала, обращенная хозяевами в гостиную, в два яруса, и все стены ее сверху донизу увешены в несколько рядов фамильными портретами. На правой его стороне от фасада в нижнем этаже кабинет и спальня Михаила Львовича, а в верхнем - так называемые "Архиерейские покои", изящно и с некоторой роскошью убранные, и отдельно от них "монашеская келья", в скромном и убогом виде, соответствующем ее аскетическому назначению, для приезжих монахов или монахинь. В эти оба помещения ведет стеклянная галерея, вдоль стен обнесенная аршиной на полтора от помоста широкими полками, на которых стоят в гипсовых копиях бюсты античных богов и героев, а также и кое-кого из исторических знаменитостей. Полки, перегороженные в два ряда досками, во множестве наполнены - к услугам приезжих - русскими периодическими изданиями, начиная от "Российской

Вивлиофики" и до "Отечественных Записок" и "Русского Вестника" позднейших годов. Когда я гостил в Лукине, мне отводились архиерейские покои.

По другую сторону дом выходит в сад. Тотчас же налево за оградой поднимаются три церкви, - из них главная святителя Филиппа; при ней, по древнехристианскому обычаю, подземная крипта больших размеров, назначенная для фамильной усыпальницы, с надгробиями, перед которыми теплятся лампы.

Как эти храмы, так и все остальное в усадьбе Михаил Львович строил и украшал по планам, чертежам и рисункам, которые составлял он сам, и для точнейшего выполнения своих предприятий неутомимо следил и наблюдал за работами каменщиков, плотников и разных мастеров. Он обладал разборчивым, тонким вкусом и был опытный знаток византийско-русской иконописи и старинной орнаментики.

За садом простирается старательно расчищенный парк. Узкая дорога между двумя огромными прудами ведет в дубовую рощу, которую особенно любил и холил Михаил Львович, а за ней под сквозным пологом высоких сосен виднеется каменная часовня святителя Филиппа, в которой совершается молебен в день памяти этого угодника. Следуя далее в правую сторону, достигаем границы парка, где из-под бугра бьет ключ обильною струей и стекает по желобу в водоем в виде огромной раковины. Это так называемый "Святой колодец". Окрестные поселяне пьют из него во здравие и на исцеление; сверх того, по заведенному издавна обычаю, кидают в водоем медные деньги. Кстати упомяну о другой достопримечательности в имении Михаила Львовича, которая также чествуется между ними и прибавляет их набожность. Перед самым въездом в Лукино от дороги влево, наверху крутого откоса, стоит деревянная часовня, а в ней большой деревянный же крест, необычайное обретение которого облечено таинственностью какой-то местной легенды. Эту часовню построил Михаил Львович и установил крестный ход в нее 14 сентября, в день Воздвижения Честного Животворящего Креста.

Я вдался в эти подробности с тем, чтобы вы могли составить себе общее представление об оригинальной усадьбе Михаила Львовича,

напоминающей своими мистическими особенностями монастырскую обитель, в которой все рассчитано на благочестивое обаяние посещающих ее богомольцев. Но, я полагаю, вы несколько расширите свой взгляд и дадите ему другой оборот, когда я остановлю ваше внимание на главном, основном пункте, к которому указанные выше подробности сосредоточиваются и получают исторический смысл фамильный преданий. Это "архив боярского дома Колычевых" с присоединенным к нему Колычевским музеем, в большом здании вблизи дома направо. Оно состоит из трех павильонов, соединенных вместе, но каждый под своею кровлею. Средний, выше обоих других, для архива, правый для музея, а левый для входа, ничем не занят.

По белым стенам архива широко раскидывает свои ветви колоссальное родословное древо бояр Колычевых и, поднимаясь к потолку, расстилает свою вершину по его сводам. Здесь хранятся книги, рукописи, исторические документы в свитках и листах, фамильные мемуары и другие источники, которыми Михаил Львович пользовался для своих исследований. Корреспонденция его предков, его отца и матери заканчивается собранием писем к нему самому, разделенным на несколько папок. В одной из них он указал мне три мои записки к нему из Москвы в Мещерское 1839 г. и три письма: одно из Неаполя в Москву. 1840 г.: другое из Рима туда же, 1840 г., и третье из Москвы в Петербург, 1841 г. Я внесу их в свои воспоминания, где следует, чтобы дать вам понятие, как я себя чувствовал и как мыслил, когда на целое полстолетие был моложе, и в каких товарищеских отношениях состоял я с моим учеником.

В музее помещены в хронологическом порядке коллекции разных предметов и вещей, принадлежавших особам фамилии Михаила Львовича преимущественно из рода Колычевых, а частью и баронов Боде, от далеких предков до семейства барона Льва Карловича. Далеко выступая из пределов личного интереса фамильных воспоминаний, эти коллекции предлагают богатый материал для истории быта, костюмов, художественных изделий и вообще разных подробностей в обиходе частной жизни русского дворянства. Тут и вышитые золотом камзолы бояр Колычевых, разных годов в течение всего XVIII столетия, и костяной очешник с

барельефами мифологического содержания, подаренный одному из этих бояр Петром Великим, и миниатюрные серебряные игрушки, тоже подаренные другому из них императрицею Елизаветою; тут и арбалет и седло, вывезенные из Эльзаса отцом Льва Карловича, бароном Карлом-Августом, когда он спасался от гильотины бегством в Россию. Некоторые из коллекций, относящихся к позднему времени, имеют лично для меня особенно трогательный интерес. Например: туалетные принадлежности и кабинетные вещи Натальи Львовны и Екатерины Львовны; четки, молитвенник, образок и другие благочестивые предметы из смиренной кельи Марьи Львовны.

Подробным указателем с обстоятельными объяснениями всего содержащегося в архиве и музее может служить историческое исследование Михаила Львовича. В последние четыре года его жизни я часто с ним виделся и настойчивыми советами побуждал и уговаривал его, чтобы он не медлил изданием в свет этого многолетнего труда своего, столь интересного и важного для специалистов по русской истории. Наконец, в 1886 г., он напечатал его под названием: "Боярский род Колычевых".

В 1888 г., не более как через неделю после нашего свидания, я получил в пятницу 18-го марта от княгини Анны Львовны записку зловещего содержания, поразившую меня, как громом. "Любезнейший Федор Иванович, - писала она. - Ваш друг и ученик тяжело заболел. Был в среду на панихиде графини Марии Федоровны Соллогуб*. которую очень любил; устал, расстроился и вдруг занемог, и до сих пор лежит, не приходя в себя. Так грустно - слов нет, чтобы это выразить".

* Дочь Федора Васильевича Самарина, сестра Юрия Федоровича.

Оставаясь все в том же забвении, во вторник 22-го марта он скончался без малейших страданий, тихо и мирно, будто погрузился в сладкий сон.

XI

Возвращаюсь еще раз к 1838 г., когда я только что окончил курс в университете. Мне дали место сверхштатного учителя русского языка в младших классах второй московской гимназии. Я начал службу 18 августа и раза четыре в неделю отправлялся из Кремля в далекий путь через Покровку и Басманную, к самому ее концу, где на углу Разгуляя стоит эта гимназия.

Странное дело: мое учительство в этой гимназии прошло мимо меня, как тень, не оставив по себе в памяти ни малейшего следа. Сколько ни стараюсь, не могу вызвать в своем воображении ни стен, ни обстановки тех классов, где я преподавал, ни того, как, чему и кого я учил; не помню в лицо и по фамилии ни одного из учителей, кроме известного уже вам Лавдовского, вероятно, потому только, что он был мне товарищем в казеннокоштном общежитии Московского университета. Остался всего один незабытый факт, ясно выступающий передо мною из этих смутных потемок, - именно то, как я в первый раз явился к своему директору гимназии, Старынкевичу. В то время было в обычае у начальников всех ведомств с особенною суровостью и с надменным сознанием своего достоинства встречать молодых людей университетского образования, которые поступают к ним на службу, чтобы с первого же разу сбить с них высокомерную спесь предъявлением строгих правил дисциплины и неукоснительного исполнения служебных обязанностей. - Старынкевич, в сущности, человек добрый и снисходительный, по привычке к общепринятым порядкам, почел своим долгом прежде всего озадачить меня начальническим внушением, что гимназия - не университет, что я должен забыть профессорские лекции и сосредоточить все свое внимание на предписанном учебнике, что в классах требуется следить за успехами учеников, а не разглагольствовать, и тому подобное. Припоминая распушенные нравы пензенской гимназии, я признавал уместными его педагогические требования, но забыть университетские лекции я не мог и не хотел, потому что только при их живительном свете я мог разумно понимать данный мне в руководство учебник. И как же мне, учителю русского языка в гимназии, оставить втуне составленный мною, по указаниям профессора Шевырева, свод русских и церковнославянских

грамматик, когда я со своими учениками буду пользоваться более или менее удачным сокращением одной из них? Отказаться от того, чем я стал, получив университетское образование, было бы то же, что отказаться от самого себя, отрешиться от своей собственной личности. Может быть, я был не прав в своем увлечении, но признавал его тогда за непреложную истину. В ответ на внушительное распеканье почтенного и престарелого директора, я только поддакивал и молчал, потому что сильно оробел и опешил, но вместе с тем чувствовал себя глубоко оскорбленным, и вышел из его кабинета, понунив голову и съездившись, будто окатили меня там холодной водою. Живо припоминаю эти подробности, вероятно, потому, что с тех самых пор крепко засела во мне инстинктивная боязнь перед всяким начальством.

С осени 1838 и до весны 1839 года мое время протекало двумя резко отделенными полосами: светлую - в Кремле и темную - на Разгуляе, но месяца через четыре мало-помалу принялась заволакивать меня полоса темная. Я почувствовал изнурительное утомление, но не переставал надирать себя, видимо ослабевал, а Великим постом 1839 г. совсем захворал и прекратил уроки в гимназии. В начале мая семейство барона Льва Карловича переехало в Мещерское, а я по болезни принужден был остаться в Москве. Вот одна из трех записок моих к Михаилу Львовичу, сбереженных им для хранения в его Колычевском архиве: "Покорно вас благодарю за память. Мне теперь гораздо лучше. Во вторник было очень дурно, но это, кажется, уже перелом моей болезни. Теперь только одна слабость. Пришлите мне, пожалуйста, вторую часть "Римской Истории" Мишеле, а то нечего читать, а без занятий скучно. Дайте мне знать, каких вам нужно книг вроде этой". Вскоре возобновил я свои уроки в гимназии. В конце мая, в какой-то праздничный день, в ранние обедни, разбудили меня, чтобы немедленно вручить мне очень нужное письмо от инспектора студентов Платона Степановича Нахимова. В коротких словах уведомлял он меня, чтобы сегодня же явился я в девять часов утра к попечителю графу Строганову. Никакими словами не могу вам высказать того ужаса, каким поразило меня это неожиданное и негаданное приглашение. Я чувствовал себя виноватым перед гимназиею в нерадении и упущении по службе: я был в отчаянии, путаясь в мыслях, как и что могу я сказать в свое

оправдание. Я ждал грозной расправы и был убежден, что меня выгонят из службы или, по малой мере, сошлют учителем куда-нибудь в захолустье. Сам не помню, как я шел из Кремля на Дмитровку, где жил тогда граф, налево, в большом двухэтажном каменном доме на широком дворе с двумя корпусами на улицу. Не помню, как попал я в приемную залу и как очутился перед лицом самого графа в его кабинете; от всего смутного кошмара остался в моей памяти только один светлый момент, обдавший меня несказанной радостью и восторгом. Сам попечитель Московского университета предложил мне отправиться с его семейством на два года в Италию, чтобы там давать уроки его детям. Через несколько дней он дал мне маршрут и денег, сколько нужно для переезда от Москвы до Дрездена, где я должен буду ожидать графиню с детьми из Карлсбада, а его самого из Москвы. Впоследствии я узнал, что этим решительным поворотом в судьбе всей моей жизни я был обязан рекомендации барона Льва Карловича, который в самых лестных похвалах отзывался графу об успехах моего преподавания сыну его, Михаилу Львовичу.

О последних днях моего пребывания в Москве я ничего не мог бы сказать вам, если бы у меня не было под руками двух других моих записок к Михаилу Львовичу. Помещаю их здесь обе.

"8-го июня. - Сегодня мне не было времени сходить в книжный магазин, для покупки вам "Гамлета". Несносная гимназия задержала меня. Но все равно, я вам посылаю своего "Гамлета". Вы можете держать его, сколько вам угодно. Посылаю вам также исторические тетради. А вот вам и от меня покорнейшая просьба: пожалуйста, не забудьте, пришлите мне в это воскресенье "Древние русские стихотворения": они мне чрезвычайно, чрезвычайно нужны. Не забудьте, сделайте одолжение. Получили ли вы от Майора* "Макбета" и "Отелло". Если нет, то спросите у него. Я уже давно, еще накануне вашего отъезда, их ему отдал".

* Так звали домашнего врача князей Оболенских, соседей барона Боде по подмосковному Мещерскому.

"20-го июня. - Завтра еду из Москвы, и может быть, очень на долгое время. Прощайте, будьте здоровы и счастливы. От всей души желаю вам успехов самых блистательных и в корпусе, и потом на службе. Если не будете скучать моими письмами, я за большое удовольствие почту себе писать к вам из Германии и Италии. Засвидетельствуйте мое почтение вашей бабушке, маменьке и всем, всем. Потрудитесь передать Екатерине Львовне приложенную при этом письме тетрадь. У меня есть ваши книги, которые вам передаст Андрей Андреевич*. Поклонитесь от меня Тимофею. Будьте счастливы".

* Молодой офицер, сын барона Андрея Карловича Боде, двоюродный брат Михаила Львовича.

Тимофей был у нас с Михаилом Львовичем камердинер и преданный слуга, славный малый; я его очень любил.

Посылая прощальные поклоны всему семейству в Мещерское, я не упомянул о бароне Льве Карловиче потому, что он был тогда в Москве по своим обязанностям наблюдателя за построением Большого дворца. При расставанье он приветствовал меня своими ласковыми пожеланиями, и в знак памяти подарил мне хорошенькие часы, чтобы далеко от Москвы, вынимая их из жилетного кармана, инстинктивно вспоминал я иной раз о Кремле и подмосковном Мещерском.

XII

По указанию профессора римской словесности Дмитрия Львовича Крюкова я запасся в Петербурге руководством Отфрида Миллера по археологии искусства, а управляющий домами графа Строганова разменял мне русские ассигнации на голландские десятифранковые червонцы и, привыкши услуживать своим сиятельным патронам высокою ценою, взял для меня билет на пароход до Любека не второго класса, а первого, чем нанес не малый ущерб моему кошельку и обрек меня на исключительное положение между первоклассными пассажирами из великосветского общества. В

потертом сюртуке скромного покроя и в черной шелковой манишке вместо голландского белья, я казался темным пятном на разноцветном узоре щегольских костюмов окружавшей меня толпы. Впрочем, это нисколько не смущало меня, потому что, и сидя в каюте, и гуляя по палубе, я не имел ни минуты свободной, чтобы обращать на кого бы то ни было внимание, уткнув свой нос в книгу Отфрида Миллера. Все время на пароходе я положил себе на ее изучение, чтобы исподволь и загодя подготавливать себя к специальным занятиям по истории греческого и римского искусства и древностей в Риме и Неаполе. На другой же день плавания мне случилось заметить, что между моими спутниками первого класса я прослыл за скульптора или живописца, отправленного из Академии художеств в Италию для усовершенствования в своем искусстве. Это очень польстило моему самолюбию, и тем более, что я еду в такой дальний путь и с такою возвышенною целью, тогда как все другие направлялись - кто веселиться в Париж. Лондон или Вена, а кто полоскать свой желудок на минеральных водах.

Бурная погода и супротивный ветер замедлили наше плавание на целые сутки, и я успел свести знакомство с двумя молодыми людьми своего десятка. Один был комиссионер торговой конторы из петербургских немцев (фамилии не припомню), а другой - офицер Военной академии Милованов, для чего-то командированный за границу, оба пассажиры второго класса. В них нашел я себе первых путеводителей при самом вступлении моем в Травемюнде, на материк чужой земли. Милованов поехал на лошадах в Гамбург, где будет ждать меня в "Штрейнтсотеле", а немецкий комиссионер остался со мною в Любеке, в одной хорошо уже известной ему скромной гостинице.

Солнце, спускавшееся к закату, освещало кое-где своими косыми лучами улицы, по которым мы направлялись в свою гостиницу. У высоких и узких домов странной, невиданной мною архитектуры на скамьях сидели их хозяева, мужчины и женщины, тоже в странных для меня костюмах. Впрочем, по улицам было малоллюдно и тихо, но мне казалось как-то празднично и торжественно.

Не удивляйтесь, если скажу вам, что с этого самого вечера в

продолжение всего двухлетнего пребывания моего за границею настал для меня беспрерывный светлый праздник, в котором часы, дни, недели и месяцы - представляются мне теперь нескончаемою вереницею все новых и новых каких-то радужных впечатлений, нечаянных радостей, никогда прежде не испытанных наслаждений и захватывающих дух поразительных интересов. Я тогда был еще очень юн и летами, и душою, в возрасте нынешних гимназистов, которые вступают в университет: мне только что минул двадцать один год. Я не знал ни людей, ни света, и кроме своего Керенска, где родился, кроме пензенской гимназии и казеннокоштного общежития в университете, с придачею мещерского и дворцового корпуса в Кремле, я ничего другого не видал и не помнил. И вдруг передо мною открылась необъятная и манящая вдаль перспектива от Балтийского моря по всей Германии, через Альпийские горы в широкую Ломбардию, к Адриатическому морю в Венецию, а оттуда через Альпы во Флоренцию, Рим и наконец на берега Средиземного моря, с Неаполем и Везувием, с Геркуланом и Помпеею. У меня дух занимало, голова кружилась, я ног под собой не чуял в стремительном ожидании все это видеть, перечувствовать и пережить, усвоить уму и воображению. Я заранее мечтал пересоздать себя и преобразовать, и вместе с тем был убежден, что не мечтаемая мною, а настоящая действительность своим чарующим обаянием превзойдет самые смелые фантастические мои ожидания, потому что в этих романтических грезах мне недоставало тогда ни очерков, ни красок, чтобы воплотить неясные и пылкие мои стремления - *dahin, dahin, wo die Citronen bliihen!* (туда, туда, где лимоны в цвету! (нем.)).

Над умами и сердцами господствовал тогда мечтательный романтизм с безотчетным верованием во все возможное и невозможное, с выспренними полетами в неведомые, таинственные области, с религиозным поклонением искусству для искусства. Обетованною землею для восторженных душ была тогда Италия, опустелая, убогая и поработенная в своем настоящем и так неистоимо богатая и могущественная в художественных памятниках своего прошедшего, - будто необъятное кладбище всемирных гигантов, соорудивших некогда столпотворение европейской цивилизации. Туда эмигрировала из своего отечества княгиня Волконская, приняла католичество и в Риме построила

себе бесподобную виллу в громадных арках и устоях античного водопровода. В этой вилле жил и давал уроки сыну княгини Степан Петрович Шевырев, прежде чем стал нашим профессором в Московском университете. Туда в Италию уехал умирать в 1840 г. знаменитый в то время Станкевич. Зимой 1840-1841 гг. провел в Риме Гоголь и потом в течение нескольких лет возвращался туда же. Меня заманивал и уносил романтический поток времени, и я строил себе воздушные замки и веровал в возможность их осуществления там - далеко, куда направлялись мои задушевные идеи, помыслы и думы, и где я надеялся привести в исполнение предначертанные мною планы.

Чтобы вы вполне уяснили себе это светлое и торжествующее настроение моего духа, я должен обратить ваше внимание на мое личное положение и на внешние условия, определяемые тогдашним порядком вещей. В то время еще не было дешевой переправы вдаль по железным дорогам, возможной теперь и для людей с ограниченными средствами; но кое-где, как новинку, начинали уже проводить их на малых расстояниях. Ехать на лошадях из России не только в Италию, но даже и в Берлин или Дрезден, возможно было тогда для людей богатых или, по крайней мере, обеспеченных. Сверх того, отъезжающих за границу облагали у нас тяжелым налогом с каждого лица по пятисот рублей. Мне, бедняку, разумеется, и во сне не снилось очутиться в Италии. Моим радостям не было конца, когда наяву выпало на мою долю такое великое счастье.

Но довольно о моем праздничном ликовании. Больше не буду вам докучать им в рассказе о моих странствованиях по Германии и Италии. Впрочем, чтобы познакомить вас с моими личными впечатлениями и чувствами от того далекого времени во всей их наивной свежести юношеских волнений, я буду кое-где изредка приводить вам выдержки из своих путевых записок. К моему крайнему сожалению, они сохранились у меня только в переплетенных книжках, которые я стал заводить, начиная с Венеции. До тех пор я писал их на почтовых листах большого формата, с раскрашенными сверху картинками, изображающими ландшафт здания или обывателей тех местностей, где я запасался этою бумагою. В течение полустолетия иллюстрированные листы,

не связанные в тетрадь, как-то сами собою, без моего ведома, разлетелись в разные стороны, и у меня не осталось ни одного. А жаль: в них - хорошо помню - были писаны прекурьезные строки о моих восторгах, когда я, наконец, почувствовал себя в Италии, спускаясь с снежных высот тирольского Бреннера к необозримой равнине ломбардских виноградников...

Пора, однако, воротиться к моему спутнику, немецкому комиссионеру, которого я оставил на одной из улиц Любека. Мы поместились в хороню известной ему скромной гостинице. На другой день он показывал мне примечательности города. Из них помню только одну - и так живо, будто и теперь вижу ее перед собой. Это было изображение "Пляски Смерти" на стене фресками в какой-то церкви, если не ошибаюсь, в Marien-Kirche. Я касаюсь этой подробности для того только, чтобы дать вам понятие, насколько был я подготовлен в Московском университете, когда мог уже интересоваться такою антикварною вещью, которая и теперь составляет предмет специальных занятий.

Вечером я отправился в Гамбург! - навестить поджидавшего меня Милованова - и провел вместе с ним дня три в ошеломившем меня водовороте увеселений и забав этого богатого торгового города. Я спешил в Дрезден, где надеялся подготовить себя серьезными занятиями, чтобы сознательно пользоваться тем, что по моим соображениям и планам ожидало меня в Италии. Но Лейпциг соблазнил меня, и я застрял в нем недели на две. Меня тянуло в аудитории университета. Из профессоров ясно припоминаю только двоих. Это были: во-первых, старик Круг, непосредственный ученик великого Канта, в синем долгополом сюртуке и в ботфортах, на шее высокий белый галстук; и во-вторых, филолог Герман, человек средних лет, щегольски одетый в летний костюм и со шпорами на сапогах, потому что приезжал в университет с дачи верхом на своей лошади. Он читал тогда библиографическое обозрение гимнов Гомера, т.е. о рукописях, в которых они дошли до нас, о печатных изданиях, о вариантах, о комментариях. Разумеется, не обошлось без того, чтобы я не познакомился кое с кем из студентов, а с одним даже подружился на "ты". Это был сын сельского пастора, по фамилии Шульце.

Из частых сношений с ним в моей памяти навсегда сберегся один

случай, потому что дал мне наставительный урок о вежливой аккуратности, которая охраняет личность ближнего от посягательства на его свободу беспрепятственно располагать своим временем. Однажды мы с Шульце положили на завтрашний день ехать куда-то за город утром ровно в девять или десять часов, хорошо не припомню, - только именно ровно в назначенный час, минута в минуту. Поджидая своего товарища, я сидел у открытого окна, которое выходило на улицу, а внизу под ним был вход в гостиницу. Время от времени я посматривал в ту сторону улицы, откуда должен был идти Шульце. Вот он, наконец, идет, приблизился к самому подъезду гостиницы, остановился, будто кого ждет, потом направился дальше в другую сторону улицы, а я все наблюдаю за ним из своего окна; вот он повернулся, возвращается назад, опять постоял у подъезда и наконец вошел в гостиницу. "Кого это ты поджидал и прогуливался взад и вперед по улице?" - спросил я, когда он очутился в моем номере. "Да никого, - отвечал он, - я десятью минутами пришел раньше и не хотел помешать тебе". Конечно, это была уже чересчур немецкая аккуратность, но самый пересол ее тем сильнее внушил мне твердое решение дорожить минутами не только своего времени, но и чужого, и не беспокоить никого в неурочный час.

От Лейпцига до Дрездена была уже проведена железная дорога, и я в первый раз в жизни поехал по этому новоизобретенному пути. Я ликовав и для пущей радости засел в вагон первого класса, и все время до самого конца оставался в нем один-одинёхонек, беспрепятственно наслаждаясь небывалыми ощущениями головокружительной быстроты поезда.

В Дрездене по рекомендации лейпцигских студентов я остановился и провел целый месяц в одной недорогой, но очень хорошенькой Гостинице, в так называемом Новом Городе (Neustadt), в отличие от Старого Города, находящегося по ту сторону Эльбы, с королевским дворцом, театром, с Briihlsche Terrasse, с знаменитою картинною галереею.

О "Сикстинской Мадонне" Рафаэля я уже знал, когда еще учился в пензенской гимназии, и потом наслышался много о ее несказанной красоте и величии. Думаю, только набожные паломники с таким восторженным благоговением жаждут поклониться гробу

Господню, с каким, по приезде в Дрезден, я стремился увидеть своими собственными глазами великое чудо итальянской живописи. На другой же день я направился из своей гостиницы в картинную галерею. Она находилась тогда не в Цвингере, как теперь, направо от See-Strasse, если идти от моста на Эльбе, а налево от этой улицы, на площади в старинном здании с крыльцом и наружной лестницею в два поворота, без навеса. Ступени и площадки были из больших каменных плит, которые от времени растрескались и порасползлись, из расщелин пробивалась густая трава и кое-где мохрами висела со ступенек. Протоптаные и обитые камни свидетельствовали, что когда-то давно много было хожено по этим ступеням и площадкам, а непомятая зеленая бахрама, теперь украшающая их, давала знать, что ветхое здание галереи стоит в запустении и редко посещается. В напряженном состоянии моего духа такие пустые подробности, конечно, промелькнули бы мимо меня незамеченными, если бы один внезапный случай не заставил меня очнуться и все свое внимание сосредоточить именно на этих самых мелочах. Он глубоко врезался в моей памяти со своею обстановкою. Со всего разбега пустившись впрять по ступеням лестницы, я споткнулся и упал. Не помню, больно ли я ушибся, да, вероятно, и тогда я не мог этого почувствовать, потому что мгновенно охватил меня страх и ужас при мысли, поразившей меня как громом: что же бы это со мной было, если бы я сломал себе руку или ногу, прошиб бы себе череп о край ступеньки и не увидел бы никогда "Сикстинской Мадонны"! Она показалась мне в эту минуту дороже самой жизни. Осторожно приподнявшись, я ощупал себе колени и локти, постучал ногою об ногу, потянулся, взмахнул обеими руками: вижу, что все обстоит благополучно, и усердно перекрестился. Затем тихохонько поплелся вверх по лестнице, бережно поднимая ногу на каждую ступеньку, чтобы не зацепиться об нее носком или каблуком сапога, и по плитам площадок ступал с приостановкой, чтобы не поскользнуться на ровной поверхности и не запнуться в трещине; даже когда приблизился к входной двери и позвонил, я намеренно отступил назад, чтобы привратник, размахнув ее, не зашиб меня ею и не лишил бы меня возможности вступить в святилище Мадонны.

Только самое первое, еще не испытанное в жизни, неизгладимо поражает душу; всякое повторение, хотя бы и в более сильных

приемах, действует несравненно слабее. Я и наполовину не испытывал такого пылкого волнения, когда потом подходил в флорентийской трибуне к Венере Медицейской или в ватиканском бельведере к пресловутому Аполлону. Потому же и ранние впечатления детства и юности, впервые прочувствованные, так дороги всякому и милы.

В Дрездене мне надобно было запастись необходимыми, настольными книгами и тотчас же приняться за их чтение и внимательное изучение. Это были: во-первых, Винкельмана "История древнего классического искусства", в новом, только что вышедшем тогда издании, с обширными примечаниями, в которых новейшие ученые дополнили и исправили Винкельманов текст, и, во-вторых, Куглера "История живописи", вышедшая в 1838 г. первым изданием еще только в одной книге, которая потом в следующих изданиях разрослась в два тома.

Чтобы подготовит себя к Италии, мне следовало воспользоваться дрезденскою картинною галерею и, сколько возможно, ознакомиться с нею основательно и подробно по указаниям Куглера. Эта галерея особенно пригодна для начинающих. Составленная в XVIII столетии по вкусу знатоков и любителей того времени, так же как петербургский Эрмитаж и другие старинные галереи Европы, она ограничивается только цветущим периодом искусства, начиная с эпохи возрождения, за полнейшим отсутствием произведений раннего стиля, из которых многие интересны и значительны не столько в художественном отношении, сколько в историческом и археологическом. Сверх того она предлагает отборную коллекцию самых лучших образцов живописи итальянской, немецкой, фламандской и французской. Здесь я нашел себе элементарную школу для первоначальной выработки эстетического вкуса.

К стыду моему, я должен признаться вам здесь, что, отправляясь за границу, я не имел ни малейшего понятия о превосходном собрании картин в нашем петербургском Эрмитаже. Если бы хоть немножко был я с ним знаком, то другими глазами взглянул бы я на то, что ожидало меня в дрезденской галерее, и уберег бы себя от напряженных усилий научиться в короткое время слишком

многому.

В этом же городе я порешил усвоить себе хотя бы поверхностную наглядку в понимании пластического стиля античной скульптуры. За неимением лучшего, мне пришлось довольствоваться небольшим собранием статуй, бюстов и барельефов в Japanische Palais (Японский дворец (нем.)), находящемся в так называемом Новом Городе, близехонько от моей гостиницы. И туда я ходил часто, подолгу останавливался перед мраморными Минервами, Аполлонами и великими людьми Греции и Рима, с напряженным вниманием всматривался в подробности античной работы, усиленно добивался уловить, в чем состоят ее классические достоинства и прелесть, о которых я уже успел довольно начитаться в Винкельмане. Но все было напрасно, - потому ли, что собранные в музее экземпляры были посредственного разряда, или скорее потому, что глаза мои вовсе не были воспитаны и прилажены к восприятию впечатления, какие производит изваянная фигура своими выпуклостями и с ограниченной со всех сторон округлостью, без пособия живописной раскраски и перспективы или, по крайней мере, светотени. С ранних лет я привык видеть картины, но ни разу не случилось мне встретить ни одной статуи или бюста, на которые я обратил бы свое внимание.

При рассмотрении античных произведений дрезденского собрания, останавливала меня на каждом шагу, смущала и путала одна досадная помеха, которая не давала мне возможности, без указаний каталога, самому отличать настоящую античную работу от позднейшей подделки, более или менее удачной. Надобно знать, что почти ни один мраморный экземпляр из древних греческих или римских статуй, бюстов или барельефов не дошел до нас в своей целостности. У того поломаны руки или ноги, у того отлетела голова, а если он и с головою, то непременно уже отскочил нос; у иного руки и целы, но без одного или нескольких пальцев. Обыкновенно все эти увечья реставрировались: к античной фигуре приделывали ее собственные члены, если они вместе с нею были найдены в земле или в щебне развалин; если же они не уцелели, то заменялись новыми. И старинный осколок и его позднейшая подделка одинаковым образом были прилаживаемы в надлежащем месте. Чтобы отличить одно от другого в скульптурных произведениях

дрезденского собрания, мне приходилось ежеминутно справляться с каталогом, где это всякий раз обозначалось...

Однажды, когда я таким образом упражнялся в изучении античного стиля привинченных рук и ног какой-то статуи, ко мне подходит один молодой человек и услужливо предлагает мне облегчить разрешение мудреных для меня загадок. Он обратил мое внимание на два пункта. Новая реставрация какого-либо члена статуи отличается от античной, во-первых, разницею в мраморе и, во-вторых, более или менее неудачным воспроизведением натуральности, - а именно эта-то самая натуральность и составляет главную суть античной пластики. Объяснив наглядно оба пункта на нескольких примерах, мой новый знакомец открыл мне свободный доступ в область классического искусства. Он толковал мне с таким знанием дела и так удобопонятно, что я почел его за скульптора и сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что он просто студент медицинского факультета из Вены, никогда и в руки не брал скульптурного резца, но уже привык хорошо владеть анатомическим ножом и, препарируя трупы, изучал человеческое тело, потому и может отличать в пластическом его изображении натуральное от ненатурального.

Это знакомство было для меня вдвойне наставительно. Я позавидовал германским студентам в том, что так легко и привольно могут они воспитать и образовать свой эстетический вкус в музеях и галереях, рассеянных по многим городам их отечества. Усвоив себе с той далекой поры идеальное направление, тамошняя молодежь, вступив в зрелый возраст, могла сознательно отказаться от увлечений идеализма и с полнейшим убеждением принять новое направление, реалистическое, когда с половины текущего столетия стало оно забирать себе силу. Мой студент медицинского факультета из Вены любил и понимал искусство и вместе с тем оценивал его с точки зрения анатомической.

XIII

В первых числах августа граф Строганов прибыл в Дрезден из Москвы, а графиня с детьми из Карлсбада, чтобы отсюда отправиться на юг. И я присоединился к ним. Недоставало только старшего сына, известного уже вам между студентами Московского

университета, графа Александра Сергеевича, который должен был догнать нас где-нибудь на дороге.

С этих пор я буду в своих воспоминаниях называть Сергия Григорьевича Строганова не по имени и отчеству, а нарицательно "графом", как все мы привыкли тогда называть его в университете.

Еще за отсутствием железных дорог мы ехали по всему пути в экипажах до самого Неаполя. Это была не легкая и быстрая поездка за границу, какие теперь производятся по рельсам, а старобытное настоящее путешествие вроде того, какое изобразил Карамзин в "Письмах русского путешественника".

Наш пассажирский поезд состоял из четырех экипажей: три кареты и одна коляска. В каретах помещались: граф с графиней и их дети, а именно: четыре сына, Александр Сергеевич, годом моложе меня, Павел Сергеевич, около шестнадцати лет, Григорий Сергеевич, десяти, и Николай Сергеевич, полутора года, с немецкою бонною Амалией Карловною; потом - две дочери: Софья Сергеевна, пятнадцати лет, и Елизавета Сергеевна, тринадцати, с гувернанткой из Лозанны, мамзель Дюран. Коляска могла вместить только двоих; в ней ехал я с гувернером Павла Сергеевича и Григория Сергеевича, с немцем Тромпеллером, доктором филологии из какого-то германского университета. Она отличалась замечательною прочностью, так что в течение целых двух лет нашего странствования ее ни разу не привелось чинить. Мы с Тромпеллером очень берегли ее как фамильную примечательность, потому что еще во время турецкой войны двадцатых годов сам граф совершал в этой коляске поход за Дунай. Из карет особенно отличалась одна, желтая, громадных размеров и невероятной вместимости. Мы называли ее Ноевым ковчегом. В нее впрягали всегда четверню, а то и целый шестерик, между тем как прочие экипажи обходились только парю лошадей. Впрочем, для крутых подъемов на высоты Тирольских и Апеннинских гор в экипажи впрягали волов.

При господах было всего только трое слуг: камердинер графа, горничная графини и повар Пашорин (по имени никогда не называли его, оно так и осталось мне неизвестно). В дороге он прислуживал мне и Тромпеллеру и состоял при нашей коляске, а

камердинер и горничная помещались в маленьких крытых сиденьях, приделанных сзади карет, где бывают запятки. Вдали от родины Пашорин был для меня хорошим образчиком русского человека, вышедшего из простонародья. О нем придется мне не раз говорить вам в моих воспоминаниях.

Для нашего поезда, как теперь на железной дороге, был своего рода кондуктор, - только он не состоял при наших экипажах, а всегда опережал их на целую станцию и назывался курьером. Он должен был ежедневно распоряжаться нашими остановками, где удобнее и лучше могли мы пообедать и ночевать. Таким образом, в течение всего пути от Дрездена до Неаполя наш день проходил таким порядком: напившись поутру кофею, в девять часов мы отправлялись в дорогу; около двух часов пополудни останавливались в гостинице какого-нибудь города или местечка, где по распоряжению нашего курьера нас ожидал накрытый стол с назначенным числом кувертов. Часа в четыре мы садились в экипажи и доезжали до станции, где в гостинице уже заранее приготовлены были для нас ужин и комнаты для ночлега, с точным распределением, где кому поместиться.

Когда мы водворялись постоянным жительством на продолжительное время сначала в Неаполе, на острове Искии и в Сорренто. а потом в Риме, то во всех этих местах перед нашим туда приездом тот же курьер должен был отыскать, нанять и вполне приготовить нам удобный и поместительный дом или виллу с мебелью, со столовым сервизом и со всеми принадлежностями домашнего обзаведения и хозяйства, а вместе с тем нанять и прислугу в надлежащем количестве. Только в эти продолжительные сроки и наш Пашорин, оставляя временное служение при коляске, принимался за свое кухмистерское искусство, в котором он был большой мастер. Любопытно было бы знать, на каком языке объяснялся он с своими итальянскими поваренками, которые ему помогали, и как добывал провизию, вовсе не умея говорить по-итальянски. На это, должно быть, очень хитер русский человек.

Наш курьер, по фамилии Де-Мажис, был человек лет тридцати пяти, высокий и тонкий, красив собою, брюнет с черными усами, расторопен, ловок и со всеми одинаково вежлив: свободно говорил

по-русски, по-французски, по-немецки, по-английски и в особенности по-итальянски. Мне ни разу не случилось спросить его, какой он нации и какого звания и положения. Иные считали его французом, иные - итальянцем; мне казался он бесподобным цыганом в типе всесветного авантюриста. Он должен был иметь большой успех у женщин, и когда он жил при нас одну зиму в Неаполе, а другую в Риме, от нечего делать любил приволакиваться за итальянскими красавицами. Это был замечательный образчик той породы курьеров, из которых русские вельможи и английские лорды брали себе опытных и надежных путеводителей в своих дальних поездках.

Самая медлительность нашего странствования в экипажах и с ежедневными остановками приносила мне великую пользу, давая мне возможность беспрепятственно и льготно наблюдать и изучать все встречаемое мною, наслаждаться природою, живописными, оригинальными видами в городах и местечках, где мы обедали или ночевали, и знакомиться с обычаями и порядками их жизни.

В более интересных местах мы останавливались дня на два, на три, именно в Нюрнберге, Мюнхене, Иннсбруке, Вероне, Мантуе, Модене и Сизэне, а то и на целую неделю, как во Флоренции и Риме; только, как вы увидите, по особенному случаю прожили мы целый месяц в Болонье. Тогда мы все вместе осматривали довольно подробно примечательности города с утра и до самого обеда, отправляясь всегда в экипажах, а не пешком, чтобы уэкономить время для осмотра и не утомить себя, расхаживая по галереям, дворцам и церквам. После обеда гуляли обыкновенно врассыпную: мамзель Дюран с девицами, Тромпеллер со своими учениками, а я сам по себе.

Когда мы разъезжали по городу, при нас состоял провожатый, или путеводитель, которого отряжала нам гостиница, так называемый лонлакей, по-итальянски - *domestico di piazza*. В то время еще не было подробных и обстоятельных указателей, или гидов вроде нынешнего общеупотребительного Бедекера, и потому печатную книгу по необходимости приходилось заменять в каждом юрде услугами какого-нибудь местного обывателя, промышленявшего ремеслом лонлакеев и чичеронов. которое особенно распространено было по всей Италии. Люди этого разряда были

вообще очень невежественны, не умели в своих указаниях отличать важное и существенное от мелочей, не заслуживающих внимания, и крайний недостаток сведений восполняли утомительною болтовнёю, которою думали внушить к себе доверие и уважение. Путешественники более образованные и знающие пользовались этими людьми очень осторожно и не позволяли им распорядиться осмотром предметов тех местностей, куда они их приводили.

К таким путешественникам принадлежало семейство графа. Он был человек высокообразованный, бывалый и опытный. Еще будучи двадцатилетним офицером, он хорошо познакомился с Европою, находясь в походе русской армии против Наполеона I, и в 1815 г. долго оставался в Париже и особенно был заинтересован изучением художественных произведений самого высшего достоинства, которые были похищены в эту столицу, как драгоценные трофеи победы, из покоренных наполеоновскими войсками стран и преимущественно из Италии, как из больших городов, так и из маленьких. Грабители руководствовались тонким эстетическим вкусом и отовсюду тащили отборные сокровища в свой Париж. После Венского конгресса все эти художественные предметы возвращены были в Италию и водворены на своих прежних местах. У итальянцев надолго оставалось в обычае определять репутацию изящного произведения временною его побывкою в Париже. Эта голословная оценка была по нраву наемным чичеронам, и они еще и в то время, в конце тридцатых годов и в начале сороковых, любили ею пользоваться, хотя бы и невпопад, чтобы дороже выставить свой товар. Куда бы мы ни приезжали, граф встречал лично знакомые ему предметы или известные понаслуху и из книг, а потому и не мог нуждаться в дешевых услугах наемного чичерона.

Он не принадлежал к большинству тех заурядных любителей изящного, которые, относясь к художественному произведению слегка, как к приятной забаве, умеют оценивать его качества только личным своим вкусом, иногда тенденциозным пристрастием, а то и просто минутным капризом. Настоящий знаток не довольствуется в эстетических взглядах таким узким, крайне субъективным кругозором и проверяет и подкрепляет свои личные впечатления и суждения научным знанием и опытностью, которую приобретает

многолетним и постоянным изучением художественных произведений во всех мельчайших подробностях технического их исполнения. Именно таким знатоком был и граф.

Большую часть времени, свободного от служебных и общественных обязанностей, он посвящал своим любимым досугам эстетического и археологического содержания. Даже у себя дома (в Петербурге, у Полицейского моста) всегда перед глазами имел он богатое собрание живописных произведений лучших мастеров итальянских и фламандских от эпохи возрождения, составленное еще в XVIII столетии. Галерея эта, в несколько зал, примыкала своею дверью как раз к кабинету графа. Это была очень длинная комната с окнами только по одну сторону; промежутки между окнами и вся противоположная стена заняты шкафами в рост человека с книгами на полках и с разными редкостями в выдвижных ящиках. Тут же находилась и драгоценная коллекция греческих, римских и византийских монет, золотых и серебряных, а частью и медных, наиболее редкостных; граф был большой знаток в нумизматике и между специалистами по этому предмету славился своею опытностью отличать в монетах оригинальные экземпляры от поддельных. Критический такт, усвоенный им при оценке подробностей этого любимого предмета, он прилагал и к произведениям живописным и скульптурным, между которыми не только у продавцов-антиквариев, но и в галереях или музеях, частных и даже публичных, нередко принимаются удачные копии за настоящие оригиналы. На античных монетах, между прочим, изображаются олимпийские боги и богини, герои и разные исторические лица в целых фигурах или же только их головы, обыкновенно в профиль и величиною во всю монету. Внимательное и многократное рассматривание этих выпуклых рельефов, замечательно изящной работы, художественно воспитывает глаз и эстетическое чутье к красотам пластического стиля. Таким образом, постоянные упражнения графа в нумизматических исследованиях образовали в нем знатока и опытного ценителя скульптурных произведений древнеклассического искусства.

Теперь прошу припомнить, что я остановил вас этим длинным объяснением в кабинете графа. Мне нужно сказать еще несколько слов об этой интересной комнате. На шкафах стояли разные

художественные предметы из металла и мрамора. Самым замечательным и драгоценным из них была золотая ваза работы Бенвенуто Челлини. величиною с большую сахарницу, украшенная рельефами и статуэткою на ее крышке. По стенам над шкафами и в других местах были развешены картины старинной итальянской и голландской живописи, преимущественно XV века, которые в разное время сам граф приобретал за границею. Между ними красовалось бесподобное произведение Леонарда да-Винчи, изображающее короля Людовика Святого в типе прелестного юноши.

Свою охоту и любовь к ранним школам западного искусства граф распространил и на византийскую и древнерусскую архитектуру и иконопись. В течение многих лет своего пребывания в Москве он составил себе богатую коллекцию старинных икон, приобретение которых в сороковых годах и в начале пятидесятых было несравненно удобнее, легче и дешевле, чем теперь. Значительный вклад в это собрание достался графу по одному счастливому случаю. В царствование императора Николая Павловича строго преследовались раскольники. Между прочим, дано было приказание полицейским чинам отобрать их раскольничьи иконы из молелен в их домах и скитах, а потом как запрещенный товар доставлять в назначенные на этот предмет склады. Граф узнал, что в сарае одного из московских монастырей свален целый обоз этой конфискованной контрабанды, и отправился к митрополиту Филарету с просьбою, чтобы он разрешил ему отобрать из этого склада, что окажется пригодным для его собрания старинных икон. Филарет удивился, какой может быть прок в этом хламе, который он уже обрек на дрова и подтопку монахам того монастыря, но соблаговолил уступить просьбе графа и позволил ему распорядиться в монастырском сарае, сколько угодно.

На московском археологическом съезде прошлого 1890 г. завязался оживленный диспут о дозволенном и запрещенном в исследованиях о византийской и русской иконописи. Тогда почему-то припомнился мне сейчас рассказанный анекдот. Если бы граф был жив и присутствовал бы при этом диспуте, думалось мне, он непременно стал бы на сторону знания и науки.

Я намеренно распространился о многосторонних и основательных

сведениях графа в археологии и в искусстве, о его эстетических воззрениях и о тонком художественном вкусе, чтобы вы могли сами видеть, какого превосходного руководителя и истолкователя мы имели в нем, когда вместе с ним обзревала разные редкости по городам Германии и Италии. Я, наставник его детей, заодно с ними превращался тогда в его ученика и принимал живейшее участие в их любознательных интересах, в взрывах удивления и в юных восторгах.

Обаяние этих ранних впечатлений и авторитетный пример отца оказали плодотворное действие на его сыновей, определив навсегда характер их деятельности и специальных занятий. Павел Сергеевич и Григорий Сергеевич в течение долговременного пребывания в Италии составили себе с основательным знанием дела и с художественным тактом замечательные собрания памятников искусства, пользующиеся всеобщей известностью. Картинная галерея Павла Сергеевича, находящаяся в его петербургском доме на Сергиевской, содержит в большом количестве отличные образцы разных итальянских живописцев XIV и XV столетий, умбрийских, тосканских, венецианских, ломбардских, и, таким образом, существенно дополняет собою собрание императорского Эрмитажа, которое очень бедно произведениями этих ранних школ итальянской живописи. Григорий Сергеевич посвятил себя изучению и собиранию археологических памятников искусства древнехристианского, раннего романского, византийского и отчасти восточного, сколько требовало это последнее для его специальности. Для размещения своего громадного собрания он построил себе в Риме дом на *via Gregoriana*, близ *Monte Pincio*. Там найдете вы и массивные мраморные саркофаги из катакомб и усыпальниц, и тяжеловесные мраморные же плиты с барельефами из упраздненных в Италии за последнее время монастырей, и статуи, и статуэтки, серебряные потиры, диски и чаши, блюда, вазы и оклады, и диптихи из слоновой кости и металла, и всякую другую утварь.

Вы узнаете потом, как много обязан я в своих исследованиях по иконографии и вообще по искусству назидательным советам и указаниям графа Сергия Григорьевича, а также и его собственным печатным работам по этим предметам; теперь же, говоря о

Строгановских галереях и музеях, расскажу вам один эпизод из истории их собрания и составления. Эпизод этот лично касается меня и даст вам понятие о моих к графу отношениях, как прилежного ученика, который с успехом выдержал экзамен у своего наставника.

Дело было зимою 1848 г., когда я уже читал лекции на кафедре Московского университета, но еще в качестве частного преподавателя, без всякого вознаграждения; будучи семейным человеком, для подспорья в издержках по хозяйству я давал уроки и, между прочим, сыну князя Юрия Алексеевича Долгорукова, человека пожилых лет, доброго, ласкового и большого оригинала. Он усердно занимался тогда переводом псалмов царя Давида с еврейского языка на русский и для выработки и обогащения своего слога формами языка народного и старинного в нашей древней письменности обратился ко мне за указанием источников и пособий, которые могли бы удовлетворить его. Так начались наши сношения. Я часто бывал у него в кабинете; подолгу беседовали мы о русском языке и слоге; я прочитывал ему выдержки из народных былин, из летописей, из "Слова о полку Игореве", а он - из своего перевода псалмов.

Однажды на широком подоконнике в его кабинете я заметил переломленную надвое статуэтку из бронзы, густо покрытую зеленою патиною. Нижняя половина этой фигуры стояла на маленьком мраморном пьедестале, привинченная к нему: это были ноги и часть живота, переломленного наискось, а верхняя лежала плашмя на подоконнике, т.е. весь торс с головою и обеими руками. Если обе эти части приставить одну к другой, то их можно было спаять на линиях излома без всякого изъяна, и тогда вся статуэтка поднялась бы на пьедестале вышиною больше полуаршина. На мой вопрос об этих обломках, князь мне сказал, что они недавно найдены в кладовой между всяким хламом, куда попали, вероятно, как забракованный предмет из вещей, принадлежавших графу Орлову, родственнику его жены, который в преклонных летах долго жил на берегах Неаполитанского залива, интересовался классическою стариною и приобретал разные редкости, между прочим, из раскопок Геркулана и Помпеи.

Слова князя возбудили во мне любопытство. Я подошел к

подоконнику и только что взял в руки лежавшую на нем верхнюю половину статуэтки, как увидел перед собою самую точную копию Аполлона Бельведерского; в изумлении и радости я сказал князю о своем мгновенном впечатлении. "И мне показалось, что эта вещь недурная, - отвечал он. - Я приглашал к себе Волкова; он ее видел и обещался на днях опять прийти и купить ее у меня в свой магазин редкостей". Слова эти обдали меня и жаром, и холодом, совсем ошеломили: в один и тот же момент я и обрадовался, что Аполлона можно приобрести, и вместе страшно испугался: вот-вот сейчас же явится перед нами ненавистный купец, заплатит свои деньги, навсегда похитит с моих глаз это сокровище, которое промелькнет для меня, как неразгаданное видение. Я был тогда так взволнован, что теперь не могу припомнить ни слова, как просил я князя о позволении, не медля ни минуты, взять с собою эту драгоценность и показать ее графу Сергию Григорьевичу Строганову, который, как любитель и знаток искусства, рассмотрит ее с надлежащим вниманием и непременно приобретет ее, если она действительно так хороша, как мне кажется.

Разумеется, князь не отказал мне в этой просьбе, и я благополучно привез изломанную статуэтку домой. Только тут разглядел я ее как следует. При полнейшем согласии с мраморным Аполлоном Бельведерским в постановке и движениях всей фигуры и в замечательно изящном воспроизведении этого античного типа, бронзовая статуэтка представляет одну чрезвычайно важную особенность. Она держит в руке какой-то клочок отрепья или ветоши, а мраморная статуя бельведерская - лук, с которого только что слетела пушенная стрела. Бронзовая рука составляет нераздельную принадлежность всей фигуры, мраморная же приделана вновь, потому что первоначальная, античная, не была найдена в щебне развалин, из которого выкопали эту статую. Полагая статуэтку копией бельведерского оригинала, я спутался в своих соображениях и объясняя себе это различие произволом копииста. Недоверие к себе смущало меня, и я опасался явиться к графу с торжествующим видом человека, который сделал важное открытие. Я хорошо знал его строгий скептический взгляд на предметы, и мне было жутко и боязно при мысли, что изъявление моей радости он встретит саркастическою насмешкою, как это случалось не раз. Вы не вполне поняли бы всю силу волновавших меня сомнений, если

бы я не объяснил вам одной особенности в моих отношениях к графу. В течение всей моей жизни с безграничной любовью к нему я привык соединять обаяние того страха, который внушил нам, студентам Московского университета, наш милый инспектор Платон Степанович Нахимов, при всяком неладном случае угрожая нам именем графа. Так и остался я на всю жизнь студентом перед своим попечителем.

С целью рассеять свои недоумения насчет статуэтки и подкрепить себя авторитетным одобрением какого-нибудь знатока, прежде чем повезу ее к графу, я ничего лучше не мог придумать, как показать ее моему доброму товарищу Павлу Михайловичу Леонтьеву, который тогда в Московском университете читал лекции по классической археологии. Я немедленно послал к нему приглашение, чтобы он сегодня же приехал ко мне по одному важному делу; везти же мне самому эту драгоценность к нему я опасался, чтобы дорогою как-нибудь ее не попортить. Леонтьев не замедлил явиться, с большим вниманием рассматривал статуэтку во всех ее подробностях и заверил меня, что я не ошибся в своем мнении о ее достоинствах. Я очень уважал осторожность и сдержанность в его оценке художественных произведений и с бодрым и веселым расположением духа повез свою находку к графу на другой же день утром в девять часов, чтобы непременно застать его дома.

Зная нетерпение графа, когда он может быть чем-либо заинтересован, я сперва высвободил свою драгоценность из толстого свертка бумаги и потом уже вошел к нему в кабинет, бережно неся ее в обеих руках. И по голосу, и по взгляду, какими он встретил меня, я тотчас же заметил, что попал к нему в добрый час, и, объяснив ему в коротких словах, откуда и как добыл я эту статуэтку, положил обе ее половины перед ним на стол около чашки кофею, который он тогда пил. Не говоря ни слова, он взял в левую руку верхнюю часть статуэтки, а в правую лупу и внимательно стал рассматривать головку Аполлона, всю кругом, и особенно медлил на волосах и потом уже стал обозревать прочие члены, останавливаясь подолгу на впадинах и на линиях сгиба. Так продолжалось по малой мере четверть часа, и с каждой минутой промедления усиливалась моя радость: граф заинтересован, и дело

мое выиграно. Окончив свой осмотр, он взглянул на меня сияющим от самодовольства взглядом и сказал: "Статуэтка была вся позолочена: у древних мастеров было в обычае золотить бронзовые вещи только особенно изящные и ценные по работе; зеленая патина так густо выросла на ней, что только кое-где в углубленных линиях волос можно подметить в лупу немногие остатки бывшей позолоты". Как опытный знаток, граф начал свой археологический анализ с того, с чего и следовало прежде всего начать, и уже потом он стал рассматривать художественные достоинства статуэтки и много ею любовался. Особенную цену он полагал в ней указанному мною выше ее отличию от бельведерской статуи. То, что казалось мне клоком отрепья, граф признал за шкуру того змея, которого Аполлон поразили своею стрелою. По мнению графа, и бельведерская статуя в первоначальной своей цельности, вероятно, вместо лука держала в руке этот же трофей победы над страшным животным. Если это так, то, по мнению графа, бронзовая статуэтка должна получить важное значение в истории классического искусства.

Он оставил ее у себя, а мне поручил спросить князя Юрия Алексеевича, какую ему угодно будет назначить за нее цену. Нужно ковать железо, пока оно горячо, и я тотчас же отправился к князю. Не имея охоты быть посредником торговых переговоров, я сказал ему, что граф желает статуэтку приобрести и просит его прислать за деньгами, сколько будет она стоить.

С великим нетерпением желая узнать, чем кончилось начатое мною дело, я насилу мог принудить себя обождать несколько дней, пока не воспоследует успешный результат этих сношений. Наконец являюсь к графу. Весело встречает он меня, а сам хохочет. "Вот полюбуйтесь-ка, - говорит, -какой милый чудак ваш князь Долгоруков! Вот вам письмо, которое принес мне от него какой-то старенький священник". В немногих строках просит князь графа вручить подателю письма, сельскому попу, на построение храма пятьсот рублей, - "цену идола, которого доставил вам профессор Буслаев". Последнюю фразу помню и теперь слово в слово. Итак, драгоценность была приобретена в строгановское собрание художественных произведений всего за полтора рубля по нынешнему счету.

Впоследствии мнение графа об отношении бронзовой статуэтки к мраморной статуе получило в науке авторитетное значение. По крайней мере так было в 1875 г., когда мы вместе с графом слушали публичную лекцию секретаря германского археологического института в Риме, Гельбига, которую читал он об Аполлоне Бельведерском в Ватикане, и именно в том самом "Бельведере", от которого получила свое прозвище эта знаменитая статуя, в нем издавна красующаяся. Гельбиг развивал ту мысль, что оба произведения, как строгановская статуэтка, так и ватиканская статуя, не что иное, как античные копии римской работы с какого-то недошедшего до нас превосходного греческого оригинала, и что первая копия, сохранившаяся вполне, совершеннее второй и по изяществу работы. С тех пор я не занимался классической археологиею, и потому не знаю, как решается этот вопрос в настоящее время.

XIV

Рассказывая вам о сведениях графа по археологии и истории искусства, я незаметно для себя увлекся на целые тридцать шесть лет вперед от того пункта, на котором я оборвал хронологическую нить моих воспоминаний. Теперь прошу вас припомнить, как все мы, отправляющиеся на юг, собрались в августе 1839 г. в Дрездене.

Отсюда чрез Хемниц отправились мы к Нюрнбергу, где остановились дня на три. Весь город с своими домами, церквями, фонтанами переселил меня из XIX столетия в XV и XVI, когда он строился вновь и перестраивался заново: только оправа этой драгоценности, т.е. маститые крепостные стены с проездными башнями, да старинный императорский замок отступают лет на триста в темную давность. Это была для меня раскрытая книга германских древностей, в которой каждая улица, каждая площадь казались мне отдельными листами громадного фолианта, несокрушимый оклад которого крепко заматорел в плесени и копоти от всяких непогод многодавних веков. По архитектурным и скульптурным памятникам Нюрнберга один из немецких ученых составил довольно полное историческое обозрение германского искусства от древнейших времен и до начала XVII века.

Особенно заинтересовал меня в Нюрнберге собственный дом

Альбрехта Дюрера, многоярусный, высокий и узкий, в стиле прочих зданий этого города. В нижнем этаже его мастерская, где он писал свои бессмертные произведения, обширная зала под сводами, мощенная камнем; высоко от пола большущие окна в форме полукружия размещены в таком расстоянии одно от другого, чтобы давать привольный свет для работы живописца. Во втором этаже жилые покои; из них осталась у меня в памяти одна горница, нечто вроде кабинета: у стены поставец с дверцами и ящиками, посреди большой четырехугольный стол с массивными креслами. Тут Дюрер сидел и читал или писал; около стоит самопрялка его жены. В обаянии этой обстановки, перенесшей меня за триста лет назад, я был сам не свой, - будто попал в какое святилище, из которого выйду уже не тем, чем я был прежде.

После Нюрнберга Мюнхен произвел на меня на первый раз самое невыгодное впечатление: на плоской равнине город совсем новый, дома в прямых и широких улицах однообразны и незанимательны, ничем на себе не останавливают внимания; по местам голые пустыри, на которых кое-где поднялись громадные здания, только что отстроенные; и в таком-то городе нам решено было пробыть целую неделю. Попав в него, я вовсе не слыхал и не имел ни малейшего понятия о короле Людовике Баварском, великом строителе нашего столетия, который в несколько лет претворил заурядный провинциальный город в настоящую столицу баварского королевства, украсив и обогатив ее сокровищами изящных искусств. Чтобы свой Мюнхен уравнивать в художественном отношении с другими городами Германии, он вознамерился в невзрачной, дюжинной его обстановке устроить нигде не бывалый колоссальный архитектурный музей из церквей и других зданий разных стилей, начиная от древнеклассического и до стиля Возрождения.

На другой день по приезде прежде всего мы отправились по церквам, чтобы под руководством графа сделать общий исторический обзор храмового зодчества византийского, романского и готического. В Дрездене я учился понимать скульптуру и живопись по Винкельману. Отфриду Миллеру и Куглеру, а в Мюнхене первым моим наставником в истории архитектуры был граф. Он любил и внимательно изучал это

искусство и сродную с ним орнаментику, и впоследствии по тому и другому предмету издавал свои монографии, хорошо известные специалистам.

Как дрезденская галерея была мне введением и преддверием для Италии по живописной части, так мюнхенский музей древностей, называемый "Глиптотекою", - по скульптурной в классическом античном стиле.

Глиптотека своим фасадом обращена на широкую площадь: большое здание в виде античного храма, на плане четырехугольника, который своими сторонами обнимает внутренний двор, или атриум. По образцу древнегреческих и римских строений наружные стены этого музея глухие, и только со двора освещается он окнами. Ежедневно я приходил в него часов в девять утра и оставался до самого обеда, а вечером по Винкельману и Отфриду Миллеру проверял рассмотренное мною сегодня и готовился на завтра. Из книги Отфрида Миллера я знал, что ни в Риме, ни в Неаполе я ничего не найду по истории скульптуры древнее и значительнее египетских, или эгинских групп, добытых королем Людовиком Баварским с острова Эгины, где некогда украшали они храм Афины, или Минервы. Мраморные фигуры изображают греческих воинов и троянских в пылу битвы; между ними возвышается сама Афина-Минерва в боевом вооружении. Этот драгоценный памятник далекой старины, состоящий из целого сонма статуй, своим суровым архаическим стилем задолго предшествует цветущему периоду греческой скульптуры времен Фидиаса и Праксителя. Из прочих пластических произведений богатого мюнхенского собрания назову вам только одну статую такого высокого достоинства и настолько меня поразившую своим изяществом, что с тех пор, как я увидел ее в первый раз, навсегда привык ее ставить наряду с самыми высшими творениями греческого резца, каковы, например: ватиканский Лаокоон, капитолийский умирающий Гладиатор, неаполитанский Геркулес Фарнезский, парижская Венера Милосская и др. Это - пьяный молодой Фавн. Он сидя спит, закинув голову назад, удрученный и отуманенный вином. В чертах его лица и во всех членах чувствуешь, как тревожно, смутно и тягостно ему спится; однако вся фигура его, величавая, стройная и прекрасная, производит

симпатическое впечатление изящного, а не омерзение или гадливую, презрительную усмешку, - ничего такого, что обыкновенно вызывается видом невоздержного опьянения.

В Мюнхене, кроме графа, по счастливой случайности явился мне еще другой учитель в лице любимого, дорогого моего профессора Степана Петровича Шевырева. Когда я уезжал из Москвы в чужие земли, он не мог напутствовать меня своими наставлениями и советами, потому что сам находился уже за границею, куда от министерства народного просвещения был командирован принять для Московского университета одну богатую старопечатными изданиями библиотеку, находившуюся в каком-то местечке недалеко от Мюнхена. Узнав о нашем прибытии в этот город, он поспешил увидаться с графом и доложить ему о результатах своих занятий по ревизии той библиотеки. Разумеется, я часто и много беседовал с своим милым профессором и особенно в Италии, которую он хорошо знал, проведши долгое время в Риме у княгини Волконской в качестве учителя ее сына. Свои указания он скрепил мне для памяти довольно подробною запискою с перечнем важнейших предметов по истории искусства в тех городах Италии, которые мы намеревались посетить. Сверх того, он дал мне рекомендательное письмо к Франческо Мази, одному из библиотекарей ватиканской библиотеки. По официальной своей службе он назывался "scrittore latino", т.е. латинский писец. Надобно полагать, что этот титул ведет свое начало от того далекого времени, когда до изобретения книгопечатания хранитель рукописной библиотеки был вместе и писцом, которому вменялось в обязанность обогащать ее рукописями собственного своего изделия. В силу своего официального положения, Франческо Мази был хорошим знатоком римской литературы и бойко и правильно говорил по латыни. Проживая в Риме, Степан Петрович брал у него уроки, чтобы навыкнуть свободно и по возможности безошибочно вести разговор на латинском языке.

Из Мюнхена мы направились к Инсбруку. Только тогда догадался я и оценил важное преимущество нашей с Тромпеллером открытой коляски перед тремя каретами, в которых прочие наши спутники могли смотреть из своих окон только по обеим сторонам, тогда как мы обозревали целый полукруг горизонта с далекою перспективою

вперед, куда направлялись. Мы приближались к тирольским Альпам. До сих пор я знал только холмы, крутые берега да овраги, а настоящих гор в натуре никогда не видывал, и теперь с живейшим любопытством глядел вперед, чтобы уловить тот момент, когда выступят из млеющей дали первые очерки горных высот. На первый раз я был обманут в своих ожиданиях: вдоль небосклона показалась длинная гряда серых облаков с светло-розовыми отливами от легкого отблеска солнечных лучей. Я досадовал, что облака закрывают передо мною даль. Так прошло с четверть часа, а может быть и больше. Тромпеллер по своему обыкновению молчал. Наконец, я спросил его, как он полагает, скоро ли покажутся тирольские Альпы? - "Да они давно уже перед нами", - отвечал он и указал мне рукою на прозрачно-туманную полосу, которую я принял за облака. Эта ошибка вдвое усилила мой интерес к новизне еще не испытанных мною до тех пор впечатлений. Не спуская глаз, я с напряженным вниманием стал наблюдать, как бесформенная, растянувшаяся масса моих облаков мало-помалу стала выделять из себя свои суставы, которые неровными зубцами поднимались вверх; как из-под туманных пятен там и сям начинали выглядывать линии утесов и стремнин и как, наконец, вполне обозначались и четко вырезались на синем небосклоне темные силуэты горных хребтов с долинами и расселинами.

Всматриваясь в дальние высоты, я не заметил, как с широкой равнины, по которой шла дорога, мы очутились между каменистых холмов, и вместе с этою переменою из-за пригорков я уже не мог видеть самих гор. Холмы поднимались все выше и выше, превращаясь в утесы: это были уже отроги тех самых Альп, которые недавно казались мне облаками, и когда мы въехали в широкую долину, на которой, как в глубоком, огромном гнезде, уселся по берегам своей реки Инсбрук, я увидел себя, наконец, в самом центре горного хребта, который со всех сторон кругом меня на моих глазах поднимается от своих подножий, сначала покрытый кустарником, травой и целыми лесами, а потом чем выше, тем обнаженнее, каменистее и бесприютнее и, наконец, высоко надо мною врезывается своими вершинами в далекое небо.

В Инсбруке догнал нас старший сын графа, Александр Сергеевич, мой товарищ по Московскому университету. Здесь пробыли мы не

больше двух дней и ранним утром отправились в путь. Дорога шла все вверх, проложенная, как обыкновенно, вдоль карниза горных спусков: по одну ее сторону непрерывные стены каменных утесов поднимаются высоко к небу, а по другую - крутой обрыв над пропастями ущелий, по которым свирепо мчатся потоки, а то над глубокою и широкою долиною с деревеньками, садами, огородами и лугами.

Познакомившись с горами, и в общем их виде, и в разных подробностях, я насытил свое любопытство, сколько было мне нужно, и перестал интересоваться окружающими меня чудесами природы. Мне было не до того. Я уткнул свой нос в историю живописи Куглера, чтобы основательнее подготовить себя к тому, что буду изучать в городах Италии, по которым лежит наш путь: благо Куглер внес в свою книгу самый подробный указатель местностей, где находится каждое из описываемых им художественных произведений, в каком городе, в каком здании, публичном или частном, в какой церкви, и притом в которой именно из ее капелл, на стене или над жертвенником. Изящное в искусстве стало для меня уже вполне доступно, но к живописной ландшафтности природы я был еще вовсе безучастен. Как всякий простолюдин, я относился к ней, так сказать, себялюбиво и корыстно, с точки зрения удобства и пользы, или помехи и вреда, какие доставляет она человеку. В этом отношении я стоял почти на одной ступени с нашим добродушным слугою Пашориным: он терпеть не мог всех этих гор, которые без всякой нужды топырчатся вверх, и, сидя на козлах нашей коляски, пребывал в самом угрюмом расположении духа, искоса поглядывая в глубину пропастей, по окраине которых тянулась наша дорога, и презрительно покачивал головою, что-то бормоча про себя. Мы с ним переживали еще гомерический период знаменитого странствователя Одиссея, который оценивал достоинство живописных ландшафтов дикой, невозделанной местности только с практической точки зрения, как на прибыльные уголья, которые хорошо было бы засеять пшеницею, засадить виноградными лозами и населить стадами овец. В таком гомерическом настроении духа, не способном к эстетическому наслаждению красотами природы, я прожил почти целый год в Италии; даже бесподобный Неаполитанский залив с своими восхитительными берегами, на

которых в Неаполе я провел всю зиму до конца апреля месяца, не мог увлечь и пленить моего сердца своими прелестями. Только на острове Искии, куда переехали мы на лето, в первый раз проснулось в душе моей эстетическое чутье к явлениям природы. Его разбудил во мне величайший из живописцев всех веков и всего мира - само солнце.

Наша вилла стояла на самом верхнем уступе высокой горы, которая, поднявшись из морской глубины со своим вулканическим кратером с утесами, долинами, ущельями, пропастями, и образует весь этот остров, называемый Искиею. Тотчас же от виллы идут вниз крутые спуски по малой мере версты на две, кое-где перемкнутые довольно широкими выступами, на которых гнездятся белые домики, то врассыпную, то кучками, а далеко внизу разлилось до самого горизонта Средиземное море, прямо от нас - к западу, а налево - к югу, и только с правой стороны пригородили его живописные берега Италии, тянущиеся непрерывною цепью гор в непроглядную даль. Шагах во ста от нашей виллы на зеленом лугу поднялся сплошной каменистый утес в виде кровли, какие бывают на русских деревенских избах, не особенно крутой и наверху с гребнем, а с другой стороны довольно отлогим спуском ниспадал он далеко в темное ущелье. После обеда до вечерней прогулки часов в шесть я часто уходил к этому утесу, взлезал на его вершину, усаживался на ней, спустив ноги на длинный откос, обращенный к морю на запад, и читал свою книгу, ни разу не обращая ни малейшего внимания на простирающуюся передо мной великолепную панораму. Однажды, отведя глаза от книги, я поражен был необычайной внезапностью: точно ударило всего меня огненной полосой, которая протянулась прямо на меня по всему морю от пламенного багрового шара, который остановился на краю далекого небосклона, и чем ярче рделась эта полоса, тем чернее и мрачнее казалась морская поверхность. Когда в этот день я воротился домой, я долго не мог успокоиться от обуявшего меня, поразительного впечатления и записал в своих путевых заметках, что сегодня я видел кровавый закат солнца. Очнувшись таким образом от безучастного равнодушия к природе, усердно принялся я наблюдать и любоваться с своего утеса, как вечернее солнышко каждый день закатывается по-новому, на иной лад, и до бесконечности разнообразит одни и те же общие очерки панорамы

причудливыми переливами своих радужных лучей.

Теперь возвращаюсь за десять месяцев назад к тому дню, когда, оставив Инсбрук, мы поднимались к перевалу через тирольские Альпы. К стыду моему, я должен признаться вам, что этого перевала я вовсе и не заметил, будучи углублен в изучение своего Куглера. Около полудня стемнело, заморосил мелкий дождь; мы с Тромпеллером от него спрятались, поднявши верх коляски и спустив фордек. Я не переставал читать свою книгу. Кругом было тихо и сумрачно; из-за частого кустарника по обеим сторонам белелись снежные вершины гор. Вдруг слышу из окон ехавшей перед нами кареты радостные крики: "Мы заехали в облака! Мы забрались в самое облако! Вот оно - я ухватился за него!" Это были голоса детей графа: из одного окна высунул свою голову и руки Григорий. Сергеевич, а из другого - Елизавета Сергеевна. Только благодаря этим шумливым восторгам, я узнал, что мы очутились на самом высшем пункте перевала в верховьях самого Бреннера, с которого идет уже спуск широкой равнины Ломбардии.

Кстати замечу здесь, что от моего внимания проскользнул и перевал через Апеннины между Болоньею и Флоренциею, только на другой манер и еще более для меня неизвинительно. На крутые подъемы горы наши экипажи медленно тащили впряженные в них волы, которые так лениво и сдержанно ступали, что каждый из нас мог ровным и некрупным шагом опередить их. Когда часа через два мы поднялись выше чем на половину горы, солнце направо от нас уже клонилось к закату. Соскучившись от томительного, еле заметного передвижения флегматических волов, граф с детьми и даже сама графиня вышли из экипажей, а за ними и мы с Тромпеллером. Это была для всех самая приятная прогулка в горном воздухе вечеряющего дня. Дети прыгали, разминая свои отсиленные ножки, и бегали по дороге взад и вперед; гувернантка и гувернер остерегали их, чтобы они не приближались к окраине спусков, которые круто обрывались по правую руку; граф шел с графинею. Только я, сам по себе, медленно переступая по левой стороне вдоль стены сплошных утесов, ни на что и ни на кого не обращал внимания, углубившись в свое чтение. Вдруг подходит ко мне граф. "И не стыдно вам, - говорит он, - быть таким педантом! Уткнули нос в своего Куглера. Бросьте его и обернитесь назад.

Смотрите повсюду кругом вот на эти необъятные страницы великой книги, которую теперь перед нами раскрывает сама божественная природа". Я обернулся назад и стал смотреть. Из-за скал внизу расстилалась передо мною в туманную даль широкая равнина. По ней, как на разрисованной ландкарте, там и сям волнами поднимались и спускались холмы и пригорки; между ними белелись маленькими кучками усадьбы, деревни и города; тянулись темные полосы и нити рек и каналов. Я разглядывал подробности, которые и теперь будто вижу перед собою, но целое ускользало от моего внимания: никаких страниц божественной книги я не видел, и для изучения Италии предпочитал настоящую, бумажную ландкарту с напечатанными на ней кружочками для городов, с извивающимися линиями для рек и с бахромою из черточек для горных хребтов.

Но довольно отступлений. Прошу припомнить - они задержали меня на высотах тирольского Бреннера. Теперь, когда при ярком освещении полуденного солнца спускались мы к благословенной цветущей равнине Ломбардии, вы сами догадаетесь, какими глазами я мог и умел взглянуть на этот единственный во всей Европе бесконечный сад сплошных виноградников, далеко внизу уходивший за полукруглую линию небосклона. Я несказанно радовался, что наконец воочию предстала предо мною сама Италия: но, окидывая своими взорами это зеленое пространство, которое называли мне бесподобным садом, я в своих думах, мечтах и ожиданиях населял его теми итальянскими городами, где буду изучать археологию и искусство. Я был тогда еще неисправимый педант.

Претворение моих причудливых, туманных грез в живую действительность началось с Вероны, где пробыли мы дня два. В узенькой улице, недалеко от нашей гостиницы стоял старинный потемнелый дом в несколько этажей; над входом была вывеска с изображенною на ней большою мужскою шляпою. Когда нам указали на вывеску, я подумал, что нас поведут в магазин какого-нибудь знаменитого шляпных дел мастера. Но это изображение - по-итальянски: "Capello" (по-нашему шляпа) - есть не что иное, как герб знаменитой фамилии Капулетти, прославленной Шекспиром. Потом видели мы другой большой дом, такой же одряхлевший и

заматерелый: он принадлежал фамилии Монтекки. Из лекции Августа Шлегеля я уже хорошо ознакомился с трогательной драмой Шекспира, и теперь вы сами можете догадаться, по романтическому настроению моего воображения, о нахлынувших на меня юношеских восторгах, когда, вместо малеванных театральных декораций, на самом деле очутилась передо мной та местность, те два дома в их мрачной средневековой обстановке, где жили, любили друг друга, тревожились, радовались и страдали Ромео и Юлия, оба вместе, одними и теми же взаимными тревогами, радостями и страданиями. Действительность этой любовной идиллии закончилась для меня в Вероне еще более реальным финалом. Сцена меняется. В небе было облачно; попеременно моросил дождь, заволакивая легкой дымкой низменности горы, а на ее пологом скате - кладбище. Общей обстановки припомнить не могу, да, вероятно, и тогда я ее вовсе не заметил, потому что все мое внимание сосредоточил на себе только один предмет, который глубоко врезался в моей памяти. Это был гранитный бурого цвета саркофаг. Я пришел туда один со сторожем из монастырской братии. "Здесь погребены на вечное успокоение, - сказал он мне. - злосчастные Ромео и Юлия". Над саркофагом поднималось невысокое деревцо - хорошо помню - с крупными листьями; с них изредка скатывались и падали на бурый гранит тяжелые капли дождя, которые чудись мне тогда настоящими слезами.

Самым существенным, драгоценным вкладом для моих археологических разысканий оказался в Вероне знаменитый римский амфитеатр, который сохранился до сих пор почти в нетронутой своей целостности от далеких времен, когда был он построен, так что в сравнении с ним сам Колизей в Риме представляется обезображенною развалиною громадных размеров. После обеда, перед солнечным закатом, мы все вместе, под руководством графа, внимательно обзревали веронский амфитеатр во всех его подробностях, начиная от арены и темных переходов под сводами до самых верхних ступеней для сиденья зрителям, или точнее - до выступов, которые, огибая кругом всю внутренность здания, все ниже и ниже спускаются своими рядами к самой арене. Это был для меня первый урок по истории классической архитектуры, данный мне на изучении настоящего античного

оригинала, а не в его копии и подражании или в печатном рисунке.

Из Вероны через Мантую и Модену приехали мы в Болонью, где намеревались остаться не больше трех дней, но застряли на целый месяц. Елизавета Сергеевна, младшая дочь графа, довольно сильно простудилась, и потому решено было обождать ее полного выздоровления, опасаясь тронуться с места в дальний путь через Апеннинский хребет.

Прежде всего я должен сказать о нашей болонской гостинице. Она, как и все другие в Италии того времени, ничем не была похожа на нынешние щегольские отели, с их широкими и светлыми коридорами, на которые с обеих сторон выходят отдельные номера. Это был не что иное, как обыкновенный жилой дом хозяев средней руки и скромного состояния, и, однако, в нем помещалась, как вы сейчас увидите, самая лучшая в городе гостиница. Только что вошли мы из прихожей в небольшую простенькую залу с тремя затворенными белыми дверями и с темным отверстием узенького коридора, как тотчас же были изумлены нежданным-негаданным сюрпризом, будто перенеслись из далекой Болоньи на родину: дети с обычным своим любопытством бросились к дверям: кто-то из них закричал: "На двери написано карандашом по-русски: "Жуковский!"" А в ответ откликнулись другие дэа голоса: "А на этой двери написано: "Назимов!"" - "А на этой: "Философов!"" Оказалось, что мы попали в ту самую гостиницу. в которой прошлую зимой останавливался со своею свитою государь наследник Александр Николаевич, когда путешествовал по Италии. В комнатах из залы помещались особы, означенные поименно на каждой из трех дверей; сам же цесаревич занимал внутренние покои из коридорчика, которые теперь отведены были для графини с ее дочерьми. Куда ни появлялся в этой стране наследник престола, везде его встречали итальянцы восторженными и радушными приемами, превозносили его доброе сердце, приветливость и чарующую красоту. Я сам не раз слышал от многих из них, особенно в Риме, с каким увлечением и как любовно восхваляли они его в своих поэтических цветистых выражениях: "Angelo celeste. Angel di Dio..." ("Небесный ангел, Божий ангел..." (лат.))

Чтобы воспользоваться продолжительною остановкой в Болонье, я

отпросился у графа дней на десять в Венецию вместе с Александром Сергеевичем и Тромпеллером. По дороге мы посетили Феррару, Падую, Виченцу и некоторые из вилл на берегах Brentы, которую еще прославляли тогда поэты в своих стихотворениях.

Только теперь вполне уяснилось мне, что я совсем уже вступил во второй период моего умственного развития и совершенствования. В пензенской гимназии и в Московском университете я был школьником и учеником: то были года учения - *Lehrjahre*; затем, вслед за благотворным переворотом в моей жизни, наступили года странствования и приключений - *Wanderjahre*. Оба эти термина, которыми Гёте разделил свой роман о Вильгельме Мейстере на две части, восходят своим началом к далеким временам, когда зачиналось, слагалось и формировалось в городах среднее сословие рабочих горожан. Они делились на разные цехи, каждый по своему мастерству или по специальным занятиям. Всякий горожанин приписывался к какому-либо цеху: так, например, поэт Дант - к цеху аптекарей, в который были зачислены ученые и литераторы. Цеховое учреждение было приведено в строгую систему и закреплено письменными уставами, которые можно найти и теперь в архивах и библиотеках. Чтобы сделаться настоящим мастером своего ремесла, надобно было непременно пройти два последовательных периода для достижения полной и окончательной выучки, и именно - года "учения" и года "странствования". Сначала каждый рабочий учится в мастерской своего хозяина, а потом, усвоив от него все, что он мог и умел ему передать, отправляется в путь по другим городам, чтобы практически ознакомиться с техническими приемами и вообще с производством и успехами своего ремесла у более известных и лучших мастеров, работая под их руководством. Усовершенствовавшись в своей специальности, он возвращается домой и держит экзамен у своего хозяина и у компетентных судей и, после успешно выдержанного испытания, возводится из учеников в почетное звание мастера, при совершении торжественного церемониала с разными обрядами и речами, который в подробности был определен и формулирован в цеховом уложении... Так и я, после двухлетнего самостоятельного изучения классических древностей и вообще истории искусства и

литературы, воротился домой и выдержал магистерский экзамен у своих профессоров.

Главными мастерскими, в которых, по цеховой градации, мне суждено было из дюжинного ученика выработать в себе "мастера", т.е. магистра, были для меня на первый год берега Неаполитанского залива, а на второй - вечный город Рим. По пути в Неаполь, в разных городах, где мы останавливались на более или менее короткие сроки, мне приходилось довольствоваться для изучения истории искусства только беглым обозрением ее главных периодов по отдельным школам и по стилям, а из подробностей - только самыми крупными и особенно выдающимися, и то по указаниям графа Сергея Григорьевича, - каковы, например, древнейшие произведения итальянской живописи XIII века, в которых на основе византийских преданий цветущей эпохи уже выступают проблески высокого изящества той благодатной среды, где через двести лет могли народиться Микель-Анджело и Рафаэль. Из таких драгоценностей назову вам две запрестольные иконы: одну в сиенском соборе, с изображениями страстей Господних в отдельных четырехугольниках, старинного живописца Дуччио ди-Буон Инсенья, а другую - во Флоренции, в одной из капелл церкви Maria Novella, с изображением Богоматери с Младенцем Иисусом Христом, писанную знаменитым Чимабуэ, о котором Дант упоминает в своей "Божественной Комедии".

Сосредоточив все свои интересы на изучении археологии и искусства в связи с историей литературы, повсюду в Италии я ни на что другое не обращал свое внимание, как только на такие предметы, которые могли удовлетворять этим моим интересам. Гуляя по улицам и площадям города, я видел здания, дворцы и церкви, портики, фасады и колоннады, а людей, которые мне встречались, и не замечал; для моих взоров существовала тогда только местность, а не обыватели, которые ее населяют. Улицы с жилыми домами и заросшая высокою травой и кустарником пустырь с развалинами античных или средневековых построек складывались для моего воображения в одно целое. Я весь поглощен был монументальностью Италии и постольку же мало обращал внимание на ее жителей, как и на разнообразные красоты ее природы. Впрочем, и сами итальянцы имели для меня некоторый

интерес, но только по отношению к изучаемым мною памятникам искусства и вообще старины. Мне казалось, что жители этой страны и существуют теперь для того только, чтобы охранять заветные сокровища великого прошедшего в своих городах и услужливо показывать и объяснять их иностранцам. И тогда я слушал их внимательно и даже с уважением относился к ним, будь то горожанин среднего сословия или простолюдин в плисовой куртке: я завидовал им и ценил их как соотечественников и потомков тех великих людей, произведениями которых я восхищался.

Стремление моих дум, поисков и задач, направленное от грустной и невзрачной современности Италии к далеким векам ее славы и величия, отчасти соответствовало тогда общему настроению духа ревностных патриотов Италии, когда, в силу параграфов венского конгресса, их прекрасная родина изнывала и томилась под нестерпимо тяжелым гнетом чужеземного ига. Они жили только воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее; настоящего для них вовсе не было: оно замерло и окоченело в смутном кошмаре.

XV

В начале ноября 1839 г. мы приехали, наконец, в Неаполь и водворились на целую зиму в двух этажах дома, который вполне приготовил нам курьер де-Мажис со всевозможными удобствами для житья-бытья и домашнего обихода, а также и с итальянской прислугой; только кухонная стражня была уже теперь предоставлена в заведование нашему Пашорину. Дом этот стоит на "Киайе", т.е. на набережной, которая отделяется от моря длинным и широким бульваром с тенистыми аллеями, называвшимся тогда "Villa Reale", а теперь - "Villa Nazionale". В бельэтаже разместились граф С.Г. Строганов, графиня, их обе дочери с гувернанткой и двухлетний сынок со своею немкою Амалиею Карловною. Всем остальным был отведен верхний этаж, пополам разделенный коридором. На стороне, обращенной на юг, т.е. к Неаполитанскому заливу, две комнаты назначены были для графа Александра и четыре для его младших братьев с гувернером: приемная, где мы пили утренний кофе, спальня и две классных комнаты, по одной

для каждого из двух наших с Тромпеллером учеников, так как по различию в летах они должны были брать уроки порознь. Моя комната с одним окном и со стекольчатой дверью, ведущею на широкую террасу, которая составляла кровлю нижнего этажа, была обращена на север, так что чуть не в упор перед моими глазами расстилался живописный ландшафт: налево с крутыми спусками горы Позилипо, а направо с ее вершиною, так называемою "Sardi-Monte", которая увенчивается твердынями крепости Сант-Эльмо с примкнувшим к ее подножию картезианским монастырем св. Мартина.

Немедленно по приезде в Неаполь установился определенный порядок моих занятий на каждый день по часам. В половине девятого мы пили кофей; от девяти часов до двенадцати я давал три урока: один - Павлу, другой - Григорию и третий - обеим их сестрам вместе. Только этим и ограничивались мои обязанности наставника в семействе графа, а все остальное время до поздней ночи было предоставлено мне в полное распоряжение. В полдень мы завтракали, в пять часов обедали, в девять пили чай. От завтрака до обеда я уходил из дому на поиски для своих исследований и наблюдений, а вечером проверял и уяснял себе по разным руководствам и пособиям все то, что приходилось мне в тот день видеть и изучать, а также заготовлял себе план для завтрашних ученых работ. Кстати замечу, что такой же порядок дней и часов наблюдался и в Риме, где провели мы следующую зиму. Надобно еще прибавить, что один или два вечера в неделю я отнимал у своих кабинетных занятий для итальянской оперы, которую очень любил.

Я преподавал детям русскую историю, грамматику и словесность, но не одну только ее теорию, т.е. риторику и пиитику, а также и историю литературы, пользуясь, сколько нужно и возможно, лекциями С.П. Шевырева. В научных материалах для этого предмета за границею я не чувствовал никакого недостатка, потому что в Неаполе ожидала нас довольно полная библиотека русских книг, достаточная не только для уроков моим ученикам и ученицам, но и для собственных специальных занятий моих. Каталог этой библиотеки был составлен мною еще в Москве перед отъездом за границу и щедро дополнен самим графом. Тут были

собрания сочинений наших образцовых писателей, начиная от Кантемира и Ломоносова до Жуковского и Пушкина, "История государства Российского" Карамзина, памятники древнерусской и народной словесности в изданиях Татищева, Калайдовича, Тимковского и др., а также несколько томов "Российской Вивлиофики" по моему выбору. Все эти книги я расставил по полкам двух шкафов, которые были уже приготовлены заранее к нашим услугам в одной из комнат верхнего этажа. При таких богатых пособиях и с небольшою опытностью, приобретенною мною в семействе барона Льва Карловича Бодэ, я мог уладить свое преподавание довольно легко и с некоторым успехом. Отец иногда бывал у меня на уроках и обыкновенно высиживал весь час сполна, особенно в классе своих дочерей.

После хотя и беглого обозрения дворцов, храмов и разных исторических и художественных примечательностей в Венеции, Флоренции, Сиэне и в Риме, Неаполь произвел на меня невыгодное впечатление, которое все больше усиливалось по мере того, как я с ним знакомился. За немногими исключениями, которые надобно не без труда отыскивать, он весь представлялся мне сплошною массою однообразных построек двух последних столетий, в позднейших стилях *renaissance*, барокко, рококо и так называемого стиля империи. Гулять по его многолюдным улицам, площадям и по грязным закоулкам я не любил, предпочитая вершины горы Позилипо, где в полном уединении, высоко над городом, бродил я по ущельям, промоинам от дождевых потоков и по скатам, в зимнее время кое-где испещренным разными красивыми и пахучими цветами. Мне особенно нравились необыкновенно душистые гиацинты желтого цвета, каких у нас в России я не видал: может быть, это были своего рода нарциссы, но формою каждого цветочка и сочетанием их всех в одну густую кисть сходные с гиацинтами, только по запаху нежнее и благоуханнее их. Всякий раз, возвращаясь с Позилипо домой, я приносил себе большой букет этих желтых цветов и ставил их в сосуд с водою.

Но и в стенах Неаполя я нашел такой неисчерпаемый клад для изучения классического искусства, такое заманчивое пристанище для моих исследований и наблюдений, какого не мог мне дать ни один город в Италии, ни даже сам Рим. Это был так называемый

Бурбонский музей, который теперь переименован в "Национальный", громадное здание, стоящее в верхнем конце главной неаполитанской улицы Толедо. Этот музей в городе слывет под именем Студий (Studii). Главное и неоспоримое преимущество этого музея перед всеми прочими художественными собраниями состоит не в картинной галерее с несколькими значительными произведениями лучших итальянских живописцев и не в богатом и обширном отделении греческой и римской скульптуры вообще, а в единственном во всем мире собрании бесчисленного множества предметов, извлеченных из раскопок Геркулана и Помпеи. Все вещи, находимые в стенах этих обоих городов, были мало-помалу переносимы в это собрание, разумеется, металлические и каменные, которые, пролежав множество веков под спудом пепла и лавы, или туфа, сохранились во всей целости. Предметы эти имели для меня двоякий интерес: художественный и бытовой. Они воспроизводили передо мною жизнь древних римлян, домашнюю и общественную, во множестве подробностей, начиная от кухонной и столовой посуды, от разных ремесленных орудий и снастей до металлических зеркал, флаконов, ваз, лампад и статуэток из внутренних покоев римских щеголих, вместе с их ожерельями, запястьями и другими драгоценностями, которые украшали их в тот роковой момент, когда были они внезапно погребены под вулканическими извержениями Везувия. Своими глазами видел я и те стулья, те сидища разных фасонов, на которых сживали обитатели погибших городов почти за две тысячи лет до нашего времени, и те кровати, на которых они тогда спали, столики и столы, за которыми они обедали, работали или чем-нибудь пробавляли свои досуги, жертвенники, на которых они возжигали свои курения. И все эти изделия, - будут ли то предметы роскоши, или простая кухонная утварь и посуда, - с практическим удобством и с услужливою приоровкою к делу, соединяют в себе изящество художественного произведения. Помпейский вкус в изящной обработке предметов ремесленного мастерства пользуется всеобщою известностью, благодаря копиям и подражаниям, рассеянным повсюду в магазинах мебели и кабинетных принадлежностей и в домах зажиточных людей; потому нахожу излишним говорить вам, сколько способствовало воспитанию моего эстетического взгляда и чутья подробное рассматривание и внимательное изучение металлических изделий Геркулана и

Помпеи, во множестве собранных в залах Бурбонского музея. Вещи, которые особенно меня интересовали и сильно полюбились, к себе манили меня всякий раз, как я проходил около них; я останавливался перед каждою, будто встречал старого знакомого, любовался ею, проверял свои прежние впечатления, а иногда отыскивал в ней и новые для себя прелести, которые до тех пор от меня ускользали. Таким повторительным осматриванием предмета, досужим и льготным, я старался выработать в себе ту быструю и как бы инстинктивную наглядку, посредством которой приобретается опытность мгновенно, с первого же раза схватывать общий характер, стиль и манеру художественного произведения.

Из необозримой массы этих изделий первое место в моих интересах занимали, разумеется, бронзовые статуи и статуэтки, изображающие богов и богинь, эпических героев и героинь, центавров, тритонов и других вымышленных чудовищ, а также и фигуры обыкновенных людей в портретах исторических лиц и в разных реальных типах, мастерски схваченных художниками из действительной, обиходной жизни их современников. Таким же обаятельным реализмом удивляли меня изображения домашних животных, зверей и птиц.

В отделении бронзовых вещей особенно полюбились мне два художественных произведения, на которые я не мог досыта налюбоваться. То были статуэтка силена или фавна и статуя Меркурия. В статуэтке представлен один из спутников и приспешников Вакха, или Бахуса, но не из породы жирных и обрюзглых силенов, а тощий, костлявый и поджарый. Лицо у него не красиво, но и не безобразно, носит на себе реальный отпечаток портрета. От юных безбородых фавнов он отличается небольшою жидкою бородою клином. Он пляшет, легко переступая на цыпочках, а руки поднял вверх, прищелкивая пальцами, как у нас прищелкивают деревенские крестьянки в хороводах. Его крепкие мускулы, взбудораженные по всему торсу плясовыми ухватками, разыгрались волнистыми переливами. В этой бесподобной фигурке художник разрешил трудную задачу: придать пошлому, неуклюжему грациозный отблеск, так что смешное становится донельзя мило. В статуе изображен Меркурий, или Гермес, быстроногий посланник богов. Он откуда-то издалека спешит и

теперь на минуту присел отдохнуть, но сидит так, что во всей его позе чувствуется легкость движений и быстрота его резвых ног. Он, очевидно, устал. Спершееся дыхание поднимает грудь его и чуть-чуть вздувает ноздри и сдержанно, но легко вылетает из полуоткрытых уст его, которые, кажется, уже готовы сложиться в приветливую улыбку. Ему некогда медлить, да и по своей божественной природе он не нуждается в отдыхе. Он не успел еще подобрать раздвинутых ног своих в более спокойное положение и готов тотчас же вскочить и пуститься во всю прыть. Гощий живот его, втягиваясь внутрь, подался назад, а гибкая спина круто нагнулась вперед, будто натянутый лук, который тотчас выпрямится, как только слетит с него оперенная стрела.

Характеристику этого геркуланского Гермеса я поместил из своих путевых записок 1840 г. в монографии: "Женские типы в изваяниях греческих богинь", изданной 1851 г., в леонтьевских "Пропилеях", а потом перепечатанной в "Моих Досугах", 1886 г. Привожу вам эти библиографические подробности в тех видах, чтобы вы сами могли судить, насколько мог успеть самоучкою в классической археологии двадцатидвухлетний кандидат Московского университета тридцатых годов истекающего столетия.

Все пространство каждой из зал геркуланско-помпейского отделения наполнено этими металлическими предметами, а на стенах помещены картины, составляющие лучшее и самое видное украшение в стенной живописи обоих городов, отрываемых из-под вулканических извержений. Что я наблюдал и изучал в бронзовых вещах и вещицах поодиночке и врознь, то представляли мне эти картины в полном объеме мифологических, или идеальных, сюжетов и бытовых, или реальных. Отдельные фигуры бронзовых статуй и статуэток собирались передо мною в цельные группы разнообразного содержания, взятого из мифологии, истории и ежедневного быта, и одноцветные облики, контуры и силуэты темных металлических фигур оживлялись и пестрели радужными переливами колорита.

Теперь, благодаря дешевым фотографическим снимкам и многочисленным изданиям, школьным и ученым, в очерках и в красках, художественные произведения Геркулана и Помпеи сделались доступны повсюду для всякого образованного человека;

потому нахожу вовсе не нужным вдаваться в подробности о стенной живописи этих городов. Впрочем, и тогда человеку бедному представлялась в Неаполе возможность добывать для себя на мелкие деньги кое-какие отдельные снимки в литографиях, иногда даже и раскрашенные. Этот дешевый товар я находил себе в одном антикварном магазине, бывшем как раз около Бурбонского музея на улице Толедо.

Магазин содержал в себе преимущественно античные оригиналы из бронзы и мрамора, а может быть, и подделки, на которые итальянцы уже в ту пору были ловкие мастера. В первый раз я вошел в него с тем, чтобы добавить свои сведения по античной скульптуре, и случайно увидел интересовавшие меня снимки. Торговлю вела молодая женщина лет тридцати, жена хозяина, человека старого и одержимого подагрой. Часто заходя в магазин по пути из музея домой, я познакомился с ними обоими; они занимали квартиру при самом магазине. Больной старик, лежа на диване, был всегда рад моему посещению и передавал мне разные подробности о своем антикварном товаре. Еще интереснее и полезнее был для меня один господин, которого я почти каждый раз встречал в магазине, высокий и дюжий, лет сорока, в шинели с длинным воротником и в шляпе с широкими полями. Он был в магазине как у себя дома и услужливо показывал иностранным покупателям античные вещи и объяснял их высокое достоинство. По дружеским его отношениям к молодой хозяйке магазина я сначала думал, что он ей родственник, но вскоре узнал, что это был германский профессор Цан, который изготовлял тогда свое издание стенной живописи Геркулана и Помпеи. Он уже давно проживал в Неаполе, и в последнее время, когда я с ним познакомился, ему по каким-то подозрениям строжайше был запрещен вход в Помпею и Геркулан. С обширными сведениями археолога он соединял опытную наглядку и тонкий вкус художника: частые беседы с ним были для меня поучительны и назидательны.

Мои свободные часы между завтраком и обедом ежедневно проводил я в музее, за исключением праздников, а по вечерам вел записки о том, чему и как научился я в тот день: мне казалось, будто я составляю лекции, которые прослушивал в аудиториях Московского университета. Для этой вечерней работы я

пользовался, по указанию графа Сергея Григорьевича, одним многотомным изданием, которое он приобрел по приезде в Неаполь и все сполна передал в мое распоряжение. Это было подробное описание музея с учеными исследованиями и с иллюстрациями, под названием: Museo Borbonico. Итальянские ученые того времени и особенно в Неаполе далеко отстали в разработке классических древностей от немцев, представителем которых был для меня Отфрид Миллер, и его руководство по этому предмету, как я уже говорил вам, было для меня настольною книгою; но его голословные ссылки на первоначальные источники и на разные специальные монографии были мне не под силу. Напротив того, элементарный способ, объяснения и подробного изложения в описаниях художественных памятников Бурбонского музея, низводивший ученое исследование до популярной статьи литературного журнала, вполне соответствовал разумению и потребностям такого, как я, малосведущего любителя археологии, который до сих пор пробавлялся только Винкельманом да учебником Отфрида Миллера. В описаниях геркуланской и помпейской стенной живописи, помещенных в издании Бурбонского музея, все было для меня доступно, понятно и ясно; в них я находил для себя все, что было нужно, не затрудняя себя никакими справками в других книгах по ученой литературе классических древностей. Если сюжет картины мифологический, мне предлагался подробный рассказ самого мифа; если заимствован у Гомера, Гезиода, Еврипида, Вергилия или Овидия, то вместо указания цифрою на главу или стих - приводились сполна самые тексты этих авторов. Такие же подробные выдержки я находил в этом неаполитанском издании, где оказывалось нужным, из Павзания, Плиния, Светония и других классических писателей, служащих источниками для изучения греческих и римских древностей.

Воскресные дни проводил я за городом с раннего утра, напившись кофею, и вплоть до обеда, т.е. до пяти часов вечера. Праздничные свои похождения и прогулки обыкновенно направлял я к Поццуоли и по берегам Байского залива до Мизенского мыса, почти всегда пешком, и только в крайних случаях, чтобы сократить время, на лодке, а то и верхом на осле. Лучшим проводником моим, постоянно со мною неразлучным, была самая подробная карта

окрестностей Неаполя, шириною в пять четвертей с лишком, а длиною около аршина. Большую часть ее занимает Неаполитанский залив; вверху, почти по середине дугообразной его формы, очерченной берегами, находится план Неаполя, величиною в вершок; левую половину дуги составляют берега, описываемые скатами горы Позилипо и островами Низитой, Прочидой и Искией, а правую - сначала низменности и подошвы Везувия и Monte Sant Angelo (горы Святого Ангела) с Castellamare. а затем высокие и крутые берега Сорренто с его знаменитою по живописности равниною (Piano di Sorrento), окруженною с трех сторон высокими горами. Там, где Неаполитанский залив переходит в Средиземное море, стоит остров Капри, на причудливую форму которого в виде античного сфинкса мы любовались из окон нашего дома на берегу Киайи. По этому общему очерку моей путеводной карты вы можете судить, до каких мельчайших подробностей означены в ней все местности по обеим сторонам Неаполя. Она указывала мне не одни большие и проселочные дороги для проезжающих, но и узенькие тропинки по горам и равнинам между пустырями, виноградниками, садами и огородами, не одни города и селения, но и отдельные домики, лачуги, сараи и амбары, а также и развалины и останки древних римских зданий, рассеянных повсюду по полям, холмам и по морскому побережью, особенно со стороны Поццуоли.

Именно в эту-то сторону и направлялись мои еженедельные воскресные прогулки. Положив в один из двух карманов сюртука свою путеводную карту, сложенную в небольшие четверугольники, я выходил на Киайю и, поворотив направо, шел под тенью густых аллей виллы Реале до того места, где она оканчивается площадью у подножия горы Позилипо, у песчаного побережья. Тут около своих лодок отдыхают и греются на солнышке рыбаки и лазарони, сидят и болтают между собою или спят; здесь же толкуются их жены с ребятишками. Для продовольствия этой невзыскательной публики торговцы и особенно торговки завели на площади рынок с съестным товаром, который тут же изготавливается: макароны варятся в котлах, рыба поджаривается в масле на сковородах, каштаны пекутся в тазах. И я каждый раз запасался на этом рынке для утоления голода в течение дня такую провизию, которую я мог безнаказанно поместить в другой карман своего сюртука, не засаливши его маслом от рыбы

или не смочив подливкою от макарон; потому я довольствовался всегда только одними каштанами.

Гора Позилипо, образуя с этой стороны своими скатами берег Неаполитанского залива, отгораживает Неаполь от тех местностей и урочищ, куда я направлял свои похождения. Чтобы попасть тотчас же на ту сторону, еще во времена древнего Рима был высечен в каменистом кряже горы высокий и довольно широкий проход, длиною около полуверсты. Этот гигантский пролом, стародавний предшественник нынешних тоннелей по железным дорогам, называется Позилипским гротом. К нему прилегает та площадь с рынком, на которую я выходил из аллей прибрежной виллы Reale, и минут через десять был уже на другой стороне Позилипо, на проезжей дороге к Поццуоли, но для сокращения пути, пользуясь своею картою, тотчас же избирал себе одну из тропинок, которыми направо от дороги испещрены поля с виноградниками и садами, разделенными между собою то изгородью из колючего кустарника, то канавою, то низенькими стенками из кое-как наваленных друг на друга камней. Эти баррикады иногда преграждали мне путь по тропинке, означенной на карте, и я принужден был переправляться через них по садам и виноградникам до тех пор, пока не встречу кого-нибудь из хозяев или их работников, и по их указанию продолжаю путь к назначенной мною цели. Такие препятствия несколько не были мне в досаду; напротив того, они мне нравились и приносили пользу: я короче знакомился с интересовавшею меня местностью и с людьми; узнавал от них разные подробности и легенды об урочищах, запечатленных громкими именами классической древности, и о вулканических переворотах, которые, как бы продолжая сотворение земли из первобытного хаоса, в течение многих веков перестраивали всю эту местность на разные лады и дали ей новый вид. Вот, например, так называемая "Новая гора" (Monte Nuovo); она еще на памяти старожиллов начала нашего столетия сама собою выскочила из маленького озера, которое некогда очутилось на месте погасшего огнедышащего кратера. Гора эта имеет вид огромного стога, очень аккуратно сложенного и старательно округленного. В 1839 и в 1840 годах она была еще вся черная, не покрытая зеленью, но в 1875 г., посещая эти знакомые места, я уже не узнал ее с первого раза, потому что она обросла

травую и кустарником. А то несколько подалее я видел большое озеро совсем круглой формы; вода в нем была горькая и противная на вкус; не водилось в ней ни рыбы, ни какой другой живности. Мне рассказывали местные жители, будто когда в ясную и тихую погоду проезжаешь на лодке по этому озеру, то на дне его можно видеть целый город с домами по улицам и с церквами на площадях. Но в 1875 г. своего фантастического озера я уже увидеть не мог: его, говорят, спустили в близлежащее море, а вместе с тем пропало и таинственное чарование: подводный город исчез сам собою, искупив, наконец, свои содомские грехи многовековою казнию, и теперь оголенное дно озера имеет невзрачный вид осушенного болота; только зияющая близ него Собачья пещера по-прежнему изрыгает из себя смертоносный газ, в который для потехи иностранцев местный сторож бросает собаку, и она там, на глазах зрителей, минут через пятнадцать околевает в отвратительных корчах. Потому и слывет та пещера Собачьею. Когда нюхнешь и глотнешь немножко этого газу, он шибнет в нос, как шампанское. Есть в той местности и настоящий кратер стихнувшего вулкана, который до сих пор пребывает в нерешительном состоянии ожидания и называется Сольфатарою. Ровное дно этого кратера, окруженное цепью холмов, хотя и заросло высокою травой и мелким кустарником, но зыблется и колеблется, когда тяжело ступаешь ногами, и издает из-под себя гул, если бросить на него камень фунтов в десять или в двадцать. У подножья одного из сплошных холмов, окружающих этот кратер, из-под огромных камней пылают огненными языками целый костер каких-то горючих веществ и поднимает над собой темный столб зловонного дыма. Это незаглохшая продушина тех подземных огненных скопов, которые когда-то гибельными извержениями пепла, кипучей лавы и камней победоносно громили и хлестали в облака из того самого жерла, по зыбкой поверхности которого я гулял по траве в жидком и низеньком кустарнике. В ближайшем соседстве с этою нерукотворенною диковиною поместилась без малого за две тысячи лет до нашего времени еще другая и такой же овальной формы, но уже дело рук человеческих: это - античный амфитеатр, без крупных изъянов и повреждений сохранившийся, с ареною, загроможденною какими-то перегородками, и с поднимающимися вокруг нее уступами, на которых когда-то рассаживались сотни, а может быть и тысячи зрителей. Направляясь от Позилипо к

Байскому заливу кратчайшим путем по тропинкам между виноградниками и пустырями, я не мог миновать Сольфатары и амфитеатра и, чтобы отдохнуть от скорой ходьбы, всякий раз делал себе привал и завтракал своими каштанами, то сидя на камешке в жерле кратера, то взобравшись на один из уступов амфитеатра. Это были для меня заветные, укромные места, где в полнейшем уединении я предавался своим романтическим грезам. В каком-то чарующем обаянии, непонятном и немислимом для людей второй половины истекающего столетия, я мечтал себя отрешенным от окружающей меня действительности и раздвигал переживаемые мною минуты в необъятное пространство времен прошедших и будущих, которые так осязательно и ярко давали мне ощущать все то, что видел я тогда перед собой своими собственными глазами. Отдыхая на каменной скамье амфитеатра, я представлял себя одним из зрителей Августова века, которые забавляются потешными представлениями во вкусе своих кровожадных инстинктов. И чудилось мне, как близится грозное возмездие за пролитые на этой арене кровавые потоки неповинных страдальцев, и очнется наконец от своего забытья соседний вулкан, встрепенется, забурчит и заклокочет в своей подземной утробе, всколыхнет окрестные холмы и долины и разыграется потешными огнями, извергая из своей глотки сокрушительные снаряды пепла, лавы и громадных камней. И, думалось мне, не будет и следа ни от этого места, где я сижу теперь на каменной скамье, ни от всего того, что я теперь вижу вокруг себя: на месте античного амфитеатра очутится равнина, покрытая вулканическим пеплом; потом в течение долгих лет на поверхности пепла нарастет слой земли, а на ней раскинутся виноградники. По заведенным испокон века порядкам и по изменчивым, коварным обычаям той причудливой местности и сама Сольфатара, натешившись вдоволь погромами и опустошениями, наконец, угомонится навсегда: из ее огнедышащего жерла хлынут потоки зловонной воды и превратят кратер в такое же озеро, которое недавно было спущено в море.

Холмы, между которыми гнездятся Сольфатара и амфитеатр, были для меня перевалом к низменностям, тянущимся вдоль и вширь от берегов Байского залива. С высот этого перевала расстилался передо мною сплошной пустырь в виде громадного пожарища с торчащими там и сям развалинами тех великолепных античных

зданий, в которых когда-то так привольно и весело жилось наезжавшим сюда римским патрициям и богачам в свои роскошные виллы. Не знаю, как теперь, но в мое время эти пустынные места, оголенные на солнечном припеке, совсем заглохшие и невзрачные, очень редко посещались путешественниками. Почти всегда я блуждал по этим урочищам один-одинехонек и только кое-когда встречу прохожего бедняка или наткнусь на сторожа у такой развалины, которая заслуживает охранения. Моя карта окрестностей Неаполя была мне единственным проводником. Теперь и вся эта местность, и эта карта с пометами примечательностей представляются мне старинными, ветхими хартиями, на которых от давности и от разных невзгод вылиняли и повытерлись все строки, и только кое-где остались разрозненные словечки, и то в искаженном и жалком виде. Так мерещатся теперь мне все эти развалины. Каждая из них была для меня тогда знаком вопроса, и я старался, как умел, решать себе эти вопросы, чтобы из малых останков воссоздавать в своем соображении полную картину античной жизни со всей обстановкою ее интересных подробностей.

Вот как раз внизу подо мною, когда я стою на одном из холмов амфитеатра, высунулся в море маленьким мысом городок Поццуоли, сплошь загроможденный домами, которые тесно жмутся друг к другу, образуя серую кучу на темно-синем фоне Байского залива, который направо огибается полукругом пустынных берегов. Направо же из-за этой кучи домов выскочило из-под морской глубины несколько темных торчков, в одинаковом расстоянии друг от друга следующих по прямой линии от города к той стороне Байского залива; все они равной высоты, чуть-чуть поднимаются над уровнем моря, которое при ветре покрывает их волнами. Всякий раз, когда я направлял сюда свои похождения, эти темные пятна были для меня любопытной заставкою или фронтисписом той древней полинялой хартии, которую на разные лады я себе дешифровал; впрочем, они более походили на многоточие, которым писатель обрывает недосказанную речь, потому что торчки эти не что иное, как столпы или устои с быками, воздвигнутые руками невольников и рабов для громадного моста, который сумасбродно замыслил взбалмошный Калигула перекинуть от Поццуоли (Puteoli) через Байский залив на ту сторону: за смертью императора колоссальная затея ограничилась

только этими темными пятнами на поверхности моря.

Позавтракав своими печеными каштанами в кратере Сольфатары или на одной из ступеней амфитеатра, я спускался к Поццуоли и отсюда снаряжал свои воскресные экскурсии по развалинам и урочищам, то по морю на лодке вдоль берегов Байского залива, то сухопутно, - или пешком, если имел целью ближайшие местности, или же верхом на осле, когда направлялся в дальний путь. В последнем случае погонщик был мне и проводником, и приятным собеседником. Я тогда весь был погружен в свои антикварные интересы, еще не понимал и не искал живописных красот итальянской природы, которую узнал и полюбил уже потом, когда, живучи на острове Искии, как вы уже знаете, ежедневно принялся наблюдать со своего обсервационного поста разнообразные прелести одного и того же солнечного заката. Потому голые пустыри с искаженными донельзя останками классических древностей вполне удовлетворяли моим желаниям и стремлениям, и на этом безлюдном просторе я созидал себе воздушные замки, возводя в своем воображении смелые реставрации этих жалких развалин: вот передо мною храмы Геркулеса и Дианы, вот термы, или бани Нерона, вот виллы Гортензия и Цицерона, вот усыпальница Агриппины, а вот, наконец, и само Мертвое море с прилежащими к нему Елисейскими полями. Тут, говорят, Вергилиев Эней спускался в кромешный ад повидаться со своим отцом Анхизом, и это небольшое озеро, внушительно называемое морем, казалось мне заводью, уцелевшею от той адской реки, по которой старик Харон в своей ладье перевозил тени усопших.

Оба эти урочища, соединяемые с памятью о Вергилии, были крайними пределами моих воскресных походов; но и направлялись они от такого знаменательного пункта, около которого в течение веков накапливались и сосредоточивались баснословные предания и легенды об этом же римском поэте. Я говорю о пресловутой могиле Вергилия, которую указывают со стороны Неаполя высоко над входом в Позилипский грот на одном из уступов горы...

В течение трех месяцев, проведенных нами в Неаполе, я осматривал отдельные подробности, извлеченные из раскопок Геркулана и Помпеи, где каждая из них когда-то занимала

надлежащее ей место и своим назначением составляла характеристическую часть целого, а теперь все они стояли разрозненно по залам Бурбонского музея, будто убранный в сарай роскошная мебель и всякая драгоценная утварь из опустелых палат, навсегда оставленных их хозяевами. Я должен был непременно посетить эти палаты и чертоги, гулять по их гостиным, кабинетам, опочивальням и уборным, по террасам и портикам, огораживающим со всех сторон внутренний двор, или атриум; мне надобно было видеть своими глазами те самые стены, из которых вырезаны и перенесены в Бурбонский музей картины, видеть те ниши и другие укромные уголки, из которых убрана туда же разная мебель, те пьедесталы, с которых сняты те бесподобные статуи, которыми я любовался в залах музея. С нетерпением ждал я того времени, когда мои фантастические грезы и воображаемые реставрации скудных развалин, рассеянных по берегам Байского залива, предстанут передо мною в действительности, олицетворенные в цельных, изящных формах античных храмов, театров и других общественных и частных зданий, расположенных по улицам и площадям с античною же мостовою. Но для выполнения моих намерений и планов не хватало тех свободных часов, которыми я мог располагать по воскресеньям; мне нужны были целые дни и недели, и я назначил себе для осмотра и изучения Помпеи и Геркулана рождественские Святки и Святую неделю. Теперь по железной дороге от Неаполя до Помпеи минут двадцать или тридцать, а в мое время, да еще пешком, на этот путь надобно было употребить почти целый день, если идти льготно и без усталости. Я тогда был бережлив и тратил деньги только на самое необходимое; потому в оба раза туда и назад предпочел пешеходную прогулку тряске в неаполитанской одноколке.

Теперь в Помпее у самого входа в нее есть гостиница, в которой можно и утолить голод и переночевать; в то время ничего такого не было и приходилось искать пристанища где-нибудь в окрестности. Самым близким было местечко Torre dell'Annunziata, стоящее у моря в нескольких минутах ходьбы от Помпеи. Именно тут я и нанимал себе на Святки и на Святую неделю комнатку, с утренним кофеем, обедом и ужином, в семействе одного мастерового, по рекомендации нашего камердинера Феличе, очень милого молодого человека, который питал ко мне особенное уважение за то, что я

познакомил его с "Декамероном" Боккаччио, дав ему для прочтения свой экземпляр этой книги.

Рано утром, напившись кофею с козьим молоком, я отправлялся в Помпею, в полдень возвращался на квартиру пообедать и тотчас же уходил туда же, где и оставался до сумерек, а каждый вечер проводил в составлении записок обо всем, что в тот день осматривал и изучал.

Мечтательное расположение духа так называемых людей сороковых годов не могло довольствоваться только ученою разработкою фактов далекой старины; они любили воссоздавать ее всю сполна в своем воображении и вновь переживать отжившее, как Вальтер Скотт в своих исторических романах, как Виктор Гюго в "Notre-Dame de Paris" или как наш Пушкин в "Борисе Годунове"; таким же мечтательным переживанием профессор Московского университета Грановский увлекал своих слушателей на лекциях всеобщей истории. Имея все это в виду, вы легко можете себе представить, какое широкое раздолье нашел я для своих опытов фантастического переселения из мира современной действительности в далекие области заманчивого прошедшего, когда очутился я в безлюдных улицах и на опустелых площадях давным-давно отжившего свой век города, будто сказочный рыцарь в заколдованном замке. Разгуливая по опустелым покоям домов, по дворам, окруженным открытыми галереями или портиками, я населял их взамен живых людей изящными фигурами античного искусства, богатый запас которых я вынес в своем воображении из коллекций Бурбонского музея, и это тем легче мне удавалось, что соответственные тем фигурам представления из классической мифологии римской жизни я встречал на каждом шагу в стенной живописи, которою в великом изобилии изукрашены все здания Помпеи, все частные, или домашние, и общественные помещения, начиная от кухни, мелочной лавочки, мастерской рабочего и до городских бань, или термов. Изображенные на стенах сюжеты большею частью согласуются с специальным назначением и характером каждой из этих местностей.

Проводя в Помпее целые дни рождественских праздников и Святой недели, я имел в виду не одни ученые цели в исследовании разнообразных подробностей античного быта в связи с искусством;

я не довольствовался тем, что обогащал свой ум полезными и необходимыми сведениями; да я вовсе и не хотел, даже не мог насиловать себя напряженным вниманием в течение целого дня, чтобы все учиться и учиться, да еще в полнейшем уединении, не встречая живой души, кроме сторожей, которые, будучи заняты своим делом, предоставляли меня самому себе. Не одна только наука была у меня в голове, но и другие задачи, столь же важные и обязательные, как и знание, а их решение было для меня не трудом, а освежительным отдохновением и причудливою забавою. Мне хотелось донельзя свыкнуться со всею окружающею меня обстановкою, вполне перенестись в нее, сжиться с нею, и, беззаботно прогуливаясь без всякой намеченной цели в стенах античного города или присаживаясь отдохнуть то на ступеньке лестницы, ведущей в храм, то на скамье театра, я воображал и чувствовал себя как дома. Таким безотчетным "ничегонеделаньем" (*far niente*) я думал воспитывать в себе классическое настроение духа; мне хотелось, чтобы оно обуяло и проняло меня насквозь. Мечтательная романтичность современников Рудина чаяла в себе наития свыше и восторгалась многим, что теперь кажется смешным.

Разумеется, и тогда были люди, которые иначе смотрели на вещи и, по-нынешнему, знали настоящую цену и увлечениям идеального настроения умов, и строгим принципам положительной, насущной действительности. К таким людям принадлежал граф Сергей Григорьевич. Я уже говорил вам, как он преследовал меня за мое глупое педантство в непростительном равнодушии к красотам итальянской природы. Теперь в Неаполе я давал ему новые поводы издеваться и подсмеиваться надо мною. Для него было и странно, и забавно мое полнейшее невнимание к текущим событиям дня, к разнообразным интересам современности, и мое упорное укрывательство в далекие области прошедшего от живых людей с их нравами и обычаями, с их заботами и нуждами, с их увеселениями и забавами, и особенно в таком бойком, крикливом и толкучем городе, как Неаполь, где живет по-домашнему на улицах и площадях.

Чтобы ознакомить меня с современной действительностью и с политическим устройством Италии, где теперь мы живем, граф

советовал мне читать газеты; но когда я сказал ему, что сроду никогда их не читывал и не умею, как взяться за них, тогда он принял надлежащие меры для посвящения меня в тайнства дипломатии и политики. Это дело поручил он своему старшему сыну Александру Сергеевичу, как я уже говорил вам, моему товарищу по Московскому университету, благо был он кандидатом юридического факультета. Я не имел ни малейшего понятия о современном состоянии европейских государств, ни даже о форме их правления. Моему учителю надобно было сначала познакомить меня со всем этим, а также и с именами тогда царствовавших особ иностранных держав. Исходя от времени Венского конгресса 1815 года, он объяснил мне на географической карте переустройство западных держав, предоставив первенствующее между ними место Австрии с ее тогдашнею хитроумною политикою. Но, несмотря на все старания моего учителя и на его ловкое уменье излагать ясно и занимательно, эта мудреная наука мне не давалась, и я, путаясь во множестве подробностей, нисколько для меня не интересных, усвоил себе только их общий смысл. По крайней мере мне стало теперь вполне очевидно унижительное положение бедной Италии, которую поработили себе Габсбурги и Бурбоны, раскромсав ее на мелкие части, и чем больше я сердился на этих эксплуататоров, тем живее сочувствовал бедственному положению народа, изнывавшего под игом чужеземного захвата, тем гнуснее становились мне те из вельможных фамилий итальянских, некогда прославленных доблестями патриотизма, которые тогда из личных выгод и ради почестей при дворах владетельных особ усердно помогали им нажимать и затягивать это иго к пущей ненависти и озлоблению народа.

Для формирования моих способностей к пониманию тонкостей политики и для возбуждения во мне охоты к чтению газет уроки Александра Сергеевича не пошли мне впрок. Когда через несколько дней граф Сергей Григорьевич дал мне номер любимой им аугсбургской газеты "Allgemeine Zeitung", я, просмотрев ее, выразил ему мое сожаление, что решительно ничего в ней я не понял, и мы порешили на том, что по крайней мере буду читать только прибавления к этой газете (Beilage) и именно те статьи, которые он отметит мне карандашом. Чтение их пришлось мне по вкусу, потому что они предлагали обстоятельные сведения о более

крупных новостях по литературе, искусствам и по таким научным специальностям, которые меня интересовали. Сверх того, по указанию графа, стал я читать "Историю Италии" Ботты, который пользовался тогда авторитетностью образцового писателя, как наш Карамзин в его "Истории государства Российского".

В заключение моих воспоминаний о житье-бытье в Неаполе мне хотелось бы показать вам самого себя лицом к лицу, хотя бы вскользь и в профиль, каков я тогда был, как понимал и чувствовал и какими глазами смотрел на вещи. Для этого привожу свое письмо из Неаполя к барону Михаилу Львовичу Боде* от 13 апреля 1840 г., сохранившееся между другими, как вы уже знаете, в его Колычевском архиве.

* Впоследствии он принял двойную фамилию: Боде-Колычев.

"Пусть мои письма из Италии напомнят вам мои с вами московские уроки, о которых я вспоминаю с таким же удовольствием, с каким теперь пишу к вам. Проводя жизнь спокойную и наблюдательную, я изучил Неаполь лучше, нежели сколько я знаю Москву. Впрочем, Неаполь знаменит не сам собою, несмотря на то, что он самый многолюдный город во всей Италии, а своими окрестностями с огнедышащими горами и изумительными остатками древности, знаменит природою, может быть, лучшею во всей Италии, следовательно, и во всей Европе. Город же с своими обитателями, начиная от короля неаполитанского и до последнего рыбака, вряд ли бы заслуживал внимания путешественников, и я уверен, что столько же, а может быть еще более, посещали бы они этот берег Средиземного моря, если бы необъятная груда неаполитанских домов с своими жителями - от землетрясения и взрыва своего угрюмого соседа Везувия - провалилась под землю. Города, столь грязного, не видывал я никогда; по узеньким улицам нужно ходить всегда под зонтом: иначе из окон обольют вас всякою дрянью, забросают сором, раскроют лоб камнем. По главной улице, называемой Толедо, всегда таскается множество мошенников и воров, которые не пропустят ни одного неосторожного

путешественника, чтобы не украсть у него чего-нибудь из кармана; в толпе вырывают даже из рук зонты и палки. Везде по улицам валяются больные нищие и калеки с ужасными болезнями; не один раз я сам видал на мостовой умирающих и даже мертвых бедняков. Нищие не дают прохода, цепляясь за платье проходящих, и просят хлеба. Прибавьте к этому еще особый низший класс людей в Неаполе, так называемых лазарони, по имени евангельского Лазаря, прозванных за то, что они, подобно ему, наги и нищи. И действительно, на днях как-то, катаясь на лодке по морю, я видел одного лазарони, страшного старика, дочерна загорелого от палящего солнца и костлявого, полуобнаженного. Он один стоял в лодке с длинным веслом, и я, право, почел бы его за адского Харона-перевозчика, если бы увидел его во сне. Каждый лазарони есть вместе и нищий: он живет подаянием Христа ради и пробавляется поденной работою. К сожалению, нищенство распространилось здесь до того, что почти всякий простолюдин готов у иностранца просить милостыню, будучи приучен к этому с малолетства. Всему этому виною не столько врожденная леность народа, сколько себялюбивое управление его короля, следуя которому, и вельможи здешние столько же немилостивы и равнодушны к бедствующему человечеству, как и он сам".

XVI

В последних числах апреля 1840 г. мы оставили Неаполь, чтобы переселиться на остров Искию. Но сначала граф со своим семейством отправился через живописную долину Кавы - до Салерно, чтобы осмотреть знаменитый пестумский храм, а меня отпустил на две недели в Рим, чтобы я, хотя и наскоро, мог ознакомиться с его знаменитыми примечательностями, которые промелькнули передо мною вскользь, как фантастическое сновидение, когда мы останавливались в нем на короткое время, поспешая отдохнуть и успокоиться в Неаполе от продолжительного странствования. Эта поездка особенно дорога и необходима была для меня потому, что следующую зиму предполагалось провести нам не в Риме, а где-нибудь около Ниццы или в южной Франции.

Старший сын графа, Александр Сергеевич, в конце апреля прямо из Неаполя уехал в Россию для поступления в военную службу.

В половине мая поселились мы на Искии, в уединенной и скромной вилле, называвшейся Панеллою и более похожей на хозяйственный хутор с фруктовым садом и виноградником. Елизавета Сергеевна и Павел Сергеевич должны были пользоваться целительными ваннами из знаменитых минеральных источников Казамиччолы, того самого городка, который был до тла разрушен землетрясением 1883 г. Уцелела ли наша милая Панелла? Она отстояла от Казамиччолы всего минут на двадцать ходьбы. Обе они находились на широком и самом верхнем ровном уступе горы, которая образовала некогда весь остров Искию. Выше этой равнины, где мы приютились, жилья уже не было. Около версты от Панеллы поднялся далеко в небо утесистый конус или, точнее сказать, одна только половина его. То была вершина огнедышащей горы Эпомея. В незапамятные времена при последнем извержении этого вулкана от напора кипучих веществ в его жерле конус лопнул и другая половина его распалась и раздробилась на осколки, которыми завалило по ту сторону далеко внизу отлогие спуски горы.

В Панелле мы жили по-деревенски: обедали в два часа и ужинали в десять. Мой день располагался в таком порядке. Я вставал в шестом часу и пил минеральную воду под названием acqua di Castiglione, которую прописал мне наш врач-француз (итальянские медики были тогда из рук вон плохи). Эту воду надобно было доставать не из Казамиччолы, а далеко внизу у самого моря, из впадающего в его волны источника, который бил ключом из расселины крутой скалы. Рано утром, каждый день мое минеральное снадобье добывала оттуда молоденькая островитянка лет пятнадцати и приносила мне в глиняном кувшине, держа его рукою на голове. От самой виллы вниз шла зигзагами каменистая дорожка, проложенная по крутому спуску горы, на котором был раскинут виноградник. Когда я выходил сюда спозаранку пить минеральную воду, утреннее солнце еще не успевало подняться из-за вершины Эпомея; потому я гулял по дорожкам в тени, а передо мною под синим небом далеко внизу покоилось и нежилось такое же синее море в сиянии солнечных лучей; направо, будто светлые опаловые облака на окраине горизонта, тянулись в непроглядную даль гористые берега Италии. Было прохладно в моем тенистом приюте. По дорожкам было скользко, будто кто нарочно поливал их; с широких листьев виноградных лоз падали на меня крупные капли свежей

воды. Сначала я думал, что по заведенному на Искии порядку каждую ночь перед рассветом бывают дожди, но потом догадался, что то были неиссякаемо обильные росы, которыми здесь в течение всего лета поддерживается весенняя свежесть травы, цветов и древесной листвы.

К восьми часам я возвращался из виноградника и, напившись кофею, от девяти до двенадцати, как и в Неаполе, давал уроки своим ученикам и ученицам. Перед обедом Елизавета Сергеевна и Павел Сергеевич отправлялись в Казамиччолу брать минеральные ванны, а я освобождался от своих учительских обязанностей на целую половину дня до самой ночи. В полдень я всегда уходил из своей комнаты с книгою в сад, расположенный между виллою и крутым спуском того виноградника. Здесь оставался я до самого обеда, усевшись на скамейке под тенью густой листвы развесистого орехового дерева, и читал свою книгу в освежительной прохладе легкого ветерка, который ежедневно об эту пору начинал повевать и стихал к двум часам, когда я возвращался к обеду. Затем часов до пяти наступала нестерпимая, удушливая жара: наружу палит, как из печки; в комнатах духота, как в бане. На это время я оставался в своей комнате и наглухо затворял выходившую на террасу дверь, из которой пышало, как из отдушника. Как ни легка была одежда, которую мы, все мужчины, носили в Искии, она в эту пору дня была мне невтерпёж. Она состояла из белых полотняных панталон и голубой холстинковой блузы, без помочей и жилетки, потому что то и другое было бы в тягость; на ногах башмаки, на голове соломенная шляпа с широкими полями - и из соломы не из сплющенной, а из цельной, одутлой, потому что такая легче, провевательнее от скважин между соломинками и устойчивее против жгучих лучей южного солнца. Вентиляция из окна в окно не помогала; ни сидеть несколько минут на одном месте, ни прилечь на диване не было никакой возможности: удушающая истома одолевала. Чтобы хоть немножко освежать свою комнату, я время от времени поливал ее каменный пол водою из ручейника, но и это ни к чему не вело, потому что пол тотчас же высыхал, как в бане каменка, в которую поддают пару.

Гораздо удачнее предохраняло меня от жары одно средство, которое оказалось самым действительным. Я нашел его в чтении, и

именно в таком, которое не требовало напряженных усилий ума, и было настолько интересно, что отвлекало мое внимание от окружающей меня душной атмосферы, уносило из нее воспоминаниями в радостное прошедшее и затейливыми мечтами манило в будущее. Таким чтением была для меня история живописи Куглера. В ней я просматривал и с мелочной отчетливостью воспроизводил в своем воображении описания тех художественных произведений, которые видел в Дрездене, Нюрнберге, Мюнхене, Вероне, Мантуе, Болонье, Венеции, Флоренции, Риме, Неаполе, и те, с которыми могу ознакомиться на возвратном пути как в этих же городах, так и в разных других. Где-то читал я, что Кант излечивал себя от кашля и зубной боли усиленным углублением в философские думы. Я воспользовался его рецептом для освежения себя в несносной духоте.

Около пяти часов, когда начинала спадать жара, я выходил наружу и отправлялся гулять. Любимым местом этих прогулок был густой лес, который разросся с нашей стороны по всему подножию оголенной вершины Эпомея, и вползал на его нижние крутые спуски. Издали этот лес казался мелким кустарником, а когда войдешь в него, очутишься под высокими старыми деревьями, которые сплетаются друг с другом своими развесистыми ветвями; плющ и другие ползучие растения в великом изобилии густо и плотно одевают толстые стволы и сучья и своими тонкими и длинными побегами в виде гирлянд падали книзу. Пробираясь в такой чаще было затруднительно и особенно там, где лес взбирался на крутизны. Я направлял сюда свои прогулки всегда с одним и тем же намерением, чтобы преодолеть препятствия и добраться до тех мест, где у самого подножия скалистого конуса прекращается всякая растительность. Блуждая по окраинам леса, я замечал там и сям выемки прогалин, которыми открывался путь к расщелинам. Судя по валунам и булыгам, застилавшим их русло, я догадывался, что в зимнюю пору от проливных дождей тут мчатся с высот бурные потоки. Именно здесь-то и нашел я желанное приволье для своих прогулок, а вместе и прямой путь к тем заповедным местам, которые меня так манили к себе. Чем дальше от равнины поднимался я по ущелью, тем больше оно суживалось и тем выше становились его берега, с которых свешивались ветви кустарника с густо перепутанными плетями ползучих растений; затем мой путь

преграждали крутые обрывы, на которые надобно было вскарабкиваться и, наконец, я изнемогал в борьбе с препятствиями и возвращался вспять. Впрочем, я любил тогда блуждать по трущобам и взлезать на утесистые высоты, преодолевая всякие затруднения, и если после отказался от достижения своей цели, то совсем по другой причине. На Искии, куда ни пойдешь, везде встретишь змею, а то и две-три, одну за другой, особенно во время палящей жары, когда они выползают, как я думал, погреться на низеньких каменных стенках, которыми отгораживаются дороги от полей и виноградников. Потому я привык проходить мимо змеи без всякого опасения, только бы не наступить ей на хвост. Разумеется, и в ущельях Эпомея мне попадались змеи, которые мелькали всегда только по обеим сторонам каменистых спусков, а не по руслу, где лежал мой путь, и большею частью являлись поодиночке. От нечего делать я иногда вел счет, сколько их встречу. Раз случилось мне зайти в такое ущелье, где не более как в минуту насчитывал до десятка змей, и чем дальше шел, тем все больше и больше умножалось число их, так что, наконец, кругом меня по обоим спускам закишели змеиные головы с извивающимися хвостами; мне чудилось, что вижу их и на булыжнике, по которому я пробирался. Впрочем, у страха глаза велики, и я в переполохе бросился назад. С тех я пор перестал далеко забираться в трущобы и дебри эпомейского леса. Я был храбр и отважен в замышлении смелых предприятий, но, как видите, робел и трусил, когда приходилось их приводить в исполнение.

Пред закатом солнца я возвращался в нашу виллу и с книгою в руках усаживался на гребне утеса любоваться красотами природы и постигать бесконечное разнообразие их прелестей, как я уже имел случай говорить вам об этом. В 1883 г. профессор флорентийского института (Institute di Studi Superiori) и редактор "Европейского Обозрения" (Rivista Europea) Анджело де-Губернатис предпринял издать "Международный Альбом", составленный из снимков с автографов писателей и ученых, в пользу неимущих семейств Казамиччолы, пострадавших от землетрясения. Он обратился и ко мне с просьбою быть вкладчиком этого издания. Вот вам текст моего автографа: "На всю мою жизнь Иския оставила по себе самые дорогие и светлые воспоминания, потому что, будучи юношею, я провел лето 1840 года в Панелле при подошве Эпомея, и там в

первый раз узнал я, что такое красоты природы, - и с тех пор полюбил их".

В праздничные дни я замышлял дальние прогулки и, напившись кофею, выходил из дому до самого обеда, всегда с книгою в руках. Особенно памятны мне прогулки на морском побережье около местечка Форио по скалам и песчаным откосам. Чтобы отдохнуть в холодке, я усаживался на один большущий камень, подмываемый морскими волнами, в тени крутого утеса. Хорошо мне было тут читать свою книгу и время от времени поглядывать на тянущиеся вправо от Искии в необозримую даль гористые берега Италии, как они млеют и тают в прозрачном пару жгучих лучей поднимающегося к полудню солнца, которое еще скрывается от меня за высоким утесом. Иной раз повеет освежительный ветерок и хлеснет о мой камень волною, которая обдаст меня солеными брызгами.

В места отдаленные я отправлялся верхом на осле в сообществе с его, погонщиком. Расскажу вам об одном из этих походов, которое особенно ярко выступает в моих воспоминаниях. Налево от Панеллы, к юго-западу, есть мыс, образуемый громадными скалами, которые отвесно спускаются далеко вниз к самому морю. От этого высокого, утесистого берега отскочила одна скала, но так что соединяется с ним, будто мостками через реку, каменистой полосой в длину по глазомеру около десяти сажень, а в ширину, на самой ее середине, не больше как в два аршина. На этой скале в уровень с берегом небольшая площадка, покрытая травой и изредка мелким кустарником. Попасть туда по узенькой полоске считается на Искии головокружительным подвигом. Есть предание, что какой-то император переехал с берега на скалу верхом на коне; потому и называют ее островитяне Punta d'Imperatore, т.е. Императорский мыс. И мне захотелось испытать свою храбрость, только не верхом, а пешеходным путем. Я слез с своего осла и благополучно перебрался с берега на площадку, несколько минут погулял по ней, сорвал цветочка два-три себе на память и посидел на камешке, обратившись лицом на юг к Африке, чтобы любоваться беспредельностью необъятного моря, которое там далеко внизу подмывало эту скалу. Но надобно было воротиться назад. При одной мысли об этом я почувствовал какую-то

томительную тревогу, а когда подходил к соединительной полосе, которая показалась мне теперь и вдвое длиннее и гораздо уже, все больше и больше одолевала меня робость и, наконец, обуял страх и ужас: а ну, как у меня закружится голова и подкосятся коленки? Ну, как спотыкнусь о камень? А то вдруг, откуда ни возьмись, пронесется ветер и пошатнет меня, или невзначай заверещит осел благим матом и испугает. Позвать на помощь погонщика - опять беда: двоим идти рядом тесно, ему идти впереди или позади меня - какая польза? Держать меня своими руками крепко, как следует, он не мог бы, и мы оба стремглав полетели бы в бездну. Вся эта сумятица страхов и треволений, которую теперь анализирую вам в подробностях, мгновенным вихрем промчалась тогда в моей голове, и так же мгновенно инстинктивное чувство самосохранения осенило меня твердою решимостью преодолеть нахлынувший на меня кошмар, который грозил мне неминуемой опасностью. Хотя ноги у меня дрожали и трепет пробегал по всему телу, но я смело вошел в страшившую меня полосу и медленно ступал по самой ее середине до тех пор, пока с обеих сторон было настолько просторно, что, в случае падения направо или налево, я не мог бы скатиться вниз; когда же доплелся я до узкой середины, тянущейся около трех сажен, я в охранение себя от губельных случайностей просто-напросто прилег и растянулся ничком по каменистой тропинке, и не спеша и с передышкой благополучно переместился на ту сторону. Погонщик много смеялся моей выдумке и говорил, что и другим робким искателям приключений будет советовать, чтобы следовали моему примеру.

В течение двухмесячного пребывания нашего на Искии, я чувствовал себя в полнейшем уединении на широком раздолье, блуждая по крутизнам и по отлогостям побережья. Редко кого встречу из местных обывателей в деревенских костюмах, но ни разу не случилось мне в эти два месяца видеть ни одного иностранца или вообще кого-нибудь, кто бы, как я, прогуливался для препровождения времени, а не шел по нужде. Иския была тогда пустырь-пустырем, и могло ли прийти мне в голову, что убогая и неопрятная Казамиччола преобразится когда-нибудь в одно из самых изящных санитарных убежищ, с великолепными отелями вместо прежних казарм, с роскошными и вполне удобными курзалами вместо прежних торговых бань, с прохладными

мраморными галереями, даже с театром, в который будут собираться сотни великосветских зрителей со всех концов мира? Не знаю, что случилось с Казамиччолой теперь, после опустошительного разгрома, который сокрушил ее дотла в пагубном землетрясении 1883 г.

Уединение, тишина и безмолвие в скитаниях по горам и долинам Искки не докучали мне; напротив, я ощущал в себе какое-то оживительное успокоение, которое теперь благотворно сосредоточивало меня после нестерпимой суеты, грохота и гама, которые оглушительно одолевали меня на улицах и площадях многолюдного Неаполя. В моем пустынно-жизельстве я не чувствовал себя одиноким: при мне всегда был неизменным спутником сам Дант со своей "Божественной Комедией".

Еще в Неаполе я начал читать эту премудрую поэму, и с тех пор, на многие года, стала она самою любимой, настольною моею книгою. В Неаполе я прочел "Ад", теперь на Искки вместе с Дантом восходил по уступам великой горы "Чистилища" к ее вершине с "Земным Раем", который иной раз, в счастливые минуты заветных мечтаний, грезился мне на маковке Эпомея.

Точкою отправления моих ученых занятий в Панелле и центром, к которому они сводились, был Дант и его "Божественная Комедия"; вместе с тем я слагал в общую сумму отдельные подробности, касающиеся этих предметов, из всего того, что случалось мне встречать по городам Италии, в которых мы останавливались проездом. В Вероне проживал Дант, изгнанный из Флоренции, у своего покровителя Кана Гранде; в Падуе я внимательно рассматривал в капелле Скровеньи (nell'Arca) знаменитые фрески Дантова современника и друга - живописца Джотто, по сюжету соответствующие разным подробностям "Божественной Комедии" в изображении Страшного Суда и символических фигур, означающих добродетели и пороки. Во Флоренции я посетил баптистерий, в котором был крещен Дант, а также и дом, где он жил в соседстве с Беатрисою, которую прославил навеки в стихах и прозе; разумеется, не преминул я присесть и на том камне, на котором сживал великий поэт и всегда любовался на прекрасный собор Maria del'Fiore, с грациозной колокольней, которую построил и украсил барельефами тот же его товарищ и друг Джотто.

Видениями загробной жизни, в таинственном обаянии мистических символов, внушенными "Божественною Комедиею", веяло на меня отовсюду со стен, расписанных учениками и последователями Джиотто, в флорентийской церкви Maria Novella и в прилежащем к ней доминиканском монастыре. Это есть та самая церковь, в которой во время страшной чумы, постигшей Италию в XIV столетии, собрались веселые собеседники Боккаччиева "Декамерона", кавалеры и дамы, и условились удалиться вместе из зараженного города в уединенную виллу. Микель-Анджело особенно любил эту церковь и называл ее своею невестою. В Болонье подолгу стоял я не раз под наклоненными друг к другу башнями, называемыми Азинеллою и Гаризендою, под теми самыми, из которых с одною Дант сравнивает колоссального великана, когда он в аду стал нагибаться к поэту, чтобы поднять его вверх.

Дант и Джиотто открыли мне путь к изучению раннего наивного стиля итальянских мастеров XIV и XV столетий. Это и было главным предметом моих специальных занятий на острове Искии. Лучшим и единственным руководством служила мне уже известная вам книга Куглера, не раз упоминаемая в моих воспоминаниях. Этот ученый, сколько мне известно, в своей истории живописи, первый отнесся с надлежащим вниманием и живейшим интересом к ранним итальянским мастерам, предшествовавшим цветущей эпохе Леонарда да-Винчи, Микель-Анджело и Рафаэля. Сверх того, граф Сергей Григорьевич указал и дал мне две старинные иллюстрированные монографии, которые как нельзя больше соответствовали моим желаниям и целям. Это были подробные описания, во-первых, монастырской церкви св. Франциска в Ассизи и, во-вторых, собора в Орвиэто. В первой книге я хорошо ознакомился с триумфами Целомудрия, Смирения и Нищеты, которые по сводам церкви над гробницею св. Франциска Ассизского изобразил Джиотто, согласно Дантовым стихам об этом святом "Божественной Комедии", а в другой - с фресками, которыми Лука Синьерелли, живописец XV в., расписал одну из капелл орвиэтского собора, заимствуя мелкие сюжеты из разных эпизодов Дантовой поэмы, а в крупных размерах представив воскресение из мертвых, на Страшном Суде, с таким религиозным воодушевлением и с таким простосердечным сочувствием к

радостям и страданиям человека, к его восторгам и к отупелому отчаянию, что в искренности и в глубине наивного чувства превзошел самого Микель-Анджело в его знаменитом Страшном Суде на задней стене Сикстинской капеллы.

Этим оканчиваю свои воспоминания о пребывании на Искии. Мы должны были переселиться на соррентские берега, но уже без графа Сергея Григорьевича, который оставлял нас за границею на весь следующий год, уезжая с Искии в Москву. Перед его отъездом было решено, что будущую зиму мы проведем в Риме. То-то была для меня великая радость.

XVII

В начале августа 1840 г. переселились мы с острова Искии на соррентские берега, где прожили два месяца. Для тех из вас, кому не случилось побывать в этих местах, я должен сделать беглое топографическое их обозрение, чтобы в общих чертах дать понятие о той живописной обстановке, которая со всех сторон меня здесь окружала не только в дальних и близких прогулках, но и из окон моей комнаты. Прошу вас припомнить, как я ходил пешком из Неаполя до Помпеи по отлогому взморью. Тотчас же затем от Каstellамаре, стоящего у подножия горы св. Ангела (Monte Sant Angelo), начинается цепь гор с пересекающими ее долинами, которая на протяжении нескольких верст образует Соррентский полуостров; потому с обеих сторон спускается он к морю крутизнами. Над Неаполитанским заливом поднялась на высоких, утесистых берегах большая равнина (Piano-di-Sorrento), обнесенная горами, то оголенными от всякой растительности, то покрытыми кустарником и рощами. В конце равнины, если направляться от Неаполя, стоит город Сорренто у подножия каменистого холма, называемого Caro-di-Monte.

Сначала дней на пять поместились мы в самом городе Сорренто, в гостинице "Сирена", близ так называемого дома Торквато Тасса, где будто бы родился он и провел свое детство; потом, когда была вполне изготовлена и приведена в порядок наша вилла в Piano-di-Sorrento, мы переселились туда.

С первого же раза, как очутился в этой живописной местности, как

побывал в доме Тасса и узнал, что гостиница получила свое название от тех сирен, которые заманивали в морскую глубину Улисса и его спутников именно здесь, у берегов соррентских, - юношеская фантазия моя разыгралась, и я тотчас же порешил дать ей раздольный простор в октавах "Освобожденного Иерусалима" и в гекзаметрах "Одиссеи". Обе эти книги я усердно читал в продолжение обоих месяцев, проведенных в нашей вилле. Тассову поэму брал с собою на прогулках, а Гомера подробно изучал с комментариями у себя на дому.

Соррентская равнина (Piano-di-Sorrento) есть не что иное, как огромный виноградник на нескольких квадратных верстах вперемежку с фруктовыми садами, в которых высоко над другими деревьями, в живописном контрасте зеленых оттенков, поднимаются столетние оливы со своими светлыми и прозрачными ветвями и темные и густые рощицы "оранжей" (так называл я тогда апельсиновые деревья); там и сям тянулись далеко вверх в виде столпов ряды кипарисов, а то раскидывалось широко и высоко ореховое дерево с таким толстым стволом, что не обнимешь его в один обхват. Все это пространство размежевано улицами с переулками; по обеим их сторонам нескончаемо тянутся высокие каменные стены на таком расстоянии между собою, чтобы можно было разъехаться двум встретившимся экипажам. Изредка попадаются небольшие постройки для жилья владельцам виноградников и для хозяйственных угодий и очень немногие большие дома для постоя приезжих. В одном из таких домов поместились и мы, на левой стороне узенькой улицы, если идти от Сорренто. Своим фасадом выходил он на улицу с высокою стеною перед окнами. Вход был в ворота со двора, а за двором раскинулся виноградник до самого обрыва отвесно ниспадавшего морского берега. По одну сторону виноградника была роща оранжей, а по другую фруктовый сад. Дом был двухэтажный, с небольшою надстройкою в виде башни налево, если смотреть с улицы. В бельэтаже, кроме залы, гостиной и столовой, могли удобно разместиться только сама графиня, ее обе дочери с гувернанткою и трехлетний сынок с немкою Амалией Карловной. Для двух старших сыновей, Павла Сергеевича и Григория Сергеевича с их гувернером, в доме места не хватало. Они занимали небольшой одноэтажный павильон с широкою террасою, выходившею в сад с

Tutti la notte dormino.

Но мне остается сказать еще несколько слов о моей оригинальной террасе. Между местными жителями была распространена одна грациозная легенда, достоверность которой с благочестивым усердием подтверждали старожилы. Будто в одно из последних извержений Везувия бурным ветром помчалось в сторону соррентской равнины черное тучи песчаного пепла, которые мгновенно заволокли все небо и превратили светлый день в непроглядную ночь. Все ожидали неминуемой судьбы, постигшей когда-то соседнюю Помпею. Кто мог и успел, бежал куда ни попадало, но большую часть попрятались в своих домах, потому что наружу не было видно ни зги, а горячий песок засыпал глаза, лез в уши, в ноздри и в рот, бил по голове и сшибал с ног, хотя и вязли они в пепле выше щиколок. К счастью, буря стала утихать и песочный ураган мало-помалу ослабевал и, наконец, прекратился. Только на рассвете осмелились выйти наружу скрывавшиеся в домах. Повсюду навалило пепла чуть не по колени. В великой радости, что спаслись, прежде всего бросились хозяева на свои плоские крыши, спеша освободить их от тяжелого груза, наваленного извержением песчаного пепла, а то потолки не выдержат и обрушатся. И что же видят? На каждой кровле и в Сорренто, и везде в его окрестностях по ровной и гладкой поверхности пепла протянулась полоса следов от двух босых ножек, которые явственно отпечатлелись всеми своими пальчиками. В этом необычайном явлении благочестивые жители признали великое чудо, спасшее их от гибели. Пречистая Дева Мария сооблаговолила проследовать по всем до одной кровлям, отпечатлев на каждой знаки своего шествия. Она же отвратила и ураган в другую сторону. Эта легенда иной раз приходила мне в голову, когда я в лунные ночи гулял по своей террасе. От нечего делать я любил тогда предаваться мечтательным грезам, и несбыточное казалось мне возможным. И здесь, думалось мне, где я теперь хожу, оставила по себе таинственные следы Та, которая спасла от разрушений и дом, где мы теперь живем, и этот широкий помост для моих ночных прогулок. И я вызывал в своем воображении идеальный лик Сикстинской Мадонны Рафаэля и представлял себе, как она, спустившись с облаков, по которым идет на картине, ступает теперь по кровлям домов соррентской равнины.

В мое время любили играть в затейливые мечты, как потом с таким же заманчивым увлечением стали играть в акции и в другие ценные лоскуты бумаги.

На соррентской равнине мы продолжали вести жизнь по-деревенски, как и на Искии, т.е. обедали в два часа и ужинали в десять. Я был занят уроками тоже всего три часа, от девяти до двенадцати.

Я вставал в шесть часов утра и тотчас же шел купаться в море, по совету того же врача, который предписал мне пить минеральную воду на Искии. Я должен был оставаться в воде не дольше пятнадцати минут и купаться только два дня сряду, а на третий отдыхать. Непременным спутником моим и охранителем на морских волнах был известный уже вам Пашорин, который в эту раннюю пору был свободен от своих кухмистерских обязанностей. Море от нас было, что называется, рукой подать, у самой усадьбы нашей виллы. Стоило только со двора пройти апельсиновую рощу да виноградник, и тут же широкий и довольно отлогий спуск к морю, которое вливается здесь в маленькую бухту, обнесенную со всех трех сторон высокими, утесистыми берегами. Такие уютные уголки с песчаной равниной, которая едва заметно спускается к морской отмели, итальянцы называют "мариною". Море без устали ежеминутно отступает по песку и на него приливает, сажен на пять, на десять, а то и больше, когда разыграется. Чтобы попасть к его постоянному дну, надобно как можно скорее пробежать выступившее из-под отхлынувшей воды пространство и в один миг вспрыгнуть на катящуюся навстречу волну, как бы оседлать ее под себя, а затем без всякого усилия и не торопясь плыть вперед, спускаясь и поднимаясь по широким и отлогим волнам. Пашорин был отличный пловец, и под его бдительною охраною я чувствовал себя в полнейшей безопасности. Далеко в море мы не забирались и доплывали только до окраины отвесной скалы, составляющей правую сторону нашей бухты, и, взглянув вправо же на дымящийся Везувий, возвращались назад. В раннее утро на песчаной "марине", обращенной на запад, под тенью высокого, утесистого берега, дышалось живительною прохладою. С купанья я возвращался один; Пашорин уходил вперед, торопясь на свою работу. Чтобы сберечь в себе крепительную свежесть, медленно, ленивым шагом

поднимался я по отлогому подъему дороги в наш виноградник и еще медленнее пробирался между густых рядов виноградных лоз, отягченных гроздьями, и поминутно останавливался, срывал с них самые спелые ягоды и клал себе в рот. Так продолжалось всегда по малой мере минут пятнадцать или двадцать, а затем, выбрав себе самую большую виноградную кисть, уходил к себе домой и доедал свой утренник, сидя с книгою под окном, обращенным на запад с апельсиновою рощею и виноградником на первом плане, где я только что проходил, и с расстилающимся далеко и широко Неаполитанским заливом. Я тогда и не слыхивал о лечении виноградом, но без моего ведома угодил как раз пользоваться им в течение двух месяцев ежедневно за целый час до нашего завтрака.

Я уже говорил вам, что на соррентской равнине я принялся читать "Одиссею" и "Освобожденный Иерусалим". Тасс надоумил меня познакомиться и с Ариостом: его "Неистовый Роланд" был известен мне только понаслышке. Сверх того, я здесь же dokonчил изучение "Божественной Комедии". С тех пор Дантов "Рай" всегда напоминал мне прекрасные ландшафты, на которые я любовался из окон своей комнаты, и мою террасу, по которой прохаживался в лунные ночи, как живописная гора его же "Чистилища" неразрывно слилась в моих представлениях с крутыми подъемами Искии к недостижимым мною высотам Эпомея. Впечатления юных лет глубоко и крепко залегают в душе и берегутся в ней, как неотъемлемое сокровище, до глубокой старости.

Однако я не покидал и научных исследований своих по классической археологии. Хотя Соррентский полуостров давал для этого предмета плохую поживу в очень немногих и уже чересчур искаженных развалинах, но у меня под руками была соседняя Помпея. В виде прогулки я туда хаживал по праздникам на весь день. Искупавшись в море и наскоро позавтракав своею кистью винограда, я успевал еще в седьмом часу отправиться в путь в утренней прохладе, и, дошедши до Кастеламаре, делал привал в прибрежной остерии под тенью высокой горы св. Ангела, которая еще заслоняла восходящее солнце. Тут я отдыхал и пил свой утренний кофей. Насытившись и освежившись, часам к десяти я был уже в стенах Помпеи, где и проводил весь день часов до пяти, чтобы возвращаться домой, когда жара начинала спадать. В

течение дня утолял голод и жажду в соседних с Помпеею плантациях, где хозяева угощали меня виноградом, а на обратном пути опять останавливался у подножия горы Sant-Angelo, чтобы в той же остерии пообедать жареною в прованском масле рыбою и макаронами с сыром.

Повторительное рассматривание помпейской живописи открывало мне разные подробности, прежде не замеченные, и наводило на новые соображения и замечания. По вечерам я вносил их в свою записную книжку. В этих заметках я особенно вдавался в уяснение себе античного стиля этой живописи в связи с его позднейшим возрождением в произведениях итальянских поэтов и художников XVI и XVII столетий. Такие сравнительные исследования, переполненные ссылками на Овидия, Вергилия, Ариоста и Тасса, должны были подготавливать меня к тому, что предстояло мне изучать в Риме, когда буду гулять там по дворцам и павильонам, стены и плафоны которых изукрашены мифологическими и вообще эротическими сюжетами Рафаэль со своими учениками, Караччи, Гвидо Рени и другие позднейшие живописцы.

Кроме Помпеи мне привелось сделать несколько интересных прогулок в лодке по морю, между прочим, на остров Капри и в Амальфи. Рассказывать вам по смутным воспоминаниям обо всем этом и о многом другом, как хорошо мне жилось на доррентской равнине, я теперь не буду, а вместо того предложу вам несколько выдержек из моих путевых записок, прося милостивого снисхождения к наивной мечтательности юного энтузиаста.

XVIII

Из путевых записок

"Сорренто, 28-го июля 1840 г. - Через Пуццоли, Неаполь и Кастеламаре, с Искии переехали мы в Сорренто, и вот уже два дня, как наслаждаюсь я благословенным воздухом родины Тассовой, ежедневно несколько раз проходя мимо его дома. Думаю, что здешняя природа всего ближе может объяснить страны, воспеваемые Гомером. Синеющая даль моря, усеянная цветущими островами, далеко вьющийся берег с высокими горами, лазоревое небо с дымящимся Везувием, плеск волн, Дробимых о высокий берег, и шум освежающего ветерка между густыми садами

оранжей, под палящим солнцем и жарким небом, - неужели какая другая страна в мире может превзойти красотой и роскошью ту, которую я теперь наслаждаюсь? Охотно перенесу я теперь суровую природу своей родины, населяя ее пустынные степи и дремучие леса незабвенными мечтами своего воображения, которые так заманчиво теперь увлекают мою душу восхитительной действительностью. Еще новый дар благого Провидения!"

"*Сорренто, 29-го июля.* - Читая сегодня "Рай" Данта, вдруг из своего окна, из-за олив и оранжей, услышал я отдаленные звуки органа, согласованного с пением, заманчиво теряющимся вдали. Я оставил книгу, и по звукам отправился в францисканский монастырь, где тогда служили обедню, и просидел в церкви несколько минут, погруженный в тихое благоговение: случайно, но как нарочно, пришлось мне у Данта читать жизнь св. Франциска. Только тогда понимаешь поэта, когда его стихи вдыхаешь вместе с воздухом и растворяешь их высокими звуками молитвы... Вчера и сегодня восхищался я здешней природой: удивляешься, как всякая ничтожная вещь, ручеек, камешек, мостик - будто нарочно брошены для того, чтобы восхищать воображение своею живописностью".

"*Piano di Sorrento, 2-го августа.* - Вчера из Сорренто переселились мы сюда к стороне M. S. Angelo. Сначала я жалел оставленную мною комнату, окно которой осенялось густыми оранжами и прозрачными оливами, из-за которых так поэтически неслись ко мне звуки утренней и вечерней молитвы францисканского монастыря; а теперь своим новым жилищем я удовлетворен совершенно: окна мои глядят и на восток, и на юг, и на запад, так что я по течению солнца постоянно принужден затворять ставнем которое-нибудь из них. С одной стороны я вижу горы, амфитеатром окружающие равнину соррентскую; с другой - Сорренто, с его берегом и уходящим в море мысом, оканчивающимся полуразвалившеюся башнею; с третьей - широкое море с неаполитанским берегом и островами Прочидою и Искиею. Сколько людей многим бы пожертвовали, чтобы видеть то, что так изобильно пресыщает мои взоры!"

"*12-го августа.* - Вчера был один из замечательных дней моей жизни: я кончил Данта. Таким образом, он будет навсегда

напоминать мне своею возвышенною поэзиею те места, которые были свидетелями моих восторгов, им возбужденных: в Неаполе я читал "Ад", в Искии - "Чистилище", в Сорренто - "Рай". Так, козни пап напомнят мне мои разговоры с графом Сергием Григорьевичем*; географические указания в "Божественной Комедии" напомнят, как я на всяческой карте изучал по Данту географию Италии; песнь Казеллы напомнит мне, как я гулял по узеньким тропинкам виноградников Искии; сравнение человека с червяком, из которого потом образуется бабочка, чтобы лететь на небо, или сравнение вечернего звона с прощальным вздохом умирающего дня увлекут мое воображение, как я читал эти стихи, сидя под сенью виноградных лоз нашего сада в Искии; наконец, эти возвышенные восторги райские, переполнявшие душу поэта, эти возвышенные беседы со святыми мужами читал я здесь, в тени оранжей и олив, среди природы, неба, моря, и земли, и воздуха, которые для нас, жителей суровой природы, должны казаться райскими. Чтобы понимать Дантово наслаждение раем, надобно самому просветить свою душу высоким наслаждением природы - и где же, как не здесь? Никогда и нигде поэзия не являлась мне столь высока и величава, как у Данта: у него она идет рука об руку с религией, на троне правосудия, с очами, просветленными для высшей мудрости, до которой не достигают мудрецы в своей философии. Вся поэма - это шествие поэта от преисподнего ада к жилищу Божию, которое есть высшая ступень и последняя строка поэта. Вот ощутительный образ того, как поэзия стремится к выражению божественного!"

* К моему крайнему сожалению, никак не могу теперь припомнить, о чем были эти разговоры. Граф так часто и подолгу беседовал со мной.

"14-го августа. - Вчера под густыми оранжами при закате золотистого здешнего солнца на крутом берегу моря, волнистого и насупившегося, читал я Тасса. Не знаю, оттого ли, что теперь его более понимаю, или оттого, что свое впечатление от чтения растворяю соответственными прекрасным стихам - прекрасными образами природы, только теперь я наслаждаюсь Тассом далеко

больше прежнего, когда я читал его в Москве. - Сейчас пришел я с купанья: море волнуется ужасно. Целую минуту, я думаю, меня покрывала собою огромная волна; когда я вздумал было ее переплыть, соленая вода натекла мне и в уши, и в нос; мы поминутно сваливались от нового напора волны, приближение которой стремительною стеною невольно приводит душу в какое-то опасение".

"16-го августа. - Сейчас, сидя под окном в своей комнате, читал я у Тасса описание красот и хитростей очаровательницы Армиды. От внутреннего удовольствия, приносимого стихами, или от желания свободнее дохнуть благорастворенным воздухом, по временам отнимал я от поэмы свои мечтательные взоры, перенося их на расстилающееся из-за зеленого сада синее море, яхонтовое, прекрасное, из-за которого вдали, в полуденном тумане расстилался Неаполь со своими окрестностями. Пусть это чудное место поэмы, теперь еще более растворяющее мою душу наслаждением от содействия природы, некогда на родине напомнит мне по созвучию со своими звонкими рифмами тот сладкий звук, который здесь так стройно ему вторил!"

"27-го августа. - Прошное воскресенье ездил я на остров Капри и был в знаменитом лазоревом гроте. Если воспоминание всегда более или менее украшает предметы поэтическими грезами, то какова должна быть память о предметах, которые и на самом деле кажутся поэтическими образами мечты несбыточной? - О! Никогда не забуду эту очаровательную пещеру, дно которой голубее и блистательнее неба, освещаемого лучами заходящего солнца! Будто какой подземный свет из морских чертогов Фетиды ярко струится из-под величественно висящих над морскою бездною скал; рыбки мелькают в сиянии ясно и осязательно, будто птички летают по голубому поднебесью; а вот и живая фигура человеческая плещется в этом голубом сиянии; не так ли блаженные души у Данта в раю купаются в таинственном сиянии небесных лучей? Неужели самые греки могли вообразить поэтичнее и очаровательнее купанье стыдливой Дианы с ее непорочными нимфами? От игривого движения членов летит и рассыпается серебро, яркое, белое, как снег по синему полю: не из такой ли сияющей влаги родилась божественная Венера? Именно теперь только я понимаю, почему

богиня красоты и любви избрала море своею родиною: эта яркая, то блестяще-лазурная, то темно-яхонтовая влага - не само ли небо во всей своей роскошной осязательной вещественности! О, страна, благословенная небом! Пусть всегдашняя любовь моя к тебе будет вечною моею признательностью за те блаженные минуты, которыми я наслаждался в тебе!"

"30-го августа. - Сейчас была страшная буря; началась она вскоре после обеда и продолжалась около часу: гром гремел непрерывно; дождь вместе с градом, крупным, с голубиное яйцо, лил как из ведра; тучи воздушными полками неслись над страшно волнуемым морем со стороны Monte Sant Angelo к Punta di Sorrento. Во всех церквах звонили в колокола. Страшно было смотреть, как на всех парусах мчалась по морю из Неаполя маленькая барка".

"11-го сентября. - Сегодня с Тассом в руках ходил я к капуцинскому монастырю. Солнце уже закатилось, когда я пришел на террасу и сел возле водруженного в каменные перила деревянного креста. Читал, как усопшая Флоринда явилась во сне неутешному Танкреду. Звуки два дня назад слышанной мною "Весталы" Меркаданте - звучали в моем сердце, когда я пробежал умиленные строфы: песня идущей на смерть девы как-то томно гармонировала с загробного песнью прекрасной воительницы. Море не было бурно, волновалось, однако, негостеприимно; Везувий испускал дым вышиною почти с самого себя; сначала он вился прямо вверх, как из трубы, а потом сгибался и тянулся по безоблачному небу длинным одиноким облаком над Неаполем, Позилипо и Искиею; из-за гор и островов, ниже этого длинного облака, багровела вечерняя заря; из церкви монастырской изредка раздавалось монашеское пение; передо мной на первом плане возвышались высокий дуб и деревянный крест. Душа была полна умилением невыразимым: чудные стихи были красой всему меня окружающему! Я их перенесу на свою родину, а вместе с ними и те случайные, но согласные звуки и образы, которые волновали мое сердце сладостным томлением и тихим восторгом".

"12-го сентября. - Сегодня моим товарищем в прогулке был monsieur Ducle're.* Я во всем был ему под пару, помогая ему носить живописные препараты; оба в блузах, мы были настоящими

артистами. Capo di Monte и потом Capo di Sorrento были целью нашей прогулки. Солнце уже заходило, когда около соррентского мыса спустились мы к морю. Сели немножко отдохнуть на краю морской бездны, там, где древнеримская арка соединяет море с Piscina di Pollione. Виднелся тот же залив Неаполитанский, тот же Везувий, та же равнина Соррентская - и вместе с тем сколько новых прелестей! Синее море глубоко вдавалось в извитый зигзагами берег Соррентской равнины, цветущие сады которой ярко обливали розовые лучи заходящего солнца; дымящийся очень сильно Везувий и Sant Angelo высились, окруженные тем же радужным светом. За нами был Римский пруд (Piscina); возле него - какие-то, вроде сводов, углубления, клоаки, мостики и т.п., все это римское - твердое, как железо, достойно вечности, на которую оно было рассчитано. Тут же возвышается и полуразвалившаяся варварская башня средних веков, напоминая времена войн и убийств; а недалеко от нее - каменные следы римского здания, подобно древесному корню вросшие в прибрежную скалу: так мощно природа умеет перерабатывать творения рук человеческих в свою собственность, и из самого разрушения творить новые для себя прикрасы. Это остатки виллы Поллиона, которого воспевал Virgilий. Вот еще новая незабудка для моих поэтических воспоминаний! Читая в России Virgiliеву эклогу, буду вспоминать и синее море, и цветущий берег Сорренто, и далекие горы, блещущие в различных цветах заходящего солнца. На камнях разрушенной римской виллы варвар средних веков построил свою грозную башню; так, на маленьком мысу можно считать по памятникам целые века. Duclere - этот мыс с развалинами хочет взять за первый план своей картины, далеким фоном которой будет берег соррентский с Везувием".

* Французский пейзажист, живший тогда в Сорренто. С ним познакомился граф Строганов еще в Неаполе и заказал ему несколько ландшафтов с разных местностей на Искии и на берегах соррентских.

"24-го сентября. - Ходил в капуцинский монастырь. За мрачными облаками не видать было, как садилось солнце: небо было покрыто

дымными облаками; неподвижное и безмолвное море - синевато-серым туманом; Везувий с берегом неаполитанским мрачно темнелись вдаль; дым из Везувия курился вяло, будто погашенный сальный огарок. В Carrusini, на террасе, я сидел один-одинехонек перед черным, водруженным в каменные перила, крестом; за мной возвышались вдоль стены длинным рядом надгробные кипарисы над плодовитыми оливами. Я читал Тасса, думая о море, когда из-за сада услышал печальное монашеское пение. Но оно вскоре смолкло, дав голос минутно, как бы для того только, чтобы придать большую таинственность тишине и сумраку, господствовавшим вокруг меня. Несколько минут по-прежнему продолжалась тишина, которую снова прервал унылый звон монастырского колокола. Было уже очень темно, когда я вышел из монастыря; из церкви слышалась вечерняя молитва монахов".

"25-го сентября. - Не подлый ли народ неаполитанцы? Я послал в Неаполь поправить свою палку - украли! Разини стерегут, а мошенники грабят! Да это и не первая покража: зонт и два платка. Самый подлый, воровской и низкий народишко!..

Восемь часов вечера. Сейчас пришел я из Сорренто. Погуляв около Capo di Monte, зашел в магазин деревянных изделий. Становилось темно, когда я, идучи в дом Тасса, но, услышав звуки органа в церкви Девичьего монастыря, зашел в него: священники служили торжественно перед алтарем, ярко освещенным свечами; песнь органа была неизъяснимо приятна в своих бесконечных переливах; за исключением алтаря, вся церковь была темна; народу почти никого не было; по другую сторону сидели в темноте две дамы. Таково было предисловие к посещению дома Тассова. Во вновь выстроенном доме показывали мне комнаты и где родился Тасс и где он занимался литературою: шарлатанство - надувать путешественников! Остатки старинного дома обрушились в море, но природа, всегда неизменная, осталась та же, и сидя на Тассовой террасе, над бесконечным морем, перед прекрасно-страшным Везувием и далеким берегом блаженной Италии, кто не одушевится памятью великого поэта, фантазия которого впервые была взлелеяна таким разнообразием роскошной природы! Эти сладостные и улыбающиеся образы должны были представляться и поэту, когда он мечтал о своей благословенной небом родине, в

безнадежной любви своей, терзаемый бурями жизни в мрачной Ферраре, с ее гордым дворцом и душною темницею, которую случилось мне посетить, когда из Венеции возвращался я в Болонью.

Сегодня в истории Италии Ботты, я читал о завоевании норманнами Италии, о Салерно и Амальфи, о Неаполе, Капри и Аверсе. Как живо представлялось мне читанное, когда вместо ландкарты прибегал я к своей памяти, что видел, или, еще лучше, самодовольно обращал взоры из своего окна на залив Неаполитанский, весь передо мною расстилавшийся. Сегодня там же читал я о поклонении горе Гаргану (Monte Sant Angelo), которую почти ежедневно вижу перед своими глазами и о горе М. Cassino*, на которую я с живейшим интересом всходил недавно в самый полдень; помнится, все окружные горы в своем жарком паре будто дымились, заливаемые яркими лучами палящего солнца.

* С знаменитым бенедиктинским монастырем близ Sant Germano по дороге из Неаполя в Рим, куда уезжал я в мае месяце на две недели.

Теперь, к сожалению, уже несколько дней у нас сирокко, которым, как нарочно, на прощанье угощает нас Средиземное море: небо заволакивается серыми парами, даль чуть виднеется; море лениво колеблет свою поверхность, местами становясь неподвижно; жар восходит до 25° в тени. Сегодня ровно год, что я в Италии: этот день прошлого года был я в Вероне".

"26-го сентября. - Опишу свою поездку в Амальфи. Читая Тасса, вдоль отвесных утесов ехал я в лодке; время от времени выдавались вперед скалы, с построенными на них башнями: весь берег представлял вид неприступной крепости. Какая противоположность гостеприимной равнине Соррентской! А, между тем, не далее двадцати верст от нее. Там и сям высоко в ущельях гор лепились города и деревеньки. Вид на Амальфи с моря несравненный! Непрерывную цепь скал прорезывают две глубокие долины, одна возле другой, разделенные скалою; пологие скаты долин к морю образуют ровные отмели с удобными пристанями,

защищенными заливом, между Punta di Conca и Capo d'Orsa. Такое-то место выбрали моряки средних веков для своего главного пристанища. Начиная от приморского берега, дома выше и выше полукругом, как в древнем театре, поднимаются на окружающие скалы, обратись фасадами к морю, единственному поприщу деятельности здешнего народа. Остроконечные скалы по сторонам города на самых вершинах своих вооружены башнями и замками, которые некогда служили городу сильной защитой, а теперь своими развалинами только украшают его живописное местоположение. Влево, если смотреть с моря, по скале вьется дорожка к капуцинскому монастырю, огромному зданию, которое, как бы отстраняясь от суеты житейской, стоит одно, в некотором отдалении от города, висит на скале, возле огромной пещеры.

Приехав в пять часов вечера девятнадцатого сентября в субботу, тотчас я отправился через долину Атрани в Равелло. В Атрани влево указали мне жилище Мазаниелло; как вороново гнездо, прилипло оно высоко к скале. Долина полна зеленью и ручьями, которые местами бьют живописными водопадами, что представляет яркую противоположность с необъятными стенами скал, суровыми, светло-дикими, с причудливыми обломками и пещерами, где взор напрасно ищет жизни и растительности. Громады эти покрыты каменистыми волокнами и сосульками, висящими в воздухе, когда скала своевольно вгибается внутрь, образуя трещину или пещеру. Подумаешь, что все это в первобытном кипении элементов, тая и плавясь, от внезапного дуновения вдруг остановилось, застынув в своих плавучих формах. Долина около часу времени прекращается, поднимаясь выше и выше. Равелло стоит на горе. Церковь св. Пандалеона замечательна своими двумя кафедрами, одна против другой, украшенными мозаикой. По правую руку кафедра на четырех столбах, извитых винтом и стоящих на львах: наружная часть ее лестницы и перила наверху украшены мозаиками из птиц, зверей, звезд и различных чудовищ; в этих изображениях видна какая-то дикая фантазия, любящая необычайное. Кафедра на левую руку без колонн тоже с мозаиками: с одной стороны, какое-то морское чудовище, а с другой - должно быть, кит, с Ионою в пасти. Двери церкви XII века, кажется, 1176 г. (если не ошибаюсь в единице), с надписью, все украшены в маленьких четвероугольниках изображениями: там

сидит Мадонна, или идет какой святой; там двое со щитами в руках, в одеждах, похожих на короткие русские кафтаны, дерутся какими-то палками: там, вероятно, св. Георгий на коне поражает змия, а там какая-то фигура натягивает лук. Изображения отличаются неумелостью; сюжеты обозначают дух воинский и суровый. Уже становилось темно; в обширной церкви раздавались звуки органа, кругом тишина пустыни и сумерек. За церковью развалины какого-то средневекового здания: стены украшены столбиками из глины, далее ворота сквозь башню, как в нашем Кремле - это башня с круглым сводом, со столбиками и по сторонам с какими-то мраморными фигурами стариков с чашами или вазами. Проводник говорит, что это изображения четырех времен года; не потому ли так думают, что всего четыре фигуры, а не более или менее; впрочем, они так изуродованы, что трудно, кажется, сказать о них что-нибудь положительное. Через длинную аллею, покрытую виноградными ветвями с висящими кистями, вошел я во внутренность или, лучше сказать, atrium здания: темноватый портик под сводами, с частыми в два ряда тоненькими мраморными колоннами; он с трех сторон окружает внутренность весьма тесного двора; с четвертой стороны, из виноградника, рассматривал я наружность портика: вверху двойной ряд колонн сходится продолговатым полукругом с острою вершиною; выше на стене из штукатурки извиваются круги; еще выше ряд маленьких витых колонн. Темнота и таинственность царствовали под этим темным портиком: сумерки еще больше тому способствовали. А вот с другой стороны и сад неведомых жильцов этого здания с прекрасною террасою вдоль моря, которая оканчивается беседкою с витыми колоннами на львах по сторонам, с каменным столом посреди, украшенным арабесками. Виноградные лозы изобильно осеняют террасу. Прямо расстилается далеко внизу бесконечное море; влево ближние скалы с маленькими городами на их ребрах и далекая полоса берегов Калабрии.

В воскресенье, двадцатого сентября, рано поутру до восхода солнца, разбудили меня моряки. Желая ли видеть далекий берег Италии, освещенный восходящим солнцем, или еще более, может быть, под влиянием стихов Тасса, которые накануне читал я, как Ринальд перед своим геройским подвигом любовался на восход солнечный, поехал я на лодке в далекое море посмотреть, как

встает солнце из-за гор Салернских. Но волны поднимались выше и выше, с юго-запада неслись черные тучи, тогда как за горами восток ясенел рождающеюся зарею, лодка наша сильно колыхалась от напора волн. Нет! нужна была Ринальдова твердость победить чувственные инстинкты, чтобы насладиться прекрасным восходом дневного светила: у меня не достало решимости пуститься далее, и лодка быстро понеслась назад; волны по временам хлестали в лодку.

Потом отправился я в капуцинский монастырь. Огромные камни, лежащие под ним далеко в море, кажутся остатками тех, которыми когда-то гиганты разили в небо. Портики на дворе монастырском с двойными колоннами (т.е. в два ряда). Виды с террасы чудесные: и город, и скалы, и далекое море с берегом; недостает в ландшафте только одного - самого монастыря, который кажется мне главным украшением вида на город. Стоя у монастырского грота, смотрел я на утреннюю зарю, как солнце из облаков бросало свои цветистые лучи на отдаленные берега. Не думаю, чтобы было много гротов, живописностью своею равняющихся с пещерою капуцинского монастыря в Амальфи: природа будто нарочно вылила ее из металла с различными фигурами сталактитов, загнутыми, круглыми, тянущимися вдоль и висящими в высоте: подобные узоры случайно выливаются в стакане воды из воску, когда на Святках девушки гадают о своей судьбе. Надобно же было, чтобы, как нарочно, этот грот образовался на плане полукруга, под сводом в виде алтарной абсиды! Природа же постаралась вдоль всей стены грота кругом выбить уступ, а монахи в религиозном усердии расставили на нем в натуральную величину раскрашенные фигуры Мадонны и разных святых. Тут же около из каменистой стены пробивается какое-то деревцо, - кажется, фиговое. Посреди грота водружены три не искусно сработанные креста, вышиною вдвое больше человеческого роста. Кажется, сама природа создала эту пещеру для божественного алтаря, а капуцины, чувствуя все великолепие, которым убрала природа этот нерукотворенный храм, не дерзнули украсить его ухищрениями искусства и только осенили его водружением деревянных крестов с теми немудреными статуями Мадонны и святых.

Есть вещи, которые не забываются вовеки. На возвратном пути,

подъехав к Punta di Conca, лодка наша была на пути к гибели; скалы, разимые волнами, в своих пещерах издавали глухой, страшный рев, а брызги вносились выше высоких деревьев. Было страшно. Тут узнал я, о чем думают, когда, умирая, прощаются с жизнью".

"29-го сентября, десять часов вечера. - Сегодня, вероятно, в последний раз ходил я на Capo di Monte. Жаль мне было идти по этим извилистым тропинкам под густыми ветвями непрерывных садов без Тасса, которого уже я так привык читать, ходя здесь; хотя его уже и кончил я, однако взял и читал о садах Армидиных, гуляя между садами Тассовой родины. Под наитием очарований и прельщений жилища этой волшебницы, взошел я на Capo di Monte и сел на свой обычный камень, на котором места для сиденья так ловко истерты, вероятно, от давнего употребления. Прямо подо мною Marina di Sorrento, которую я так люблю, с ее тремя гротами и лестницею на арках, наподобие той, какая пристроена снаружи к помпейскому амфитеатру; далее идет усаженная оранжами долина, берег которой опоясан городской стеною. Далее - вот монастырская церковь; она весь день с растворенными дверьми: иди к Богу без всякого доклада, была бы лишь на то своя воля. Еще далее белеется гостиница "Сирена", а за ней дом Тассов. А это длинное здание, с балконами и окнами на двор - женский монастырь. С улицы он неприступен, как крепость во время войны.

Счастливо было мое посещение Capo di Monte. Небо наградило меня прекраснейшим закатом солнца. Бесчисленные облака, разнообразно испещренные, подобно цветам на лугу, были разбросаны по нежно-голубому небу. Чем ближе к стороне заката, тем ярче и живее пестрели краски; роскошная смесь оранжевого и лилового с блестяще-голубым и серебряным. Радужное небо неутомимо влекло к себе мои жаждущие взоры, которые, однако, напрасно искали чудотворного виновника этого бесподобного зрелища: солнце как бы не желало своим блеском поражать мои взоры, чтобы не нарушить всеобщей гармонии; подобно скромному неизвестному благодетелю, укрывалось оно от меня за высокими горами. О, как прекрасно было тогда небо! О, чудная страна! Как не любить тебя, когда в тебе впервые постиг я всю небесную красоту! Влево от меня закатывалось солнышко, прямо против меня -тихое

море с дымящимся Везувием: красы природы неизменные, с которыми уже я так сроднился. Вправо - равнина Соррентская. Здесь все прекрасно: и небо, и море, и земля! До сих пор еще не насладился я досыта, любуясь на долину Соррентскую; спокойная грация, ласковая красота царствуют на ней; самое море кажется громадным зеркалом, в которое глядятся с низкого берега опушающие его зеленеющие деревья. Суровые, высокие горы виднеются за другими вдалеке, и то для того только, чтобы оградить и защитить собою прекрасную равнину, которая, расстилаясь едва заметным к морю скатом и уютно поднимаясь на пригорки, вся кажется поистине райским садом.

В Сорренто есть прекрасная долина, или, точнее сказать, овраг, вдоль которого прогулка всегда наполняла мое сердце неизъяснимым удовольствием. Разнообразная зелень пышными кистями, как из рога изобилия, виснет по берегам оврага, а там, где оба берега ближе сходятся, за густою листвою совсем не видать дна, вместо которого взор нежно упадет на зеленеющее недра растений. Живописные мостики, там и сям небрежно перекинутые через овраг, роскошно убраны венками, гирляндами и густыми кистями зелени, а там, на самом низу оврага, где он разветвляется, светится огонек в часовне с Мадонною: природа и искусство, кажется, нарочно согласились заодно, общими силами, произвести восхитительный ландшафт".

"Сентября 30-го. - Тот же день, т.е. двадцать седьмого сентября, когда я был в последний раз в Помпее, знаменит в моей жизни и тем, что, идя из Помпеи пешком в Castelamare, я кончил Тасса. Помню, как я читал тогда о примирении Армиды с Ринальдом, место самое трогательное и нежное. Позади меня дымящийся Везувий казался седым от золы, серебрящейся под солнечными лучами; передо мной широкими волнами поднимались высоты за Castelamare; до сих пор не видал я гор, так роскошно осененных свежеею зеленью, как Monte Sant Angelo. Нежно успокаивался взор мой на тучной его зелени, которая, то стемняясь до черных полос в долинах, лежащих в прохладной тени, то блестя ярко-зеленым на их окраинах, освещенных солнцем, казалась бархатною мантиею, накинутой густыми складками. Несмотря на занимательность поэмы, глаза мои, невольно отрываясь от книги, жадно стремились

блуждать по живописным холмам и долинам".

"Неаполь, 4-го октября. - Последним посещением в окрестностях Неаполя вчера был Камальдольский монастырь, стоящий на вершине высокого холма. Я ехал на осле, сперва под навесом виноградных лоз, отягощенных спелыми гроздьями, которые висели как раз над моей головою, а потом через густую каштановую рощу. Приехав, сначала в церкви отстоял службу монахов, певших густыми, протяжными басами, и от всего сердца помолился вместе с братиею на ее вечерней молитве. Из церкви вышел на монастырскую террасу над крутым обрывом скалы. Солнце уже клонилось к западу, разливая далеко вокруг себя ослепительное золото. Вместе с закатывающимся солнышком и я прощался с этою чудною странюю, и с Сорренто, и с Искиею, в которых я провел столько блаженных часов, и с Неаполем, и с Помпеею, где столькому я научился, и с озерами, и с пригорками пуццольскими, по которым я часто гуливал, и с заливом Байским, вдоль которого еще накануне я делал свои археологические наблюдения. Прямо передо мною ряд заливов, островов, озер от Камальдоло до Искии представлял чудное смешение земли и моря; направо - бесконечный берег Италии терялся между морем и землею; далекие маленькие острова казались птичками, мелькающими по пространству, наполненному парами заходящего солнца. Влево панорама заключалась Везувием, вправо - необозримым пространством Италии, с равнинами и горами, берегами и морем; вся даль синела. Проводив с небосклона солнышко, отправился я домой. Вечером при лунном сиянии в последний раз гулял я по Villa Reale и сидел на террасе. Прощай, Неаполь! Через час я тебя оставляю и, может быть, навсегда!"

XIX

В начале октября 1840 г. переселились мы с берегов Неаполитанского залива в Рим, где прожили семь месяцев до конца 1841 г. В течение двух лет это уже третий раз судьба приводит меня в стены Вечного города.

В первый раз, как вам уже известно, мы останавливались в нем только проездом, всего на несколько дней, и успели осмотреть наскоро, в общих чертах, самые крупные из его примечательностей,

так что в моих путевых записках, набросанных тогда впопыхах, я ничего не могу найти такого, что осветило бы и, прояснило мои смутные воспоминания о первых впечатлениях, которые, вероятно, поразили меня тогда необычайною силою. Помнится только, что я просто-напросто был совсем ошеломлен. Но вот что любопытно и странно, что из всей этой головокружительной сумятицы живо и ярко запечатлелся в моей памяти один случай, который я в свои записки не внес. Это было в колоссальных развалинах Каракалловых термов. Граф Строганов со своим семейством и я остановились на широкой поляне, покрытой серым щебнем вперемежку с зеленою травю. То была некогда одна из громадных зал в термах. Направо саженьях в тридцати от нас поднималась далеко вверх громадная стена шириною в крепостной вал. На ее вершине по синему небу при закате солнца вырисовывалась перед нами в черных силуэтах группа нескольких человек. В середине, отделяясь от прочих, стоял один, размахивал руками и указывал им то в ту, то в другую сторону. Это был не кто иной, как Отфрид Миллер, тот самый, книга которого служила мне превосходным руководством по классической археологии, о чем я не раз говорил вам. Отправляясь в Грецию с ученою целью, он остановился на несколько дней в Риме. Граф, осведомясь в германском Археологическом институте, что в известный день и час будет он в Каракалловых термах, повез нас туда же, чтобы показать нам этого знаменитого ученого. Месяцев через пять дошло к нам в Неаполь известие, что Отфрид Миллер скоропостижно скончался в Греции.

Я уже имел случай упомянуть вам, что в мае 1840 г. ездил я из Неаполя в Рим один на две недели, чтобы навсегда с ним проститься. В этот короткий срок я столько исходил по всему Риму и его ближайшим окрестностям, по церквям, дворцам и виллам, по галереям и музеям, по развалинам и всяким другим урочищам, я столько насмотрелся всего и перечувствовал, столькому научился, что иному не поспеть бы за мною и в два месяца. Заранее составил я себе план с обдуманно строгим выбором, что надобно мне в Риме осмотреть и где быть, и не ограничивался беглым обзором, даже по несколько раз побывал там и внимательно изучал то, что особенно меня интересовало и что казалось мне самым важным и необходимым. В голове моей крепко засела всего меня охватившая мысль, что этих сокровищ знания и образования я уже потом

никогда не увижу. Две майские недели слились для меня в один торжественный праздник. Вместе с тем мое ликование растворялось унылым ожиданием разлуки.

Чтобы дать вам наглядное понятие о тогдашнем расположении моего духа, привожу из моих путевых записок две выдержки.

*"Рим, 16-го мая 1840 г.** - Есть на земле счастье! Возвышеннее и блаженнее того, какое я вкушал сегодня, не могу себе и представить! Я опять в Риме... Город городов, столица столиц, город, освященный и историей, и искусствами, и судьбою, и религиею!

* По нашему стилю 4-го мая.

В три часа пополудни, за 15 миль, показался нам на отдаленном горизонте этот чудесный город. Я сидел в передней коляске дилижанса и потому мог наслаждаться вполне необъятною панорамой, которая открылась нам с последнего спуска на огромную равнину, на которой лежит Рим. Вправо в солнечном тумане волновались грациозными линиями горы, оканчиваясь пригорками, за которыми вновь поднимались в туманной дали другие горы; перед нами расстилалось изгибающееся холмами широкое поле; Рима еще не видать было за большим холмом влево; когда же мы обогнули его, вдали на конце горизонта открылась темноватая полоса, которою раскинулся вдали Рим: здания сливались в одну сплошную массу, и только один Св. Петр своим куполом возносился над этой полосой, подобно вещи голове сказочного исполина, лежащей на костях всемирного побоища народов, и высоко рисовался по синему небу; все исчезало в пространстве и сливалось с землею, от которой величаво поднимался купол великого храма храмов.

Так верою возносится человеческая душа над сутолокою житейских забот".

"31-го мая. - Последний день прекрасного мая моей жизни! Как

подумаю, что, может быть, последний раз в жизни пишу в Риме, сердце так и обливается кровью и жметя с невыразимую тоскою! Как велики, как священны для сердца человеческого первый и последний раз! Так всегда сладко первое свидание и так горька разлука! Расстаться с Римом? Легко сказать. Это одно и то же, что навсегда уже отказаться от всего великого и прекрасного в мире и жить только воспоминаниями прошедшего. Как сумасшедший, как страстный любовник, прощался я сегодня с Св. Петром, Сикстинскою капеллою, ложами Рафаэля..." и так далее, в том же выпрешенном стиле восторженных дифирамбов вперемежку с трогательными элегиями.

Когда с Соррентской равнины переехали мы в Рим, нас ожидало вполне уже приготовленное курьером де-Мажисом помещение с мебелью и со всевозможными удобствами в двух этажах дома, который назывался "casa Dies" (Божий храм (ит.)). Он образует собою угол двух улиц, *via Gregoriana* и *via Sistina*, который выходит на небольшую площадь, отлого спускающуюся вниз; ее верхняя часть, где мы жили, называется "Caro-le-case". *Via Gregoriana*, на которую обращен был фасад нашей квартиры, господствует над низменностью лучших кварталов Рима с главной улицею *Corso*; последняя, разделяя их, тянется прямою ли-ниею с севера на юг от ворот городской стены с так называемою Народною площадью (*piazza-dei-Popoli*) и до самого Капитолия. К северу, направо от нас, минуты в две-три дойдешь до площади с церковью *Trinita'-di-Monte* и с великолепною мраморною лестницею, спускающеюся уступами площадок на Испанскую площадь (*piazza-di-Spagna*), а от той церкви тотчас же начинается городское гулянье на *Monte Pincio* по тенистым аллеям и лужайкам, обрамленным изгородью душистых петаспурумов и олив; кое-где высоко поднимаются голенастые пальмы со своими развесистыми, длинными ветвями в виде перьев. К югу, налево от нас, по *via Sistina*, минут через пять будешь у дворца Барберини с площадью того же названия, на которой стоит капуцинский монастырь. А если спуститься по нашей площадке, т.е. к западу, то тут же направо будет вам знаменитая "пропаганда" с институтом всесветных миссионеров, а налево через несколько домов - не помню какой-то улицы - очутишься на небольшой площади, которая вся занята громадным фонтаном Треви со скалами, по которым стремятся потоки, и с мраморными статуями

античных божеств.

Я уже сказал вам, что мы разместились в двух этажах. Я жил в верхнем этаже. В моей комнате вместо окон были две стекольчатые двери, выходявшие каждая на свой балкончик, так что, находясь у себя дома, я всегда мог любоваться бесподобною панорамой западной части Рима".

Вот вам выдержки из моего римского дневника в том же выпретенном стиле, только уже без минорных нот. "*Рим, 13-го ноября. Утро.* - Чем бы ни пожертвовал я прежде, чтобы взглянуть хоть минуту на зрелище, которым теперь я могу ежедневно любоваться с балконов перед моими окнами. Рим широко расстилается по равнине и потом легко поднимается к холмам Ватикана и Яникула, на которых дворцы и виллы, подобно цветкам, там и сям возникают, разноцветные, из густой зелени. О, как прекрасна эта часть города поутру, освещаемая розовыми лучами только что проснувшегося солнышка! А Великий Святой Петр весь, кажется, облит неземным светом вышних сил, ликуя в радостном розовом сиянии, от которого тем ярче выступают по нежному утреннему небосклону его прекрасные формы. Сейчас наслаждался я таким зрелищем; иду на балкон взглянуть еще раз!"

"*19-го ноября.* - Зрелище величественное! С своего балкона сейчас смотрел я, как нисходили первые лучи восходящего солнца на Святого Петра; сначала осветился фонарь, потом, мало-помалу купол и наконец все здание с соседним Ватиканом. За Святым Петром все было сумрачно, тогда как он сам горел розовым сиянием: вот истинный символ церкви! Так нисходит Святой Дух на освященный алтарь, верил я тогда в преизбытке глубокого умиления. Кстати пришлось, что перед таким чудом природы я, как нарочно, во второй песне "Пургатория" читал о лучезарном явлении ангела. Но так высока и исполнена поэзии моя действительность, что сейчас виденное мною предпочитаю сказанному даже самим Дантом..."

В Риме распределялся день наш в том же порядке, как и в Неаполе.

Значительно осложнились и расширились в Риме мои интересы, задачи и ученые занятия. До сих пор я был вполне сосредоточен в

себе самом и не чувствовал ни малейшей потребности в сношениях с людьми; ничего другого я не видел и не хотел видеть, кроме памятников искусства, кроме многовековых развалин, которых значение и характер я так любил разгадывать, - наконец, кроме восхитительной природы, с тех пор, как я почувял бесконечное разнообразие ее красот. С людьми я сносился только мимоходом, с встречными и прохожими, и то лишь для расспросов, куда идти, или как пройти, что там такое, и для чего оно, или как оно называется и т.п. Несмотря на мою врожденную застенчивость и нелюдимость, теперь, когда я очутился в оригинальной обстановке римской жизни, я почувствовал потребность короче сблизиться с местными обывателями, с их нравами и обычаями и со всеми мелочами ежедневного обихода.

Папская столица, мне казалось, жила еще тогда жизнью средних веков, несколько подкрашенной вкусами и манерами времен Ришелье и Людовика XIV. Куда ни пойдешь, повсюду аббаты и разнообразные монахи в своих белых, черных и коричневых рясах, а то кардинал в своем багровом облачении или какой другой вельможный прелат едет в высокой позлащенной карете на красных колесах, с нарядными гайдуками. Такие колымаги можно видеть теперь в московской Оружейной палате или в каком-нибудь историческом музее. Зайдешь куда в лавку, а там уж непременно торчит монах; пойдешь поутру бриться в цирюльню, а там уже сидят аббаты с намыленными щеками и подбородком, подвязанные белыми салфетками. Раз дал я цирюльнику наточить мою бритву с черенком из слоновой кости; вместо этой воротил он мне чужую с черенком из дешевого костяного материала с нацарапанной подписью: "Padre Travaglini". Так и привез я с собою в Москву клерикальную бритву, которою я и пользовался до тех пор, пока с разрешения эмансипации перестал брить бороду. Однажды случилось мне быть на аукционе в книжном магазине Аркини на Корсо. Предварительно у себя на дому внимательно просмотрел я каталог продаваемых с молотка книг и отметил себе более любопытные для меня и редкие. Заблаговременно являюсь к Аркини. Магазин наполняется толпою преимущественно из канонников и аббатов. Начинается аукцион по каталогу. Я слежу номер за номером. Идет под молоток дрянь за дрянью или вещи вовсе мне не нужные, но, как нарочно, все отмеченное мною вместе

с другими редкостями освобождается от аукционной переторжки и выдается в руки то тому, то другому из святых отцов. По окончании аукциона я обратился к хозяину магазина за разъяснением непонятных для меня порядков такой распродажи и получил от него в ответ, что те книги и многие другие были уже куплены теми лицами заранее.

Авторитет католической церкви еще поддерживался тогда всевозможными средствами, и в великом, и в малом, и обаянием торжественных церемоний и крестных ходов, и разными ухищрениями и фокусами для возбуждения сантиментальных ощущений и суеверия. На Корсо, самой многолюдной из римских улиц, у наружной стены великолепного дворца, на тротуаре я видел несколько дней сряду лежащего на соломе изможденного старика, прикрытого дырявым рубищем, в плачевном образе ветхозаветного Иова или евангельского Лазаря. Проходящие мимо останавливались и, сострадательно умиляясь, каждый бросал свою лепту на рубище этого живописного олицетворения нищеты. С другою курьезною сценою на той же Корсо вы можете познакомиться из следующего эпизода моих путевых записок.

"Рим, 15-го января. - Сегодня, идя по Корсо, увидел я узенький, но высокий ящик, как шкаф с отворенными половинками; в нем стоит восковая статуя старика; все платье на нем изувешено разными амулетками. Это был какой-то святой, а женщина торговала какими-то бумажками и шнурочками, приложив их сначала к руке восковой фигуры. При этом она перечитывала заученную речь, в которой объясняется польза этих амулетов, что, нося их и читая такие-то и такие-то молитвы, никто не умрет, не приняв Святых тайн, и в конце присовокупляла, что эта чудодейственная бумажка, ведущая к спасению души, стоит всего один баиок. Какой-то простак-мужичок в синем плаще, убедившись похвалами женщины своему товару, из толпы подал набожный голос и купил амулетку, потом, поцеловав ее, положил в карман. Еще какая-то женщина купила другую для своей маленькой девочки. Отойдя, я думал о продаже папских индульгенций, о веронских галстуках и о новоизобретенных ваксах и мылах, которые расхваливают продавцы по римским улицам".*

* В то время монетная система была в Италии не та, что теперь. В Риме нашему серебряному рублю соответствовал скудо и равнялся полутора рублям; разделялся на десять паолов (paolo), а каждый из них на десять баиоков. В Неаполе вместо скудо ходил пиастр, ценою в наш рубль; в нем было десять карлинов, а в каждой карлине по десяти торнезе.

Католичество я понимал и к нему относился по-своему. Как православный русский человек, я, разумеется, решительно не признавал догмата папской непогрешимости и папского главенства. Это убеждение, вкорененное во мне еще на родине, я укрепил в себе в самой Италии великим для меня авторитетом Данта, который вел ожесточенную борьбу с римскими наместниками Святого Петра и немилосердно посрамлял, громил и казнил их в своей "Божественной Комедии", но при всем том оставался он в моих глазах самым лучшим и преданнейшим из католиков, священную поэму которого даже в Италии когда-то прочитывали в церквях с кафедры, несмотря на то, что ее автор подвергался папскому проклятию и отлучению от церкви. Не углубляясь в разногласия богословских догматов, отделившие западное католичество от нашего православия, за отсутствием русских церквей я усердно молился и в итальянских, ничего не находя в этом предосудительного для своей религиозной совести. Молятся же под открытым небом чумаки, остановясь со своим обозом на широком раздолье степей, или плавающие по морю на корабельной палубе.

Еще в аудиториях Московского университета из лекций Шевырева и Погодина я вынес с собою в Италию высокое понятие о веротерпимости нашего православного народа. Только извергнутые из среды его раскольники и сектанты отличаются от него своим упорным изуверством, к которому склонно и католичество в своих крайностях пропаганды, вооруженной огнем и мечом, иезуитством и инквизициею. Отличным образцом качеств русского народа был для меня в Италии тот же милый и простодушный Пашорин, который оберегал меня в морских волнах, когда мы купались в нашем заливчике у Соррентской равнины. Хотя он брил бороду и носил сюртук, даже умел читать и с грехом пополам писать, но нравом, обычаями и складом ума был как есть русский самородный

крестьянин, среднего роста, плотный и коренастый. Я уже говорил вам, что, живучи на вилле близ Сорренто, я часто заходил в тамошние церкви помолиться. Однажды рано поутру отправился я к обедне в капуцинский монастырь. Народу было немного; кто сидит на скамье, кто стоит на коленях, и, к великому моему удивлению, между коленопреклоненными я сзади признал тучную и сутулую фигуру своего Пашорина. Он отличался от других широкими взмахами правой руки, осеняя себя крестным знаменем, и вместе с тем ежеминутно клал земные поклоны, встряхивая каждый раз голову на крестьянский манер, когда поднимал ее от поклона. По окончании обедни мы пошли вместе домой. На мое одобрение его веротерпимой набожности он отвечал мне, что не видит в этом ничего особенного, а ходит он к обедне в итальянские церкви потому, что здесь нет русских, молиться же Богу везде хорошо: ведь сказано, что "на всяком месте владычество Его". И в Риме, когда рано поутру до кофею иной раз во время прогулки заходил я в ближайšie к нам церкви, иногда заставал то в той, то в другой из них усердно молящегося Пашорина: он всегда стоял на коленях по обычаю итальянцев, но ни разу не видел я его сидящим на церковных скамейках. Особенно изумил меня до умиления один благочестивый его подвиг. В Риме около Латеранской базилики с баптистерием равноапостольного царя Константина, где, по преданию, он принял святое крещение, стоит одна капелла, называемая Святою Лестницею (Santa Scala). В давние времена переведена была в Рим из Иерусалима та мраморная лестница, по которой восходил сам Иисус Христос, когда вели его во дворец к Пилату; именно для нее и была построена та капелла. Со стороны фасада, обращенного к Латеранской базилике, она открыта во всю ее длину и высоту вроде портика под навесом, который упирается на стены здания и на два столпа по обеим сторонам. Все это пространство портика, как сказано, открытое наружу, занято тою лестницею Пилата, так что, поднимаясь по ней, будто идешь в его иерусалимские палаты. Но так как благочестие воспрещало попирать ногами те ступени, которые сам Христос освятил своими следами, то богомольцам дозволяется подниматься по ней не иначе, как на коленках, что составляет немалый подвиг религиозного усердия, потому что в лестнице будет по малой мере ступеней до сорока. Когда достигнешь ее вершины, очутишься на площадке во всю ширину

лестницы перед входом в самую капеллу, которая называется Святая Святых (Sancta Sanctorum), потому что содержит в себе большое количество реликвий и разных святынь. Для тех, кто не может или не хочет вползать сюда на коленках, по обеим сторонам лестницы, отделенным от нее упомянутыми столпами, все ступени снизу доверху облицованы деревом, которое дозволено попирать ногами. Однажды проходя мимо этого здания, к великому моему удивлению, между богомольцами, ползущими вверх по лестнице, вижу своего Пашорина, как он, грузно упираясь руками и карабкаясь с медленной выдержкой, переваливает по ступеням одну коленку за другой. Чтобы встретить его на верхней площадке, я взбежал туда по облицованному краю лестницы. Когда он, наконец, дополз до помоста, на котором я его поджидал, насилу мог он приподняться с коленей и едва держался на ногах; его качало из стороны в сторону, пот градом катился с его лица. Он совсем ошалел, будто ничего не видит и не слышит, а когда заметил меня, ослабил своей ясной, широкой улыбкой и промолвил: "Как хорошо! И вы здесь! Это все равно, что на часок побывать в святом Иерусалиме!" После я узнал от него, что почти каждую неделю он совершал свое пилигримство по Святой Лестнице.

Нечего греха таить, я любил посещать римские церкви, и узнал, и изучил их лучше и подробнее московских, но далеко не из одной набожности, хотя и усердно в них молился, а из ненасытного желания наслаждаться их художественным убранством, разгуливать под их высокими сводами, по их капеллам, или, по-нашему, приделам, по их переходам и галереям, восхищаясь окружающими меня со всех сторон изящными произведениями живописи, мозаики и скульптуры. Тогда храм превращался для меня в музей художественных редкостей, и я в интересах науки обогащал запас своих сведений новыми фактами по истории искусства и древностей. Я любил присутствовать при церковных обрядах и пышных церемониях, и чем больше увлекался их необычайною новизною, тем яснее становилось для меня убеждение, что католичество отличается от нашего православия не столько богословскими догматами, сколько своим потворством человеческим слабостям и прихотям, уловляя в свои сети суеверную паству прелестями изящных искусств в украшении

церквей и разными пустопорожними затеями ухищренных церемоний. Тогда храм становился в моих глазах театральной сценою, а церковнослужители превращались в искусных актеров. Но вот вам еще несколько отрывков из моего римского дневника.

"Рим, 8-го ноября. - Сегодня в монастырской церкви San Silvestro, на улице Conversiti, видел я посвящение графини Руффоли в монахини. Еще до прибытия кардинала были розданы печатные экземпляры сонета, по этому случаю написанного каким-то поэтом. И кардинала Patrici. и посвящаемую встретила торжественная музыка. Затем капуцин сказывал проповедь в подкрепление обету новоизбранной. Особенно мне нравилось начало проповеди, где он говорил об отношении триумфа к жертве, о необъятном величии первого и ничтожности второй. К концу он весьма кстати удерживается от своего слова, дабы не замедлить исполнение сильного желания посвящающейся скорее совершить свой обет. До сих пор капуцин сидел, но потом, воспламеняясь, быстро встал с места и заключил свое слово обращением к маловерному веку, изгоняя тех, кто осудит совершаемое теперь в этом храме. Вся эта речь была обращена к будущей монахине, и потому в капуцине незаметно было того театрального кривлянья, которое иногда смешит в католических проповедниках перед простым народом. Затем начался обряд пострижения. Наперсница приносящей обет плакала, ее глаза были красны от слез; сама же графиня Руффоли и в церковь вошла гордо и твердо, и сидела, не движима никакою страстью, потупив свои большие глаза и накрыв их длинными черными ресницами. Она была бледна и худа: видно, что долгий пост и молитва предшествовали этому дню. Что-то важное и покойное напечатлевалось на ее прекрасном, чисто римском личике, и только по временам ясная улыбка, подобно лучу сквозь облака, освещала ее выразительные черты. Когда кардинал возложил на ее голову корону, блестящую алмазами, в своем белом венчальном убранстве с длинным шлейфом, она была прекрасна! Он вывел ее из церкви: потом уже она появилась за решеткою, позади алтаря. И раздевали, и потом одевали ее в новую одежду на глазах у всех: также за решеткою стояла она и потом, хотя в другом одеянии, но с тою же блистательною короною на голове. Как нечто недостижимое моему зрению, черты ее стройной фигуры мелькали во мраке за решеткою; пели певчие, оркестр играл прекрасно. Вся

эта чудная действительность походила на какую-то драму, с этой оперной музыкой, с превращениями, с этой наперсницей, заменяющей наших дружек на деревенской свадьбе, и т.п. Мне пришла мысль о греческом храме и театре. Да и средние века так и навевали на меня своею набожною мечтательностью сладкие воспоминания".

"29-го ноября. - Сегодня я был за папской обедней в Сикстинской капелле. Окна, задернутые темными занавесками, разливали таинственный полусвет в наполненную народом капеллу. Местами пробивались в окна широкими полосами солнечные лучи, а над ними из полутумана торжественно, подобно вышнему миру, выходили ветхозаветные фигуры Микель-Анджело. Некоторые моменты службы были поистине торжественны: так, когда до двадцати кардиналов с своею свитою становились широким полукругом перед алтарем и "Страшным Судом" того же Микель-Анджело, и когда папа появлялся, окруженный служителями, облаченными в красные одежды, со множеством свечей, я думал видеть сонмы святых душ в "Раю" Данта. Так католическое великолепие церкви восполняли для меня своими художественными образами великий поэт и великий живописец".

"25-го декабря. - О чем же, как не о празднествах и церковных обрядах римских, напишу я сегодня, в день Рождества Христова. Мой день начался Святым Петром. Сам папа служил в нем обедню со всевозможным торжеством и церемониями. Народу набралось бездна; но он был только по сторонам; вся средняя часть храма, окруженная строем гвардии, была пуста. Присутствовали королевы испанская и сардинская. Дамы сидели на приготовленных для них эстрадах, одетые все степенно, покрытые черными вуалями по-итальянски. Была торжественная минута, когда все пали ниц коленопреклоненно, и папа совершал Св. тайны. Духовая музыка какой-то торжественной кантатой оглашала своды величественнейшего в мире храма. Надо видеть подобное празднество, чтобы судить, до какой торжественности может достигнуть религиозный обряд. Глава народа и высший государственный совет, жрецы этого торжества, и духовная, и воинская, и гражданские власти - все преклоняется перед величественным царем-пастырем. Возможно ли знать католицизм,

не отслушав папской обедни в Святом Петре? Папская церемония с десятками кардиналов и монсиньоров, папа в храме Св. Петра - вот что называется католичеством. Художественная, живописная и музыкальная религия! Но действие и сцена переменяются. После обеда ходил я на Капитолий, в церковь Ara Coeli. Вся лестница чуть не во сто ступеней переполнена была простым народом и продавцами священных книжек, листков с молитвами, четок и образков. Вхожу в церковь: налево в капелле из восковых фигур в натуральную величину представлена театральная сцена Рождества Христова - Божия Мать, младенец Христос, Иосиф и коленопреклоненные пастухи в вертепе; над ними группа играющих на инструментах и поющих ангелов в несколько рядов, из-за которых в светлом ореоле является Господь Саваоф. Все освещено свечами. Перед этим "presepio" (ясли (ит.)) на небольшой эстраде стоит девочка, лет десяти, в шляпке и салопе, и, размахивая ручками, читает заученную наизусть рацею толпящемуся у ног ее народу: она говорит и указывает на представляемое в той капелле. Перед ней сказывала рацею другая, после будет еще третья. В этом обряде проповеди младенцев о рождении младенца Христа так много простоты, наивности, даже язычества: вот что называется католицизмом. Мы суровее католиков, они наивнее нас. И суеверие, и причудливость средних веков сохраняются здесь еще не тронутыми. Потом отправился я, как по обещанию, в Maria Maggiore. Кругом стоит множество экипажей. Вся церковь блистательно освещена, по обеим сторонам на каждом столпе по несколько свечей, а уж о трибуне и говорить нечего. Древние мозаики со своим золотым фоном так и горят в блеске огней. Звуки органа, соединяясь с прекрасным пением, оглашают громадную церковь, переполненную народом. Иные стоят смирно, в благоговейном настроении молитвы; другие болтают промеж себя или толкуются из стороны в сторону и заходят в боковые капеллы. Особенно в капелле, где помещен древний образ Богоматери, в тесноте стоят на коленях и молятся. Вместе с тем все исполнено праздничного веселия: церковь похожа на залу московского Благородного собрания, а между тем эти коленопреклоненные так горячо молятся Богу: вот что, наконец, называется католичеством".

"7-го февраля. - Даже сны мои исполнены бывают иногда величия, свойственного тем впечатлениям, которые составляют мою

действительность. Так, нынешнюю ночь я видел страшный сон: мне снилось, будто горит собор Св. Петра. Пламень, как в "Неопалимой купине" Рафаэля, двумя венцами окружил и здание, и купол великого собора. Сердце мое разрывалось. Тогда же будто я шел в русскую церковь, но в ней никого еще не было, только певчие спевались к обедне. Все заняты были пагубным событием Св. Петра. Тут, в преддверии русской церкви, явилась какая-то дама и рассказывала мне про Грецию, откуда только что воротилась, и возбуждала во мне желание посетить это первобытное отечество искусства. Невольно призадумался я над этим сном сегодня поутру, гуляя по Monte Pincio. К чему эти две церкви - одна горит, другая, хотя готова к служению, но пуста? К чему эта Греция? Тут же, между прочим, мечтался мне эпизод вроде Дантовского, как двое встретились на том свете, и в разговоре их странное недоразумение, когда один, только что пришедший из земной жизни, считает прожитые года десятками, другой - уже давным-давно преставившийся - столетиями. Самое вдохновение, о котором я вчера писал, не есть ли нечто вроде подобного сна? Помню, что, сознавая и во сне свое сновидение, и тогда же находя его достойным поэзии, я говорил себе: но ведь это не мое; я не могу всего этого описывать, выдавая за свое; эту подробность из сновидения я помню ясно. Да чье же все это, что снится? Нельзя ли из этих мечтаний сновидения переступить к какому-нибудь верному взгляду на поэтическое одушевление?"

Прошу вас обратить внимание на последнюю выдержку из моего дневника. Что-то тогда смутно копошилось в моей пылкой, безалаберной голове. Долго потом не мог и не умел я разобраться в этой фантастической путанице блуждающих идей и загадочных чаяний, пока, наконец, по возвращении на родину, не привел в ясность тревожившие меня вопросы. Тогда накропал я небольшую статейку и, после многих исправлений и переделок, напечатал ее в мартовской книжке погодинского "Москвитянина" 1842 г. под названием: "Храм Св. Петра в Риме". Это был самый ранний из моих литературных опытов, который из-за юношеской его незрелости и напыщенного слога я не поместил в собрание позднейших этюдов, изданное недавно под заглавием: "Мои Досуги". В названной статейке я говорю, между прочим, и о католичестве вообще, не касаясь, однако, его догматической

стороны, и указываю в нем традиционные, веками накопившиеся подонки язычества и очевидную примесь античных идеалов и художественных форм, а храм Св. Петра приравниваю к Вавилонскому столпотворению, от которого пошло смешение языков и расселение народов по лицу всей земли. Степану Петровичу Шевыреву сравнение это очень не понравилось тогда, но Михаил Петрович Погодин сказал: "Ничего, сойдет". После того, как Рим сделался столицей объединенной Италии и резиденцией королевской власти, мнение Погодина оправдалось: верховное владычество папы ниспровергнуто, монастыри по всей Италии упразднены, монахи и монахини из них повыгнаны и рассеяны, а храм Св. Петра стоит в запустении, и редко-редко когда огласится праздничною церемониею, лишенною прежней торжественности и царственного величия.

Я уже сказал вам, что по приезде в Рим я стал гораздо общительнее и почувствовал потребность в знакомстве и в сближении с людьми. Теперь уже не было при нас моего руководителя и наставника графа Строганова, который направлял мои молодые силы к успехам своими со мною беседами, советами и указаниями. Он уехал в Москву, заведовал своим учебным округом и следил за преподаванием в университете.

Теперь волей-неволей пришлось мне пробавляться своим умом-разумом и искать себе других руководителей и советников. Сверх того, мне хотелось потверже укрепить свою итальянскую речь в беседе с людьми начитанными и образованными и сильнее овладеть разнообразными формами богатого итальянского языка, а для всего этого надобно было мне завести себе знакомство с такими людьми.

Первым и самым главным из них был известный уже вам из моих воспоминаний Франческо Мази, "Scrittore latino della Bibliotheca Vaticana", по-нашему - помощник библиотекаря, заведующий отделом латинских рукописей. Я имел к нему из Мюнхена рекомендательное письмо от Степана Петровича Шевырева, который учился у него говорить по-латыни. Кого же другого мог я выбрать и для себя лучше, как не Франческо Мази, который был учителем моего дорогого наставника и профессора Московского университета. Мази охотно принял мое предложение руководить

меня в практическом изучении итальянского языка на чтении и разборе литературных произведений, преимущественно старинных, из времен Данта, его предшественников и ближайших последователей. Сам Мази интересовался этой эпохой и по ватиканским рукописям издал небольшое собрание канцон, сложенных ранними итальянскими трубадурами. Между прочим, я читал с ним хронику Дино-Компаньи, Дантова современника, и другую, более обширную - Джиованни Виллани. Но особенно было для меня интересно изданное в двух больших томах собрание лирических произведений итальянских поэтов XII и XIII столетий. Тут я впервые познакомился с бесподобными гимнами и одами самого Франциска Ассизского, которого я уже и прежде успел полюбить и высоко чествовать по внушениям Данта в "Божественной Комедии" и по мистическим изображениям на фресках Джиотто.

Мы уговорились заниматься у меня на дому по два раза в неделю по вечерам до девяти часов и оканчивали свой урок по-московски распиванием чая, который моему учителю очень нравился. Мази любил поболтать; он был витиеватый оратор, а также и стихотворец, сочинял на разные случаи сонеты и канцоны. Спустя много лет, когда я с женою провел в Риме зиму 1874-1875 гг., я застал моего дорогого Мази еще в живых; он был ревностным клерикалом, пользовался расположением и милостями папы Пия IX и состоял профессором литературы в Римском университете, который в Риме слывет под названием Sapienza. Но возвращаясь к моим итальянским урокам. Мне остается сказать о них еще несколько слов. Чтение и грамматический разбор старинных памятников итальянской литературы мне особенно был полезен для уразумения и практического усвоения различных форм и оттенков стиля и склада итальянской речи, потому что мой учитель постоянно перелагал мне вышедшие ныне из употребления устарелые обороты на новые, принятые в современном языке. Чтобы утвердить теоретическое знание на практике, я к каждому уроку для навыка писал ему небольшое сочиненьице, обыкновенно в форме письма, чтобы дать простор разговорным формам речи, а иногда делал и переводы с латинского из Тита Ливия и Тацита, которые составляли любимое мое чтение на развалинах древнего

Рима.

Моему милому Франческо Мази обязан я знакомством с одним ученым энтузиастом, который всю свою жизнь посвятил изучению Данта, а его "Божественную Комедию" знал наизусть с первого стиха и до последнего, так что по одному намеку на какую-нибудь самую мелкую в ней подробность он тотчас же мог приводить на память целую цитату в несколько стихов. Это был Вентури, человек лет за сорок, среднего роста, худощавый, смуглый, как большинство итальянцев; черные волосы, немножко посеребренные проседью, всегда растрепаны от привычки ежеминутно всклокачивать их правою рукою, когда он, воодушевляясь своими идеями, наблюдениями и открытиями, бывало, бегаёт из стороны в сторону по своему кабинету, то вдруг замедлит шаги, то остановится, как вкопанный, инстинктивно подчиняя свои движения и жесты течению своей страстной импровизации, то плавной, то порывистой; а я между тем сижу у его рабочего стола, стоящего посреди комнаты, внимательно слушаю и сам воодушевляюсь его пламенной речью. Ученого исследователя, более восторженного предметом своих занятий, я никогда не видывал. Иной раз он казался мне самым искусным актером, насквозь проникнутым своею ролью, когда он так любовно и благоговейно относится к Данту, будто он тут же очутился перед ним и ласково ободряет его, или когда громит сарказмами порицателей и ненавистников божественного поэта, или же когда язвительно издевается над тупоумными его комментаторами.

Из этих бесед с Вентури или, точнее сказать, из моего безмолвного слушанья его красноречивых монологов, пламенных и бурных, я очень многому научился. От него впервые я узнал и ясно понял, как необходимо для полного уразумения "Божественной Комедии" подробно ознакомиться с другими произведениями Данта, состоящими с этой поэмой в неразрывной связи, каковы: "Vita nuova" ("Новая жизнь" (ит.)), прелестная повесть о любви поэта к Беатриче, изложенная прозою вперемежку со стихотворениями; "Convito" ("Пир" (ит.)), ученый трактат схоластического и мистического содержания, как необходимое руководство для истолкователей "Божественной Комедии", и исследование о

народном языке или народной речи (*De vulgari eloquio*), в котором Данте восстанавливает права разговорного языка в литературе новых европейских народов, которые в средние века пробавлялись только латинскою письменностью. В своем долголетнем изгнании из Флоренции, блуждая по многим провинциям Италии, он внимательно прислушивался к различиям в их местных говорах, и в этом трактате приводит любопытные подробности, как даже в одном и том же городе по его кварталам видоизменяется своими особенностями употребляемая обывателями разговорная речь. По этому сочинению Данта я впервые оценил высокое значение провинциализмов для ученых исследований о языке, которые впоследствии сделались главным предметом моих занятий.

По поручению графа Строганова и с письмом от него я должен был явиться к аббату Марки, заведовавшему тогда Кирхерианским музеем, находящимся в Иезуитском коллегиуме. В богатом собрании римских древностей и особенно этрусских этот музей содержит в себе знаменитую коллекцию древнеримских монет, о которых Марки составил очень дельную монографию. Я уже говорил вам, что граф был знаток в нумизматике и теперь воспользовался моим посредничеством, чтобы войти в сношение с отцом Марки. Этот благоприятный случай открыл мне свободный доступ в Кирхерианский музей, и я, под руководством Марки, принялся изучать бронзовые изделия ранних племен, некогда населявших Италию. Этот ученый иезуит, между прочим, много занимался и древнехристианскими памятниками искусства, которыми переполнены подземелья римских катакомб, и от него впервые я узнал о капитальных сочинениях по этому предмету, изданных Бозио и Аринги, со множеством иллюстраций. Чтение этих книг, разумеется, пробудило во мне сильное желание самому посетить те таинственные подземные переходы, маленькие капеллы и обширные залы, которые описаны у Бозио и Аринги, и собственными своими глазами в оригиналах видеть священные изображения, которые они предлагали мне в гравированных копиях, далеко меня не удовлетворявших. Я имел уже некоторое понятие о катакомбах по неаполитанским св. Януария, но в римских еще не бывал. К великому несчастью, желание мое не могло быть исполнено. Вход в римские катакомбы был тогда строжайше воспрещен по повелению папы Григория XVI,

вследствие одной страшной катастрофы, совершившейся незадолго до нашего прибытия в Рим. Несколько семинаристов из какого-то училища со своим надзирателем отправились в праздничный день за городские стены с тем, чтобы посетить одни из катакомб, окружающих Рим; спустились в глубокие подземелья и так там навсегда и остались. Несмотря на поиски, произведенные целою ротою солдат в течение многих дней, не было найдено ни малейшего следа погибших. Может быть, они провалились в какую-нибудь пропасть или из одних катакомб зашли в другие, так как они соединяются между собою переходами, и когда у них догорела последняя из свечей, с которыми они отправились в подземелье, разумеется, они в перепуге разбрелись в разные стороны в кромешной тьме по узеньким коридорам, которые своими извилинами перепутываются между собою, составляя настоящий лабиринт. Так и не суждено было мне посетить тогда подземные святилища древних христиан и усыпальницы великомучеников с их мраморными саркофагами, стоящими в нишах, будто в алтарной апсиде, под сенью сводов, расписанных священными изображениями.

Чтобы хотя несколько ознакомиться с нравами и характером римских горожан и хорошенько натреть в итальянском разговоре с оттенком мягкого римского произношения, я вовремя догадался тотчас же по приезде в Рим добыть себе товарища и спутника в моих прогулках, конечно, по найму, часа на два или на три по два раза в неделю. Такого человека нашел и рекомендовал мне наш всезнающий курьер де-Мажис, в лице достопочтенного аббата дон-Антонио, в тех видах, что особе его звания открыт доступ по всем углам и закоулкам в сокровенные тайники общественной и частной жизни итальянцев по всем ступеням их сословий, начиная от прелатов и высшей аристократии до подонков простонародья. Дон-Антонио был человек не молодой и не старый, среднего роста, полный и тучный, упитанный, большой весельчак, разговорчив донельзя, всегда и со всеми мил и любезен, одет щеголевато в своей черной сутане и в широкополой шляпе на манер Дон-Базилио в "Севильском Цирюльнике"; только говорил он не оглушительным басом, а мягким баритоном с переливами от низких нот к нежным и вкрадчивым настоящего тенора. Мы хорошо сошлись между собою, даже подружились, и где только мы с ним не бывали! Обыкновенно

я сам заходил за ним на его квартиру, которую он нанимал со столом у одной вдовы, семья которой состояла всего из двух ребятешек, девочек лет пяти и шести; она сама готовила кушанье и убирала комнаты. Наши, так сказать, походные, или гулевые, уроки были назначены от часа пополудни до трех или четырех часов. Иногда заставлял я его вместе с его хозяйкою и детьми за обедом. Бывало, приходилось ему во время нашего запоздалого урока отправиться в какую-нибудь церковь служить вечерню, и я шел за ним туда же, помогал ему в сакристии облачаться в ризы, а пока он священнодействовал, я прогуливался недалеко от церкви, поджидая его, когда он кончит свою коротенькую службу. Если где в городе происходила какая-нибудь интересная церемония или народное собрание, Дон-Антонио знал это вперед и вел меня туда. Вот вам, например, маленькая заметка из моего римского дневника, относящаяся к рождественским празднествам.

"Рим, 28-го декабря. - Вместе с Don Antonio был я на presepio в Иезуитском коллегииуме. В присутствии кардинала председательствовали престарелые монахи и священники в прадедовских костюмах, разместившись полукругом на двухсторонних креслах. Ученики читали латинские и греческие стихи, итальянские октавы, сонеты, терцины и т.п."

Только под авторитетною охраною моего милого товарища и руководителя мог я разгуливать привольно и льготно по вечно грязному и зловонному жидовскому кварталу Гетто, по его коридорам, вместо улиц с переулками, в слякоти и в полусвете во всякое время дня, между отворенными настежь дверями в нижних этажах, заменяющих окна: тут и лавки со всяким товаром, и вместе жильё самих торговцев. По стенам этих коридоров, тоже с обеих сторон, на веревках развешено для продажи изношенное платье и разное тряпье, возбуждающее гадливость во всяком, кто привык дышать вольным воздухом. Повсюду толкотня и давка, говор, гам и крики. Из предосторожности, чтобы не окатило нас случайно какою-нибудь дрянью из верхних окон, мы проходили по этим ущельям каждый под своим зонтиком и не рядом, а гуськом, чтобы, направляясь по самой середине коридора, не задевать развешенной по сторонам отвратительной рухляди. Но и здесь Дон-Антонио был свой человек: одного спросит, как идут его дела, и выгодно ли

продал то-то и то-то; у матери спросит, поправляется ли ее ребенок, который недавно сильно захворал; девушке изъявит свое желание, чтобы вышла замуж за того молодца, которого она ему хвалила. И со всеми-то был он мил и любезен, будто забывал, что обращается не к своей католической пастве.

Благодаря популярности и обширному знакомству Дон-Антонио в среде простого народа, я мог составить себе некоторое понятие об интересовавших меня нравах и обычаях трастеверинцев, т.е. стародавних обывателей квартала по ту сторону Тибра. С таким же радушием встречали и приветствовали моего Дон-Антонио из своих окон болтливые трастеверинские Сусанны, Грации и Чечилии, как они, по свидетельству Гоголя, встречали своего любезного фактотума Пеппе. Свою веселую болтовню с ними, приправленную забавным остроумием, он умел уснащать прибаутками и пословицами. Для примера, вот вам две из записанных в моем дневнике: "Tre donne fanno un mercato", т.е. где сойдутся три бабы, там целый базар; "A donna piangente non creder niente" - не верь женщине, когда она плачет.

Круг моего знакомства в Риме особенно расширился посещением мастерских, в которых я внимательно изучал направление, стиль и вообще характер живописи и скульптуры той далекой поры, которая была тогда для меня современностью, и входил в сношения с самими художниками, которые всегда с любезной готовностью объясняли мне свои произведения, указывая в них не одни подробности сюжета, но и основную идею, какую хотели выразить. Особенно была мне интересна беседа с теми из них, которые, по врожденной откровенности, не стеснялись передавать свои замыслы и попытки, свои наклонности и влечения в выборе сюжетов для своих работ и в различных затруднениях, которые надобно преодолевать при их техническом производстве. Впрочем, вспоминать теперь об этих мастерских и художниках я не стану, потому что, сколько нужно, обо всем этом по моему римскому дневнику я давно уже внес в свой этюд "Задачи эстетической критики", перепечатанный в первом томе "Моих Досугов". Если бы вам вздумалось когда-нибудь просмотреть эту статью, то я должен предупредить вас, что фактам, занесенным мною в дневник за полстолетие назад, я дал теперь новое освещение, согласно

историческому развитию и громадным успехам, которые были совершены в искусствах и эстетической критике.

Впрочем, мне хочется рассказать вам кое-что о художниках русских, работавших тогда в Риме, и сообщить вам кое-какие подробности о моих довольно близких, приятельских отношениях к некоторым из них. Особенно сблизился я с живописцем Скотти, со скульпторами Логановским и Пименовым и с гравером Иорданом.

Скотти и Логановский жили вместе в уютной квартире о пяти или шести комнатах: две из них назначались для мастерских, в двух были спальни и одна приемная. Оба они были еще совсем молодые люди, недавно оставившие свою академию и родину. И в нравах и обычаях, и в пылких стремлениях, и в юношеских мечтаниях, решительно во всем походили они на моих товарищей, с которыми я прожил четыре года в студенческом общежитии Московского университета. Оба они еще не успели свыкнуться тогда с чуждою им обстановкою и так любовно воспоминали о покинутых ими друзьях и родственных связях там, далеко, что я сам, невольно подчиняясь их патриотическим чувствам, освобождался от своих итальянских увлечений и забывал, что я в Риме, когда, беседуя с ними, будто в Москве в "Железном" трактире Печкина, курил из длинного-предлинного чубука знаменитый Жуков табак, которым они с гордостью меня угощали как драгоценной редкостью. Хотя я променял уже тогда трубку на сигару, но мне так приятно было вместе с ними чувствовать себя в дымной атмосфере студенческой комнаты московского трактира.

Пименов был почти одних лет с этими обоими художниками, но, кажется, немножко постарше их курсом академического учения, раньше их прибыл в Рим и совсем уже освоился, прижился в нем. Он был очень красив собою, высокого роста, стройный и живой, всегда весел и любезен; умел пользоваться ласками и милостями римских красавиц; товарищи любили его и отдавали справедливость его дарованиям. Мастерскую имел не при квартире, а в особом помещении недалеко от нее. Он тогда работал статую по заказу для его высочества цесаревича Александра Николаевича, посетившего Рим в 1838 г. Я часто заходил в мастерскую Пименова и с большим любопытством внимательно наблюдал и следил за приемами технического производства, когда он лепил и формовал

из глины с натурщика свою модель, с которой потом будет высечена из мрамора настоящая статуя и окончательно во всех подробностях отделана резцом. В изваянии представлялся мальчик лет семи или восьми, обнаженный, одну руку протянул вперед, прося милостыни. "Я думаю, - говорил мне Пименов, - будет уместна такая статуйка во дворце наследника всероссийского престола, напоминая ему о нищете и сострадании". Натурщиком был прехорошенький мальчик, бойкий и шаловливый, но замечательно грациозный, и, когда надобно стоять смирно, не шелохнувшись, позировал на своем пьедестале терпеливо и сдержанно. Пименов очень его любил, баловал всякими сладостями и заботился, чтобы он как-нибудь не простудился, когда во время лепной работы приходилось ему быть обнаженным. Для того сырая и холодная мастерская в течение всего сеанса постоянно протапливалась, а как только Пименов переставал лепить, хотя бы минут на пять, тотчас же отпускал мальчугана пробегаться вдоль и поперек по всей мастерской, а иной раз и сам бросится за ним вдогонку, схватит его на руки и потащит к пьедесталу. Впрочем, не всегда оглашалась мастерская веселою болтовнёю и хохотом; бывало раздавался в ней плач и хныканье бедного ребенка, когда скульптор должен был во что бы то ни стало уловить на его умненьком лбу, в больших выразительных глазках и во всем облике такое выражение, какое ему требовалось для умильной и слезливой мины маленького горемыки. Представьте себе, что же он тогда делал? Он напускал на себя азарт, ни с того ни с сего кричал на ребенка, топал ногами, щипал его и давал слегка подзатыльники, - и все это для того, чтобы вызвать требуемое для своей статуи вполне реальное, безошибочное выражение. Самому мне ни разу не пришлось видеть эту артистическую экзекуцию. Сообщаю вам о ней по рассказам самого Пименова.

Гравер Иордан жил от нас так близко, что нельзя больше. Прошу припомнить, что наш дом, *casa Dies*, составлял угол двух улиц, *via Gregoriana* и *via Sistina*, и выходил на отлогий спуск площадки, называемой *Caro-le-Case*, а в угольном доме на Систине в бельэтаже нанимал квартиру Иордан. По малосложной и негромоздкой обстановке граверного мастерства Иордан не нуждался в отдельной от своего жилья мастерской и работал в самой большой из занимаемых им комнат, которая обращена была

к юго-западу на ту же площадку Capo-le-Case. Это был человек уже средних лет, приветливый, милый и очень образованный. Его могли хорошо знать и оценить по достоинству посещавшие петербургский Эрмитаж, где он десятки лет заведовал отделением гравюр. Из русских художников, живших тогда в Риме, он был первый, с которым я успел познакомиться и, благодаря его любезности, снискал его полное к себе расположение. По соседству я часто, проходя мимо, забегал к нему. Он не стеснялся моим присутствием, когда я заставал его за работою, и, продолжая чертить штрихи по своей медной доске, высказывал мне, будто думая вслух, разные интересные для меня подробности о микроскопических мелочах гравированья. Тогда он только что еще начал свою знаменитую гравюру с Рафаэлева "Преображения" по бесподобной копии, сделанной им самим в величину гравюры. Несколько головок было уже готово, но остальное в фигурах было только означено очерками резца. Один угол рабочей комнаты был завален ворохом бумажек разной величины. Это были десятки пробных оттисков каждого местечка гравюры по мере того, как Иордан мало-помалу его обрабатывал и доводил до надлежащего совершенства. Куда девались эти драгоценные для гравировальной техники документы? Для Иордана это был хлам, и если бы тогда я догадался попросить, он дал бы мне из него сколько угодно.

Разные случайности, - все равно, крупные или мелкие, - на которые натолкнется человек в ранней молодости, иногда могут оказать решающее действие на всю его жизнь, направляя его интересы, склонности и даже пристрастия в ту или другую сторону. Так было и со мной вследствие моего знакомства и сближения с Иорданом. Полюбив гравера, я полюбил и гравюры, оценил художественное их достоинство и важное значение в истории искусства, и так к ним пристрастился, что потом, в течение всей моей жизни, собирал их где ни попало, и составил себе довольно порядочную коллекцию, большею частью по самым дешевым ценам, потому что лет за двадцать назад, а за сорок и подавно, можно было приобретать их очень дешево и в России, и за границую, особенно, если знаешь, где и как добывать их.

В Риме на первый раз я был тогда заинтересован гравюрою не самой по себе, а по ее непосредственному хронологическому

отношению к работам знаменитых живописцев. Рафаэль и его ученики изготовляли в черновых очерках многие рисунки, которые дошли до нас только в гравюрах, скопированных с них великим мастером Марк-Антонием Раймонди, современником этих живописцев. Сокровища эти были мне тогда не по карману, но я мог видеть их, рассматривать сколько угодно, и внимательно изучать в антикварной лавке одного услужливого и любезного старичка, с которым познакомил меня Иордан.

Кроме названных русских художников я, разумеется, посещал мастерские Иванова и Бруни, работавших тогда в Риме; но ни о том, ни о другом не имею теперь ничего прибавить к тем сведениям, которые уже приведены мною в указанной выше статье, перепечатанной в "Моих Досугах".

К великой моей радости, приехал в Рим мой университетский товарищ Василий Иванович Панов, и тотчас же отыскал меня. Так и хлынуло на меня родною атмосферою наших аудиторий, где мы оба воодушевлялись лекциями Шевырева, Погодина и Крюкова. Он говорил мне о Москве, о наших товарищах и друзьях, а я - о чудесах Рима, предлагая ему свои услуги быть его проводником по римским галереям, музеям, церквам, дворцам, виллам и развалинам. На первый раз он поместился в гостинице, но вскоре нанял себе очень поместительную квартиру близехонько от нас на *via Sistina*, в той ее половине, которая спускается от *Caro-le-Case* к площади Барберини. на левой стороне, если идти от нас. Вы не осудите меня за эти топографические подробности, когда узнаете, что дом, где занимал квартиру мой милый Панов, должен быть памятен и дорог сердцу всякого русского человека, который любит и высоко ценит свое отечество.

Однажды утром в праздничный день сговорились мы с Пановым идти за город и именно, хорошо помню и теперь, в виллу *Albani*, которую особенно часто посещал я. Положено было сойтись нам в *cafe Greco*, куда в эту пору дня обыкновенно собирались русские художники. Когда явился я в кофейню, человек пять-шесть из них сидели вокруг стола, приставленного к двум деревянным скамьям, которые соединяются между собою там, где стены образуют угол комнаты. Это было налево от входа. Собеседники болтали и шумели: это был народ веселый и беззаботный. Только в том углу

сидел, сгорбившись над книгою, какой-то неизвестный мне господин, и в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он так погружен был в чтение, что ни разу ни с кем не перемолвился ни единым словом, ни на кого не обратил хоть минутного взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы с Пановым вышли из кофейни, он спросил меня: "Ну, видел? познакомился с ним? говорил?" Я отвечал отрицательно. Оказалось, что я целых полчаса просидел за столом с самим Гоголем. Он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время был он заинтересован. Замечу мимоходом, что по этому случаю узнал я в первый раз имя великого английского романиста: так и осталось оно для меня навсегда в соединении с наклоненною над книгой фигурою в полусвете темного угла.

Когда Панов устроился в своей квартире, Гоголь поселился у него и прожил вместе с ним всю зиму 1840-1841 гг. На все это время Панов, забывая, что живет в Риме, вполне предался неустанным попечениям о своем дорогом госте, был для него и радушным, щедрым хозяином, и заботливою нянькою, когда ему нездоровилось, и домашним секретарем, когда нужно было что переписать, даже услужливым приспешником на всякую мелкую потребу.

В жизни великого писателя всякая подробность может иметь важное значение, особенно если она касается литературы. Гоголь желал познакомиться с лирическими произведениями Франциска Ассизского, и я через Панова доставил их ему в том издании старинных итальянских поэтов, которое, уже вы знаете, рекомендовал мне мой наставник Франческо Мази.

Как-то случилось, что в течение двух или трех недель ни разу не привелось нам с Пановым видеться: ко мне он перестал заходить, я нигде его не встречал, спрашивал о нем у наших общих знакомых, но и от них о нем ни слуху ни духу, - совсем запропастился. Наконец, является ко мне, но такой странный и необычный, каким я его никогда не видывал, умиленный и просветленный, будто какая благодать снизошла на него с неба; я спрашиваю его: "Что с тобой? Куда ты девался?" - "Все это время, - отвечал он, - был я занят великим делом, таким, что ты и представить себе не можешь; продолжаю его и теперь". И говорит он это так сдержанно,

таинственно, чуть не шепотом, чтобы кто не похитил у него сокровище, которое переполняет его душу светлой радостью. Будучи погружен в свои римские интересы, я подумал, что где-нибудь в развалинах откопан новый Лаокоон или новый Аполлон Бельведерский, и что теперь пришел Панов сообщить мне об этой великой радости. "Нет, совсем не то, - отвечал он; - дело это наше родное, русское. Гоголь написал великое произведение, лучше всех Лаокоонов и Аполлонов; называется оно: "Мертвые Души", а я его теперь переписываю набело". Тут в первый раз услышал я загадочное название книги, которая стала потом драгоценным достоянием нашей литературы, и сначала вообразил себе, что это какой-нибудь фантастический роман или повесть вроде "Вия"; но Панов разуверил меня, однако не мог ничего сообщить мне о содержании нового произведения, потому что Гоголь желал сохранять это дело в тайне.

В конце прошлого столетия, во время своего пребывания в Риме, Гёте жил на Корсо в одном из домов, на стене которого теперь красуется надпись на мраморной доске, извещающая всех и каждого, что здесь жил тогда-то великий поэт Гёте. Зимой 1874-1875 г. я провел вместе с женою в Риме, и мы напрасно отыскивали тот дом, в котором наш Гоголь изготовлял свои "Мертвые Души" для печати. Тогда я обратился к скульптору Антокольскому, и он обещал навести точные справки об этом доме с тем, чтобы на стене его поместить такую же мраморную доску с надлежащею надписью. Не знаю, исполнил ли он свое намерение. Если кому из вас угодно будет осведомиться о местожительстве Гоголя в Риме зимою 1840-1841 г., я должен предупредить вас, что нижняя половина улицы Систины называлась тогда *via Felice*.

Немногие друзья, товарищи и знакомые, которыми я окружил себя в Риме, как вы сами видите, не могли отвлекать меня от моих любимых занятий. Одни из них были моими наставниками, руководителями; в беседах с другими я освежал свои досуги новыми для меня интересами или просто рассеивался немножко и отдыхал от своих работ и ученых экскурсий.

Тогда я пополнял и приводил в систему отрывочные сведения, которые мало-помалу набирал я по разным городам и местностям Италии, каждый раз справляясь с руководствами Отфрида Миллера

и Куглера, так что теперь в Риме я дошел до того, что оба эти учебника я знал так твердо, как прилежный ученик гимназии свою школьную латинскую грамматику перед экзаменом. Этот общий обзор пройденного мною пути как раз соответствовал тогдашнему расположению моего духа. Маститый Рим, слагавшийся мало-помалу, в течение многих тысячелетий, раскрывал теперь на моих глазах всю историю европейской цивилизации, которая осязательно, воочию предстала передо мною в этих бурых и поседелых, обросших травой и кустарником, развалинах древнеримского могущества и величия, в этих стародавних храмах, относящихся к ранним векам христианской церкви, восторжествовавшей, наконец, над язычеством, во всех этих разнообразных зданиях и сооружениях, которые из века в век строились и перестраивались, представляя своеобразную смесь стилей и вкусов, в этих великолепных дворцах и храмах, построенных Микель-Анджело, Брамантом, даже самим Рафаэлем. Чтобы разобрать по строкам и уразуметь эту раскрытую передо мною книгу исторических судеб, я должен был непременно изучать историю города Рима. В настоящее время это не представляет никаких затруднений, благодаря множеству разных пособий и руководств; но тогда иное дело, и я бы не умел и не знал, как удовлетворить своим желаниям и намерениям, если бы граф Сергей Григорьевич перед своим отъездом не указал и не оставил мне для пользования свой экземпляр самого лучшего в то время описания города Рима, которое было составлено на немецком языке Эрнстом Платнером и Людвигом Ульрихсом.

Сочинение это я читал и изучал у себя на дому, а для прогулок по развалинам брал с собою, смотря по расположению духа, то Тита Ливия или Тацита, то Горация. Я вовсе не имел намерения по этим писателям осматривать и изучать то, что я видел перед глазами: мне хотелось только своим неясным, блуждающим мечтаниям давать определенные образы и воссоздавать из безмолвных развалин давно прошедшую жизнь, которую оглашали мне эти свидетели и очевидцы в своих классических произведениях. Бывало, присяду на камне у входа в так называемый "Золотой" дворец Нерона, перед громадою Колизея, и читаю Тацита, а то заберусь в трущобы по ту сторону Форума и Палатинской горы, и, воображая себя при самых началах римской истории, читаю у

Ливия, как волчица кормила своими сосцами Ромула и Рема, и как Нума Помпилий поучался премудрости от нимфы Эгерии, - и проходят тогда в моих мечтаниях вереницею Тулл Гостилий, Тарквиний Гордый и другие баснословные цари, в которых, еще по лекциям Крюкова, я прозревал длинные периоды доисторических времен. Я и тогда уже любил сказочные потемки народных преданий, на разработку которых впоследствии, будучи профессором, я положил немало труда.

Кто из вас познакомился с римским Форумом, Палатинскою горою и с другими урочищами развалин в теперешнем их состоянии, тот не может иметь ни малейшего понятия об оригинальной, бесподобной живописности всех этих мест. Останки древнеримских зданий и сооружений, некогда погребенные на несколько сажен в щебне и наносной земле, теперь разрыты, и оголенные торчат, будто изувеченные огнем и мечом разрозненные члены зданий на пожарище. Вот вам, например, выдержка из моего римского дневника о Палатинской горе, которая тогда была покрыта виллою богатого англичанина Мильса, а теперь представляет груды обнаженных развалин в карикатуре на неаполитанскую Помпею.

"Рим, 20-го ноября. - Был я в Палатинской вилле, устроенной на развалинах императорских дворцов, теперь засыпанных щебнем и покрытых землею, которая накоплялась на нем от праха и пыли в течение многих столетий. На этой земле теперь разведен сад. Из него бесподобный вид на Форум, на развалины и на весь Рим новый с Св. Петром - вправо, и на римскую Кампанью и горы - влево. Кажется, как бы нарочно, и история и природа, и останки прошедшего и жизнь настоящего соединяются при зрелище с развалин дворцов, где обитали всемирные владыки. Вдоль террасы, спускающейся отвесно к уровню долины между Форумом и термами Каракаллы, возвышается ряд надгробных кипарисов. Искусно убранные группы цветов и деревьев, со своими симметрически извивающимися дорожками, беседками из плюща и с фонтанами становятся еще привлекательнее и интереснее, когда посреди этой цветущей жизни новой повсюду встречаешь следы вековой древности. Там целая долина, примыкающая к саду, ограждена исполинскими стенами, там густо сплетенные между

собою мирты окружают люк, через который проходит свет в те великолепные палаты римских императоров, будто в какое подземелье, в виде катакомб. Сквозь это отверстие я любовался прекрасными формами то круглых сводов, то многоугольных ниш, где было когда-то обиталище царственного величия и пышности, а теперь все это кажется безмолвными могилами, которые были ограблены и искажены неумолимым временем и человеческой алчностью, а природа украсила это подземелье плющом, который роскошными кистями, как из рога изобилия, из верхнего отверстия спускается густыми массами на дно покоев, а подстриженный кустарник, кругом люка, получал вид короны, которою увенчала его заботливая рука человека.

Мильс, владелец этого чудного поместья, гулявший тогда по саду с дамами, позволил мне войти во внутренность его виллы. Она построена на сводах и арках древнеримского сооружения. Балкон императорского дворца колоннами и сводами - во всей своей форме и с выемками потолка между колоннами и стеною - сполна античный. Он теперь весь заключен в кабинете или павильоне самого Мильса. Вот идеал кабинета; лучшего не желал бы я, если бы обладал средствами иметь самое лучшее. Этот Августов балкон, древний портик на гранитных колоннах украшен самим Рафаэлем! Любопытны сочетания искусства древнего и нового гения с веками. Только во фресках на древних портиках, как здесь, поймешь всю родственность классического древнего искусства с Рафаэлем. Мог ли он не подчиниться древности, расписывая древний портик?"

Еще задолго до того, как цветущие и благоуханные сады англичанина Мильса, с его оригинальною виллою, были превращены в безобразное пожарище Палатинских дворцов, названные фрески, по неисповедимым судьбам житейских превратностей, очутились теперь у нас в Петербурге, даже и с той штукатуркой, на которой были писаны когда-то Рафаэлем и его учениками по заказу кардинала Бибиэны, и вы можете сколько угодно любоваться представленными на них обнаженными фигурами Венеры, разных нимф и других эротических прелестей в одной из зал петербургского Эрмитажа и составлять себе самое наглядное понятие о вкусе и о наклонностях безбрачных священнослужителей и высших сановников римской церкви. Не

знаю, сам ли Мильс обанкротился, или кто из его наследников, только эти фрески были сняты со стен и как предмет высокой ценности отданы под залог в Римский государственный банк. Некто Кампани, кажется, директор этого банка, купил их на казенном аукционе по дешевой цене, и потом выгодно продал к нам в Эрмитаж вместе с разными античными статуями. Когда я приехал в Рим в 1874 г., вместо садов Мильса застал уже оголенные развалины, а стена, к которой прилажен был его кабинет, высоко торчала будто остаток от трехэтажного дома, и вдоль верхнего яруса этого торчка ясно обозначались те места, откуда были сняты те драгоценные фрески. Грустно было смотреть на эту жалкую стену, и казалась она мне монументальным термометром, по которому я измерял течение времени в его вековых переворотах, которые, мне тогда чаялось, зацепили несколько мгновений и из моей жизни, когда я, лет тридцать тому назад, войдя прямо из сада в кабинет Мильса, остановился в уровень с этим верхним ярусом стены и восхищался бесподобными фресками, ее украшавшими.

Главным чтением моим в Риме был Винкельман. Где же было лучше всего изучать его историю классического искусства, как не в Риме, который переполнен сокровищами античной скульптуры, и в музеях, в Ватиканском и Капитолийском, и в виллах Боргезе, Альбани, Памфили-Дория, Людовизи, и во дворцах Фарнезе Колонна и, наконец, по улицам и площадям? Сам Винкельман жил у кардинала Альбани в его вилле, когда изготавлял и обрабатывал свои драгоценные исследования. Его книгу и прежде я изучал внимательно, как систематическое обозрение истории искусства; теперь эта книга в ее мельчайших подробностях стала для меня необходимым, почти ежедневным указателем, по руководству которого я направлял свои римские похождения, изыскания и наблюдения, чтобы немедленно осмотреть своими собственными глазами в означенной местности то художественное произведение, о котором я только что прочел у Винкельмана. Так, например, для сравнения античного стиля с новейшим, он указывает на статую одного из позднейших скульпторов, именно Бернини, который, между прочим, в манерном стиле барокко украсил мраморными ангелами мост через Тибр, ведущий к крепости св. Ангела, и по указанию Винкельмана я иду взглянуть на ту статую и повторить на себе впечатление, произведенное ею на великого ученого,

который обладал таким тонким вкусом. Вот вам выдержка из моего римского дневника.

"Рим, 16-го декабря. - Сегодня был я в церкви святой Бибианы. Когда я шел туда, погода была пасмурна; мрачное небо наводило задумчивость и на мою душу. Далекое, в уединении, окруженная пустырями, стоит эта церковь. Внутренность ее тесна и бедна, но дух веры и искусства тоже обитает и в ней. В углу, при входе в церковь, стоит столб из красного мрамора, глубоко изборожденный цепями. Когда-то, привязав к нему, замучили св. Бибиану. Ваза из восточного алебаstra под алтарем сохраняет останки святой, а вот над алтарем у стены и ее прекрасный лик, лучшее произведение Бернини. Обаятельны тайны религии, когда они под покрывалом искусства. Смотри на красноречивый мрамор, не веришь холодной гробнице и в утешение думаешь, что душа святой переселилась в эти прекрасные черты. Но вместе с тем самые памятники мучения и смерти, горестно настраивая душу, и самому произведению искусства дают характер меланхолический. Черты лица Бибианы выражают умиление, то состояние духа, которое наполняет душу и глубокою тоскою, и восторгом; к плачу настроенное выражение освещает все лицо полуулыбкою, мелькающею на устах. Одна нога ее, поставленная выше другой, сгибается, выдавая вперед коленку, как ангелы того же Бернини на мосту St.-Angelo; то же барокко, но не столько резкое, как у последних. Нежненькая ручка ее, придерживающая платье, имеет излишнюю гибкость, так что пальчики и ладонь, от малого прикосновения к ткани, как перышко, гнутся назад. Я бы и это назвал барокко, хотя весьма позволительное здесь, даже не излишнее. Черты лица Бибианы имеют много индивидуального, портретного: оттого с первого мгновения лицо ее не понравится; надо взглянуться в него, чтобы полюбить его. Кончик носика слишком заострен и выдается вперед, нарушая гармонию греческого профиля. Это изящное произведение при мощах святой и около позорного столба, при котором ее истязали, произвело на меня впечатление самое гармоническое, самое полное, вместе и трогательное, заунывное, но и сладостное, успокоительное. Сумрачное небо согласовалось с окружавшей меня печальной обстановкой и с расположением моего духа". Поводом к этой прогулке было замечание Винкельмана, стр. 180.

Мне было отрадно и лестно направлять свои прогулки по следам самого Винкельмана, будто в его сообществе, и воодушевлять себя его собственными впечатлениями, переживать в себе самом его ощущения и мысли, его увлечения и восторги. Такие затейливые опыты эстетического образования расширяли мои задачи и цели далеко за пределы одних лишь научных интересов. Я не довольствовался только изучением стиля, типических подробностей и основной идеи художественного произведения: оно должно было меня воодушевлять, улучшать и облагораживать, воспитывая во мне высокие помыслы, очищая мой нрав от всего низкого и пошлого, от всего, что оскорбляет человеческое достоинство. Может быть, тогдашнее настроение моего духа даст вам новую черту для характеристики так называемых людей сороковых годов, вроде Райского у Гончарова и Рудина у Тургенева".

В тех же видах самовоспитания и совершенствования, я любил отдыхать и освежать свою голову от ученых занятий в Сикстинской капелле и Ватиканских Стансах вовсе не с тем, чтобы изучать знаменитые фрески Микель-Анджело и Рафаэля, которые я уже знал во всех подробностях, а для того, как это казалось мне тогда возможным, чтобы войти в интимные, симпатические отношения с обоими великими художниками, чтобы проникнуться насквозь их гениальными помыслами, заглянуть в самое святилище их вдохновения, когда они творили эти восхитительные образы, которые теперь меня окружили со всех сторон и повсюду на меня смотрят. Чтобы понять такое расположение моего духа, прошу вас припомнить, что в мое далекое время еще верили в наитие свыше и чаяли себе таинственных откровений. Если мне мечтался Винкельман спутником и руководителем в моих археологических прогулках по Риму, то почему же не могли бы быть моими собеседниками и наставниками Микель-Анджело и Рафаэль, когда я приходил к ним в гости в Сикстинскую капеллу и в Ватиканские Стансы? Теперь все это кажется смешным, даже глупым, но тогда было оно как следует.

XX

В начале апреля 1841 г. мы оставили Рим и отправились в Москву

через Вену, Варшаву, Брест и Смоленск. Мы спешили, и потому, чтобы не терять времени, позволяли себе делать только самые короткие остановки, дня на два, много на три, а то и на один день, даже в таких городах Италии, как Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция, - так что еще в последних числах того же апреля мы были уже на границе России. Смутно помню этот возвратный путь по Италии, будто тяжелый сон с мгновенными проблесками радости, как это бывает, когда только что встретишь любимого человека и тотчас же с ним прощаешься на вечную разлуку: вместе и радостно, и горько. Должно быть, глубоко и сильно от того времени залегло в мою душу тревожное ощущение неудовлетворенной жажды того счастья, которым я не успел и не мог вполне насладиться. И долго потом в течение многих лет, даже когда я был уже профессором, мне иной раз снилось, будто я тотчас же навсегда уезжаю из Рима или Флоренции, а мне еще остается так много видеть, чего я не видал, что мне надобно проститься с тем, что я так горячо люблю, и будто какая враждебная власть насильно вырывает меня из объятий дорогого друга: мне томительно и грустно, и я с радостью просыпаюсь от мучительного кошмара.

Когда, наконец, перестали раздаваться в моих ушах бойкие и звучные голоса резвой итальянской речи, на меня напало уныние и какое-то отупение, и это удрученное состояние духа не покидало меня в продолжение всего возвратного пути. Даже Вена не могла пробудить во мне ни малейшего интереса; впрочем, мы и пробыли в ней так недолго, что я не успел и оглянуться, как попали мы в Краков. В нем, хорошо помню, пробыли мы целый день, потому что я долго ходил по книжным магазинам, отыскивая себе собрание стихотворений Мицкевича. Благо Краков - город вольный: где же, как не здесь, добыть мне эту запрещенную диковинку? В какой магазин ни зайду, на мой вопрос отвечают нехотя, озираются как-то опасливо и грубо отнекиваются: таких, дескать, книг у них нет, не было и никогда не будет. Надобно думать, что меня сочли за соглядатая, и я, конечно, не стал бы себя позорить своими напрасными поисками, если бы знал вперед, что благосостояние вольного города Кракова надежно охраняется под тройною опекою Австрии, России и Турции.

Как раз на русской границе было получено от графа Сергия

Григорьевича уведомление, что мы должны прибыть в Москву не ранее половины июня, потому что до тех пор предполагаются в Москве празднования и торжества по случаю прибытия в нее царской фамилии с многочисленною свитою придворных особ и других высокопоставленных фамилий, а для приема петербургских гостей, которые непременно будут делать визиты графине, только что нанятый дом не может быть не приготовлен как следует. Таким образом, нам суждено было целых полтора месяца тащиться на долгих по длинному-предлинному пути, донельзя однообразному и безотрадному, с привалами для отдыха в грязных и дрянных городишках, а в больших городах, как Радом, Варшава, Минск, Смоленск, даже Вязьма, мы останавливались на несколько дней, скучая и досадуя, что даром теряем время, которое с такою пользою и удовольствием могли бы мы провести в городах Италии, промелькнувших для нас с обидною быстротою.

Впрочем, сквозь смутные потемки, охватившие меня на этом долгом пути, выступают в моей памяти несколько подробностей, которые и теперь живо рисуются передо мною, как скудные оазисы на песчаной степи.

В Радоме, где мы пробыли около недели, я почему-то понравился тамошнему губернатору Бехтееву, о котором и теперь вспоминаю с благодарностью за его ласковую готовность коротать мое время довольно приятными развлечениями, которые доступны в таком захолустье, как Радом. Между прочим, зная мою любовь к искусствам, он повез меня с собою недалеко за город к одному престарелому поляку, у которого в его деревянном доме была хорошая галерея с произведениями итальянских и фламандских живописцев, а также и небольшое собрание античных статуй, бюстов и барельефов. Радушный хозяин угостил нас за завтраком столетним рейнвейном, а потом показывал и объяснял свои редкости, которые достались ему по наследству и частью дополнены им самим. Где теперь все эти драгоценности? Что с ними случилось?

В Варшаве мы прожили целых две недели. Из них осталось в моей памяти всего два часа, которые я провел у Линде, знаменитого ученого, составившего громадный словарь польского языка. Этот ласковый старичок благосклонно обошелся со мною и, желая быть

мне полезным, ознакомил меня с методом и приемами его многосложной работы над приведением в систему громадного материала, входящего в состав словаря. Тогда он готовил новое издание своего польского лексикона. Разрозненные заметки с исправлениями и дополнениями на отдельных осьмушках листа он приводил в порядок, размещая их по содержанию в перегородки ящичков. Впоследствии я с благодарностью вспоминал о варшавском Линде, когда в пятидесятых годах, следуя его примеру, собирал разнокалиберный материал для своей большой грамматики, изданной в двух частях.

Странное дело - и до сих пор Лермонтов соединяется в моих мыслях с Вязьмою, где мы пробыли дня три. Этот поэт прославился именно в те два года, когда мы жили далеко от своего отечества. Хотя мы получали "Северную Пчелу", но я ее не читал, и потому был в полном неведении о том, что делалось на Руси. В вяземской гостинице, где мы остановились, я нашел номер пушкинского "Современника", издаваемого тогда Плетневым, и именно в этом самом номере из критической статьи, кажется, профессора Никитенка. я впервые узнал о существовании Лермонтова и о высоких качествах его поэтических дарований. При этом - живо помню -особенно заинтересовало меня в той статье кокетливое сравнение поэзии с барышней, а критики - с ее модисткой, которая примеривает и улаживает ее наряд, урезывая ткань, где следует, пришивая или отпарывая, где нужно, то бантик, то ленточку. В этом сравнении отвлеченные понятия поэзии и критики олицетворялись для меня в реальных фигурах Лермонтова и Никитенка, которых я рисовал себе по-своему, не зная в лицо ни того, ни другого. С тех пор этой книжки "Современника" ни разу не случилось мне видеть, и я теперь в недоумении, не во сне ли мне привиделась барышня, поэзия, с ее модисткою, критикою; но я сообщаю вам свои воспоминания - почему же бы не внести в них и мое сновиденье? Во всяком случае оно относится ко времени моего пребывания в Вязьме.

До сих пор не могу понять, почему бесподобная панорама Москвы, открывшаяся перед нами с Поклонной горы, по которой тогда мы спускались к Дорогомилловской заставе, не оставила по себе в моей памяти ни малейшего следа. Решительно не помню также и того,

как проезжали мы по московским улицам до Тверской заставы, как мимо Петровского парка и села Покровского прибыли на дачу в Братцево, верст за пятнадцать от Москвы, и как очутился я, наконец, в своей комнате одноэтажного павильона с террасою налево от большого дома, в котором поместился граф с своим семейством. Помню только одно, как из этой бессознательной, дремотной пустоты я мгновенно очнулся, будучи поражен страшным бедствием.

Однажды, воротясь с ранней прогулки к утреннему кофею, я не застал ни Тромпеллера, ни обоих наших учеников, которые поместились в том же павильоне. "Они побежали туда в дом, - кто-то сказал мне. - сейчас привезли графа на линейке, он сломал себе ногу". Вот как это случилось. Граф служил в кавалерии и был отличный ездок. Часов в восемь утра он отправился верхом на бойком коне, который смело скакал через барьеры; но перед одной канавой почему-то заартачился, взвился на дыбы и, опрокинувшись назад, повалился на-земь. В самое мгновение грозившей опасности граф, как опытный ездок, успел высвободить обе ноги из стремян и ринулся с коня на правую сторону; он непременно избегнул бы опасности, если бы упал на землю только одною четвертью аршина дальше от повалившегося коня; но грянувшееся оземь животное зацепило своим натиском ступню его левой ноги и размозжило ее в суставе.

Немедленно были вызваны из Москвы хирурги. Их было четверо: Поль, Пеликан, Иноземцев и Овер, а для непрерывного наблюдения за раной - только что кончивший курс лучший студент медицинского факультета, Скворцов. Медики приезжали в Братцево каждый день и подолгу совещались, пока больной находился в опасном положении. Чтобы спасти его жизнь, трое из них настаивали на ампутации ноги, и только один Овер не соглашался с их заключением. Такое разногласие, роковое - на жизнь или смерть, предоставлено было решить самому графу. Он согласился с Овером и вместе с жизнью спасена была и нога.

Зная мою безграничную преданность и любовь к графу, вы поймете, в каком удрученном, невыносимо бедственном состоянии проводил я гибельные дни и минуты, пока отупелое отчаяние не

прояснилось первыми проблесками надежды.

Страшное событие совсем отшибло мне память. Решительно не могу теперь припомнить, что ему предшествовало и что потом было - ни того, как, приехав в Братцево, я встретился с графом после долгой разлуки, ни даже того, случилось ли мне хоть взглянуть на него, пока он, немножко оправившись, не переехал в Москву. Тупое уныние заволокло непроглядною тучею эту злосчастную годину моей жизни.

Мы поселились на Знаменке в доме князя Гагарина (ныне Бутурлиных), против самой церкви. Моя комната была наверху, окнами на двор. Граф оставил меня при себе, поручив мне давать уроки обеим его дочерям и младшему из моих учеников, Григорию Сергеевичу, так как Павел Сергеевич, выдержав экзамен, поступил в московский университет по юридическому факультету. Кроме того, я определен был учителем в третью московскую гимназию, что на Лубянке, называвшуюся тогда реальной. На домашние и гимназические уроки приходилось на каждый день не больше трех часов, и мне оставалось много времени для моих собственных занятий.

Как за границею граф постоянно руководствовал меня своими указаниями и советами, так и теперь, когда я принял на себя официальную обязанность учительства, он признал нужным и необходимым, чтобы я ознакомился с педагогическою и дидактическою литературою, из которой все лучшее было собрано в его библиотеке. Хотя я и приобрел на практике некоторый навык в преподавании русского языка и словесности, но как самоучка не умел давать себе ясного отчета в выборе дидактических приемов и особенно затруднялся, как следует вести дело с многолюдным классом учебного заведения. Мне недоставало теории, которая расширила бы мой кругозор. На первый раз граф дал мне сочинения Дистервега и швейцарца Магера (Mager), который по французскому произношению назывался также Маже. Первый был наставителен для меня своею основательностью, а второй - широкими взглядами и размахистыми планами, которые хотя и не всегда могли быть оправданы на деле, но давали, однако, новые точки зрения и наводили на разные вопросы.

Когда мало-помалу я втянулся в эту неизвестную мне до тех пор дидактическую область и, наконец, сильно ею заинтересовался, тогда граф, удостоверившись в частых беседах со мною о моих быстрых успехах, стал давать мне разные поручения, имевшие своим предметом распространение и водворение надлежащего метода в обучении русскому языку и словесности в училищах и гимназиях Московского учебного округа. Я должен был составлять по этому делу краткие циркуляры, а иногда и целые статьи, которые в печатных брошюрах рассылались по всему учебному округу. После студенческих работ, о которых я уже говорил вам, это были мои первые самостоятельные опыты, удостоившиеся печати. Из них помню два - оба относятся к 1841 году.

Одна брошюра имеет своим предметом обучение азбуке по звуковому методу, который граф пожелал ввести в первоначальных школах всего Московского учебного округа. Он лично знал одного учителя в приходской школе за Москвою-рекою, который уже успешно пользовался этим методом. То был некто Гликё, родом грек, человек среднего роста, полный и смуглый, черноволосый и с крупными чертами лица, - говорил басом. Хорошо его помню потому, что по приказанию графа несколько раз просиживал я по целому часу у него на уроках, чтобы как следует, вполне ознакомиться с его приемами в постепенном порядке преподавания. Скрепив наглядною практикою уже знакомые мне из книг теоретические правила, я изготовил краткое наставление, как обучать детей грамоте по звуковому методу.

Другая брошюра касается преподавания элементарной грамматики и содержит в себе критические замечания на руководство "Русская грамматика для русских", составленное Половцевым. По рекомендации графа, он часто бывал у меня наверху в моей комнате, когда приезжал в Москву. Служил он инспектором в одном из военно-учебных заведений в Петербурге. Его руководство граф распространил по приходским и уездным училищам своего округа. Моя критика была напечатана с ведома и даже по желанию самого Половцева, потому что была направлена не к порицанию, а к выгоде самой книги, содержа в себе некоторые дополнения, заметки и объяснения, как удобнее и легче было бы ею пользоваться в школьном преподавании.

Такие работы были приложением к официальным занятиям моей учительской карьеры, дополняя и завершая мои служебные обязанности. Ими одними, разумеется, я не мог довольствоваться, да и вообще педагогика и дидактика не могли удовлетворять моим интересам, направленным в течение предшествовавших двух лет совершенно в другую сторону. Обаятельные воспоминания манили меня назад, в обетованную страну искусства, а недовольство действительностью с удвоенною силою напрягало мою энергию стремиться в неопределенную туманную даль моих замыслов, новых предприятий и надежд.

Чтобы дать вам понятие о тогдашнем настроении моего духа, привожу вам еще одно из моих писем к милому моему ученику, барону Михаилу Львовичу Боду, который был тогда в Пажеском корпусе в Петербурге; оно писано 26-го октября 1841 года.

"Что касается до моих настоящих занятий, - писал я, - то готов откровенно пересказать вам мои планы и предначинания, если только и теперь они займут вас так же, как прежде. Какая-то странная судьба поставила меня к самому себе в особенное, хотя довольно любопытное, но непонятное для меня самого отношение. Я здесь не разумею должности и дел по службе, которые для ученого должны быть только внешним дополнением к его деятельности. Что я могу и что я должен делать для нашей литературы? Найду ли в читателях сочувствие в тех мыслях, которыми наполняются теперь все мои думы? Вот вопрос, который и занимает, и спутывает меня! Пишут же в наших журналах для кого-нибудь философскую галиматью, немилосердно коверкая прусскую философию Гегеля! Образ моих воззрений, по крайней мере, мог бы быть животворнее для нравственного чувства и ближе к душе. Не почитайте слов моих высокомерною мечтою: если во мне что-нибудь есть, то всем этим я обязан тем великим гениям, произведениями которых я если не вдохновлялся, то, по крайней мере, приходил в возвышавшее меня нравственное созерцание. Вы догадались уже, вероятно, что речь моя клонится не к грамматике, которою я теперь хотя и занимаюсь столько же, как и прежде, но, разумеется, почитаю святоотечественным заглушать ею в своей душе предметы, одна память о которых просветляет во мне весь мрак тускло мелькающей передо мною будущей моей деятельности, для

которой да подкрепит меня Высшая сила! С другой стороны, не хочу я выдавать в свет и своих путевых записок, как делает у нас всякий, только что показавший свой нос за границу, думая, что он вправе писать о себе, как о великом человеке, каждая минута жизни которого должна обессмертиться в истории образования. Кому какой интерес в том, что я когда делал и что говорил, где был и куда ездил? Не думайте, однако ж, чтобы я решительно коснел в бездействии. Нет, я соображаю, думаю, пишу, хотя, признаюсь, и не столько, сколько бы хотел. Моя суетливая жизнь отнимает у меня пропасть времени. Однако не в доказательство своей деятельности - потому что тогда доказательство было бы очень неполновесно, - а в знак моей преданности к вам как прилежному и внимательному к моим классам ученику, посылаю приложенную при письме маленькую брошюрку. Я почел обязанностью сообщить вам ее потому именно, что в ней говорю несколько слов о той науке, которую некогда занимался с вами. Краткость ее объясняется тем, что она принята по всему учебному округу, как правило, от которого не должны отступать учителя в преподавании по грамматике Половцева, на которую и написаны мною эти замечания. Собственно говоря, это маленькое сочинение есть не что иное, как критика, но я старался возвести эту критику на степень официального правила, удержавшись таким образом от всякой пристрастной и не идущей к делу полемики. Для меня особенно приятно, что сочинение такого рода в нашем быту еще никому не приходило в голову..."

Письмо это, сбереженное от того далекого времени бароном Михаилом Львовичем в его Колычевском архиве, достаточно характеризует вам смутное, еще не установившееся брожение моих идей, намерений и планов в раздвоении ученых интересов и досужих мечтаний между такими противоположными крайностями, как искусство и филология с лингвистикой. Мир изящного был уже позади меня, и мне оставалось только разбираться в своих драгоценных воспоминаниях и приводить их в порядок как результат прошедшего. Основательное, вполне научное исследование элементов и форм языка по лингвистическому сравнительному методу представлялось завидною целью намеченного мною пути; но чтобы беспрепятственно вступить на него, надобно было освободиться от тормозов педагогики и

дидактики. Обе эти дисциплинарные науки имели для меня только временное, преходящее значение. Они должны были придавать некоторый интерес моему учительству в гимназии, которое было мне и тягостно, и скучно.

В то самое время, когда по поручению графа я писал наставления, как учить грамоте по звуковому методу и как преподавать школьную грамматику по учебнику Половцева, счастливый случай привел мне отвести душу на таком занятии, которое больше всех других было по сердцу. Мой дорогой наставник Михаил Петрович Погодин, всегдашний поощритель и возбудитель молодежи к литературным работам, предложил мне изготовить для его "Москвитянина" какую-нибудь статейку об Италии, которую я хорошо знаю и так люблю. Я выбрал себе темой "Храм Св. Петра в Риме" и в 1842 г. напечатал в этом журнале ту безделицу, о которой я уже упоминал вам по случаю моего "римского сновидения". Когда я писал эту статью, я вовсе не рассчитывал на внимание к ней публики; мне хотелось только предъявить моим университетским наставникам, Погодину и Шевыреву, кое-что об успешных результатах моих занятий в Италии. Я старался как можно больше набрать фактов, чтобы засвидетельствовать перед ними о своих сведениях и начитанности, будто студент на экзамене.

Вместе с этим я чувствовал потребность дать отчет о моих познаниях по классической археологии профессору римской литературы и древностей - Дмитрию Львовичу Крюкову, который и напутствовал меня за границу, как вы уже знаете, самым полезным для меня указанием книги Отфрида Миллера, служившей мне ежедневным руководством в изучении памятников античного искусства. Горячо любимый мною, Дмитрий Львович с сочувственным одобрением выслушивал мои восторженные впечатления, когда я рассказывал ему о мюнхенских Эгинетах и барберинском Фавне, о флорентийских Борцах и Точильщике, о бюсте Юноны и группе Ария и Петы в вилле Людовизи, о геркуланском бронзовом Меркурии в неаполитанском музее и о многом другом. Тогда же было решено между нами, что я составлю небольшую монографию об античном пластическом стиле и о типах греческих божеств. Я благоговел перед Винкельманом и

вполне сочувствовал его взглядам и вкусам; потому мне легко было выполнить взятую на себя задачу. К сожалению, мне суждено было довести ее до конца не раньше как в 1851 году, когда моего незабвенного наставника не было уже в живых.

XXI

Другие настоятельные дела и спешные работы отвлекали мое внимание от досужих занятий по археологии и истории искусства. Граф советовал мне немедленно готовиться к магистерскому экзамену и вместе с тем привести в порядок мои сведения по дидактике и педагогии в их специальном применении к школьному преподаванию родного языка, стилистики и литературы. Чтобы уэкономить время и не раздвоять своих сил между учеными и учебными интересами, я решил сначала покончить с экзаменом, а потом написать книгу педагогического и дидактического содержания для преподавателей русского языка и словесности.

Я готовился к своему магистерству по предварительному взаимному соглашению с экзаменаторами. Они хорошо знали о моих успешных занятиях за границею и отнеслись ко мне благодушно и снисходительно, не в пример другим, может быть, отчасти и из уважения к графу, который меня любил и жаловал, заботясь о моем образовании. Их было четверо: декан факультета, Иван Иванович Давыдов, должен был экзаменовать меня из теории словесности и языка (из так называемой общей грамматики); Степан Петрович Шевырев - из истории иностранной и русской литературы; Осип Максимович Бодянский - из славянских наречий и Дмитрий Львович Крюков - из философии, так как специального профессора по этому предмету в Московском университете тогда не было.

Явиться с ответом на суд перед Давыдовым и Шевыревым я чувствовал себя вполне готовым. Но философия была для меня темным лесом. Никогда не любил я отвлеченностей, не люблю и теперь. Крюков пощадил меня и назначил для экзамена из головоломной философии Гегеля только эстетику и этим одним ограничил свои требования. Главное затруднение представляли мне славянские наречия, так как в мое время они в Московском университете еще не преподавались. Бодянский стал их читать с

кафедры, когда я только что возвратился из-за границы. Я прослушал у него несколько лекций и по его указанию запасся славянскими древностями и славянскою этнографиею Шафарика, изданиями "Суда Любуши", Краледворской рукописи и сборников песен сербских, чешских, хорватских и других.

Мне легко было сладить с славянскими наречиями, потому что с самым трудным из них, с польским, я порядочно ознакомился, еще будучи студентом, от своих товарищей поляков. Сверх того, когда я готовился к магистерскому экзамену, по счастливой случайности, я близко сошелся с одним болгаринном, молодым человеком моих лет, который из своих соплеменников, кажется, был первым их предшественником между студентами Московского университета. У заграничных славян Михаил Петрович Погодин прославился тогда и чествовался как их всеобщий покровитель и заступник; потому и этот болгарин тотчас же по приезде в Москву явился именно к нему, был им принят с распростертыми объятиями и немедленно водворен в его доме на Девичьем поле. Этот молодой человек, по фамилии Бусилин, ни слова не умел сказать по-русски и, чтобы обучить его нашему языку, Погодин рекомендовал его мне. Бусилин приходил ко мне на Знаменку раза два или три в неделю, и мы взаимно обучали друг друга: я его - русскому языку, а он меня - болгарскому и сербскому, на котором он свободно говорил. Для чтения на болгарском языке у нас не было под руками ни одной печатной книги. Приходилось довольствоваться тем, что Бусилин напишет мне по памяти; а так как я интересовался народной словесностью, то он писал для меня песни своего родного племени, которые особенно дороги были мне потому, что ни одного сборника болгарских песен не было еще тогда в печати. В 1848 году в моей магистерской диссертации, со слов Бусилина, я привел цитату из болгарской народной поэзии о каких-то вещих девах, соединяющих в своем типе сербских вил с малоросскими русалками.

Для практики в русском разговорном языке я заставлял Бусилина рассказывать мне о его соплеменниках, о их образе жизни, о нравах и обычаях, об их отношениях к турецким властям и к высшим чинам духовной иерархии, состоящей из греков.

Особенно живо сохранился в моей памяти один из его рассказов.

Было тогда в обычае у турецких вельмож брать к себе поваров из болгар, которые предпочитались грекам в кухмистерском искусстве. Приятель Бусилина, молодой болгарин красивой наружности, был поваром у одного паши в Константинополе. Кухня его выходила на задворок, примыкавший к обширному внутреннему саду, который был окружен задними сторонами дворца, построенного на плане четвероугольника. В этот сад иногда выходили прогуливаться жены того паши с их дочерьми.

По словам Бусилина, в ту пору в турецких гаремах стала заметно распространяться европейская цивилизация, которую вносили в них с собою сыновья и братья гаремных затворниц, возвращавшиеся домой из Парижа, куда были посылаемы их родителями для образования. Мало-помалу стали оглашаться заповедные покои гаремов бойкою французскою речью и веселою бальною музыкою, под которую щеголеватые братцы со своими сестрицами танцевали вальсы, кадрили и мазурки, а втихомолку западали в юные души и сердца новые идеи, новые помыслы и новые стремления к чему-то лучшему, манящему вдаль, вносящему в жизнь неведомые дотоле радости и надежды. В гареме повеяло предвестием христианского просвещения. Женщина почуяла свое высокое призвание в благотворной семейной среде христианского бракосочетания.

Однажды самая любимая пашою из всех его взрослых дочерей за ее красоту и благодушный нрав, прогуливаясь по саду, заметила в открытом окне кухни молодого человека и пленилась его наружностью. То был болгарский повар, приятель Бусилина. Будучи мечтательна по природе, она любила уединение, и теперь никому и в голову не приходило следить за нею, когда она одна-одинехонька каждый день проходила по аллеям, тянущимся вдоль внутренних стен гарема, надеясь взглянуть на обожаемого ею человека, которому она с первого взгляда отдала свое сердце. Ее сестры и подруги толпились и играли в разные игры обыкновенно посередине сада у беседок с фонтанами. Болгарин сначала дичился и робел и всякий раз прятался, когда она, проходя мимо, остановится и бросит на него свой любящий взгляд, но потом немножко попривык и перестал от нее скрываться. Чтобы покончить дело одним разом, она смело отважилась на

решительные меры и в глухую полночь явилась в его комнате, бросилась к нему на шею и требовала, чтобы он сейчас же бежал с нею: она примет христианскую веру и выйдет за него замуж; она все обдумала и взяла с собою много денег и всяких драгоценностей. Болгарин окаменел от ужаса и, когда мог вымолвить слово, наотрез отказался исполнить ее безумный план. Она умоляла его, плакала и терзалась; он был непреклонен и стоял на своем. Тогда она схватила кухонный нож и вонзила его себе в горло. Впоследствии на допросе оказалось, что он второпях рознял по частям труп злосчастной девушки, сложил их в большую и высокую плетеную корзину, которую он каждое утро брал с собою для покупки провизии на базаре, находившемся на небольшом острове верстах в двух от берега. Корзину поставил он на ручную тележку, спозаранку до восхода солнца подвез ее к берегу и перенес на свою лодку, стоявшую между другими, принадлежавшими тоже разным поварам и хозяевам. Никого еще не было в эту раннюю пору, и он один-одинехонек отплыл к острову; на половине пути, озираясь кругом, понемножку стал опрастывать корзину от кровавой клади. Море бурлило, и высоко вздымавшиеся волны заслоняли от посторонних глаз его святотатственное дело. На базаре купил он что нужно и в той же корзине привез домой. Но в гареме давно уже поднялась тревога, повсюду шум и гвалт. Любимая дочь паши пропала без вести, и только что появился болгарин - тотчас же был схвачен. Улики были несомненны: пол в его жилье полит кровью, там и сям попадаются драгоценные вещицы, принадлежавшие пропавшей красавице, и окровавленные клочки ее одежды. Паша был в исступлении от гнева и ярости, когда привели к нему болгарина еле живого, онемелого от страха и ужаса. Паша накинулся на него как бешеный, бил его и проклинал, ругал тупоумным трусом, подлым злодеем, бесчеловечным извергом, а вместе плакал и рыдал, трогательно внушая ему горькие упреки и жалостливые заверения, что простил бы и его, и свою дочь, если бы они открылись ему в своей любви, смилостивился бы над ними, благословил бы их супружество и щедро бы наградил. Само собою разумеется, приятель Бусилина немедленно был казнен.

Бусилин был среднего роста, незначительной наружности и слабого, хрупкого сложения. Наш суровый климат был не по нем, особенно когда наступали зимние морозы. Он прихварывал и

видимо чахнул. На него напало уныние; тяжелые думы чаще и чаще стали омрачать его смиренный нрав, и без того меланхолический. К болезненному состоянию, очевидно, что-то прибавилось другое и угнетало его пуще хвори. Мое сердечное участие вызвало его на откровенность. Оказалось, что и он, также как его константинопольский приятель, был трусливого десятка. Он боялся оставаться в Москве, чтобы не умереть от болезни, а еще сильнее страшился воротиться на родину, где он неминуемо подвергнется смертной казни, если будет оклеветан перед турецкими властями в государственной измене, что случалось нередко с турецкими подданными из славян, возвращавшимися из России домой. Он был убежден, что может спастись от угрожавшей ему беды не иначе, как приняв русское подданство, - тогда не посмеют наложить на него руку. Погодин много хлопотал за него в этом деле, но получил решительный отказ, потому что вследствие каких-то дипломатических постановлений строжайше воспрещено было охранять русским подданством балканских славян от турецкого деспотизма. Я с своей стороны обратился к графу Сергию Григорьевичу с просьбою о ходатайстве за горемычного Бусилина, но он дал мне тот же неблагоприятный ответ. Итак, ничего не оставалось моему бедному болгарину, как умереть далеко от своей родины. Он прожил в Москве года два и скончался в студенческой больнице.

От этого эпизода возвращаюсь к прерванному рассказу о том, как готовился я к магистерскому экзамену. Наконец он наступил. Это было в 1843 году, в зале правления и совета, в старом здании университета, под тою аудиториею, вам уже известною, в которой в 1834 году я держал вступительный экзамен в студенты. Теперь решительно не помню, какие именно вопросы предлагались мне Давыдовым, Шевыревым, Крюковым и Бодянским, и что и как отвечал я им; живо и ярко помню только одно - это самый конец моего экзамена, точнее сказать - завершение его настоящею драматическою сценою, которая к великой моей радости дала мне знать, что выдержал я испытание на степень магистра с решительным успехом. Когда экзаменаторы и прочие члены факультета встали из-за стола, чтобы разойтись по домам, в их толпе слышались мне голоса Крюкова и Шевырева, которые о чем-то между собою спорили. Оказалось, что дело шло обо мне,

кому из обоих я больше обязан своим образованием. Шевырев по свойственной ему пылкости горячился и выходил из себя; Крюков с обычной его нраву сдержанностью отвечал ему хладнокровно и мягко, но с остроумными подковырками, хотя и в безукоризненно вежливой форме. Это бесило Шевырева, и он наконец дошел до того, что стал придирается к своему сопернику и упрекать его в неверии и безнравственности, так что я перепугался, чтобы меня самого не потащили на расправу, и стремглав бросился вон.

Для объяснения этой сцены я должен припомнить вам, что тогда уже обострились неприязненные отношения между прежними профессорами и прибывшими из-за границы, а также и между славянофилами и западниками. Крюков был западник гегелевской школы, и потому казался Шевыреву анархистом и атеистом.

Вы уже знаете, что одновременно с приготовлением к магистерству и работал над сочинением "О преподавании отечественного языка". Оно вышло в свет в 1844 году, в двух частях. Первая содержит в себе дидактические правила и приемы, как преподавать этот предмет, собранные мною по указанию графа в материалах и пособиях его богатой библиотеки, а вторая - мои исследования по русскому языку и стилистике во множестве более или менее объемистых заметок, накопившихся у меня по мере того, как я готовился к магистерскому экзамену. Вместе с капитальным исследованием Вильгельма Гумбольдта о сродстве и различии индогерманских языков, я изучал тогда сравнительную грамматику Боппа и умел уже довольно бойко читать санскритскую грамоту, которой обучил меня университетский товарищ мой, Каэтан Андреевич Коссович, - в Москве только он один и знал этот язык, до возвращения известного санскритолога Петрова из-за границы. Но особенно увлекся я сочинениями Якова Гримма и с пылкой восторженностью молодых сил читал и зачитывался его историческою грамматикою немецких наречий, его немецкою мифологиею, его немецкими юридическими древностями. Этот великий ученый был мне вполне по душе. Для своих неясных, смутных помыслов, для искания ошупью и для загадочных ожиданий я нашел в его произведениях настоящее откровение. Меня никогда не удовлетворяла безжизненная буква: я чуял в ней музыкальный звук, который отдавался в сердце, живописал

воображению и вразумлял своею точною, определенной мыслью в ее обособленной, конкретной форме. В своих исследованиях германской старины Гримм постоянно пользуется грамматическим анализом встречающихся ему почти на каждом шагу различных терминов глубокой древности, которые в настоящее время уже потеряли свое первоначальное значение, но оставили по себе и в современном языке производные формы, более или менее уклонившиеся от своего раннего первообраза, столько же по этимологическому составу, как и по смыслу. Сравнительная грамматика Боппа и исследования Гримма привели меня к тому убеждению, что каждое слово первоначально выражало наглядное изобразительное впечатление и потом уже перешло к условному знаку отвлеченного понятия, как монета, которая от многолетнего оборота, переходя из рук в руки, утратила свой чеканный рельеф и сохранила только номинальный смысл ценности.

Вот каким путем я наконец открыл себе жизненную, потайную связь между двумя такими противоположными областями моих научных интересов, как история искусства с классическими древностями и грамматика русского языка. В Италии я изучал художественные стили - пластический, живописный, орнаментальный, античный, византийский, романский, готический, ренессанс, рококо, барокко; теперь я уяснял себе отличие литературного стиля от слога: первый отнес к общей группе художественного разряда, а второй подчинил грамматическому анализу, как живописец подчиняет своему стилю техническую разработку рисунка, колорита, светотени и разных подробностей в исполнении. Так, например, постоянные эпитеты, тождество, длинное сравнение - я отнес к слогу, которым пользуется эпический стиль Гомера или нашей народной поэзии. Язык в теперешнем его составе представлялся мне результатом многовековой переработки, которая старое меняла на новый лад, первоначальное и правильное искажала и вместе с тем в своеземное вносила новые формы из иностранных языков. Таким образом, весь состав русского языка представлялся мне громадным зданием, которое слагалось, переделывалось и завершалось разными перестройками в течение тысячелетия, вроде, например, римского собора Марии Великой (Maria Maggiore), в котором ранние части восходят к пятому веку, а позднейшие относятся к нашему

времени. Гуляя по берегам Байского залива, я любил реставрировать в своем воображении развалины античных храмов и других зданий; теперь с таким же любопытством я реставрировал себе переиначенные временем формы русского языка. Современная книжная речь была главным предметом моих наблюдений. В ней видел я итог постепенного исторического развития русского народа, а вместе с тем и центральный пункт, окруженный необозримой массой областных говоров. Карамзин и Пушкин были мне авторитетными руководителями в моих грамматических соображениях. Первый щедрою рукою брал в свою прозу меткие слова и выражения из старинных документов, а второй украшал свой стих народными формами из сказок, былин и песен. Этот великий поэт всегда ратовал за разумную свободу русской речи против беспощадного деспотизма, против условных, ни на чем не основанных предписаний и правил грамматики Греча, которая тогда повсеместно господствовала. Еще на студенческой скамейке из лекций профессора Шевырева я оценил и усвоил себе это заветное убеждение Пушкина и старался сколько мог провести его в своих разрозненных исследованиях о языке и слоге, помещенных во второй части моего сочинения "О преподавании отечественного языка".

Несмотря на мою неопытность в книжном деле, сочинение это имело решительный успех, потому что тотчас же, как только появилось в печати, было замечено критикою. Одни меня хвалили, другие ругали донельзя и всячески надо мною издевались. Прошу вас припомнить, что в моих воспоминаниях я ни разу не привел вам ни одной цитаты из какой-нибудь печатной статьи или книги. Теперь, чтобы вы сами могли судить о моем успехе, привожу вам выдержку из "Библиотеки для Чтения" барона Брамбеуса за 1844 год.

"Имя одного из Буслаевых давно уже известно в летописях русской литературы. Он был духовного звания, дьяконом при московском Успенском соборе. Овдовевши, оставил он свое звание и находился при частных делах у богатого барона Григория Дмитриевича Строганова. Кончина добродетельной супруги благодетеля, баронессы Марии Яковлевны, внушила Буслаеву мысль увековечить память ее огромною поэмою, которая была напечатана

в 1734 году, в Москве в двух больших квартантах, под заглавием: *"Умозрительство душевное, описанное стихами, о переселении в вечную жизнь превосходительной баронессы Марии Яковлевны Строгановой"*. В конце поэмы были приложены два длинные стиховные надгробия. Буслаев писал силлабическим размером с рифмами, как писаны сатиры Кантемира. Тредьяковский приходил в восторг от стихов Буслаева. Приводя несколько строк его в своем "Рассуждении о древнем, среднем и новом российском стихотворстве", он чистосердечно восклицает: *"Что выше сего выговорить человек возможет, что сладостнее и вышшеиленее? Если бы в сих стихах падение стоп было возвышающихся и понижающихся, по определенным расстояниям, то что сих стихов могло бы быть глаже и плавнее?"*

Автор предлежащей книги "О преподавании отечественного языка", соплеменник, а может быть, и потомок поэта, которому так удивлялся Тредьяковский, счел нужным сочинить с своей стороны также *умозрительство*. По *умозрительству* господина Буслаева, нашего современника, выучиться отечественному языку - дело весьма легкое. *"Изучение родного языка раскрывает все нравственные силы учащегося, дает ему истинно гуманическое образование, заставляет вникать в ничтожные безжизненные мелочи и открывает в них глубокую жизнь во всей неисчерпаемой полноте ее...* После Закона Божия нет ни одного предмета, в котором бы так тесно и гармонически совокуплялось преподавание с воспитанием. Постепенное раскрытие родного дара слова должно быть раскрытием всех нравственных сил учащегося потому, что родной язык есть *неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого*; а кто понял сравнительное языкознание, для того уже не существует *непреходимого средостения между русским и чужеземным языком*. Истинный гуманизм везде видит человека и сознает, что в *необъятной машине создания не пропадает ни единого волоса с головы человеческой*. Неправы те, которые полагают, будто *исследование буквы убивает всякое сочувствие к живой идее*. Буква есть *самая дробная стихия человеческого слова*. *Философия языка* только тогда будет *незыблема*, когда глубоко укоренится на *изучении буквы*. Кто с *надлежащей точки* смотрит на *букву*, тот понимает *язык во всей его осязательности, изобразительности и жизненной*

полноте. Главное дело тут - метода: она имеет целью подчинить человеческий дух, как существо, учащееся букве, известным законам, и психологически вникает в познавательную способность этого существа..."

На таких-то истинах "умозрительства" воздвигнуты два тома господина Буслаева. Кто, прочитав их, вооружится истинною философией, тот пройдет самым гуманным образом всякое непроходимое средостение и проглотит все дробные стихи языка. Познавательная сила человеческого духа как существа учащегося букве подвергается здесь учению не только по толковым образцам, но даже и по бессмыслице.

Таким образом, *piano pianissimo* вы достигнете совершенства в языке и начнете чувствовать гомерические красоты слога "Мертвых Душ", который уже есть высшая, недостижимая степень идеальности русского слова. Господин Буслаев не берется обучать через бессмыслицу до такой превосходной степени и благоговейно выписывает для назидания нижеследующий пример недосыгаемого гомеризма: "Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто их белыми, торчащими костями. щедро обмывшись казацкою их кровью и покрывшись разбитыми воезами, расколотыми саблями и копьями и запекшимися в крови чубами и опущенными книзу усами; будут орлы, налетев, выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибает ни одно великодушное дело и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, казацкая слава... И пойдет дыбом по всему свету о них слава..."

Доныне вы добродушно полагали, что весь этот гомеризм - чепуха по мысли, чудовище по выражению, галиматья, которой без смеху и сожаления читать нельзя; щедрое мытье кровью, расколотые сабли, разбросанные по полю чубаны, вольно разметавшийся смертный ночлег и казацкая слава, которая ходит по свету дыбом, принадлежат к языку белой горячки, а не русскому, и подлежат более суждению медицины, чем литературной критики. О, заблуждение! О, отсутствие всякой гуманности! Вы доселе - "В невежестве коснея, утопая", не знали философии

букв! Прочитайте "умозрительство" г. Буслаева, "О преподавании отечественного языка", раскройте *познавательность* своего духа *через бессмыслицу* - и вы поймете, что "выше сего, сладостнее и вымышленное выговорить человек не может".

К этому похвальному аттестату, данному мне в журнале барона Брамбеуса, не замедлила приложить свою руку и "Северная Пчела" Булгарина и Греча в коротенькой заметке в самом конце статьи, где критик называет поименно разные плохие сочинения и "странную книгу о том, как *разучиться* писать по-русски - г. Буслаева".

Не думаю, чтобы писатель, даже самый апатичный, был одинаково равнодушен и к ругательству и к похвалам, которыми критика встречает его произведения; мне было стыдно и жутко читать не только вслух, но и про себя, как перед целым светом окатили мое до сих пор никому не известное имя помоями и втоптали его в грязь. Но я вполне утешился и ободрился сочувственными мне отзывами в "Русском Инвалиде" и в Пушкинском "Современнике", которые отнеслись ко мне не только вежливо, но и ласково и вполне одобрительно. Впрочем, данный мне нагоняй оказался бесполезным и пошел мне впрок. Только что я очутился первый раз на толкучем рынке разноголосной критики, тотчас же принял неизменное решение никогда не вступать в журнальную полемику и сдержал его в течение всей моей жизни до глубокой старости. Я всегда думал так: когда мое писанье ругают за дело, то было бы глупо отвечать на критику, которая, в сущности, желает мне добра в исправлении моих ошибок, а если лаются сдуру, то Бог с ними, пусть себе тешатся: брань на воротах не виснет.

Мне остается сказать еще несколько слов о диаконе Буслаеве и о его "умозрительстве душевном", посвященном памяти баронессы М.Я. Строгановой. Эта давняя старина, выдвинутая на первый план в самом начале критики и дающая ей основной тон, навела меня на очень вероятную догадку, которая много забавляла меня и радовала. Половцев пользовался расположением графа Сергея Григорьевича, который, как вы уже знаете, при моем содействии распространил его русскую грамматику по всему московскому учебному округу. Это могло быть известно Гречу или кому другому из его многочисленных почитателей от самого Половцева, который жил и был на службе в Петербурге. Если как-нибудь там

узнали, что именно граф Строганов мне поручил составить руководство для обучения в гимназиях русскому языку и слогу, то баронессою Строгановой, покровительницею диакона Буслаева, очевидно, намекалось на графа Сергея Григорьевича. Наскоро и в великих попыхах просмотрев критику, я тотчас же понес ее к графу. По его желанию я должен был ее прочитать ему всю сполна. Он много смеялся и, утешая меня, говорил: "Успокойтесь и ободритесь, - не вас одних тут отделали; немножко зацепили и меня". А надобно вам знать, что он был сродни той баронессе Марии Яковлевне, потому что так называемые "именитые люди Строганова" сначала возведены были в баронское достоинство, а потом получили графский титул.

В заключение моего рассказа о трех годах по возвращении в Москву я должен привести вам здесь письмо графа Сергея Григорьевича ко мне из Петербурга, 1843 года, чтобы вы сами могли видеть, как доброжелательно, откровенно и вполне подружески в то далекое время мог относиться попечитель московского университета к молодому учителю одной из гимназий его учебного округа.

"Нет никакого сомнения, что приложенный здесь список песни о полку Игореве подложный и, вероятно, работы покойного Бардина; но при всем том оный очень любопытен потому, что переписчик имел перед глазами не только известный Пушкинский экземпляр, но еще какой-то другой, который служил ему к объяснению некоторых слов. Коркунов обещал мне доставить замечания его об этом списке, которые я вам привезу. Имея возможность переслать вам. Федор Иванович, согласно желанию вашему, самый список, не могу упустить благоприятного случая познакомить вас с произведениями наших искусников. Прошу вас покорнейше возвратить оный через неделю.

Вы не можете представить себе, как петербургская жизнь отвлекает от литературных занятий! Видно, что даже Академия - под влиянием общей рассеянности, ежели не вся, то, конечно, ее высшие представители Русского Отделения. Я был на торжественном заседании Академии на прошлой неделе, слышал отчет, слышал, как, между прочим, говорилось о трудах отделения над разбором грамматики Половцева, как оно занимается

составлением программы русской грамматики для уездных училищ, как отделение с благодарностью приняло указания И.И. Давыдова насчет будущих занятий своих и, наконец, познакомилось с грамматикой Гримма, как С.П. Шевырев мало делал в прошедшем году, потому что был болен, а М.П. Погодин - потому, что ездил за границу; слышал о том, как М.Т. Каченовский в Светлое Воскресенье, в день смерти своей, "сел в свои *ученые кресла*", и как г. Гульянов переписывался с г. Уваровым о своей болезни. Одним словом, к стыду русской публики Отделение осрамилось: отчет окончился подлою лестью г. министру народного просвещения, восхваляя его за милостивое прочтение всех протоколов заседаний Русского отдела. Надобно вам прочесть где-нибудь эту речь, чтобы иметь понятие о том, что можно говорить публично, не боясь журнальной критики. Весьма странно было отсутствие И. Крылова, Любимова, Данилевского, Остроградского и других знаменитостей, но об этом в другой раз.

Третьего был я в Академии Художеств и наслаждался приобретенными копиями ватиканских фресок. Стоит из-за одного этого приехать в Петербург.

Прощайте, Федор Иванович! Бог с вами! Желаю вам доброго здоровья и счастья. Ваш преданный - *граф Строганов*".

XXII

Мне советовали представить в словесный факультет вторую часть моего сочинения "О преподавании отечественного языка" в виде диссертации на степень магистра. С этим я никак не мог согласиться. К какой стати совать в университет работу учительскую, писанную для гимназии в пособие преподавателям, а не ученое исследование, достойное внимания профессоров. То была посильная дань моему гимназическому учительству; теперь надо подумать о чем-нибудь более основательном, т.е. вполне специальном, как пишутся ученые монографии. Граф был моего же мнения и торопил меня, чтобы я не медля принялся за магистерскую диссертацию. Но для нее где было мне взять нового материала? Какой я себе накопил прежде, почти весь безрасчетно был израсходован на только что изданную мною объемистую работу. Что выбрать для диссертации? как назвать ее? Не с ветру

берется для нее тема, а как результат или итог извлекается из массы накопленных сведений. Я стал в тупик и не знал, что делать и как мне быть. Чтобы помочь беде, ничего другого не оставалось, как выкинуть из головы всякие диссертации, темы и планы и вновь продолжать начатое прежде, а именно изучать разнообразные сочинения Якова Гримма и его брата Вильгельма, их издания памятников древнегерманской и народной литературы, заниматься сравнительною грамматикою по руководству Боппа, по словарю Потта и читать санскритские тексты, учиться скандинавскому языку по песням Древней Эдды в издании Якова Гримма, а также и готскому по переводу Библии, составленному в IV веке Ульффилою в издании Габеленца и Лобе. Последнее занятие получило для меня новый интерес, когда я стал изучать Остромирово Евангелие, над которым так много трудился Востоков и, наконец, издал в 1843 году.

Ко всему сказанному выше надо прибавить, что первые три года по возвращении в Россию я так ревностно и усидчиво работал, не освежая своих сил развлечениями, что, наконец, изнемог и, видимо, стал худеть. Наш домашний доктор советовал мне не истощать себя непосильным трудом, по вечерам между часами занятий прогуливаться на свежем воздухе и посещать своих знакомых, а не сидеть сиднем в своей комнате над книгами. Хорошо было ему говорить о знакомых, а где мне их взять? Кроме семейства барона Боде, никого других у меня не было. Мои друзья и товарищи по казенному общежителю в студенческих номерах разбрелись из Москвы по разным городам учительствовать в гимназиях, за исключением Коссовича, который, как вам известно, не имел ни малейших способностей быть собеседником. С ним я только учился по-санскритски; какое же тут развлечение? Класовский возвратился в Москву уже гораздо позже.

К моему счастью в это тяжелое для меня время я случайно столкнулся с двумя молодыми людьми, которые были своекоштными студентами, когда я жил в казенных номерах. Один был на словесном факультете, известный уже вам Василий Иванович Панов, с которым я подружился в Риме, а другой - юридического факультета, Александр Николаевич Попов; с ним я прежде не был знаком. Оба они были в университете товарищами

старшему сыну графа, Александру Сергеевичу, и вместе с ним кончили курс. Из своего полка, стоявшего где-то около Петербурга, он часто приезжал к нам в Москву в отпуск и оставался с нами по целому месяцу, а иногда и больше. Он был человек веселый и милый, добрый товарищ и остроумный собеседник. Вечера, когда он был свободен от общественных развлечений, проводил в дружеских беседах по-студенчески с ними обоими и со мною. Искусство и классические древности, Рим и берега Средиземного моря, "Русская Правда", о которой Попов писал тогда свою магистерскую диссертацию, Гоголь, которого так любовно чествовал Панов, сравнительная грамматика и филология с Боппом, Поттом и Гриммом, исследованиями которых битком набита была моя голова, дорогие воспоминания о часах, проведенных нами вместе в аудиториях Московского университета, с забавными анекдотами о наших профессорах и товарищах - вот, сколько мне помнится, были главные предметы наших бесед и нескончаемых споров, попеременно с веселым хохотом и остротами, в которых Попов не уступал графу Александру Сергеевичу, а по игривой способности отчеканивать их рифмами и превосходил его. Василий Иванович Панов по деликатной чувствительности своего мягкого нрава вносил минорные нотки в наш общий хор, а мое отъявленное педантство было постоянною мишенью, в которую А.Н. Попов метко направлял свои стрелы: оперенные рифмами. Вот вам образчик его смехотворных эпиграмм в торжественном стиле Ломоносовских од:

А.

О	ты,	которому	послушны
Все	буквы,	слоги	и слова,
Письмо	и	говор	простодушный;
Сама		свободная	молва
Твоим		законам	покорилась,
Тебе	подвластна,	как	раба.

Б.

Закон	твой	грозно	управляет
Всей		громогласиею	слов;
Он	их	спрягает	и склоняет,
То	ссорит	их,	то примиряет,
То	закует,	то	из оков

По воле вновь освобождает.

В.

Захочешь ты, чтоб *Аз* державный
Преобразился вдруг в *Фиту*,
И воли прихоти забавной
Исполнит он; и долю ту
Другие буквы исполняют
И робко прихоти внимают.

Г.

Захочешь ты и *Ъ* безгласный
Заговорит и запоет;
Захочешь ты - и безобразный
Глагол вдруг в *Буки* перейдет,
И *Буки* станут те *Глаголем*,
Землей, пожалуй, или морем.

Д.

Взойдя на верх горы высокой,
Что зрю я: трон, на троне ты!
Блестящий *Он* и одноокой
Короной на тебе, а с точкой *I* (*i*)
Как скипетр, *Фита* ж держава,
Краса всей азбуки и слава.

Е.

Вдали стоят курчавый Гримм,
И толстый Бопп, и Потт сухой;
Ты улыбнулся сладко им,
Кивнув приветливо главой;
Они заплакали и вмиг
Запели все заздравный стих:

Ж.

"И санскрит, и пракрит,
И святой язык Ирана,
И их синклит тебе гласит,
От Гинду-Ку и до Балкана,
От готтентотов до малаев:
"Слава, слава наш Буслаев!"

Такие увеселительные стишки, всегда резвые и задорные, но никому не обидные, Попов наскоро чертил на клочке бумаги в самом разгаре наших шуточных бесед, лишь только нахлынет на него смехотворное вдохновение. Тотчас же прочтет нам свою новинку самым серьезным тоном, будто излагает что важное и деловое, и тем только пуще поддает пару кипучему веселью нашего студенческого разгула. Если стихи годятся для музыки, Александр Сергеевич садится за фортепиано и прилаживает к ним французскую шансонетку, хоровую песню немецких студентов или поволжских бурлаков, а то итальянскую арию или квартет из какой-нибудь оперы, и разноголосица наших ученых диспутов превращается в стройный хор музыкальной капеллы или цыганского табора.

Оба наши милые товарищи, Александр Николаевич и Василий Иванович, были славянофилы. Они ввели меня в этот интересный, высокообразованный кружок тогдашнего московского общества. Благодаря им я познакомился с Алексеем Степановичем Хомяковым, Константином Сергеевичем Аксаковым, с Киреевскими, Свербеевыми, Васильчиковыми, с поэтом Языковым и его племянником Валуевым, который приходился также племянником и Хомякову, женатому на сестре Языкова. К этому же кружку принадлежали мои милые профессора Погодин и Шевырев, хотя не в одинаковой степени разделяли его убеждения, первый - меньше, второй - вполне, а также и незабвенный товарищ по университету Юрий Федорович Самарин. Какими-то судьбами сюда же примкнулся самый равнодушнейший ко всевозможным партиям и сектам дорогой мой товарищ по студенческому общежитию, бесподобный чудак Каэтан Андреевич Коссович - надобно думать потому, что давал уроки классических языков племяннику Хомякова Валуеву и был несказанно осчастливлен тем, что Хомяков подарил ему очень дорогой санскритский словарь Вильсона, напечатанный в Калькутте.

Говорить вообще о славянофильстве я, разумеется, не буду. Оно давно уже заняло надлежащее себе место в истории умственного, нравственного и политического развития русской жизни. Когда очутишься в среде самого движения, не оглянeshь всей толпы, а сталкиваeshься лишь с отдельными лицами. На мое счастье это

были люди передовые тогдашнего общественного движения. Но и об историческом значении их говорить нечего; оно более или менее всем известно. Расскажу вам только о моих личных сношениях с некоторыми из них.

Будучи равнодушен к их славянофильским убеждениям и идеям, я высоко ценил их нравственные достоинства, безукоризненную чистоту их помыслов, гордую независимость духа, соединенную с милым простодушием, иногда доходящим до детской наивности. Я любил их сердечно и вместе уважал глубоко, как недостижимые для меня образцы высшего совершенства, какое человеку доступно. Таковы были для меня Константин Сергеевич Аксаков и Петр Васильевич Киреевский. Тут же к ним прибавлю еще двоих, но из другой, неславянофильской среды, моих незабвенных товарищей, профессоров Сергея Дмитриевича Шестакова и Тимофея Николаевича Грановского.

Киреевский жил на Остоженке, по левую руку, если идти от Пречистенских ворот, в своем собственном доме близ церкви Воскресения. Дом был каменный, двухэтажный, старинный, с железной наружной дверью и с железными решетками у окон нижнего этажа, как есть крепость. Уцелел в таком виде от московского пожара 1812 года, он стоял в тенистом саду, запущенном, без дорожек. На улицу выходила эта усадьба только сплошным забором с воротами. Кажется, дом этот существует и теперь, но уже в обновленном виде. Петр Васильевич занимал верхний этаж и жил, сколько мне известно, один-одинехонек; женат он не был. Большая комната из передней, вроде залы, была и приемной для гостей, и рабочим для него кабинетом, с неровным, щелистым и протоптанным полом. Мебели всего было - ветхий диван у глухой стены, придвинутый к окну, а против него у другого окна большая деревянная коробья, запертая висячим замком; у стены против окон дубовый шкаф с книгами; у дивана большой четвероугольный стол и вдобавок ко всему до полдюжины разнокалиберных стульев и кресел.

Меня очень интересовала эта бабья коробья под замком, и когда я ближе познакомился с Петром Васильевичем, решился удовлетворить своему любопытству и спросил его, какое сокровище хранит он так бережно взаперти и всегда перед своими

глазами. "Так я вам не говорил? - сказал он в ответ. - А здесь хранятся народные песни, былины и духовные стихи, которые много лет я собирал повсюду, где случалось бывать. Между ними много и таких песен, которые записаны моими друзьями и знакомыми. Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: "Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам". И сколько ни старался я разгадать эту загадку, - продолжал Киреевский, - никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные".

По различию в наклонностях и занятиях московские славянофилы делили свои ученые интересы по специальностям с особым представителем для каждой. Хомяков взял себе всеобщую историю и богословие; он был великий диалектик и отличался бойкостью и силою доводов в диспутах с раскольниками, которые его очень уважали. Иван Васильевич Киреевский был философ; энергичность его философских взглядов оценила сама цензура строгими запрещениями. Юрий Федорович Самарин блистательно заявил свою специальность в образцовых работах о государственном, политическом и экономическом строе русской земли с ее окраинами. Ученою специальностью Константина Сергеевича Аксакова был русский язык и его грамматика, которой он хотел дать своеобразный вид соответственно неисчерпаемой глубине народного духа. Степан Петрович Шевырев в своих публичных лекциях был для славянофилов представителем по истории русской литературы.

На долю Петра Васильевича Киреевского, кроме народной поэзии, выпала русская история, которою в течение всей своей жизни он усердно занимался, но, сколько мне известно, очень немногое успел напечатать. В этом деле он вполне удовлетворял славянофилов, потому что не жаловал Петра Великого.

Только в этом смысле и могла годиться для них история русского народа. Представьте себе, какая злополучная судьба постигла этого благодушного врага преобразований, совершенных Петром Великим! Киреевский никогда не мог примириться с тяжелою, досадливою мыслью, зачем нарекли также и его при крещении Петром, а не каким-нибудь другим именем. И он не на шутку

горевал, как Тристрам Шенди, отец которого столько же ненавидел это имя, как если бы назвали его сына Иудою в честь предателя Искарота.

Значение Коне антина Сергеевича Аксакова в среде московских славянофилов далеко не ограничивалось специальными пределами русской грамматики. Он был вдохновенный оратор и рьяный поборник эмансипации в тяжелые времена сурового режима. Нравом был он столько кроток и незлобив, как Петр Васильевич Киреевский, но отличался от него неукротимую пылкостью, которая дает великую силу страстно любить друзей и презрительно ненавидеть врагов. Вместе с тем был он так благодушен и сострадателен, что не только человека, и мухи не обидит. Врагами его были не сами люди, а их принципы, помыслы и дела. Я уверен, что для воплощения своих идей он не задумался бы принести себя в жертву и радостно пошел бы на любое место, чтобы, сгорая на костре, предъявить миру свое исповедание, как христианские мученики времен Нерона. Он мог достигнуть такого нравственного совершенства в своем незлобии к вражеским силам, потому что был чист и неменяем, как младенец. Недаром товарищи и друзья называли его не Константином Сергеевичем, а ласкательно, как малого ребенка: "Конста".

В то время я, безусловно, предпочитал славянофильское общество западникам, которые, впрочем, и не составляли тогда такого замкнутого кружка и множились врассыпную. Да они и мало были мне известны. Многие из них стали знамениты уже впоследствии. В начале сороковых годов Тургенев не думал, не гадал, что судьба решила быть ему великим писателем и после Пушкина первым мастером русского слова. Станкевич в 1840 году умер в Италии и унес с собою все надежды и упования, которые на него возлагались. Белинский еще не успел заявить тогда гениальных способностей критика, который насквозь был проникнут врожденным ему эстетическим вкусом и тонким чутьем отгадывать на первых порах только что зачинающееся литературное дарование.

Впрочем, московские славянофилы были не так брезгливы, чтобы не допускать в свой интимный кружок кое-кого из западников. Они дружески - и доверчиво относились к Тимофею Николаевичу Грановскому, к Герцену, даже к Чаадаеву, которого величали

католическим аббатиком. Двух последних я впервые увидел на вечере в одном славянофильском семействе. Это было - как сейчас вижу - в угольной комнате, довольно просторной, с двумя окнами на улицу и с одной дверью в гостиную. У глухой стены против двери на диване с двумя или тремя дамами сидела молодая и красивая хозяйка и курила сигару, - папиросы тогда еще не вошли в общее употребление. Ее муж переходил из одной комнаты в другую, занимая одиноких гостей или прислушиваясь к беседам говорящих между собой. Против хозяйки от двери к заднему углу у стены был тоже диван; на диване сидят рядышком Чаадаев с Хомяковым и горячо о чем-то между собою рассуждают; первый в спокойной позе, а другой вертится из стороны в сторону и дополняет свою скороговорку жестами обеих рук. Для Алексея Степановича Хомякова разговаривать значило вести диспут. В этом деле он был неукротимый боец: свои состязания ловко и задорливо умел тянуть до бесконечности. Когда же противник начинал с ним соглашаться, он придерется к какому-нибудь его словечку или обмолвке, бросится в сторону и является перед ним с новым запасом вооружения, дает другой оборот спору и другую обстановку и повторяет такую атаку до тех пор, пока тот не выбьется из сил.

У окна в углу, близ дивана с дамами, в кресле сидел неизвестный мне господин, лет тридцати, среднего роста, плотного сложения, с коротко остриженными волосами; круглое и полное лицо без бакенбард и усов, в темно-синем фраке с металлическими, позолоченными пуговицами, гладкими, без гербов. Он был спокоен и медлителен в движениях и неразговорчив, лишь изредка перемолвится с хозяйкой или даст короткий ответ престарелому Александру Ивановичу Тургеневу, который, наклонив голову и сложив руки за спиною, шагал взад и вперед по комнате и, останавливаясь там и сям, прислушивался к говорящим. Легкий гул оживленной беседы время от времени покрывался зычными возгласами Константина Сергеевича Аксакова, который пылко ораторствовал в соседней комнате. Меня очень заинтересовал господин в синем фраке с позолоченными пуговицами. Как и зачем попал сюда, думалось мне, этот петербургский чиновник, такой приформленный и этикетный? К моему крайнему удивлению мне сказали, что это Герцен. Он только что воротился из Вятки, куда

был сослан.

Обстоятельства так счастливо для меня сложились, что в течение нескольких месяцев мне привелось раза по два и по три в неделю видаться с Иваном Васильевичем Киреевским, коротко с ним сблизиться и сердечно полюбить его. Нам удобно было заходить друг к другу, потому что мы жили в соседстве: я на Знаменке у графа, а он в одном из переулков между этой улицей и площадью храма Спасителя. Это было в конце зимы и в начале весны 1845 года. На это время Погодин уезжал куда-то из Москвы, и за него издавал "Москвитянина" Киреевский, а в помощь себе и в сотрудничество пригласил меня. Я работал у него для библиографии и критики; под мелкими статьями своего имени не подписывал, за исключением одной, которую означил инициалами, о чем скажу вам сейчас. Из библиографических отзывов помнятся мне теперь только два. Один был серьезного тона и вполне одобрительный, о книге графа Сперанского, содержащей в себе лекции о красноречии, которые читал он, еще будучи молодым профессором Духовной академии. Другой отзыв о каком-то ученом сочинении Греча по литературе и по русскому языку я покусился настроичить в занозливом и балагурном стиле барона Брамбеуса и "Северной Пчелы", с разными глумливыми подковырками, а под статью с мальчишескою замашкою подписал Ф.Б.: пускай, дескать, читатели подумают и обрадуются, что Фаддей Булгарин поссорился наконец с своим закадычным другом Гречем и печатно обругал его.

Из крупных рецензий поместил я тогда в "Москвитянине" всего две. Одна была об издании "Слова о полку Игореве" с обширными примечаниями Дубенского. На основании строгого филологического метода братьев Гриммов я довольно жестко нападаю на толкования издателя и предлагал свои, которые давали тексту новый смысл, более значительный и жизненный, соответственно старинному быту, преданиям и народной поэзии. В другой я критически разобрал главу о местоимениях из общей или философской грамматики, которую составлял тогда для Академии наук Иван Иванович Давыдов. Будучи вооружен достаточными сведениями по сравнительной грамматике Боппа и по истории русского и других славянских наречий, я легко открыл в этой

статье значительные промахи. Этим, конечно, я не оскорбил бы своего наставника и профессора, которому был во многом обязан, если бы выразился спокойно и прилично, а не запальчиво и насмешливо. Сверх того угораздило меня задеть его личность довольно прозрачными намеками, которые кое-где я вставил в виде примеров, как употребляются местоимения синтаксически в целом предложении. Цензор не заметил этих непристойных выходов и пропустил статью целиком; когда же были они обнаружены и подхвачены злословием, Иван Иванович не на шутку рассердился и обзывал меня молокососом и нахалом; впрочем, к великой моей радости, впоследствии смиростивился ко мне, как вы увидите из его переписки со мной, о которой будет сказано в своем месте.

Итак, в среде московских славянофилов я узнал и полюбил бесподобных людей, а не их славянофильство. Мне и в голову не приходило задаваться мыслью, в чем и как отличает себя эта партия от западников. Это меня несколько не интересовало. Потому и о себе самом я не мог догадываться, кто я таков, славянофил или западник. На этот вопрос натолкнул меня один случай, который живо выступает в моей памяти.

Это было в Кунцеве, где каждое лето проводил граф со своим семейством до конца пятидесятых годов, когда возвратился он из Москвы в Петербург. Дач было тогда в Кунцеве наперечет, около полдюжины. Граф и графиня с детьми помещались в большом двухэтажном доме, где теперь живет летом владелец усадьбы Солдатенков; мне отведены были две комнаты в каменном флигеле, направо от дома. Другой такой же флигель насупротив этого, а также и по обеим сторонам два одноэтажных дома отдавались внаймы другим дачникам. Кроме того было еще три дачи: одна в саду, переделанная из бани, так и слыла банею; другая за липовой рощей называлась Гусарево и третья на дороге к Проклятому месту - Монастырка, получившая это прозвище оттого, что здесь когда-то жила княгиня Голицына, выбывшая из монастыря. На этом месте теперь одна из дач Солодовникова. Утрамбованных широких дорожек по ту сторону тогда не было и мы пробирались по узенькой тропинке, протоптанной по обрыву вдоль крутых берегов Москвы-реки мужиками и бабами из Крылатского и Татарова. Чтобы отдохнуть, бывало, присядешь на гладкое местечко той

тропинки, а ноги спустишь в обрыв, перед бесподобною панорамною, расстилающеюся далеко внизу по ту сторону реки; налево Хорошово с садами и огородами, а направо - широкая равнина на несколько верст вплоть до горизонта, по которому тянутся длинною полоскою дачи Петровского парка с царским дворцом. Привольно было тогда разгуливать по Кунцеву. Повсюду тишь и гладь да божья благодать. Не то что теперь.

Однажды на закате солнца пришли ко мне Дмитрий Львович Крюков, который жил тогда близ Кунцева в Давыдкове, и гостивший у него Тимофей Николаевич Грановский. Они хотели захватить меня с собой на прогулку. Кроме того у Крюкова была и другая цель. Он работал тогда над переводом Тацитовых Аннал и для выработки своего слова усердно изучал памятники русской литературы старинной и народной. Чтобы взять у меня кое-что по этому предмету, оба они принялись пересматривать мои книги, расставленные на полках, и немало дивились разнообразному их содержанию. Тут стояли рядом: "Иоанн Екзарх Болгарский" Калайдовича и "Немецкая Мифология" Якова Гримма, Остромирово Евангелие и Библия на готском языке в переводе Ульфилы, памятники русской литературы XII столетия и сравнительная грамматика Боппа с его же санскритским словарем, "Суд Любуши" и отрывки древнечешского перевода Евангелия, изданные вместе в одной книге Шафариком и Палацким. а рядом "Дорийцы" Отфрида Миллера, русские былины и песни Кирши Данилова, Краледворская рукопись и чешские "Старобылые Складанья" (т.е. стихотворения) в изданиях Ганки, сербские песни Вука Караджича, вперемежку с томами "Божественной Комедии" Данта, которая всегда была при мне неотлучно, и Сервантесов "Дон-Кихот", на чтении которого я учился тогда испанскому языку, и многое другое, чего теперь не припомню; но названные книги, без всякого сомнения, находились тогда в моем кунцевском кабинете, потому что действительно были мне нужны для моих ученых работ, предпринятых именно в то самое время.

Крюков и Грановский полагали меня настоящим славянофилом и теперь приходили в недоумение при виде такой разнокалиберной смеси моих ученых интересов, которые широко и далеко выступали из узких пределов славянофильской программы. "Что же вы такое?"

- спрашивали они меня. - Славянофил или западник?" - "Да и сам не разберу", - им отвечал я. Именно с этих пор стал занимать меня этот вопрос, но нисколько не беспокоить, потому что я не придавал ему большого значения. Теперь не могу припомнить, скоро ли сложилось мое убеждение по этому предмету, но в главных пунктах было оно, кажется, вот какое.

Несмотря на мою любовь к Италии и на благоговение к ученым трудам Якова Гримма, назвать себя западником я решительно не мог, по крайней мере в том смысле, как это прозвище прилагается к Чаадаеву или к Белинскому. Не стану же я, думалось мне, вместе с Чаадаевым поклоняться римскому папе и в качестве "московского аббата" прислуживать ему за обеднею, хотя бы даже и в Сикстинской капелле: я давно знал, что не боги обжигают такие скудельные горшки; не стану вместе с ним же позорить Византию, потому что знаю высокое ее призвание в средневековой истории просвещения не только в России, но и в остальной Европе, потому что восхищаюсь великими произведениями византийского искусства, базиликами времен Юстиниана в Равенне, Палатинскою капеллою в Палермо, собором апостола Марка в Венеции и так далее до бесконечности. Я не презирал вместе с Белинским "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой", как он сам выразился о "Трех Портретах" Тургенева; напротив того, я посвящал себя на прилежное изучение именно русских преданий и их глубокой старины; я не глумился и не издевался вместе с Белинским над нашими богатырскими былинами и песнями, а относился к ним с таким же уважением, как к поэмам Гомера или к скандинавской Эдде. После всего этого, думалось мне, какой же я западник.

Постольку же не мог я назвать себя и славянофилом. Не меньше Константина Сергеевича Аксакова я любил русский язык, но изучал его не по методу мечтательных умозрений заодно с ним, а всегда пользовался точным микроскопическим анализом сравнительной и исторической грамматики. В наших преданиях, в стародавних обычаях, в былинах, песнях и сказках славянофилы видели заветные тайники народных сокровищ доморощенной мудрости, равных которым по их глубине не было и нет во всем мире; для меня же все это служило интересным и ценным

материалом, к которому я старательно подбирал сходные, а иногда и почти одинаковые факты из других народностей, преимущественно из родственных по происхождению, т.е. индоевропейских. Славянофилы восхищались образцовым строем русской семьи, русской общины и земщины, русским третейским судом и другими особенностями так называемого обычного права. Мне гораздо интереснее было анализировать только терминологию семейных отношений, именно самые слова: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, свекровь, сноха, и на основании законов сравнительной грамматики возводить их к санскритскому языку для очевидного доказательства, что наши предки в незапамятные времена вместе с собою вынесли из - своей азиатской прародины уже вполне благоустроенную семью. По географической карте Шафарика и московские славянофилы, увлеченные панславизмом, мечтали об изгнании немцев из Австрии, чтобы совокупить чехов, лужичан, словаков, сербов, поляков и других их соплеменников в одно великое панславянское государство, между тем как я, начинив свою голову параграфами немецкой мифологии Якова Гримма, представлял себе умирительную картину примирения германцев с славянами в идеальной апотеозе асов и ванов, из которых сложилось дружественное и родственное сонмище скандинавского Олимпа.

Но довольно об этом. Больше не стану утомлять вас разными подробностями о занимавшем меня вопросе. На моих глазах зачиналась междоусобная война славянофилов с западниками, и я, не думая, не гадая, очутился между двумя враждебными лагерями, но, сыскав себе укромное местечко, спрятался в своей маленькой крепостце до поры до времени от выстрелов того и другого.

XXIII

Теперь я должен рассказать вам кое-что о моих обязательных занятиях. Кроме учительства в третьей гимназии и исполнения разных поручений графа вместе с уроками его детям, у меня было еще одно официальное дело. Я был тогда прикомандирован в качестве помощника или, так сказать, чиновника особых поручений по кафедре русской литературы к Степану Петровичу Шевыреву. Я должен был прочитывать и оценивать задаваемые им сочинения и

другие письменные работы студентам первого курса словесного, юридического и математического отделений и сверх того сообщать им разные его распоряжения, когда он почему-либо не являлся на лекцию. Для образчика этих моих обязанностей привожу вам следующую записку Степана Петровича:

"Прошу вас, любезный Федор Иванович, объявить студентам:

1) 1-го отделения философского факультета, чтобы они возвратили мне все листы книги французской "Histoire de l'Ecole d'Alexandrie". Поручите г-ну Новикову* мне их доставить сегодня.

* Впоследствии русский посол в Вене и в Константинополе.

2) Студентам юридического факультета, переводившим с немецкого, чтобы возвратили подлинник Ранке. Поручите это г. Гаврилову мне его доставить сегодня.

3) Студентам юридического факультета, переводившим с французского, чтобы невозвратившие возвратили листы подлинника, у них находящиеся. Сих последних прилагается список.

Список, при сем приложенный, прошу вас мне возвратить".

В 1846 году мои учебные занятия с графом Григорием Сергеевичем приходили к концу. В августе он должен был держать вступительный экзамен на юридический факультет Московского университета. По этому поводу вот что писал ко мне граф Сергей Григорьевич из Петербурга от 21 апреля того года.

"Федор Иванович!

Сделайте мне одолжение спросить у Бодянского подробную записку, и ежели возможно, на французском языке, о той справке, которую он ожидал из парижской королевской библиотеки для своего Изборника Святославова*: я поручу это дело Тромпеллеру** и желал бы воспользоваться его пребыванием во Франции. Прошу

вас покорнейше не откладывать с исполнением поручения моего, потому что я здесь остаюсь не более двух недель. Вероятно, через несколько дней вы навестите с Гришею 1-ю гимназию. Не забудьте, что я желаю, чтобы он сам оценил умственное развитие воспитанников 7-го класса и понял бы, чего я вправе и от него самого ожидать. Это убеждение мне нужно для решительного приговора моего насчет вступления или невступления его в нынешнем году в университет. Не скрывайте от него это письмо, ежели он узнает о получении его. Он довольно любопытен и будет себе голову ломать понапрасну, а может быть, и подумает, что между нами есть какой-то заговор.

* Дело идет о греческом тексте Коаленовой рукописи, с которого в Болгарии был переведен этот "Изборник" на славянский язык.

** Он тогда жил за границею, покончив свое гувернерство при сыновьях графа.

Прощайте. С полным доверием к вашему опытному усердию остаюсь вам преданным - *Сергий Строганов*".

Теперь порасскажу вам кое-что о моем учительстве в третьей гимназии. Она называлась тогда реальной, потому что в старших классах разделялась на два отделения - на реальное и классическое, младшие же были общими тому и другому. Первые три года я учил в младших классах, а потом два года в реальных. Пока я изготавлял свое сочинение "О преподавании отечественного языка", гимназия была для меня суций клад. С живейшим увлечением, усердно и старательно применял я на деле в широких размерах и проверял свои идеи и планы, чтобы внести их потом в это сочинение. В обучении грамматики я пользовался методом практическим и больше всего заботился о правописании: постоянно диктовал, давал заучивать басни Крылова, сказки, стихотворения Пушкина и кое-что другое, понятное для детей, но не иначе как предварительно разобравши грамматически каждое слово в задаваемой пьесе. Когда ученики говорили мне ее наизусть, они обязаны были давать мне отчет, где в ней стоит какой знак препинания и как пишется то или другое слово. Повторяемое несколько раз одно и то же правило в употреблении разных форм и их сочетании укоренялось в уме и

памяти учащихся, и они прочно и быстро успевали. Руководств Востокова и Половцева, принятых тогда в гимназиях, нам вовсе не было нужно. Дело, казалось бы, налажено, как быть должно, но именно с этого-то пункта и началась разладица между мною и директором Погорельским. Он требовал настоятельно, чтобы я принял указанный начальством учебник и по его параграфам в последовательном порядке располагал свои уроки. Я наотрез отказался и продолжал идти своим путем. С тех пор Погорельский стал меня преследовать и допекать. Бывало придет ко мне в класс и остается до самого конца урока; усядется где-нибудь в сторонке, а сам чертит что-то карандашом в своей записной книжке, взглянет на меня и покачает головой, а то руками разведет. После урока позовет с собой в учительскую комнату и во время смены, при других учителях, примется давать мне нагоняй по пунктам, которые он настроил у меня в классе. Я отстаиваю себя, препираюсь с ним зуб за зуб и не уступаю ему ни на волос. Я потешался и злорадствовал всякий раз, когда приводилось мне при свидетелях немножко поглумиться над их принципиалом, которого они так боялись, и чем больше он горячился, тем сдержаннее и вежливее я издевался. Когда напечатал я свою работу о преподавании русского языка и слога, казенная служба потеряла для меня всякий интерес. А мой директор все не унимался и пуще прежнего стал нападать на меня, оскорбляя в моей, ненавистной ему, особе не просто своего подчиненного, но и злосчастного автора бесполезной книги, переполненной никому не нужною всякою всячиной. Мне стало наконец невтерпех. Третья гимназия надоела мне и опротивела донельзя. Я завидовал даже извозчику, который подвозил меня к ее крыльцу: он поедет прочь на вольную волю, а меня запрут в застенок, где будут пытаться разными пытками.

Извините, что рассказываю вам о таких дрязгах. Я вовсе не желаю свидетельствовать о своей безукоризненной правоте; без сомнения, во многом был виноват и я. Мне хотелось только дать вам знать, какой был я тогда дрянной чиновник и строптивый раб начальства.

Высоко ценя достоинства Погорельского и всегда относясь к нему благосклонно, граф Сергей Григорьевич, разумеется, знал от него самого о моих с ним пререканиях и ссорах и не раз полушутливо журил меня, внушая мне быть почтительнее к старшим и не

раздражать болезненного человека, который и без того страдает припадками желчи. Я оправдывался, как мог, говорил, что директору гимназии не подобает выносить сор из избы, да еще прямо в кабинет самого попечителя учебного округа, что я не лекарь и не могу отличить, когда человек ругается со злости и когда от прилива желчи, - граф рассмеется и махнет рукой.

В 1846 г. я решил бросить гимназию, а также и всякую другую службу в ведомстве министерства народного просвещения, только опасался препятствий со стороны графа, да и совестно мне было говорить с ним об этом. Вместе с тем думал я покинуть и его дом, где уже незачем было мне оставаться, потому что в августе месяце Григорий Сергеевич поступал в университет, а с обеими его сестрами я свои уроки покончил. Даже и вовсе из Москвы замышлял куда-нибудь уехать, а лучше всего в Петербург, где могу отвести душу в Эрмитаже, в Строгановской галерее или в музее Академии художеств. Будь у меня средства, я бы, кажется, совсем экспатрировался по следам княгини Волконской или нашего профессора Печорина, который и году не усидел на кафедре Московского университета. Как ни стараюсь теперь, никак не могу разобраться в смутной путанице намерений, предположений и планов, которые тогда кишели в моей голове. Помню только одно, что мне нужен был крутой поворот в моей судьбе, нужна решительно другая обстановка в условиях жизни.

Сверх всякого чаяния главное препятствие в исполнении моих желаний само собой устранилось. Граф на все лето 1846 года уехал обозревать рудники и заводы в свои пермские имения, в которых насчитывалось до семидесяти двух тысяч душ. Именно в это самое время я успел, как говорится, сжечь свои корабли и устроить себе во всех отношениях новую жизнь. Из гимназии я вышел в отставку, но в ренегаты, слава Богу, не попал, а просто-напросто женился на Анне Алексеевне Сиротининой и, после долгих скитаний по чужим углам, обзавелся наконец своим собственным домашним хозяйством, водворившись на постоянное жительство в Москве.

XXIV

Иван Иванович Давыдов, получив место директора Педагогического института, оставил в конце 1846 года кафедру

Московского университета и переселился в Петербург. На его место был принят я в качестве стороннего преподавателя, потому что, не защитив магистерской диссертации, я не имел права быть адъюнктом. Таким образом - говорю это с особенной гордостью - я был в Московском университете первым по времени приват-доцентом. Мне дано было четыре лекции в неделю: две на первом курсе математического факультета по теории словесности и две на втором курсе филологического факультета по сравнительной грамматике и истории церковнославянского и русского языка.

При самом вступлении моем на кафедру профессора были в необычайном волнении по случаю одной семейной ссоры, в сущности самой пустой, и я, конечно, не упомянул бы вам о ней в своих воспоминаниях, если бы она не грозила нашему университету вредом, отнимая у него двух самых даровитых и самых полезных профессоров, Крылова и Грановского. Редкий, Кавелин, Грановский и не помню еще кто-то - подали просьбу об отставке, потому что не хотели служить вместе с Крыловым; если же он сам выйдет из университета, то они останутся. Все это произошло, когда граф Строганов обзревал свои пермские владения. Возвратившись в Москву, он порешил во что бы то ни стало для блага студентов удержать в университете и Крылова, и Грановского, которых одинаково очень любил и одинаково ценил, для пользы и процветания наук в Московском университете. Пусть другие выходят в отставку, а Грановского он не выпустит из рук, и дал ему отпуск на неопределенный срок, хоть на целые годы, пока не образумится. Редкий и Кавелин переселились в Петербург, а Грановский с небольшим через год опять стал восхищать своими лекциями московских студентов и публику.

Когда оглянусь далеко назад, это событие, очень важное тогда в интересах профессорской корпорации, сокращается теперь в моих глазах до мелкой семейной интриги перед тою великою бедою, которая вслед за тем постигла Московский университет. Сам попечитель его, граф Строганов, принужден был выйти в отставку. Вот как это случилось.

Издавна был он в непримиримой вражде с графом Сергием Семеновичем Уваровым, и если мог действовать в управлении университетом и учебным округом вполне самостоятельно и

независимо от его министерских предписаний, то лишь благодаря милостивому расположению, которым всегда пользовался со стороны императора Николая Павловича, и всякий раз сносился с ним лично, когда не соглашался с распоряжениями министра народного просвещения. Из приведенного выше письма его ко мне вы могли уже заметить, как он относился к нему и к его льстецам.

В 1847 году граф Уваров предпринял дать нашим университетам новый устав и проект этого устава разослал ко всем попечителям учебных округов в конфиденциальных циркулярах. Граф Сергей Григорьевич не согласился ни с одним из главных положений нового устава и свое мнение обстоятельно изложил в письме к государю. По обычаю давать мне на просмотр все более значительное, что писал он на русском языке, с тем, чтобы я исправил вкравшиеся галлицизмы, он сообщил мне и это письмо к государю, а для ясности дела приложил в краткой записке главное положение устава. По счастью, она сохранилась в моих бумагах. Привожу ее вам слово в слово:

"Министр народного просвещения предложил мне передать на рассмотрение совета проект, составленный в следующем смысле:

- 1) Уничтожить переводные в университетах экзамены и репетиции.
- 2) Принимать окончивших учение во всех гимназиях без экзамена.
- 3) Разбить курсы по семестрам.
- 4) Предоставить выбор курсов на произвол желающим.
- 5) Принимать в университет два раз в год.

Находя, по моему разумению, эти положения разрушительными для настоящего состояния вещей, я решаюсь писать государю. Прилагаю вам при сем черновую сейчас оконченную бумагу, прося прочесть и сказать мне мнение ваше и указать на шероховатость слога. По окончании прошу вас покорно зайти ко мне.

Гр. Строганов".

Таким образом, новый устав провалился. Нестерпимая обида,

нанесенная его составителю, вызывала на отпущение. Оно не замедлило.

При Московском университете, как известно, состоит Общество истории древностей российских. Граф Сергей Григорьевич был его председателем, а профессор Осип Максимович Бодянский - секретарем и издателем исторических материалов и исследований членов Общества и посторонних специалистов. В одной из книг этого периодического издания, называвшегося, как и теперь, "Чтениями Общества истории и древностей российских", было напечатано в переводе известное сочинение Флетчера о России в царствование Иоанна Грозного. Иностранец путешественник в резких очерках и в ярком колорите представляет мрачную картину государственной, сословной и семейной жизни нашего отечества тех далеких времен. Министр народного просвещения воспользовался благоприятным случаем и в донесении государю императору изложил свое мнение о злобности распространять в публике сочинения такого содержания, как повествование Флетчера о России, и притом изданное не частным лицом, а от официального общества, состоящего при императорском университете. Донесение возымело полный успех. По высочайшему повелению дан был графу выговор, а Бодянский наказан перемещением из Московского университета в Казанский.

Получив выговор, граф тотчас же вышел в отставку и, возбудив этим поступком неудовольствие государя Николая Павловича, с тех пор и до конца его царствования оставался у него в опале, продолжал жить в Москве и редко посещал Петербург, и то лишь по своим частным делам. Придворные особы и высокопоставленные государственные люди, дорожившие его знакомством, когда он был у государя императора в силе, теперь отшатнулись от него, опасаясь сближением с ним бросить на себя тень подозрения. Такое же опасение распространилось и в Москве между бывшими его подчиненными, а также и между административными лицами, которые после него управляли Московским учебным округом. Утренние приемы прекратились, и кабинет его опустел; редко, редко кто являлся к нему из тех немногих, которые действительно почитали и любили его, а не униженно преклонялись, заискивая его милостей.

Бодянский, по предписанию министра народного просвещения, должен был поменяться своею кафедрою славянских наречий с Виктором Ивановичем Григоровичем, который читал тот же предмет в Казанском университете, но ехать в Казань наотрез отказался и, прекратив лекции, преспокойно продолжал жить в Москве как ни в чем не бывало. Между тем Григорович, беспрекословно повинаясь воле высшего начальства, явился в Москву, но, чувствуя себя в самом ложном положении неповинного орудия, которым карают его товарища по кафедре, не осмеливался начинать свои лекции. Так тянулась эта бессмысленная процедура около двух лет. Бодянский какими-то судьбами взял свое и воротился на покинутую им кафедру Московского университета, а Григорович уехал в Казань. Тем дело и покончилось. Высочайшее повеление было приведено в действие только наполовину.

Во время своего пребывания в Москве Виктор Иванович находился в самом удрученном расположении духа. И без того он был застенчив и робок, благодушен и деликатен, а теперь, будучи замешан в неблаговидной интриге у всех на виду, он совестился показаться в люди и упорно избегал всяких знакомств. Единственный человек, с которым он тогда сблизился и даже подружился, был я. В моем кабинете он находил себе самый радушный прием и в откровенной беседе со мною отводил душу от угнетавшей его тоски.

Теперь обращаюсь к моему доцентству. В лекциях сравнительной грамматики по Боппу и Вильгельму Гумбольдту я ограничился только общими положениями и главнейшими результатами в той мере, сколько было мне нужно, чтобы определить отличительные черты группы славянских наречий и указать им надлежащее место в среде других индоевропейских языков.

Историю русского языка я вел в связи с церковнославянским и на первый раз остановился на Остромировом Евангелии. Меня особенно интересовал тогда вопрос о первобытных и свежих формах языка, еще не тронутых и не переработанных на новый лад искусственными ухищрениями переводчиков Священного Писания. Для этой цели мне были нужны не сухие, бессодержательные окончания склонений и спряжений, а самые слова как выражения впечатлений, понятий и всего мирозерцания народа в

неразрывной связи с его религиею и с условиями быта семейного и гражданского. Таким образом, я разделил свой курс истории языка на два периода: на языческий с мифологию и на христианский. Извлечения из этих лекций я напечатал в 1848 году в виде магистерской диссертации под заглавием: "О влиянии христианства на славянский язык. По Остромирову Евангелию".

Вот несколько главных положений из этой диссертации.

История языка стоит в теснейшей связи с преданиями и верованиями народа. Древнейшие эпические формы ведут свое происхождение от образования самого языка. Родство языков индоевропейской отрасли сопровождается согласием преданий и поверий, сохранившихся в этих языках.

Славянский язык задолго до Кирилла и Мефодия подвергся влиянию христианских идей. Славянский перевод Евангелия отличается чистотою выражения христианских понятий, происшедшею вследствие отстранения всех намеков на прежний дохристианский быт. Готский перевод Библии, сделанный Ульфилу в IV веке, напротив того, являет едва заметный переход от выражений мифологических к христианским и составляет любопытный факт в истории языка, сохраняя в себе предания языческие для выражения христианских идей. В истории славянского языка видим естественный переход от понятий семейных, во всей первобытной чистоте в нем сохранившихся, к понятиям быта гражданского. Столкновения с чуждыми народами и перевод Св. Писания извлекли славян из тесных, домашних отношений, отразившись в языке сознанием чужеземного и общечеловеческого. Отвлеченность славянского языка в переводе Св. Писания как следствие ясного разумения христианских идей, очищенных от преданий дохристианских, усилилась грецизмами, которых, сравнительно с славянским текстом, находим гораздо менее в готском. По языку перевода Св. Писания можно себе составить некоторое понятие о характере переводчиков и того народа, в котором произошел перевод Св. Писания.

Чтобы познакомить вас с некоторыми подробностями моего диспута, сообщаю вам следующее мое письмо к Александру Николаевичу Попову в Петербург, доставленное мне издателем

"Русского Архива" Петром Ивановичем Бартеневым:

"Любезнейший Александр Николаевич. Наконец диссертация моя прошло сквозь огонь и воду, т.е. напечатана и защищена. Диспут был 3 июня, в четверг; спорили долго, от 12 почти до 4 часов. Возражали Шевырев, Бодянский, Катков, Леонтьев и Хомяков*. Шевырев хотел, чтобы я разделил мифологический период языка на четыре, а потом и на пять отделов; в слове *колымага*, *колыма* - определил двойственным числом (от формы *коло*) - колесо; в выражении русских песен: "*спела тетивка*", по академическому словарю, видел *готовую*, *быструю* тетиву, тогда как по-моему она *поет*: выражение, не чуждое Гомеру и вообще языку эпическому; нападал на меня за то, будто я вижу в нашей поэзии влияние скандинавское, но я ему доказал, что это ему померещилось, потому что сближать то, что само собою сближается, еще не значит выводить одно из другого. Бодянский прицеплялся к каждому словопроизводству, но только дополнял меня, а не опровергал. В заключение своих возражений Бодянский сделал мне комплимент, которого я столько же не ожидал, как, вероятно, и вы: мои-де исследования особенно его радуют тем, что я беспристрастно отдаю каждому языку свое, и славянскому, и немецкому, и проч.; потом коснулся было моего 5-го тезиса об изучении славянских преданий в связи с немецкими, но я его успокоил, объяснив, как это я разумею, и он опять согласился. Катков нападал на меня за соединение интересов лингвистических с историческими, так что не видно, кто в моей диссертации - как он выразился - "хозяин", лингвист или историк: хозяином диссертации назвал я самого себя. Нападал на недостаток системы; я оправдался тем, что выразил уже в своем предисловии. Леонтьев коснулся моего понятия о чистоте славянского перевода Св. Писания, а потом отстаивал мнения Копитара о паннонизмах в церковнославянском языке. Хомяков начал свои возражения общим замечанием: что теперь некоторое время наука в Европе остановилась в своем развитии, и нам, русским, только одним, предстоит обрабатывать ее, а потому моя диссертация для него приятное явление. Затем нападал на меня за излишнюю осторожность в сличении языка славянского с санскритским и приводил примеры: из его слов я вывел, что он считает санскрит местным наречием языка русского. Наконец, Шевырев сделал

общее заключение обо всем диспуте и заявил, что были нападения частные, более обращенные на период мифологический, но собственно мой предмет о влиянии христианства на славянский язык остался за мною, и я сидел в своей крепости, как он выразился, непобедим.

* Алексей Степанович, известный славянофил, о котором я уже говорил вам.

Не боялся я вам наскучить описанием своего диспута по уверенности, что вас интересует все, совершающееся в нашем университете.

2-й курс словесного отделения отвечал у меня на экзамене из языковедения прекрасно, что доставляло мне истинное удовольствие. Хотя я до сих пор в университете в самом, что называется, *ложном** положении, но совесть покойна; постановил в отделении новую науку и зарекомендовал ее перед начальством и перед студентами. Шевырев после экзамена сказал, что видно, что студенты мой предмет полюбили и занимались им с увлечением. И я совершенно мирюсь, что полтора года служу в университете без жалованья и без чинов".

* Так выразился я о своей доцентуре.

Я был кругом виноват перед своим наставником Иваном Ивановичем Давыдовым в дерзких выходках, которые себе позволил в критике на его статью о местоимениях. Теперь, чтобы очистить совесть, я послал ему в Петербург свою диссертацию при письме, в котором искренно прошу извинить меня за нанесенное ему мною оскорбление. С особенным удовольствием сообщаю вам его ответ в письме от 9 июня 1848 года:

"Приношу вам душевную благодарность за присылку мне прекрасного вашего рассуждения: о влиянии христианства на

славянский язык. Я думаю, на книгу вашу так много сделано возражений во время диспута, что вам скучно бы было возобновлять подобные прения в письме. Возражения же вызываются и по новости, и по важности предмета. Сближение индоевропейских языков с санскритским ныне стало общим местом университетских, даже гимназических преподавателей филологии, но вам принадлежит честь совершенно нового дела - сличения славянского перевода Библии с готским. Эта часть рассуждения весьма любопытна.

Еще благодарю вас за добрые ваши чувствования ко мне, возбуждаемые в вас, вероятно, воспоминаниями о студенческой вашей жизни в университете. Действительно, я с радостью вижу в ученых трудах ваших то направление, какое я старался дать занятиям вашим в продолжение курса. Тогда о Боппе, В. Гумбольдте, Гримме только в Московском университете говорили на лекциях, и именно на лекциях русской словесности. Тут познакомились студенты с Добровским, которого славянская грамматика переведена по моему экземпляру. Правда, было время, когда вы не сознавали этого, но теперь, в период нравственного сознания, вы не можете скрыть от самих себя того, что известно всем и каждому из ваших товарищей. Такова сила нравственного закона!

Желаю вам новых успехов литературных; с истинным уважением к вашим достоинствам имею честь быть вашим почитателем. - *Иван Давыдов*".

Итак, успешно защитив свою диссертацию, я приобрел степень магистра и немедленно вслед за тем получил штатное место адъюнкта по кафедре русской словесности.

XXV

В самом конце сороковых годов настало для Западной Европы смутное время, грозившее сокрушить уже заранее поколебленные основы всего государственного и общественного строя. Чтобы упредить и предотвратить вторжение того же в пределы нашего отечества и очистить умы от всякого налетного поветрия, были приняты у нас строжайшие меры. Я не буду говорить вам о них ни

вообще, в целом их объеме, ни о разных подробностях, а расскажу лишь то, что видел своими глазами и что сам в себе переживал и перестрадал.

В первый раз во всем могуществе предстала передо мною эта очистительная гроза в живом олицетворении карающей власти, и, как нарочно, в стенах нашего милого университета. Однажды во время смены явился к нам в профессорскую комнату генерал-губернатор Закревский с своим адъютантом. Мы изумились такой небывальщине и поразились ею. Что за притча? Времена были тяжкие; отовсюду жди беды. Закревский что-то сказал инспектору. Инспектор направился к стоявшему между нас профессору греческой литературы Гофману и пригласил его следовать за генерал-губернатором, который желает прослушать его лекцию. Когда они вышли за дверь, мы уже совсем потеряли голову: не то смеяться, не то горевать. Гофман по-русски говорить не умел, а студентам читал по-латыни и переводил с греческого языка на латинский. Что же будет слушать Закревский на его лекции, не понимая ни слова на этих языках?

Вечером я узнал, что Гофман арестован, а через день был выслан под стражею за границу. Полицейские сыщики перехватили его письмо к брату, который состоял тогда членом германского Конгресса агитаторов во Франкфурте-на-Майне. Таким образом, наш товарищ был обвинен, как соумышленник западных мятежников.

Вслед за тем наши университеты подверглись великой опале. Число студентов филологического, математического и юридического факультетов предписано было сократить до трехсот, а медицинский - оставить на прежнем положении. В аудиториях появились две новые кафедры каких-то военных наук с двумя полковниками; в актовом зале принялись маршировать студенты по команде взятого напрокат капитана. Я нарочно заходил туда посмотреть, как их там муштруют, растянув в шеренгу по толстому канату, за который они должны держаться обеими руками, когда маршируют. Так как университет получал некоторым образом характер воинский, то для поддержания иллюзии нашли вполне пригодным и самому зданию придать атрибуты вооруженной крепости. В этих видах на выступления по обеим сторонам широкой лестницы было поставлено

по большущей пушке. Я принадлежал, как вы сами видите, к тогдашней образованной молодежи, к ученым и литераторам из поколения ровесников царя-освободителя, государя императора Александра Николаевича. Всего четыремя днями был я старше его. Мы все возрастали, формировались и преуспевали под давлением внушительного страха, как начала всякой премудрости, под бдительною ферулой и с вразумительной указкой в руках. Нам говорили: меньше думай и больше слушайся того, кто тебя старше и потому умнее; не верь всякой правде, чтобы не нажить беды, потому что и сама правда бывает двоякая: злая - от наущения дьявольского, и добрая, которой поучайся от тех, кому подобает ее ведать; иной раз и ложь не перечит правде, даже ее заменяет, когда, как говорится, бывает она во спасение. Одним словом, мы воспитывались в благонравии по рецепту тогдашней австрийской дипломатии канцлера Метерниха.

Когда же мы только что перешли за половину пути человеческой жизни, определяемую тридцатью четыремя годами, и полагали себя настолько зрелыми, что можем руководить поколение младшее, как вдруг нежданно, негаданно выпорхнуло оно из наших рук и очутилось у нас на плечах. Мы еще не успели хорошенько передохнуть от гнета стародавнего, как тотчас же подпали под деспотизм новорожденный, и как горько было нам чувствовать, что из недоростков мы стали для нового поколения не старшими, а устарелыми. Я бы сравнил наше положение в этом обоюдном натиске со спелыми зернами между двух жерновов: какая вышла их всего этого мука - судить не мое дело.

В безотрадную для нашего университета годину грозной опалы подверглись на первых же порах бдительному подозрению молодые профессора. Они учились за границею и уж, конечно, понабрались там всяких идей. А надобно вам знать, что года за два до вспыхнувшего на Западе мятежа составиля у нас небольшой профессорский кружок около Тимофея Николаевича Грановского. Тут были еще юные тогда, преисполненные энергической бодрости и смелых надежд для успеха в ученых трудах, а теперь давно уже отошедшие в вечность, Кудрявцев, Соловьев, Леонтьев, Шестаков (брат бывшего попечителя Казанского учебного округа) и некоторые другие. Собирались мы поочередно то у того, то у

другого каждую неделю по субботам вечером в шесть часов, пили чай, в десять часов ужинали, а в одиннадцать расходились по домам. Эти вечерние досуги, беззаботные и веселые, в моих воспоминаниях слились нераздельно с золотым временем незабвенного товарищества в казеннокоштных номерах Московского университета. Теперь в дружеских беседах нашего интимного кружка я вновь переживал свое студенчество, потому что и впрямь мы все из серьезных профессоров превращались тогда в юных студентов.

И что за люди были мои милые собеседники! Никого на свете не знал я лучше Грановского, совершеннее во всех отношениях. Его благодущие и снисходительности не было пределов. Он не знал себе цены и бескорыстно отдавал предпочтение другим; например, исторические сочинения своего ученика Кудрявцева он ставил всегда гораздо выше своих собственных, и как он сердечно радовался его успехами в литературе! По своей безукоризненно светской любезности и по игривому, незлобивому остроумию он был душою всякой беседы. Безмятежная натура его, чистая и светлая, была всегда охраняема от болезненных уколов самолюбия сознанием своего собственного достоинства. Не преднамеренно и обдуманно, а вполне наивно, бессознательно стоял он выше всяких наносимых ему оскорблений. Добродушно и благодарно выслушивал он, когда говорили ему о его промахах и ошибках.

Чтобы не затянуть рассказа, из прочих моих товарищей упомяну только о Павле Михайловиче Леонтьеве, оригинальные достоинства которого заслуживают особенного внимания. Обыкновенно говорят, что только в романах живет настоящая, истая дружба, идеально беззаветная. Леонтьев родился на свет, чтобы доказать людям возможность такой дружбы и в действительности. И сердце для того было у него особенное, сердце страстно любящей матери такую безграничную любовью, которая, по-сказанному, сильнее смерти. И, действительно, он за друга своего готов был пожертвовать жизнью и дрался на дуэли; больше того; он не раз жертвовал за него своею честью, своим добрым именем, что для благородных натур дороже жизни. Вот как это бывало. Когда друг его смастерит что-нибудь нехорошее или злое, он в огласке берет его поступок на себя; если же сам он что-нибудь

сделает очень и очень хорошее и похвалят его люди, то он всегда скажет, что он тут ни при чем. В такой неслыханной его преданности страстная любовь неразрывно переплелась с яростною злобою беспощадно поражать врагов, которые осмелятся поднять руку на драгоценный предмет этой дружеской преданности. Лично своих врагов у Леонтьева не было, но он немилосердно казнил врагов своего друга. С таким нежным и мягким сердцем соединял он крепкий ум, вполне математический, который питается цифрами и вычислениями, но не в одних отвлеченных комбинациях, а в приложении к делу на практике. Он и говорил ясно и четко, с выдержкою и расстановочно, будто нанизывает бисеринки одну за другою, так чтобы слушающий усвоил каждую поодиночке и слагал себе целую нить. В цветущее время нашего филологического факультета, время Грановского и Кудрявцева, он увлекал и воодушевлял студентов своими лекциями классических древностей, и его аудитория была битком набита слушателями. Вместе с тем был он домовитый хозяин и отличный экономай, умел и любил приращать капиталы, свои и чужие, большие или маленькие - все равно: его интересовал не барыш, а самый счет и учет. Когда мне случалось покупать акции или облигации, я обращался к нему за советом и никогда не оставался в убытке. Он мог бы быть образцовым министром финансов, обогатил бы казну новыми доходами и никого бы не обездолил, так чтобы и "волки были сыты, и овцы целы".

Извините, что я заговорился о своих милых товарищах. Прошу припомнить, что речь идет о наших вечерних беседах. Разумеется, я перезабыл теперь, о чем и как мы толковали, и что могло нас в особенности занимать. Живо сбереглись в моей памяти кое-какие клочки из рассказов и анекдотов о разных знаменитостях, которые сильно меня заинтересовали тогда, потому что до тех пор были мне неизвестны. Вот, например, профессор богословия в Берлинском университете Неандер, великий чудак, рассеянный как нельзя больше, престарелый холостяк, о котором заботится и печется его сестра, такая же старая, кормит его, обувает и одевает, а иногда и напуганно по улицам, чтобы не заблудился. Читая студентам лекции, всегда стоит он на кафедре и ни разу не присядет; в руках непременно держит, перевертывает, ломает и обрывает гусиное перо, которое предварительно положат ему на кафедру студенты.

Читает он свой предмет всегда экспромтом, глубоко обдуманно, ясно, плавно и красноречиво, будто по печатной книге; в себе сосредоточен, ничего кругом не видит и не слышит, только без устали ломает свое гусиное перо. Квартиру он нанимал довольно далеко в одной из улиц, идущих по одну сторону известной Unter den Linden, на которой стоит университет. Чтобы ближе ходить ему на лекции, сестра перевезла его на новую квартиру невдалеке от университета, но по другую сторону от той улицы, и сначала несколько раз провожала его до университета, чтобы он попривыкнул к неизвестной для него местности. Дело пошло на лад. Туда стал он ходить один, но оттуда возвращался домой по прежней дороге, делая большой крюк: сначала направится к старой квартире, а потом уже пойдет на новую. Был один смехотворный эпизод в истории костюма этого оригинального богослова. Он не любил менять свое платье и, при невнимательности ко всему окружающему, был бы готов износить его до лохмотьев, если бы не сестра: без его ведома она закажет ему новое одеяние и рано утром положит на место старого. Однажды утром портной должен был принести ему панталоны взамен изношенных, а сестра тем временем отправилась за провизией. Возвратившись домой, она брата уже не застала: он ушел на лекцию. Увидев, к своему ужасу, что старые панталоны лежат не тронуты, она в переполохе схватила их под мышку и бросилась в университет, воображая, что он забыл их надеть. Подбегает к затворенным дверям его аудитории и не верит своим ушам: брат ее преспокойно разглагольствует будто ни в чем не бывало. Лишь только он кончил лекцию, она ринулась к брату, проталкиваясь между студентами, а он, нисколько не удивившись ее внезапному появлению, в ответ на ее попытки преспокойно отвечал: "Да они же на мне; вот посмотри", и в доказательство приподнял обе полы своего длинного сюртука. На нем были новенькие панталоны, которые в отсутствие сестры принес портной.

Вот вам на выдержку образчик наших поучительных и увеселительных бесед. Могу дать присягу, что не слышал я в них ни слова о политике с ее дрызгами, потому что мои светлые воспоминания не омрачатся ни одним темным или смутным пятном, подернутым скукою, а для меня нет ничего скучнее, как

тарабарская грамота политических дебатов.

Вслед за тем как прогнали Гофмана из Московского университета, прекратились и наши товарищеские сходки. В мероприятиях бдительной прозорливости предполагалось, что посеянные им у нас зловредные семена западного мятежа могли дать ядовитые ростки. И вот теперь именно из того самого факультета, к которому принадлежал Гофман, несколько молодых профессоров собираются еженедельно в один и тот же день и час и в разных местах, о чем-то толкуют, а посторонних гостей в свое общество не допускают. Это не даром; тут что-то не ладно. Но, слава Богу, нас предупредили вовремя, и дело обошлось без передраги.

Но московским славянофилам пришлось плохо. Улики были налицо. Ничем не стесняясь, они привыкли откровенно высказывать свои задушевные убеждения и смелые планы не только в интимном кружке друзей, но и в многочисленных собраниях. Стоило только изложить в подробном протоколе их своеобразные мнения, идущие вразрез с принятым порядком вещей, и самое тяжкое обвинение в их крайней неблагонамеренности будет готово. Так и сделали, присовокупив к такому протоколу поименный реестр обвиненных. Впрочем, до поры до времени их оставили на свободе и наказали только тем, что взяли с них подписку решительно ничего не печатать из своих сочинений.

Осадное положение нашего университета под грозною опалой тянулось до годовщины его столетнего юбилея 12 января 1855 года. В этот незабвенный день император Николай Павлович осчастливил нас великою милостью. Он повелел немедленно устранить все неудобные стеснения, недавно вызванные временною необходимостью, и привести университетские порядки и льготы в прежнее их положение.

Ко дню юбилея профессорами нашего университета было изготовлено несколько изданий. Главным деятелем и руководителем в этих работах был Степан Петрович Шевырев; он же написал и историю Московского университета. Что касается до меня, то по его же указанию и плану я составил целую монографию о нескольких избранных рукописях Синодальной библиотеки с приложением раскрашенных снимков, чтобы дать точное понятие

об орнаментации заставок и заглавных букв русских писцов от XI столетия и до XVI. Монография эта вошла в состав палеографического сборника, который был издан тоже ко дню юбилея. Лично для меня имеет она большое значение. В ней, по указанию Степана Петровича, я в первый раз коснулся русской орнаментики, которая впоследствии стала одним из любимых предметов моих исследований.

Я работал для этой монографии в Патриаршей палате, которую занимал тогда ризничий, архимандрит Савва, ныне архиепископ Тверской. Он заведовал и Патриаршею ризницею, и Синодальною библиотекою, из которой нужные мне рукописи приносились в ту палату. Именно в этом-то обиталище всероссийских патриархов впервые увидел я человека, который потом в течение целых тридцати лет был моим искренним другом, усердно помогал мне в моих ученых работах, и мы делились с ним нашими семейными радостями, заботами и печалью.

Это был Алексей Егорович Викторов. Учился он в Московской Духовной академии вместе со своим товарищем иеромонахом Саввою, который по окончании курса был возведен в сан архимандрита и определен ризничим Патриаршей ризницы, а Викторов по окончании курса получил место в архиве министерства иностранных дел и, подружившись там с знаменитым библиоманом Ундольским, усвоил себе его специальность и пристрастился к рукописям и старопечатным книгам. Все свободное от службы время он проводил у своего товарища архимандрита Саввы, помогал ему в его археологических трудах, а сам неумолимо изучал и исследовал сокровища Синодальной библиотеки, которую он знал, как никто лучше его. Когда я готовил свою юбилейную монографию, именно он-то отыскивал и приносил в Патриаршую палату нужные мне рукописи, а вместе с тем давал мне наставительные указания в библиографическом отношении, как ими пользоваться. Это было для меня дело новое, и он ввел меня в самую его суть. Радужными его услугами и моею признательностью началась тогда наша неизменная дружба, которая год от году усиливалась и скреплялась, благодаря его ревностной заботливости о моих успехах в науке и на кафедре. Читая студентам историю древнерусской литературы, я постоянно

нуждался в его помощи для указания и приискиванья надлежащих рукописей и старопечатных книг. Ему же я обязан внесением множества наиболее значительных и любопытных статей в мою большую хрестоматию из лучших и редких памятников нашей старины.

Я, в свою очередь, помогал ему чем умел. По моей рекомендации он получил место помощника библиотекаря в университетской библиотеке, а потом - хранителя рукописей и старопечатных книг в московском Публичном и Румянцевском музее, как только было основано у нас это учреждение. Около этого времени он женился. Для истории нашей дружбы я непременно должен вам рассказать, как это случилось.

В конце пятидесятых годов и в начале шестидесятых я был, между прочим, заинтересован женским образованием и без всяких служебных обязательств и вознаграждения взялся инспекторствовать в одном из женских училищ, состоявших под попечительством княгини Софьи Степановны Щербатовой, именно в Мариинско-Ермоловском. В качестве профессора я мог дать этому заведению самых лучших учителей из моих университетских слушателей. Чтобы вы судили сами, достаточно будет назвать Кананова, ныне директора Лазаревского института восточных языков, и Поливанова, который впоследствии основал лучшую из частных гимназий. В свое Мариинско-Ермоловское училище я поместил преподавателем русской литературы и Викторова. Он увлекал своих учениц занимательным изложением подробностей из более значительных памятников нашей старины, и они любили его, а лучшая из них, первая в классе, так пленила Алексея Егоровича своими дарованиями и прилежанием, что он объяснился ей в любви, лишь только она окончила курс и еще оставалась в заведении, где жила с десятилетнего возраста. Она с великою радостью, можно сказать, с благоговением приняла его предложение. Ей было тогда всего шестнадцать лет, а ему за тридцать. Это была княжна Марья Александровна Макулова. Я решительно ничего не знал и не догадывался об интересном романе, который зачинался в стенах женского училища, пока сам Алексей Егорович не покаялся и не открылся мне во всем. Я только развел руками и, не медля ни минуты, взял Марью Александровну к

себе и поместил в своем семействе. Это было в январе 1860 г. В течение зимы по вечерам жених навещал у нас свою невесту и не переставал услаждать ее своими беседами, которые содержали в себе не праздное щебетанье влюбленных, а назидательное обсуждение и решение разных мудреных вопросов науки и жизни, и особенно так называемый женский вопрос, которым оба они сильно интересовались. Впрочем, больше говорил и ораторствовал Алексей Егорович, а Марья Александровна только слушала внимательно и подобострастно и лишь изредка ввернет свое меткое словечко. Она была молчалива и сдержанна, но замечательно умна и рассудительна. Иногда он читал ей разные литературные произведения и объяснял их, будто в классе на уроке, так что, глядя на них, всякий бы сказал, что это не жених с невестой, а учитель с ученицею, и каждый день все больше и больше завязывался и скреплялся этот оригинальный союз, так сказать, педагогического бракосочетания, которое наконец и воспоследовало на Фоминой неделе в церкви Пятницы Божедомки близ Пречистенки, в переулке, где квартировал тогда Викторов. Вскоре затем он переселился со своею молодою женой на казенную квартиру, в одном из корпусов Румянцевского музея. Не долго наслаждался он семейным счастьем. Года через два Марья Александровна скончалась скоропостижно.

XXVI

Когда граф Сергей Григорьевич вышел в отставку, я сблизился с ним так, что никогда прежде. Заботы о Московском университете, которым он ревностно предавался, теперь обратились на меня и еще на тех немногих из молодых профессоров, которые умели ценить его и остались ему верны и преданны. Видя его в незаслуженной опале, я сострадал ему, но не сожалел, потому что жалость казалась чувством одинаково унижительным и для него, и лично для меня самого. Я только любовался на него и поучался, как переносить житейские невзгоды. Он представлялся мне непреклонным вассалом, которому нанесли обиду в его правах и обязанностях. На мои глаза это был последний из придворных могикан, которые во времена Екатерины Великой, императора Павла и Александра Благословенного поспешали из Петербурга в Москву, чтобы коротать дни и годы в уединении своих

вельможных палат.

Мое присутствие - я это чувствовал и видел - было для него необходимо, развлекало его и радовало. Я посещал его так часто, как только мог, и непременно должен был обедать у него, по крайней мере, раз в неделю и особенно в дни семейных праздников, на которые никого из посторонних не приглашалось. В 1849 и 1850 годах из экономии я нанимал дачу в Давыдкове, маленькой деревушке, верстах в двух от Кунцева, где каждое лето, как я уже вам говорил, жил граф. Мое отдаление тяготило его; ему доставало меня. До сих пор сохранил я одну его записку как памятник дружеского расположения его ко мне.

"Федор Иванович! Мне кажется, что вернее всего для вас будет нанять квартиру у священника; но как она дороже крестьянской избы, я приду вам на помощь и надеюсь, что вы мне не откажете в удовольствии способствовать к приятнейшему вашему устройству на лето. Зайдите ко мне сегодня и не теряйте время, чтобы предупредить кунцевского священника.

Вам преданный - *гр. С. Строганов. 24-го апреля 1851 г.* " Таким образом, на дачное время 1851 года я поместился со своим семейством в кунцевском церковном доме, в квартире священника, которую каждое лето он сдавал внаймы дачникам; потому она вполне была обеспечена исправным отоплением. При ней была большая терраса, выходившая в густо заросший садик с беседкою под тенью переплетенных ветвей акации. С тех пор и до 1867 г. проводил я лето на этой даче, за исключением двух годов, когда я уезжал из Москвы сначала в Петербург, а потом за границу. Летнее время было для моих ученых работ самое бойкое и благотворное. Уютный уголок той террасы с письменным столом, узенькие дорожки между высокими деревьями того садика и та уединенная беседка под зыбким пологом листвы навсегда слились в моей памяти с самыми счастливыми часами, днями и с целыми неделями моей жизни, потому что именно здесь я обдумывал, соображал и написал большую часть моих монографий, вошедших потом в оба тома "Исторических очерков русской народной словесности и искусства", а также и большую грамматику в двух частях.

Теперь, когда я стараюсь передать вам о моих близких, позволяю

себе сказать - интимных отношениях к графу, в моих воспоминаниях выступают они передо мною на первом плане не в московской обстановке, не в московском его кабинете, в бильярдной или в столовой, а в кунцевском саду и в липовой роще, куда каждое утро отправлялся я гулять вместе с графом, а к девяти часам возвращались мы оба на широкую террасу его дачи, обставленную лавровыми и померанцевыми деревьями, кипарисами, миртами и другими растениями, и вдвоем за большим обеденным столом пили кофей, причем граф угощал меня своими редкими сигарами. Не умею теперь рассказать вам, о чем и как велись наши нескончаемые беседы: они были до бесконечности разнообразны и всегда увлекали меня живейшим интересом; граф обладал всесторонним образованием, много знал и много видел на своем веку, и очень часто наш разговор принимал характер назидательного диалога между смышленным учеником и его опытным и разумным наставником. Я поверял ему свои ученые планы и задачи, вводил его в подробности предпринятых мною работ, и он внимательно выслушивал все это, иногда делал свои замечания и ободрял меня к новым и новым успехам в тот решительный для меня трудовой период жизни, когда я открывал себе путь к самостоятельной деятельности. В дополнение к моим научным интересам и чтобы расширить уже слишком тесный круг моих воззрений на современность, он посвящал меня в тайны международной дипломатии и в более существенные и настоятельные вопросы правительственных и государственных мероприятий. Не любя терять время на газетную полемику передовых статей и корреспонденции, я вполне довольствовался немногими сведениями, которые сообщал мне граф, и тем более потому, что он, конечно, стоял ближе издателей русских газет к текущим событиям и намерениям или предначертаниям нашего правительства. Особенно назидательны были для меня его глубокие и проницательные взгляды на освободительные преобразования, воследовавшие с воцарением императора Александра Николаевича. Опытный и прозорливый политик может иногда безошибочно заглянуть в будущее не в силу гадательного предвидения, а просто по расчету, как математик легко решает мудреную задачу. Многие из прискорбных событий последующего времени не были для меня нечаянной новостью. Я их боязливо поджидал и, когда они наступали, немало дивился осторожной и

предусмотрительной политике этого глубокомысленного государственного человека. Под его благотворным влиянием слагались, созревали и наконец окрепли в душе моей умственные и нравственные убеждения и основные понятия о людях и жизни: именно с тех пор я стал таким, как чувствую и сознаю себя и теперь, в глубокой старости.

Мои обязанности домашнего секретаря при графе не прекращались и по выходе его в отставку, только приняли они другой характер. Он делился со мною своими учеными и литературными занятиями, и я должен был просматривать написанное им для печати и исправлять, как он выражался, "шероховатость слога", т.е. кое-какие галлицизмы, неизбежные у человека, который в течение всей жизни привык говорить больше по-французски, нежели по-русски.

В 1849 г. он издал свою археологическую монографию о Димитриевском соборе во Владимире на Клязьме конца XII столетия, с многочисленными снимками внутренних и наружных частей этого здания, барельефов и орнаментов, а также и стенной иконописи. До сих пор сочинение это высоко ценится любителями русской старины и специалистами. Обнаружив обширные сведения в истории византийского и романского стиля архитектуры, граф не ограничился только технической стороной предмета, но вошел в исторические исследования о сооружении храма, пользуясь свидетельствами наших летописей.

Эту монографию, прочитанную мною дважды, сначала в писаном оригинале, а потом в корректурных листах, я проштудировал основательно еще до выхода ее в свет. Она оказала на меня решающее действие, открыв моим глазам новую область для исследований неизвестных мне до того времени богатых материалов русской монументальной и художественной старины в сравнительном изучении их с средневековыми стилями византийского и западного искусства. Вместе с тем руководству и указаниям графа я обязан знакомством с самым главным пособием для научной разработки древнерусской иконописи, именно с так называемым "Иконописным подлинником", т.е. руководством для мастеров, в каком виде, на основании православного предания, живописать священные лица и события, в их однажды навсегда принятых и установившихся типах, или, как в старину говаривали:

"По образу и подобию". У графа было два таких подлинника: один "толковый", содержащий в себе подробные описания иконописных сюжетов, а другой "лицевой", состоящий из миниатюр, соответствующих толкованиям текста. Последний, XVI столетия, в руководство мастерам издан Бутовским, директором Строгановского училища технического рисования. Я так сильно был заинтересован этими рукописями графа, что составил обширную монографию о русском иконописном подлиннике, дополнив свои исследования многими подробностями и из других рукописных источников. В то же время я пристрастился и вообще к лицевым рукописям, т.е. к таким, в которых какой-либо текст объясняется наглядно в миниатюрах. Лет сорок или тридцать назад любители древнерусской письменности вовсе не обращали внимания на миниатюры, и лицевые рукописи были ни по чем. Я покупал их за бесценок на Толкучем рынке у Пискарева и на Варварке в Кожевном ряду у старика Большакова, который в своей лавке, при опойковом и подошвенном товаре, торговал и древними рукописями, а также и старопечатными книгами. Им обоим я много обязан своими сведениями в русской палеографии, особенно в техническом отношении. По их же указанию я знакомился с разными лицевыми рукописями, а вместе с тем и покупал их, как например: жития Андрея Юродивого и Василия Нового с любопытным эпизодом о мытарствах, которые вполне соответствуют католическому пургаторию; сказание Палладия Мниха о Страшном Суде, повествование о том, как черти издеваются над грешниками, вроде западной "Пляски Смерти"; история о пустыннике Варлааме и о царевиче Иосафате, составленная под влиянием буддийских преданий, и многое другое. Мне казалось, что не обращать внимания на миниатюры при тексте и не понимать их научно - значило бы не исчерпывать вполне всего, что давал писец своим читателям, а вместе с тем обидно чувствовать себя отсталым в эстетическом воспитании XIX столетия перед смышленным грамотеем допетровской Руси. Вот почему в обоих томах исторических очерков русской народной словесности и искусства свои исследования по рукописям я снабдил множеством снимков с миниатюр, украшающих те рукописи.

Через два года по выходе в свет монографии о Димитриевском

соборе во Владимире на Клязьме граф Сергей Григорьевич занялся одним вопросом из истории итальянской живописи и вступил в оживленную полемику с С.П. Шевыревым. Дело касалось тех картонов, которые по повелению папы Льва X изготовил Рафаэль с своими учениками: Джулио Романо, Джiovани да Удине и Франческо Пенни, для ковров, вытканых золотом и разноцветным шелками во Фландрии, в городе Аррасе, с изображениями деяний апостольских, - всего семь картонов.

По зиме 1851 г. Шевырев читал в Московском университете публичные лекции в общем очерке истории итальянской живописи, сосредоточенной в произведениях Рафаэля. По стенам аудитории было развешено семь громадных картин, писанных на холсте соковыми красками, с теми же самыми изображениями, как и на ватиканских воротах. Картины эти принадлежали тогда Лухманову. Для своего антикварного магазина он приобрел их от престарелой наследницы графа Ягужинского, который в начале XVIII века вывез их откуда-то, не то из Рима, не то из Швеции, где он был русским посланником.

Честь открытия этих художественных произведений для науки принадлежит Шевыреву. Никому из писавших о Рафаэле ни у нас, ни за границею они не были известны. Знали только те бумажные картоны, которые в числе семи находятся в замке Гэмптонкуртском, около Лондона. Это были те самые образцы, по которым аррасские мастера ткали ковры, потому что все разрезаны на узкие полосы, по контурам проткнуты булавкою и явным образом служили на фабрике для тканья частей, которые после сшивались в одно целое.

Главный вывод из наблюдений и исследований Шевырева о Рафаэлевых картонах состоит в следующем: "Изготовлены были двоякого рода картоны: одни на холстине, соковою краскою, симпровизированы были рукою самого великого мастера для того, чтобы дать ткачам идею общего впечатления, как должны быть вытканы ковры и как соблюден имеет быть общий тон колорита; другие же на бумажном картоне исполнены были отчасти Рафаэлем, но более учениками его, под его наблюдением по образцу холстинных картонов".

Граф Сергей Григорьевич видел настоящую работу Рафаэля и его учеников только в гэмптонкуртских бумажных картонах, а за лухмановскими холстами вовсе не признавал того высокого значения, какое приписывал им Шевырев. До сих пор правда - на стороне графа. Развешенные некогда в аудитории картины, на которые любовалась московская публика, слушая лекции красноречивого профессора, и теперь остаются не проданы, несмотря на то, что были посылаемы за границу и выставляемы на выставках в Москве. Будь эти картины произведением Рафаэля, они, как великая драгоценность, уже давно бы красовались на первом месте в петербургском Эрмитаже или в одной из лучших галерей на Западе. Кто желает познакомиться с газетною полемикой между профессором университета и бывшим попечителем Московского учебного округа, может найти ее в февральских номерах "Московских Ведомостей" 1851 г.

В своих воспоминаниях, коснувшись моей пространной грамматики, этого тяжеловесного труда, переполненного необъятною массою мелких и крупных примеров из древних рукописей, из народных песен, причитаний, заговоров, пословиц, поговорок, из старинных книг XVII и XVIII столетий и из новейших писателей до Пушкина - на первом плане моего рассказа я должен назвать вам того же моего руководителя и наставника, графа Сергея Григорьевича. Вот как было дело.

В ту печальную годину, когда наши университеты были в загоне, начальник главного штаба военно-учебных заведений Яков Иванович Ростовцев принял благое намерение приподнять в этих заведениях науку до надлежащего уровня современных требований знания людей образованных и для этой цели озаботился о составлении не только лучших учебников и руководств для учеников, но и более объемистых пособий для преподавателей. Чтобы вести дело как следует, он обратился с своими предложениями и заказами к лучшим, опытным учителям, а также к ученым специалистам и к профессорам университетов.

По своему высокому положению он был одним из тех немногих, которые, не опасаясь навлечь на себя неприятность, продолжали оставаться в прежних дружественных отношениях с таким человеком, хотя и отмеченным опалою, как граф Строганов, и

именно к нему-то и прибегнул он за советом и наставлением в своем предприятии обширных размеров. В то время он часто посещал Москву и в один из приездов, по рекомендации графа, познакомился со мною и предложил мне участвовать, по своей специальности, в исполнении задуманного им плана улучшить обучение в военно-учебных заведениях.

В Петербурге он заказал Введенскому составить историю общей литературы, а русской - Алексею Дмитриевичу Галахову, который жил тогда в Москве. На мою долю пришлось изготовить два руководства, предназначенные только для учителей, именно: обширную грамматику, о которой я сейчас говорил, и большую хрестоматию, в два столбца, в которой многочисленные выдержки из рукописей и старопечатных книг до XVII столетия включительно напечатаны буква в букву согласно с текстами этих памятников нашей допетровской литературы, даже с соблюдением попадающихся в них описок и опечаток, чтобы таким образом дать полное понятие о философском характере и правописании тех произведений, откуда взяты выдержки. Из сказанного об этом вовсе не учебном сборнике, а предназначенном для специалистов, вы ясно видите, что начальник Главного штаба военно-учебных заведений в своем предприятии не ограничивался дидактическими интересами вверенных ему ведомству корпусов и училищ, а имел в виду и вообще успехи науки в ее университетском объеме.

Кроме того Галахову же поручил Ростовцев составить подробную программу обучения русскому и церковнославянскому языкам, теории словесности и истории литературы, как отечественной, так и иностранной. В этом деле принимал участие и я, сколько мог, по своей специальности, именно: по грамматике, стилистике и по древнерусской и народной словесности. В то же время мы с Галаховым были усердными сотрудниками Краевскому в отделе критики его "Отечественных Записок", иногда одну и ту же статью писали вдвоем, искусно прилаживая одну к другой отдельные части, которые каждый из нас измышлял сам по себе, так что я сам с трудом могу отличить теперь, что принадлежит мне и что - Галахову. Гонорар таких статей, разумеется, мы делили пополам, как, например, в критическом разборе публичных лекций Шевырева по истории русской литературы. С того далекого

времени установились и до сих пор неизменно продолжают мои дружественные отношения к милому товарищу в наших совокупных работах.

Всякий раз как Ростовцев приезжал в Москву - непременно вызывал нас обоих к себе, то рано утром до девяти часов, перед началом официальных приемов, то вечером, и тогда мы должны были сообщать ему, что каждый из нас успевал сделать в предпринятых нами по его заказу работах. Таким образом, Я.И. Ростовцев вместе с Галаховым прежде всех других довольно основательно и подробно ознакомились с моею пространной грамматикою.

Когда она была наконец вполне готова, переписана набело и отправлена в Главный штаб военно-учебных заведений в двух увесистых фолиантах, Якову Ивановичу вздумалось подвергнуть ее публичному диспуту в виде диссертации на ученую степень. В исполнение этой счастливой мысли он вызвал меня в Петербург, и я должен был защищать свою грамматику перед судом многочисленного собрания, состоявшего из преподавателей, инспекторов и директоров военного ведомства, а также и посторонних специалистов, между которыми первое место занимали оба знаменитые автора общепринятых руководств русской грамматики - издатель Остромирова Евангеля Востоков и редактор "Северной Пчелы" Греч. Диспут происходил в зале Главного штаба военно-учебных заведений за длинным столом под председательством Ростовцева; по правую его руку сидел я, а по левую - Востоков; от нас направо, на конце стола, находился Греч со своими единомышленниками и приверженцами. Заседание открыл сам Яков Иванович в упительную речь, в которой с основательным знанием дела ясно и подробно изложил главнейшие пункты моих нововведений, как в научном отношении, так и особенно в учебном. Хотя он был кособокоязычен и заикался, но, обладая железною волею, мог побеждать этот недостаток, когда хотел, и на этот раз говорил четко и плавно, с расстановками, которые, сдерживая заиканье, вместе с том способствовали обдуманности и выбору надлежащих выражений, так что из этого врожденного недостатка он умел извлекать себе пользу.

Сколько могу припомнить, в этом диспуте все возражения были

направлены на мою грамматику с точки зрения учебной в практическом применении к преподаванию; а так как я сам целых шесть лет упражнял свои учительские способности не только в высших, но и в низших классах гимназии, пользуясь всегда практическим методом, то мне очень легко было отражать неприязненные нападения или же разрешать и объяснять вежливо высказываемые мне недоразумения. Как учитель элементарной грамматики я был не хуже других в этом собрании, но как автор научного руководства для преподавателей я мог иметь соперником только такого специалиста, каким был Востоков. Н.И. Греч долгое время не принимал ни малейшего участия в диспуте и только изредка повертывался направо и налево к своим соседям и что-то сообщал им, размахивая руками: видимо, он кипятился; а когда я вежливо и сдержанно стал отклонять от себя озлобленные придирки его клиентов и почитателей, он вспылал, вышел из себя и наговорил мне разных дерзостей. После него никто уже не возражал. Тогда наступила очередь Востокова: он вполне одобрил мою грамматику, а встреченные им немногие ошибки и недосмотры отметил на полулисте и передал его мне для исправления замеченных им погрешностей.

XXVII

Года через два по восшествии на престол императора Александра Николаевича, граф С.Г. Строганов переселился из Москвы в Петербург на постоянное жительство в своем доме с известными уже вам залами, картинной галереею и с бесподобным кабинетом; но вскоре он должен был воротиться назад в звании московского генерал-губернатора. В этой должности он пробыл не больше года, потому что был приглашен ко двору для высокого призвания состоять попечителем при особе, его высочества покойного цесаревича Николая Александровича.

В шестнадцатилетнем возрасте цесаревич по годам и развитию соответствовал поступившим тогда в студенты. Имея это в виду и ценя редкие, блистательные его дарования, граф по строго обдуманному плану составил для него своеобразный университетский курс из нескольких наук юридического и филологического факультетов и Военной академии Генерального

штаба, а в преподаватели взял профессоров этих высших учебных заведений и Духовной академии.

В 1859 г., 11 ноября, получил и я от графа следующее официальное письмо:

"М. г., Федор Иванович! Высоко ценя ученые труды ваши, я нашел полезным пригласить вас для преподавания его высочеству государю наследнику истории русской словесности, в том ее значении, как она служить выражением духовных интересов народа, и имел счастье повергать сие на усмотрение Государя императора, на что и последовало высочайшее его величества соизволение. Во исполнение высочайшей воли сообщено о новом назначении вашем министру народного просвещения.

Извещая о сем, прошу вас, милостивый государь, о составлении по сему предмету программы в том виде, как вы предполагаете вести занятия с наследником, имея в виду годовой срок и лекции по три раза в неделю".

Я знал, впрочем, еще до получения этого официального документа о решении графа вызвать меня и покойного Сергея Михайловича Соловьева, для чтения лекций государю наследнику. Вот вам выдержка из письма графа ко мне от 26 октября 1859 г.

"Сегодня я писал академику Гроту, прося его дать мне письменно и последовательно сведения о занятиях его с наследником, но узнал, что Яков Карлович уехал в Москву. Хотя я уверен, что он с вами увидится, но считаю нужным предупредить вас и просить о том же сообщить Сергею Михайловичу Соловьеву. Желательно, чтобы вы оба получили от Грота нужные подробности о занятиях его с наследником и о степени его развития.

Прилагаю вам при сем перечень всем сочинениям, прочитанным при участии Класовского.

Мне, кажется, Ф.И., что главное внимание ваше должно быть обращено на приучение воспитанника к *самодетельности*, знакомя его с бытом и умственным развитием России в истории ее литературы; но не терять из вида необходимость упражнять наследника в письменных занятиях, в

передаче словесно, отчетливо всего пройденного вами; одним словом, приучать его к труду. Впрочем, при вашей опытности мне нечего останавливаться на этих подробностях".

Для будущей полной биографии покойного цесаревича Николая Александровича помещаю упомянутый в письме графа перечень сочинений, прочитанных им с Класовским.

"Его высочество наследник цесаревич, кроме пройденных статей из стилистики и теории поэзии, кроме упражнений в собственных сочинениях, переводах и т.д., читал с преподавателем Класовским:

- 1) Хераскова: две песни из "Россияды" и "Владимира", отрывки из "Кадма и Гармонии".
- 2) Фонвизина: "Недоросль", "Калисфен".
- 3) Кострова: 1-я рапсодия "Илиады".
- 4) М. Н. Муравьева: отрывок из "Аскольда", разговоры (некоторые) "В царстве мертвых".
- 5) Екатерины II: "Февей", "Хлор".
- 6) Дмитриева: "Ермак", "Причудница", "Воздушная башня".
- 7) Карамзина: "Борнгольм" и несколько "Писем русского путешественника".
- 8) Гнедича: две рапсодии "Илиады".
- 9) Жуковского: несколько рапсодий "Одиссеи", "Наль и Дамаянти", 2-я песнь "Энеиды", отрывок из "Мессиады" Клопштока, "Орлеанская дева".
- 10) Грибоедова: "Горе от ума".
- 11) Пушкина: "Борис Годунов", "Полтава", "Медный всадник", "Скупой рыцарь", отрывки из "Евгения Онегина" и "Кавказского пленника", "Путешествия в Арзерум", отрывки из "Записок", "Гробовщик", "Капитанская дочка", "Дубровский".

12) Лермонтова: "Герой нашего времени" (с необходимыми пропусками).

13) Гоголя: отрывки из "Мертвых душ", "Тарас Бульба", "Шинель".

14) Тургенева: "Бирюк", "Бежин луг".

15) Григоровича: "Антон-горемыка".

16) Мельникова: "Поярков", "Красильниковы".

17) Несколько песней из "Божественной Комедии" Данта, в переводе Мина.

Для практического знакомства с древним языком читаны:

I. - Проповедь Луки Жидяты (по исторической хрестоматии Галахова).

II. - Отрывок из проповеди Илариона (по истор. хрест. Галахова).

III. - Отрывок из проповеди Иоанна Болгарского (о частях речи), по изд. Калайдовича.

IV. - Сазаво-Эмаусского евангелия (по изданию Ганки).

V. - Остромирова евангелия (по изданию Ганки).

VI. - Супрасльской рукописи (по изданию Миклошича).

VII. - Святослава Изборника (по изданию Буслаева).

VIII. - Русской Правды (по изд. Калачова).

IX. - Несторовой летописи (по Лаврентьевскому списку).

X. - Несколько народных сказок (по историч. хрестом. Галахова).

XI. - Письмо царя Алексея Михайловича к Никону (по изданию Бартенева).

Кроме того его высочество занимался переложением некоторых "псалмов" и "Соломоновых притчей" на современный русский

язык.

Примечание. В этот перечень не вошло читанное его высочеством с г. Гротом (почти в продолжение 5 лет), с г. Гончаровым (в продолжение 7 месяцев) и друг.

Класовский занимался с его высочеством: 1) с 8 дек. 1856 г. по 17 ноября 1857 г.; 2) с сентября 1858 г. до 22 октября того же года; с мая (за вычетом семинедельных каникул) 1859 г. до 23 октября того же года. Всего около 15 месяцев".

В половине декабря 1859 г., закончив лекции в Московском университете, я переехал со своим семейством в Петербург и поместился в одном из домов графа, находящемся в Саперном переулке, между Надеждинскою улицею и саперными казармами. Теперь решительно не могу припомнить, чем был я занят и что делал до 27 декабря, когда получил от графа следующее уведомление:

"Ф. И. Ваша первая лекция будет завтра в 12 часов. Приходите ко мне в 1/2 двенадцатого, чтобы вместе поехать во дворец.

В форменном фраке, белый галстук и крест.

До свидания. - *Граф Строганов* "

Когда, таким образом, наступил день и час для приступа к делу, живо представляю себе и теперь, какое смутное уныние на меня напало и безнадежное раздумье одолело меня. Я чувствовал себя не в силах начать и совершить трудное, великое дело, на которое был призван. Страшился я не за себя, а за свою науку, которой был предан всем своим существом, -страшился потому, что у меня не хватит способностей предложить ее августейшему слушателю в том виде и составе, в каком я ее люблю и восхищаюсь ею. Я был довольно опытен в университетском преподавании и умел владеть вниманием студентов своей аудитории; впрочем, на расположение равнодушной толпы никогда не рассчитывал и вполне довольствовался сочувствием немногих избранных, настоящих моих учеников, которые любовно и преданно ценили мои труды и исследования в непечатых еще тогда сокровищах русской старины и народности. Теперь - совсем иное дело. Теперь не только моя

скромная аудитория, но целые факультеты с придачею военной академии сосредоточиваются около одной особы, предлагая необходимые результаты разнообразных знаний для беспримерного в нашей истории самого полного и многостороннего образования будущего царя русской земли. В таком необъятном кругозоре государственных, военных и всяких других наук интересы моей специальности сокращаются чуть не до мелочной забавы праздного любопытства. Потому-то мой предмет как приготовительный или общеобразовательный и назначен был только на один первый год четырехлетнего курса. К этому я должен вам прибавить еще вот что. Еще в Москве, а потом и в Петербурге, усердные ревнители правды деликатно намекали мне, что я попал ко двору исключительно по милости графа Строганова, который всегда был ко мне чересчур пристрастен и снисходителен. Другие заботливо соболезновали, представляя себе, как стану я докучивать своему слушателю каликами переходжими, прелестями крестьянской избы и деревенских хороводов, рукописными подлинниками и разными патериками.

Но прежде чем буду говорить вам о своих лекциях, я должен в немногих словах познакомить вас с тою аудиториею, где были они читаны. Цесаревич занимал в бельэтаже небольшую часть эрмитажного корпуса с той его стороны, где отделяется он от Зимнего дворца узким проездом с Дворцовой площади к набережной Невы. Вход в апартаменты цесаревича был именно с того проезда. Надобно из швейцарской подняться по лестнице, чтобы сначала очутиться в небольшой и темноватой прихожей или передней. Кроме входа с лестницы, в этой комнате еще три двери: налево, в задние или внутренние покои, а также и в крытую, висячую над тем проездом галерею, которою эрмитажный корпус соединяется с Зимним дворцом; прямо от входа в коридор, ведущий в залы живописной галереи Эрмитажа, и, наконец, направо - в приемные комнаты цесаревича, с окнами на Дворцовую площадь, сначала в залу и потом направо же в кабинет. В нем-то и читали профессора свои лекции Государю наследнику за длинным кабинетным столом, приставленным узкою стороною к окну. Цесаревич сидел спиною к залу, а профессор, против него, спиною к глухой стене, вдоль которой шел широкий шкаф с книгами,

вышиною аршина в два.

Лекции я читал в самый ранний час, с которого ежедневно начинались учебные занятия цесаревича, именно с девяти до десяти, по вторникам, четвергам и субботам, а накануне, т.е. по понедельникам, средам и пятницам, весь день я употреблял на составление и тщательную обработку того, что завтра утром буду излагать своему слушателю. Я не читал ему написанное на принесенных с собою листах, а соображаясь с ними, время от времени давал своей лекции форму более оживленной беседы, вызывая его на вопросы в тех случаях, когда, как мне казалось, возможно было с его стороны какое-либо недоразумение. Принесенные листы оставлялись ему для приготовления отчета, которым и начиналась следующая лекция.

Таким образом, кроме воскресенья, была у меня занята вся неделя. Впрочем, по прочтении лекции наследнику, весь день я отдыхал на полной свободе до самого вечера. С десяти часов до двенадцати я делал посещения, заставляя в такое раннее время всех, кого мне хотелось видеть, или, пройдя из комнат цесаревича через переднюю в Эрмитаж, прогуливался по залам живописной галереи и скульптурного музея. В двенадцать часов завтракал по большей части у Доминика, когда намеревался провести часа два в Публичной библиотеке, повидаться кое с кем и навести какие-нибудь справки в книгах или в рукописях. Только таким образом мог я сноситься с своими знакомыми, потому что, будучи сильно занят срочною работою, я никого не принимал у себя на дому. Даже по воскресеньям и в те свободные вечера не было мне настоящего отдыха: в эти промежутки времени я изготавлял для печати обширный сборник своих монографий. Впрочем, как вы сейчас увидите, такая работа не только не отвлекала меня от составления лекций, но вполне согласовалась с этой моей обязанностью и даже способствовала к более удачному и успешному ее исполнению.

История русской и вообще средневековой литературы - такой обширный и всеобъемлющий предмет, что я не иначе мог распорядиться им в своих университетских лекциях, как раздробляя его на специальные курсы, которые ежегодно менял по мере того, как вдавался все дальше и глубже в новые исследования по русской

старине и народности. Потому, чтобы не растерять бесследно с большим трудом собираемые мною факты, я не ограничивался в приготовлении к лекциям голословными программами, а писал в мельчайших подробностях все, что буду излагать своим слушателям. Вместе с тем, желая популяризировать свою науку через посредство журналов и разных периодических сборников, я извлекал для печати из своих лекций монографии, иногда довольно объемистые, в которых опускал слишком специальные подробности, необходимые и наставительные для студентов, но невразумительные и скучные для большинства образованной публики, не подготовленной интересоваться лингвистическими и филологическими тонкостями. С 1847 г., когда я вступил на кафедру, и до 1860 г. таких монографий накопилось столько, что если бы собрать их из периодических изданий, то вышел бы очень увесистый том, даже целых два тома, как это и случилось.

Одним из самых преданнейших и вполне сочувствующих моим исследованиям учеников был Александр Александрович Котляревский, впоследствии профессор славянских наречий в Дерптском университете, а потом в Киевском св. Владимира. По смерти своей он оставил замечательную библиотеку, очень ценную по редчайшим старопечатным изданиям, особенно иностранным. Собирал он ее с большим знанием дела и в России, и за границею в течение всей своей жизни, не щадя крупных издержек, которыми по своему состоянию мог он располагать. Но и тогда, будучи студентом и юным кандидатом, он любил хорошие книги и читать, и собирать, а также и отдельные статьи, вырезывая их из старых журналов, которые покупал пудами за бесценок у московских букинистов на Никольской и под Сухаревой башнею. Само собою разумеется, с великим старанием отыскивал он и собирал мои статьи, крупные и мелкие, где бы ни были они печатаны. Бережно и в хронологическом порядке сложив их все вместе, он любовался на них, воображая, как бы красиво гармонировали они между собою, если бы очутилась отпечатанными в особом сборнике. Это была его любимая мечта, и он не переставал высказывать ее мне всякий раз, как завяжется между нами беседа о русских песнях, сказках, легендах или о старинных рукописях. Общим для обоих нас девизом наших дум, замыслов и нескончаемых разговоров была

типическая фраза: "Старина и народность".

Мечта моего любимого ученика наконец осуществилась в двух томах моих "Исторических очерков русской народной словесности и искусства", напечатанных в Петербурге в 1860 г., именно в то самое время, когда я составлял и читал лекции Государю наследнику.

У Котляревского был приятель, связанный с ним товариществом и давнишнею дружбою, который в то время имел в Петербурге один из лучших книжных магазинов, именно книгопродавец Кожанчиков. Ему-то и присоветовал Котляревский издать на свой счет это собрание моих монографий, снабдив его снимками с миниатюр из русских лицевых рукописей, как моих собственных, так и находящихся в частных и публичных библиотеках. Большую часть таких рукописей я привез с собою из Москвы; другие добывал в Петербурге. Когда я исправлял и дополнял свои исследования для печати, художник, приглашенный Кожанчиковым, изготовлял копии с миниатюр у меня на дому, а также и в Императорской Публичной библиотеке.

Таким образом, день за день у меня параллельно тянулись две настоятельные работы, и чтобы не спутаться и не растеряться в своих научных интересах и не раздвоить своего внимания, я принял издаваемые мною монографии за материал, из которого извлекал свои лекции для цесаревича. Потому, если желаете знать, что и как я преподавал ему, прошу вас просмотреть хотя бы оглавления обоих томов моих "Исторических очерков"; а если заглянете там же в перечень лицевых рукописей, откуда взяты снимки, то составите себе понятие о тех художественных памятниках, которые я приносил ему на свои лекции. Никогда не забуду, с каким наслаждением читал я ему об Остромировом Евангелии, об Изборнике Святославовом и о великолепных миниатюрах Сийского Евангелия по драгоценным рукописям, которые были доставляемы нам для лекций из петербургской Публичной библиотеки, московской Синодальной и с далекого Севера, из Сийского монастыря.

Само собою разумеется, порядок и план моих лекций был совсем не тот, что в "Исторических очерках". Основным принципом

преподанного мною курса была идея о великом призвании, для которого готовил себя мой слушатель. Я должен был предложить ему из своей науки то, что подобает ведать будущему царю России!

Для выполнения такой трудной задачи, сколько хватит у меня сил и способностей, я вознамерился расширить объем истории русской литературы из тесных пределов так называемой изящной словесности, а в методе преподавания предпочел общим обозрениям и поверхностным характеристикам личное знакомство учащегося с литературными произведениями, приобретаемое внимательным их прочтением.

Чтобы дать вам понятие о разнообразии интересов, возбужденных в уме цесаревича моими лекциями, для примера привожу вам следующее официальное письмо ко мне Ф.А. Фома, от 1 мая 1861 г., через четыре месяца по окончании моих занятий с его высочеством.

"М.Г., Федор Иванович. В библиотеке Государя наследника Цесаревича оказались, между прочим, следующие принадлежащие вам книги:

- 1) О Российских Святых, рукопись в древнем переплете. I т.
- 2) Регламент духовной коллегии. I т.
- 3) История русской церкви, Макария, епископа Винницкого, т. III. СПб. 1857 г.
- 4) Памятники великорусского наречия. СПб. 1855 г.
- 5) Владимирский Сборник, Тихонравова. Москва 1857 г.
- 6) Древний Боголюбов монастырь и город с его окрестностями, Доброхотова. Москва 1852 г. I т.
- 7) Уложение царя Алексея Михайловича. I т., в лист.

До отправления этих сочинений к вам, м. г., мне кажется необходимым покорнейше просить вас почтить меня уведомлением, не поднесены ли некоторые из этих книг в дар Его

Императорскому Высочеству с тем, чтобы остальные за сим немедленно возвратить вам.

Письмо это адресую в университет по указанию вашему; о том же, куда следует послать книги, ожидаю извещения вашего.

В субботу, 29 апреля, Государь наследник переехал в Царское Село; поговаривали было об отъезде 9-го мая в Москву, но еще неизвестно, состоится ли это предположение; если суждено будет и мне при этом случае побывать в Белокаменной, то, конечно, не премину навестить вас",

В этом письме, по счастливой для меня случайности, сохранился до сих пор образчик, или - как бы сказать - маленький отрывок каталога книг, какие могли тогда интересовать августейшего ученика и его наставника. Тут и неисчерпаемые сокровища народной безыскусственной словесности в песнях, сказках, пословицах и в разных других формах наивного творчества; тут и древние храмы, монастыри и всякие монументальные урочища по далеким концам нашего отечества, а вместе с тем и жития русских угодников; тут наконец и законодательные кодексы церковного и гражданского содержания.

Из приведенного в письме перечня три книги были поднесены мною в дар Государю наследнику, именно: одна рукописная "О Российских святых" и две печатные: "Уложение царя Алексея Михайловича" в первом издании XVII века и позднейшая перепечатка "Духовного регламента".

В перечне не названа одна рукопись, которую я тоже подарил Цесаревичу, и вероятно, потому, что была помечена им самим, как его собственность. Когда я читал ему лекции о раскольничьей литературе, коснулся, между прочим, необузданных увлечений и крайностей беспощадного изуверства старообрядцев и для иллюстрации своей характеристики принес на лекцию принадлежащую мне лицевую рукопись с миниатюрами самого злостного ухищрения этих сектантов. При этом я вовсе не имел в виду возбудить к ним ненависть, а желал только позабавить балаганными карикатурами, в которых вполне обличается тупое и пошлое невежество, когда оно дерзает глумиться над свято

чтимыми предметами. Рукопись эта так понравилась Цесаревичу с первого же раза, как только он пересмотрел в ней миниатюры, что я с величайшим удовольствием ему подарил ее. Его радость была самую драгоценною для меня наградою. С тех самых пор мне не случилось увидеть эту курьезную редкость. По памяти я не мог бы теперь решительно ничего сказать о ней в подробности, если бы в каталоге своих рукописей не нашел следующего ее описания:

"Книга о семи небесах, о сотворении Адама и Евы". Целая раскольничья поэма. Начинается апокрифическими рассказами о первых человеках; затем об искуплении; далее, отличие веры старой от новой, или Никоновой; потом повести из патериков; далее, слово о человеке в отличие его от животных, от золота и других металлов и проч. Вся рукопись в миниатюрах; при каждой миниатюре объяснительный текст. Письмо поморское XVIII века, в четвертку. Рукопись редчайшая, единственная в своем роде".

Полюбив науку, его высочество полюбил и относящиеся к ней рукописи и книги, а вместе с тем приобрел охоту составлять свою собственную, кабинетную библиотеку, по своему личному выбору и вкусу. Однажды, читая о великом значении древних монастырей в истории просвещения нашего отечества, я принес на лекцию точную копию, снятую литографически с великолепной лицевой рукописи XVI века, содержащей в себе житие преподобного Сергия и хранящейся в библиотеке Троицкой лавры. В иконописной мастерской этого же монастыря был изготовлен и печатный снимок в небольшом количестве экземпляров, но по очень умеренной цене, всего по семи рублей*. В обдуманно сочиненных и довольно изящно выполненных миниатюрах изображен старинный русский быт в мельчайших подробностях, начиная от церковной службы и келейной молитвы, от школы с учениками и учителем и до мелочей домашнего обихода, как мелют муку, как месят тесто, пекут просвиры, а вместе с тем и великие события, сопряженные с Мамаевым побоищем, и мирное водворение источников просвещения для малограмотной еще в то время Москвы и ее пустынных окрестностей, в построении значительного количества новых монастырей по мысли преподобного Сергия и трудами его благочестивых учеников, довольно образованных по тому времени, предприимчивых и даровитых, как например, самый лучший из

всех наших, иконописцев, знаменитый Андрей Рублев, который даже и представлен на одной из миниатюр, как он пишет икону над воротами Андроникова монастыря: все это и многое другое привело Цесаревича в такое восхищение, что он тотчас же порешил приобрести и для себя такой же экземпляр копии. Немедленно было послано в Троицкую лавру, и через несколько дней к великой радости получил он желанную драгоценность.

* За такую же литографированную копию с пражской лицевой рукописи Апокалипсиса я заплатил сорок рублей.

Из того, что я теперь вам рассказываю, вы сами можете заключить как неосновательны были мои тревожные опасения, когда я только что начал читать курс истории русской литературы государю наследнику. Не более, как через три месяца после того мои ревностные старания сделать самое лучшее, что только могу, были вознаграждены таким неожиданным и невообразимым для меня успехом, которые превзошел всякую меру самых светлых надежд и мечтаний, казавшихся мне прежде несбыточными.

Это было на Святой неделе. В Страстную субботу, возвратившись с лекции домой, я порешил на целые восемь дней, от Светлого Воскресения и до Красной Горки, сбросить с плеч все заботы срочных трудов и обязанностей, отвести душу на полной свободе и запасть свежими силами. Но не долго пришлось мне лелеять заманчивые планы льготных досугов. В понедельник на святой неделе, когда я сидел за полуденным завтраком со своею семьей и с приехавшими из Москвы моими друзьями, Викторовым и Котляревским, сверх всякого чаяния является из дворца курьер с уведомлением, что его высочество государь наследник будет слушать мои лекции в продолжение всей святой недели, т.е. во вторник, в четверг и в субботу. Что было делать и как мне быть? К завтрашнему дню приготовиться я не успею, и потом - что случилось с моими праздничными мечтаниями! А пуще всего я боялся наскучить Цесаревичу своими лекциями, полагая, что нас обоих как бы приневоливают трудиться по лютеранскому календарю. Не

медля ни минуты, выскочив из-за стола, лечу стремглав на первом попавшемся извозчике к графу С.Г., впопыхах говорю ему, что всю эту неделю я думал отдохнуть и сегодня не готовился к завтрашней лекции, а теперь уж два часа, пишу же я ее целый день с утра до поздней ночи. Граф обещал немедленно побывать во дворце, а потом дать мне знать. Вечером получаю от него записку следующего содержания:

"Во вторник будет ваша лекция у Наследника. Если вы не приготовили лекции, можно употребить этот час на репетицию в виде разговора".

Итак, на другой день, в девять часов утра, мне суждено было явиться к Цесаревичу без лекции - с пустыми руками и с повинною головою. Он отвечал мне, что это все равно, что он рад меня видеть и похристосоваться со мною, что ему так приятно начинать свои учебные часы моими лекциями. Столько обрадован был я таким лестным для меня признанием, что в ответ ничего другого не мог сказать, как только выразить мою усерднейшую готовность доставлять ему это удовольствие не только три раза в неделю, но и все семь дней, не исключая и воскресенья, если бы это было возможно. Проведя целый час в откровенной беседе, мы не имели времени для репетиции пройденного. Тогда же решено было, чтобы я передал Государю наследнику все листы прочитанных мною лекций в его собственность, а следующие за тем не брал бы с собою назад и навсегда оставлял их у него. Таким образом, весь мой рукописный курс истории русской литературы и остался в библиотеке его высочества.

В 1860 г. императорская фамилия переместилась в Царское Село 19 апреля и оставалась там до первых чисел декабря, а к Николину дню возвратилась в столицу, чтобы праздновать тезоименитство покойного государя наследника. В тот год весна была такая холодная, что я мог перебраться на свою дачу не раньше, как в половине мая, и потому целый месяц должен был ездить по железной дороге из Петербурга в Царское Село и обратно. Много было сутолоки в этот промежуток времени, но она меня развлекала и даже забавляла, когда я воображал себя в положении маятника с широкими взмахами на расстоянии сорокаминутного мыканья взад и вперед. В день лекции вставал я в шесть часов, без четверти

восемь был в вокзале царскосельской железной дороги и около половины девятого приезжал в Царское Село; с девяти до десяти читал лекцию Цесаревичу, потом завтракал на станции железной дороги и к полудню возвращался домой.

Когда я переехал со своим семейством в Царское Село, в экономии моего дня прибыло по малой мере три часа, которые я терял в продолжение целого месяца на переезды по железной дороге. Дачу мы нанимали на Колпинской улице в том ее конце, где подходит она к дворцовому парку, или, как говорилось во времена Пушкина, к царскосельским садам.

В день моей лекции государю наследнику я выходил из дому в восемь часов утра и прогуливался целый час, чтобы к девяти явиться к его высочеству. Поперек перешедши улицу, идущую вдоль парка, я тотчас же входил под тень его густых аллей, направляясь к так называемому Николаевскому дворцу, по имени императора Николая Павловича, который обыкновенно проводил в нем все время, назначенное для пребывания в Царском Селе; отсюда я сворачивал направо к арсеналу или к ферме, потом, обращаясь назад, шел мимо китайских домиков и через несколько минут входил в огромный полукруг двора, образуемый сплошным рядом каменных зданий для разных служб и для квартир придворных чинов. Середину диаметра этого полукруга занимает задняя сторона дворца. Именно на этот двор, или, вернее сказать, на эту площадь, выходили окна нижнего этажа и наружное крыльцо тех комнат, которые занимал во дворце Цесаревич. Расположены они были почти так же, как в его эрмитажном отделении: из передней вход в залу и прямо дверь в кабинет, который даже расстановкою мебели походил на эрмитажный. Ближайший путь ко мне на дачу был с крыльца направо мимо этих окон, а потом, миновав церковь и здание бывшего Царскосельского лицея, выйдешь из ворот на улицу.

Чтобы говорить теперь о моих занятиях с Государем наследников в Царском Селе, мне следует месяца за два воротиться назад. По окончании лекции о народной поэзии в связи с преданиями и обычаями, приступая к письменным памятникам древнерусской литературы, я должен был сначала ознакомить своего слушателя с их византийскими источниками и образцами. Когда следовало мне

говорить о Киево-печерском патерике, предварительно я вошел в некоторые подробности вообще о патериках византийских, издавна составлявших любимое чтение наших предков, разумеется, в церковнославянском переводе. Эти назидательные произведения в форме старинных сборников новелл и повестей, разделенные на небольшие главы, предлагают самое занимательное и разнообразное содержание в отдельных, иногда не связанных между собою рассказах о подвижничестве древнехристианских отшельников и пустынножителей, как они в молитве и безмолвии спасаются в необозримых песчаных степях, приютившись в тесных пещерах, каждый сам по себе в одиночку, в дальнем расстоянии от других; как иногда они сходятся между собою и беседуют, но больше пребывают в сообществе с дикими зверями, укрощают их и берут себе на служение и в товарищество; как изредка встречаются с проезжими купцами целого каравана или с забеглыми разбойниками, и от тех и других узнают, что делается на белом свете; как исповедуют приходящих к ним грешников или утешают несчастных, - а то приводят язычников в христианскую веру, причем иногда за отсутствием воды, совершают таинство крещения сыпучим песком.

По принятому мною обычаю приносить на лекцию самый памятник литературы, о котором идет речь, на этот раз я взял с собою старопечатную книгу в малую четвертку, под заглавием: "Лимонарь, сиречь Цветник, премудрыми кир Иоанном, Софронием и иными различными преподобными отцы сочинен", - и оставил этот патерик Цесаревичу для просмотра. Его высочество так был заинтересован им, что, прочитывая страницы по две в день, внимательно изучал это интересное литературное произведение в течение всего великого поста и святой недели, и столько дорожил им, как он сам сказал мне потом, что взял его с собою в вагон, когда отправился в Царское Село. Это была первая старопечатная книга, которую он прочел всю сполна. Как драгоценную реликвию, я берегу ее вместе с письмами моей матушки и гр. С.Г. Строганова. На последнем ее листе моею рукою означено: "19 апреля 1860 г., во вторник, эта книга была перевезена из Петербурга в Царское Село Государем наследником Николаем Александровичем в его собственном портфеле. Петербург, 24 апреля 1860 г."

К этим дорогим документам моего прошедшего я присоединил еще два: книгу в большую четвертку и брошюру в восьмую долю листа.

Книга содержит в себе "Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Москва 1818 г." Ее читал Цесаревич и отметил карандашом *nota-bene* следующие стихи, в которых какое-нибудь изречение остановило на себе его внимание, а именно: 1) из былины о Потоке Михаиле Ивановиче: "до любви я молодца пожалуй", стр. 216; "по его по щаски (т.е. счастья) великие", стр. 216; "заскрыпели полосы булатные", 217; "провещится ему лебедь белая", стр. 217; 2) из былины о Добрыне Никитиче: "купатися на Сафат-реку", стр. 346; "пойдешь ты, Добрыня, на Израй на реку", стр. 346; "надевал на себя шляпу земли греческой", стр. 346; "свою он любимую тетушку, тоя-то Марью Дивовну", стр. 349; 3) из былины о поездке Ильи Муромца с Добрынею: "а втапоры Илья Муромец Иванович гляючи на свое чадо милое", стр. 363; "поклонитися о праву руку до сырой земли; он по роду тебе батюшка, старой козак", стр. 264, и проч.

Брошюра содержит в себе скорбный помянник, приобретенный мною позже, в Ницце, 9 мая 1875 года, под заглавием: "Chapelle comme morale de S. A. I. le Grand-Due Ce'sarewitch Nicolas Alexandrowitch, a Nice".

Из этого сцепления фактов из различных эпох, которые теперь сливаются для меня в одно нераздельное целое, я должен высвободить ваше внимание и остановить его на том, как в Царском Селе проводил я лето 1860 г.

Для подкрепления здоровья Цесаревичу следовало купаться в море, и для того отправился он в Либаву со своею свитою, в которой были граф С.Г. Строганов, флигель-адъютант Рихтер, Ф.А. Оом и лейб-медик Шестов. Эта санитарная поездка решительно не удалась. В течение июля месяца, проведенного государем наследником в Либаве, было пасмурно и холодно; море хмурилось и бурлило. Большую часть времени приходилось проводить у себя в комнатах, читать и беседовать. Граф передавал мне, что Цесаревич взял с собою мои лекции и по вечерам иногда читал вслух своим спутникам с профессорскою интонациею и с внушительными паузами, будто с кафедры университетской

аудитории. "И как это было хорошо, - говорил граф, - совсем по-студенчески! Студенты любят изображать из себя своих преподавателей и мечтать об ожидающей их профессуре".

Что касается до меня, то для работы по изготовлению моих "Исторических очерков" эти четыре недели стоили целых четырех месяцев. Первый том был уже отпечатан и часть второго, так что я мог теперь легко справиться с дополнениями и переделками своих монографий, чтобы к декабрю выпустить в свет оба тома.

Теперь я намерен рассказать вам о событии, как гром, поразившем тогда меня, - о великом бедствии, которое могло грозить гибельными последствиями. Однажды в августе месяце прихожу читать лекцию Государю наследнику. Мне говорят, что он болен и еще не выходил из спальни. Я отправился к графу Строганову, который, когда приезжал в Царское Село, помещался тут же, в нижнем этаже дворца. Он говорит, что случилась большая беда. Вчера, вместе с государем, Цесаревич выехал верхом на скаковой круг и - не знаю, при каких обстоятельствах - упал с лошади навзничь. Боялись, не повредил ли он себе спину, но опасения по свидетельству врачей оказались напрасны. На другой день мне дано было знать, что завтра Цесаревич будет слушать мою лекцию. Он показался мне в этот раз совсем не тем, что был всего три дня назад. Всегда бодрый, ясный и веселый, теперь он как-то отуманился, будто утомился от непосильной усталости, будто изнемог после тяжелой болезни. Так было мне горестно и жалко. Моя лекция развлекала его, и, прощаясь со мною, он по-прежнему приветливо улыбнулся. Через несколько дней здоровье Цесаревича вполне восстановилось, и все приняло обычный порядок, будто ни в чем не бывало.

По осени вдовствующая императрица Александра Феодоровна прибыла из-за границы в Царское Село и заняла Николаевский дворец. Она была уже безнадежно больна и вскоре скончалась (20 октября). В ее многочисленной свите была одна особа, с которой я непременно должен немножко познакомить вас. Это был Гримм, человек очень образованный и ученый, и состоял некогда гувернером или воспитателем великого князя Константина Николаевича; покончив возложенную на него обязанность, с почетом и щедрою пенсиею он воротился в свое отечество и долго

проживал там до тех пор, пока в пятидесятых годах не был вызван в Россию на вторичную службу к императорскому двору в качестве наблюдателя или инспектора классов при покойном государе наследнике Николае Александровиче.

Когда для его высочества был составлен университетский курс, обязанности Гримма прекратились сами собой, и он опять уехал в Германию, награжденный удвоенною пенсиею.

Теперь, как я уже вам сказал, он прибыл в Царское Село в свите императрицы Александры Феодоровны. Я с ним познакомился еще до его отъезда за границу. Однажды встречается он меня в царскосельском парке, недалеко от Николаевского дворца, и вместо обыкновенного приветствия накинулся на меня с жестокими укоризнами. Припомнить в точности слова его я теперь не могу, но общий смысл их глубоко залег в моей памяти. Он говорил, что после опасного потрясения, какое постигло Государя наследника, требовалось тотчас же прекратить все его учебные занятия и ни о чем другом не помышлять, как только об его здоровье, а вместо того - какое непростительное ослепление, какая пагубная оплошность! Эти зловещие опасения я приписал тогда мстительности оскорбленного человека, который никак не мог забыть, что по распоряжению графа Строганова он был удален из придворной службы.

Когда осенние дни стали значительно короче, Государь наследник пригласил меня приходить к нему по вечерам пить чай. Я мог исполнить его желание только в дни моих лекций, потому что накануне я готовился к ним с утра до поздней ночи, о чем, кажется, я уже вам говорил. Вечера эти проводили мы обыкновенно вдвоем; только изредка приходил к нам О.Б. Рихтер, да раза два протопресвитер Рождественский; что же касается до графа Строганова, то он вовсе не бывал, хотя на моих лекциях в течение всего года неизменно присутствовал.

Сидели мы за большим обеденным столом у самовара; Цесаревич сам заваривал чай и разливал в чашки. Чтобы постоянно удовлетворять восприимчивой любознательности моего августейшего собеседника, наши разговоры сами собою настроились на серьезный лад. Этому, между прочим, немало

способствовало и данное мне графом указание воспользоваться этими вечерами, чтобы ознакомить его высочество с идеями, взглядами и направлениями современной образованной или вообще читающей публики по более интересным выдержкам из журнальной беллетристики и по таким газетным статьям, которые почему-либо возбудили всеобщее внимание и наделали много шуму.

Чем больше заинтересовывался Цесаревич бойким движением тогдашней периодической литературы, тем живее обнаруживалось в нем желание составить себе ясное и точное понятие о ее главнейших деятелях, об отличительных качествах каждого из них, о нраве и обычаях и вообще о той обстановке, в которой они живут и действуют. На первом плане были для него не номер журнала, не газетный лист, а живые люди, которые их сочиняют и печатают для распространения в публике своих убеждений, мечтаний и разных доктрин. Чтобы удовлетворить такому разумному желанию, я должен был входить в биографические подробности о журналистах и их сотрудниках, прозаиках, поэтах и критиках не только новейшего времени, но и прежних годов - поскольку это находил нужным и полезным. Я рассказывал о журнальных партиях в их междоусобной борьбе, об ожесточенной вражде, с какою критика встречала произведения наших великих писателей - Карамзина, Пушкина, Гоголя; говорил о западниках и славянофилах, о "Библиотеке для Чтения" и о пресловутом бароне Брамбеусе, о "Северной Пчеле" Булгарина и Греча, о "Москвитянине" Погодина и о критических статьях Шевырева, об "Отечественных Записках" Краевского и о Белинском, о "Современнике" Панаева и о Некрасове, Добролюбове и о многих других.

В эти досужие вечера много говорилось всякой всячины, но о чем именно и как, все это представляется мне теперь смутно, отрывочно и перепутанно, может быть, потому что внимание мое было больше сосредоточено на собеседнике, нежели на предметах разговора. Впрочем, из немногого, что удержалось в моей памяти, передам вам кое-что. Однажды зашла у нас речь о старинных деревянных постройках, которых теперь уже так мало осталось в нашем отечестве, и о важном их значении для определения характеристических особенностей вполне русского архитектурного

стиля. По этому случаю Цесаревич рассказал мне один любопытный факт из истории нашей областной администрации, который сообщил ему граф Блудов или кто другой из членов государственного совета. Лет за двадцать назад, во времена императора Николая Павловича, для предохранения святыни Божьих храмов от опустошительных пожаров было предписано упразднить и сломать в селах деревянные церкви, а взамен их соорудить каменные. Но так как во многих местах не хватало средств для такой ценной перестройки, то православные крестьяне оставались несколько лет без церковной службы. Этою неурядицей удачно воспользовались окольные сектанты и мало-помалу их всех переманили в свои раскольничьи молельни. Из своих рассказов хорошо помню только два маленьких анекдота, и то, вероятно, по той причине, что они касаются наших лекций. Сердобольные приятели мои, о которых я говорил вам прежде, не переставали заботиться обо мне и в Петербурге. Они распустили слух, будто я, ступая во дворце по паркету, поскользнулся и свихнул себе ногу: это надо разуместь, что на лекциях я потерпел фиаско. Потом пронеслась молва, будто я прочел наследнику целую лекцию об отменных достопримечательностях крестьянской избы. Над этими выдумками нехитрого остроумия мой собеседник много смеялся.

Около того времени, как возвратились мы к Николину дню из Царского Села в Петербург, мои "Исторические очерки" вышли в свет, и для меня было изготовлено несколько роскошных экземпляров. Первый из них я представил своему августейшему ученику, а другой - графу Строганову. Приняв от меня оба тома, его высочество прежде всего просмотрел их оглавление, потом стал перелистывать, останавливаясь на иных страницах по несколько минут, и при этом изъявлял свое удовольствие, что встречает известные для него предметы, о которых он слышал на моих лекциях. Особенно льстило его самолюбию видеть в обоих томах изданные для публики снимки с миниатюр из таких лицевых рукописей, которые были уже у него под руками.

Дня через два он сказал мне, что государыня императрица изъявила желание получить экземпляр моих "Исторических Очерков". Это было немедленно исполнено через посредство Цесаревича, а вслед за тем он сообщил мне о намерении ее величества быть у нас на

следующей лекции, которая на этот раз с утреннего часа была переведена на вечерний. Мы оба ожидали ее не в кабинете, а в зале. Цесаревич волновался больше моего, потому что был так доволен и рад, приведя к исполнению задуманный им план. Когда появилась Государыня, он куда-то исчез, и я остался один перед ее величеством. Она остановилась у двери, которая тотчас же была затворена. Я стоял среди залы и не знал, что мне делать: идти навстречу Государыне или оставаться на месте и ждать, но она медлила, и я мгновенно решился на первое. Когда я подошел к ней, она изъявила мне милостивую благодарность за поднесенную книгу. В эту минуту Цесаревич уже стоял рядом со мной. Лекция удалась как нельзя лучше, потому что меня воодушевлял и ободрял своим веселым, радостным настроением августейший ученик мой.

Последнюю лекцию читал я Цесаревичу 31 декабря 1860 г., а перед отъездом в Москву был у него вечером 16 января 1861 года. Из всего, что тогда говорилось, помню только немногие его слова, искренние и душевные, которые глубоко и навсегда вкоренились в моем сердце. Речь шла о наших теперь уже поконченных занятиях. Сначала он спросил меня, какую отметкою оценил бы я его сведения и успехи, если бы он держал экзамен вместе с другими моими слушателями в университете. Я сказал, что он был бы одним из самых лучших. И как обрадовался наследник такому отличию! Потом, после небольшой паузы, будто отвечая на чей-то вопрос, он тихо промолвил: "Да, теперь я знаю, как мне воспитывать и учить своих детей, если Господь Бог благословит меня ими". С тех самых пор, как предстанет в моих мечтаниях и думах прекрасный образ царственного юноши, слышатся мне эти вещие слова. Так и остались они не разгаданы, вместе с его светлыми надеждами и помыслами.

Чтобы не заподозрил меня кто в пристрастии, не буду вдаваться в голословные, бездоказательные похвалы, а вместо того приведу вам в заключение несколько выдержек из газетных сообщений* о путешествии Государя наследника летом 1861 года по Волге на нижегородскую ярмарку и оттуда в Казань. Прочитывая эти отрывки, без сомнения, вы не раз подумаете, каким бы стал в зрелом возрасте этот бесподобный, несравненный юноша, которому было тогда всего восемнадцать лет.

* См. "Московские Ведомости" 1861 г., №№ 193, 194, 195, 196.

"Из мельницы его высочество отправился на находящуюся вблизи хлебную пристань. Взойдя на коноводную машину купца Блинова, он сначала осмотрел устройство ее, потом спустился в люк, нагруженный 60 тысячами пудов муки, и расспрашивал о способе загрузки и разгрузки, о том, как суда паузятся на мелях, как содержатся судорабочие, какую получают они плату и т.п. Он ласково и приветливо говорил со многими из судорабочих о разных предметах, относящихся до их быта, о их занятиях и заработной плате, зашел в устроенную на машине комнату приказчика, в подробности осматривал ее устройство и убранство и ласково разговаривал с приказчиками. После того машина была приведена в движение и пошла взад и вперед по несколько сажень. В это время его высочество расспрашивал хозяина и рабочих о приемах их работы, изъявил желание узнать разные термины и особые слова, употребляемые при судоходном деле, а после того перешел на баржу, нагруженную пшеницею "насыпью". Здесь, спустившись в мурью вместе с флигель-адъютантом Рихтером, статским советником Мельниковым и купцом Блиновым, его высочество прошел вдоль баржи (35 сажень) по колени в пшенице. Вид громадного количества золотистой белотурки произвел на его высочество сильное впечатление, и он с жарким любопытством расспрашивал о нашей нижеволжской пшенице, о способах ее загрузки и разгрузки, о торговле ею, о местах размола и продажи. В это время зашла речь о разгрузке хлеба в кулях, от 9 до 12 пудов весом каждый, и Государь наследник, узнав, что эти кули перетаскивают на себе рабочие, пожелал видеть таких силачей. На караване судов в это время находилось более пятисот рабочих. Вышли вперед, по вызову его высочества, двое красивых, прекрасно сложенных молодцов и бросились в мурью за кулями. Одного звали Дмитрием, другого Артемьем, оба крестьяне нижегородского уезда. С живостью опустился за ними в мурью и Государь наследник, и они, взвалив на плечи девятипудовые кули, быстро пошли, почти бежали по неровной поверхности нагруженных кулей. Его высочество от души любовался русскими

молодцами и каждому из них пожаловал из своих рук по полумпериалу. Восторг Дмитрия и Артемья был неописанный; они вызывались взвалить по 12 пудов на плечи и носить такую тяжесть, но было уже довольно поздно, и его высочество вышел на берег, пробыв на судах среди рабочих более часа. Громкое "Ура!" раздалось по Волге и Оке, когда наследник прощался с судорабочими и сходил на берег. "До всего доходит! Все сам знать хочет! Любит мужика царевич!" - раздавалось среди пришедшего в восторг рабочего народа. "Вот молодец, так молодец! - говорили по сторонам, - хочет с серым мужиком ознакомиться. Вот уж прямой царевич!"

С хлебной баржи Государь наследник отправился в ряды с тулупами, армяками, кафтанами и другою крестьянской одеждой, останавливался в нескольких лавках, расспрашивая хозяев о местах производства, о ценах на одежду, о том, долго ли она носится, и купил для себя армяк из верблюжьего сукна, который тут же и взят был в коляску. Остановился Государь наследник и у сложенного кучами на земле поношенного и зачиненного крестьянского платья, покупаемого бедняками, и расспрашивал о ценах и о том, долго ли бедняк может проносить такую одежду.

Его высочество заходил в курени разных хозяев, отвеживал хлеб черный и белый, расспрашивал о ценах на хлеб, сравнивал ценность этого первого предмета продовольствия с ценностью заработков рабочего класса, осматривал склады хлеба, квашни, опару; ему рассказан был весь процесс печения хлеба, и когда подошли к печам, из которых вынимали только что испеченные хлеба, он взял лопату, вынул один за другим три хлеба и ловко выкинул их на прилавок. Нельзя описать восторга хлебопеков и столпившегося вокруг куреня простонародья. Видя, что наследник русского престола разделяет честный труд с рабочими, народ, которого около куреней собралось до нескольких тысяч, не закричал "ура", но зато многие безмолвно перекрестились, и у всех лица были так светлы, так радостны! Ласково простившись с хозяевами и приказчиками куреней, его высочество пошел в "обжорный ряд" и простые харчевни. Он был в двух таких харчевнях, осматривал их до последних подробностей, ходил в кухни, смотрел посуду, припасы, приготовленные народные

кушанья, в одной харчевне несколько минут простоял у печки, когда кухарь пек гречневые блины, в другой изволил спросить меду и выпил стакан.

В мыльных рядах Государь наследник осматривал склады мыла, начиная от высших сортов яичного казанского до простого жирового, употребляемого простонародьем и для стирки белья. Приветливо разговаривая с торговцами, его высочество с особенной заботливостью расспрашивал, увеличивается ли и притом до какой степени продажа мыла низших сортов, и, получив утвердительный ответ, изволил заметить, что было бы весьма желательно, чтобы мыльное производство у нас как можно более распространилось, потому что это было бы верным доказательством того, что русский народ, большею частью неопрятный, стал заботиться о чистоте, которая, в некотором смысле, может служить мериллом развития цивилизации.

Потом Государь наследник осматривал устройство дома и домашнюю утварь крестьянина Куранова. Войдя в избу, Цесаревич, по народному обычаю, положил три поклона перед святыми иконами и, заметив в божнице (киот с образами) старинные образа, разговаривал о них с хозяином. На набожных хозяев и крестьян произвели сильное впечатление слова его высочества о старинных иконах: из этих слов они узнали, что он хорошо изучил русское иконописание и его пошибы (стили). "На Божье-то милосердие* дока какой!" - говорили с истинным умилением крестьяне. Но еще более удивило их, когда его высочество, взяв из божницы кожаную лестовку, стал расспрашивать Куранова о значении ее и сам говорил, что четыре лопасти лестовки знаменуют четырех евангелистов, обшивка их - евангельское учение и т.д. Разговаривая с Курановым о числе бабочек на лестовке, по которым считают при молитве поклоны и произнесение слов: "Господи, помилуй!" Государь наследник спросил: "Всегда ли на лестовке одинаковое число бабочек?" - и, получив утвердительный ответ, вынул из пальто свою лестовку, накануне поднесенную ему игуменьей Минодорой, и стал сличать ее с лестовкой Куранова. Нельзя описать впечатления, произведенного этим на народ, увидевший, что наследник знает и уважает заветные русские обычаи. "Русский! Настоящий русский! Слава тебе, Господи!" - говорили крестьяне и

крестьянки со слезами на глазах; многие набожно крестились. Громкое "Ура!" раздалось по Подновью, когда наследник вышел от Куранова на улицу.

* Так называют у нас в народе иконы.

Во время плавания по Волге в Казань и обратно находившийся в свите Государя наследника статский советник Мельников, как скоро подходил пароход к какому-либо селению, объяснял его высочеству о промыслах и занятиях местных жителей, о быте их, а также рассказывал народные легенды, приуроченные к разным местностям Поволжья, говорил о народных песнях, поверьях, обрядах и пр. т.п. Государь наследник очень любит русскую этнографию и с особенною любознательностью изучает быт русского народа во всех его проявлениях; поэтому он чрезвычайно интересовался всеми делаемыми ему на Волге этнографическими объяснениями.

После раннего завтрака Государь наследник с генерал-адъютантом графом Строгановым, флигель-адъютантом Рихтером и статским советником Мельниковым отправился в университет на лекции. Здесь его высочество был встречен попечителем Казанского учебного округа, князем Вяземским, прошел в церковь, а оттуда через кабинеты и актовую залу в аудиторию профессора физиологии, Овсянникова, где слушал лекцию о крови, сопровождаемую физиологическими демонстрациями. После лекции Государь наследник долго изволил разговаривать с профессором, благодарил его за лекцию и пожелал, под руководством его, сделать несколько микроскопических наблюдений над кровью.

На лекциях Государь наследник садился не на приготовленные для него кресла, но всегда на студентские скамейки.

Весь вечер разговор шел об университете и о студентах, причем его высочество не раз говорил, что очень желательно, чтобы в наших университетах было как можно более достойных профессоров и как

можно более студентов.

На следующий день, т.е. 18 августа, Государь наследник, после раннего завтрака, отправился опять в университет для слушания лекций. Сначала он был в аудитории профессора уголовного права, г. Чебышева-Дмитриева, и выслушал лекцию о значении уголовного наказания. Поблагодарив профессора и обласкав его, Государь наследник прошел в аудиторию профессора чистой математики А. Попова, слушал у него вступительную лекцию о вариационном счислении и по окончании ее благодарил профессора и благосклонно принял поднесенное им его высочеству сочинение: "Решение задачи о волнах с высшим приближением". После того Государь наследник, в аудитории профессора Булича, слушал лекцию эстетики: о влиянии христианства на искусство. Благодаря г. Булича, его высочество изволил заметить, что ему было очень интересно слушать то, что он говорил о византийской школе, и это было тем более ему приятно, что напоминало ему профессора Московского университета Буслаева и его лекции, которые он преподавал ему. Простившись с профессорами и студентами, Государь наследник оставил университет. В это время студент Головачев подал его высочеству записку, в которой изложил стесненное свое состояние и совершенную невозможность слушать университетские лекции по причине бедности. Государь наследник тотчас же приказал выдать г. Головачеву 150 рублей и впредь выдавать ему такую же сумму из доходов его высочества в продолжение четырех лет, если он будет своевременно переходить из курса в курс. При этом объяснено было его высочеству положение бедных студентов, которых особенно много в Казанском университете. С большим участием слушал Государь наследник о молодых людях, которым бедность препятствует пользоваться первейшим благом на земле - просвещением, подробно расспрашивал он о взаимной помощи казанских студентов друг другу, об учрежденной ими кассе и принял на свой счет содержание пяти бедных студентов в продолжение всего их курса. Вообще Казанский университет произвел на Государя наследника самое приятное впечатление: и в Казани, и после отъезда из этого города, он часто вспоминал о приятных и с тем вместе поучительных часах, которые он провел на студентской скамейке. Вообще можно сказать, что во все время пребывания в

Казани Государя наследника занимали почти исключительно утром университетские и академические лекции, а вечером - заводы. Из университета 18 августа его высочество отправился в Духовную академию, где выслушал две лекции: профессора Порфирьева - о начале письменности у славян, и профессора обличительного богословия, архимандрита Хрисанфа, о взгляде евреев на христианство. По окончании лекций его высочество изволил осматривать Соловецкую библиотеку, состоящую из значительного количества старинных рукописей и переведенную сюда из Соловецкого монастыря во время войны 1853-1856 гг.

После обеда его высочество с теми же лицами, которые сопровождали его поутру в университет, отправился в Ягодную слободу для обозрения кожевенного производства на заводе, принадлежащем товариществу и устроенном в обширных размерах. Управляющий заводом, почетный гражданин г. Котелов, объяснял его высочеству весь процесс кожевенного производства, начиная с мочения сырых кож до окончательной их выработки. Последовательно переходя из одного отделения завода в другое, Государь наследник изволил расспрашивать в подробностях о кожевенном деле, узнавал в то же время и о заработной плате рабочим в каждом отделении.

В строгальне, где производится самая трудная работа, Государь наследник на колоде мастера Лазаря Афанасьева строгал кожу, очищая ее от мездры..."

В последний раз видел я Цесаревича в июне 1864 г. Возвращался я тогда с своим семейством из чужих краев. Наш поезд на целый час был задержан на прусской таможенной станции в Эйдткунене, потому что здесь остановился для завтрака наследник Цесаревич, который едет за границу. Не медля ни минуты, я бросился в вокзал, насилу протискался сквозь толкучую давку немецкой публики к отворенным дверям залы, где за столом с своею свитою он завтракал. Но войти я не мог. В дверях стояли сплошным рядом жандармы прусской пограничной стражи. Я просил их пропустить меня, совал им свою визитную карточку для передачи кому-нибудь из сидящих за столом, уверяя, что все они знают меня отлично - ничто не помогало: стоят себе, не шелохнутся, как истуканы, и только время от времени пропускают официантов, которые снуют

взад и вперед, прислуживая за столом. Мне оставалось только одно средство достигнуть цели. Я повернулся назад и остановил официанта, который нес блюдо с кушаньем, и до тех пор не пускал его, пока он не взял мою карточку.

Он передал ее ближайшему из сидящих за столом, но так как была она напечатана немецкими буквами, то мою фамилию сначала не разобрали, и карточка пошла из рук в руки. Кому же придет в голову, чтобы мог я очутиться в Эйдткунене? Наконец, Цесаревич громко назвал меня по имени, жандармы передо мною раступились, и я вошел в залу. Он очень обрадовался и во все время завтрака не переставал говорить со мною. Когда мы вышли на платформу, веселое оживление исчезло с его прекрасного лица, и, расставаясь со мною, он промолвил взволнованным голосом: "Как мне грустно, как тяжело мне расставаться с родиною!"

XXVIII

Ни одно из моих изданий ни прежде, ни после не имело такого успеха в периодической печати, какой выпал на долю моим "Историческим очеркам русской народной словесности и искусства". И в мелких рецензиях, и в объемистых статьях одни смехотворно надо мною издевались и всячески порицали меня, другие восхваляли и усердно защищали от злостных нападок. Первые смотрели на русскую старину и народность, на вековечные, исконные предания и обычаи, составлявшие предмет моих монографий, как на дрянной, никуда не годный хлам, который надобно выкинуть за окно; их противники утверждали, что вопрос о народности с ее старобытными устоями есть один из самых важных и существенных в виду совершающихся перед нашими глазами эмансипации. Таким образом, между газетами и журналами разных оттенков зачалась оживленная и задорная полемика. Я, разумеется, торжествовал. Плохо, когда в газетах о книге молчат, как это не раз бывало с другими моими учеными и литературными работами. Пускай себе на здоровье бранятся: чем больше станут меня допекать и топтать в грязь, с одной стороны, тем выше - с другой - будут меня поднимать, хотя бы и не в меру моих заслуг. Впрочем, эти два увесистых тома моих "Очерков" принесли и существенную пользу. Во мне признали дельного

профессора и образованного человека. Академия Наук именно за эти два тома почтила меня званием ординарного академика, а совет Московского университета возвел в степень доктора русской литературы.

Не долго, однако, суждено было мне чувствовать себя в веселом и спокойном настроении духа. В летописях Московского университета означилось в самом начале 60-х годов небывалое событие. В незлобивой, миролюбивой и смиренной Москве, на площади, против генерал-губернаторского дома, разразилось "Дрезденское побоище", отмеченное таким эпитетом по гостинице "Дрезден", выходящей на ту же площадь.

В тот же день наш университет был закрыт на неопределенное время. Ни об этом плачевном событии, которое тогда называли битвою при Дрездене, или "избиением младенцев", ни о последовавших затем неурядицах и смутах - рассказывать вам не буду. Можете сами обо всем этом читать в газетах, и в тогдашних, и в позднейших, от разных годов. Вспоминать о том, что так хотелось бы забыть навсегда, у меня не достает ни духу, ни сил.

На первый раз охватило меня отчаяние, а потом, мало-помалу, оно стало затихать в тупом унынии. Я потерял голову и не знал, что делать и как мне быть. Ничего лучше не мог я придумать, как бежать со своим семейством из Москвы. Мне стыдно и боязно было показаться в люди, и я спрятался в монастырской гостинице Троицкой лавры, будто обличенный в тяжком преступлении. В полнейшем уединении прожил я там недели две, упорно избегая встретиться с кем-нибудь из коротко знакомых мне профессоров Духовной академии. Наконец, я успокоился и обдержался в безмятежном однообразии монастырского обихода, - стал похож сам на себя.

По возвращении в Москву мне вздумалось устроить у себя домашние лекции или *privatissima* германских профессоров, только, разумеется, бесплатные. Я кликнул клич, и студентов набралось на целую аудиторию. Будто ни в чем не бывало, я продолжал им читать лекции, внезапно прерванные "дрезденским погромом", и не переставал до тех пор, пока не открылся, с разрешения правительства, наш университет. Но дела пошли уже на новый лад.

Ровное и мирное течение университетской жизни взбаламутилось и теперь не скоро уляжется в тишь и гладь. Кроме идеальных интересов науки, в которых дружно соединялись между собою профессора и студенты, возникли многие другие уже реального свойства и выдвинулись на первый план в силу новых стремлений, которым открывала широкое поприще недавно обнародованная эмансипация. В университете пошли совсем другие порядки.

Еще чуялось смутное брожение молодых умов, и чтобы не дать ему взволноваться, университетская администрация, потеряв голову, стала прибегать к разным мерам, или, точнее, к полумерам, к уступчивым сделкам на требования молодежи, к робкому заискиванию и бессильной податливости, и чем больше обнаруживалась постыдная трусость одних, тем настойчивее выступала требовательность других. Мне было гадко и тошно смотреть на все это, и я решился бросить и университет, и профессорство, и Москву, но, не посоветовавшись с графом Строгановым, я не мог и не знал, как бы мне устроиться получше. На мое письмо вот что отвечал он мне из Петербурга, 4 января 1862 г.:

"Любезный Федор Иванович! Письмо ваше произвело на меня самое грустное впечатление. Неужели мы дожили до того времени, когда истинные труженики науки готовы бежать от университетов, и когда места образования юношества должны опустеть или обратиться в политические арены, в вертепы разврата? Печально, очень печально! Но едва ли мы действительно, находимся в таком безвыходном положении. Я уверен, что само общество вызовет спасительную реакцию: следовательно, оставлять поле сражения в такое решительное время значило бы не иметь веры в правоту своего дела - быть поборником за просвещение. Когда действительно пойдет так дурно, что вам нельзя будет спокойно оставаться в Москве, я всегда к вашим услугам. Не дожидаясь и этого крайнего случая, я постараюсь узнать, не найдется ли для вас полезной деятельности при Академии наук, где, как я слышал, готовится преобразование Российского отделения, или при Археографической комиссии. Прошу только ни с кем об этом не говорить.

Увидим, как поведет дела свои новый министр*. Откровенно

сказать, я мало ожидаю от него прока. Он, сколько я мог заметить, гонится за эффектами, выискивает новые блестящие учреждения; думает, что до него ничего не было, и что дух нового поколения лучше прежнего. Его здесь называют красным, а я полагаю, что он честолюбивый эгоист. Представьте себе, что он вызвал редакторов известных журналов содействовать ему к устройству и водворению мира между литературой и правительством. Это опасная игра, как вы видите. Федор Иванович. Все это не очень отрадно. Конечно, дай Бог, чтобы мои опасения не сбылись, но мне кажется, что болезненное состояние общества вызовет само общество на сильное противодействие, и тогда люди благонамеренные и с талантом найдут себе круг действий самый полезный.

* Головнин, давший университетам новый устав, к которому впоследствии граф относился благосклонно.

Что вы печатали в конце прошлого года и чем вы занимаетесь? Мне казалось, что вы хотели взяться за ученый труд для докторской диссертации*. Ради Бога, не пренебрегайте этим делом: ученый авторитет нам так же нужен, как нужен авторитет верховной власти. Мы еще так необразованны, что России угрожает распадение от невежества. - Наследник часто о вас вспоминает".

* Граф тогда еще не знал, что я получил степень доктора за свои "Исторические очерки"

И теперь, как всегда, я беспрекословно подчинился советам и увещаниям графа и тем охотнее, что почувствовал в себе самом склонность к примирению. Беда стряслась над нами не в первый раз: так утешал я себя. Лет десять тому назад она нагрянула снаружи, извне, так сказать, с олимпийских высот могучего громовержца, а теперь хлынула из самой сердцевины нашего все же милого университета. Не велика важность - болезнь к росту: зубы режутся у этого столетнего младенца, пробует он впервые встать на

дыбки; не мудрено, что на первом шагу спотыкнулся. Авось новый устав на своих помочах как ни на есть выведет его на гладкий путь разумного самоуправления. А между тем, в ожидании будущих благ, я чувствовал настоятельную потребность подкрепить свои силы, надломленные переполохом, освежить свою голову, забыться на долгий срок совсем в другой обстановке, одним словом - улизнуть на целый год за границу. Отпуск получил я беспрепятственно, но польские смуты задержали меня до декабря 1864 г.

Чтобы совсем обновиться и смахнуть с себя налетный дым отечества, который, говорят, впрочем, так сладок и приятен, я решился тряхнуть стариною и, распростившись с специальными работами для своих лекций, воротиться к интересам и любимым занятиям моей молодости. Я опять принялся за изучение истории искусства, чтобы пополнить пробелы в своих сведениях, а вместо классических древностей, которым так ревностно предавался в начале сороковых годов, увлекся теперь исследованиями по иконографии и орнаментике византийского, романского и готического стилей. Для регулирования своих занятий и успехов я положил себе время от времени давать отчеты в виде корреспонденции. Они печатались в "Московских Ведомостях" и в "Русском Вестнике", равно как и многие другие из последовавших затем моих странствий в чужих краях. На мой взгляд более удачные из этих корреспонденции я перепечатал в первом томе "Моих Досугов".

В Берлине я познакомился с двумя специалистами по истории искусства, от которых многому научился. То были Пипер, профессор монументального богословия, и Вааген, директор Берлинского музея изящных искусств. Первый в течение многих лет издавал популярный "Евангелический Календарь", в котором ежегодно помещал свои ученые монографии, а второй, автор известного учебника истории немецкой живописи, отличался замечательно тонким эстетическим вкусом в распознавании настоящих оригиналов от старинных копий и позднейших подделок.

Монументальное богословие имеет своим предметом церковные древности и иконографию в связи с учением отцов церкви и с

еретическими от него отклонениями. Пипер читал лекции будущим пасторам евангелического исповедания в одной из зал древнехристианского музея, который он сам основал и устроил в стенах берлинского университета. Подробности об этом оригинальном музее я сообщал в корреспонденции, которая потом вошла в первый том "Моих Досугов". В ней же рассказываю я и о том, как Вааген водил меня по картинной галерее Берлинского музея и особенно заинтересовал объяснением высоких достоинств старинной голландской живописи, которая до тех пор была мне мало известна. По его совету, чтобы ознакомиться с произведениями Ван-Эйка, Мемлинга и других мастеров голландской школы, я посетил Брюссель, Гент, Антверпен и Брюж, или Брюгге.

Меня радовало и забавляло, что я так легко и скоро успел перестроить себя из учителя и профессора в прилежного и внимательного ученика и студента. Еще у себя в Москве я читал с особенным увлечением археологический журнал Дидрона и его книгу об иконографии Господа Бога (*Histoire de Dieu*). Теперь мне захотелось лично познакомиться с самим автором, порасспросить его о многом, поучиться у него, как вести дело, а также и сообщить ему кое-что из своей византийско-русской старины, которая была ему мало известна. Значит, надобно было ехать в Париж. В этом городе я еще не бывал. Благо, за один раз познакомлюсь с знаменитым археологом и своими глазами увижу сокровища искусства, которые я знал понаслышке и из книг или из копий: в Лувре увижу Венеру Милосскую, Диану Версальскую, "Пленников" Микель-Анджело, фонтенблоскую Диану Бенвенуто Челлини, а в Историческом музее Клюньи - золотые короны вестготских царей, алтари и церковную утварь романского и готического стилей, средневековые одежды, старинные ковры с затейливыми изображениями, майолики с изящными рисунками Рафаэля и его учеников и многих других. Я забыл вам сказать, что по принятому маршруту я попал в Париж и в Бельгию уже на обратном пути из Италии.

Особенно благотворно оказалось для меня пребывание во Флоренции. В то время в ней сосредоточилось патриотическое движение всех областей Апеннинского полуострова. Весною 1865

г. в ее монументальных стенах будет праздноваться шестисотлетний юбилей дня рождения Данта Аллигиери. Теперь все готовились к этому великому национальному празднику, который должен ознаменовать ту идею, что непреложное завещание, данное гениальным поэтом отдаленному потомству, наконец приводится в исполнение. Италия сбрасывает с себя чужеземное иго и соединяет свои разрозненные члены в одно нераздельное государство под светскою властью итальянского короля. Повсеместному воодушевлению и восторгам, планам и проектам, глубокомысленным замыслам и остроумным выдумкам не было конца: всякий хотел заявить свой патриотический энтузиазм, вложить свою лепту в общий итог. Дант и его произведения были главным предметом литературы и периодической печати; чтобы подготовить Италию к предстоящему юбилею, издавались специальные газеты двоякого рода: более серьезного содержания - для образованной публики и популярные - для простонародья. В этой дантовской атмосфере я вновь переживал свои молодые годы, когда "Божественная Комедия" была для меня настольною книгою.

По возвращении в Москву я сообщил подробности об этом юбилее в журнальной статье, которая потом вошла в "Мои Досуги". Но отделаться от нахлынувших на меня живительных интересов так легко и мимоходом я не мог и не хотел. Мне жалко было расставаться с ними и войти в проторенную колею моих прежних работ и ученых предприятий. Я должен был во что бы то ни стало уберечь в себе и продлить спокойное и ясное настроение, которое вывез с собою из Италии. С этой целью одновременно с лекциями по истории русской литературы я вознамерился читать студентам филологического факультета специальный курс о Данте в течение целых трех лет. Я начал с общего обозрения церковного, политического, общественного и семейного быта средних веков в связи с литературой и наукою, а окончил подробным изложением и разбором "Божественной Комедии", на которую употребил целый год. Чтобы понять как следует это великое произведение, обнимающее в себе все существенные интересы средневековой жизни в их разнообразных оттенках, надобно предварительно многое знать, надобно свыкнуться с чуждою нашему времени средою и перенестись в дантовский век. Только тогда краткие

намекы на разные мелочи в "Божественной Комедии" будут для моих слушателей не досадными камнями преткновения, а энергическими и меткими указателями целых эпизодов из истории европейской цивилизации, каковы, например: схоластические тонкости в богословии Фомы Аквинского, Франциск Ассизский с его монашескими обетами, с импровизованными проповедями и восторженными гимнами, живописцы Чимабуэ и Джиотто, Бертрам Дель-Борнио, Сорделло и другие провансальские и итальянские трубадуры с Гвидо Кавальканте, товарищем и другом самого Данта, вообще исторические подробности о лицах и фамилиях, которых касается поэт в своей "Божественной Комедии", и географическое обозрение многоразличных местностей по всей Италии, на которые он так часто намекает, и которые для неподготовленного читателя тормозят внимание и заслоняют смысл целого эпизода.

Чтобы быть в Москве до начала лекций и хорошенько к ним подготовиться, я должен был воротиться из чужих краев в июне 1864 г., когда, как вы уже знаете, я в последний раз видел покойного наследника Цесаревича.

В Москве ожидала меня новая обязанность, которая давала широкий простор моим замыслам, планам и симпатиям, а в случае беды и передрыги в университетской суতোлке могла отвлечь мое внимание в другую сторону и по малой мере хотя несколько утолить мои печали. Когда я был за границею, известный уже вам мой товарищ в работах и неизменный друг Алексей Егорович Викторов, хранитель рукописей московского Публичного и Румянцевского музея, и Юрий Дмитриевич Филимонов, заведующий там же иконографическим отделением, основали при этом музее общество древнерусского искусства при деятельном участии известного писателя пушкинских времен и меломана, князя Одоевского, который был тогда сенатором еще не упраздненного Московского сената. В это-то общество заочно и без моего ведома я был избран в секретари. На первых порах дело пошло у нас живо, складно и ладно. В одной из зал музея еженедельно по воскресеньям устраивались наши заседания, открытые и для публики, которая интересовалась разнообразием предметов, входящих в круг занятий нашего общества, а именно: по иконографии и орнаментике, по византийскому и древнерусскому

зодчеству, по истории церковной музыки и по народным напевам. Из чтений, которые предлагались в этих заведениях, очень скоро составилась объемистый сборник, который под редакциею Филимонова был напечатан в большой in quarto, в 1866 г. Я служил свою секретарскую службу усердно, сносился с разными специалистами, прося их о вкладе статей в наш сборник, как например, с знаменитым ученым и профессором Московской Духовной академии, что в Троицкой лавре, с Александром Васильевичем Горским, дружбою которого я всегда пользовался до самой его кончины. И сам я для сборника работал прилежно и так много, что не могу понять, как на то у меня хватало времени при срочных занятиях по составлению лекций. Кроме мелких статей, числом около десятка, разнообразного содержания, начиная от затейливого барельефа на наружной стене Пармского баптистерия в связи с одною миниатюрою из русской рукописной псалтыри и до кратких выдержек иконописного содержания из житий русских святых, я поместил в сборник целую монографию страниц на ста об источниках и характере русской иконописи в ее отличии от искусства западного.

К сожалению, музейное общество процветало недолго; оно заглохло и иссякло, потому что не могло соперничать в энергии и стойкости с другим обществом той же специальности, которое одновременно с нашим было основано графом Алексеем Сергеевичем Уваровым под названием Археологического.

Когда я воротился в Москву, новый университетский устав был уже обнародован и приведен в действие. Он вполне согласовался с духом времени и обещал в будущем счастливые результаты. Впрочем, о нем так много было говорено и печатано в газетах, что я ничего нового для вас прибавить не умею. Скажу только, что лично для меня он был хорош. Он способствовал успехам в науках, разделив преподавание по нескольким специальностям каждого предмета, и, таким образом, умножил число преподавателей. Я читал свои лекции спокойно и беспрепятственно, не стесняясь придиричивыми формальностями, без всякого опасения соглядатайной опеки. Что же касается до университетской администрации, которая по новому уставу была вверена совету, состоящему из профессоров всех факультетов под

председательством ректора, то она нисколько меня не интересовала. Всякие протоколы, отношения, резолюции и другие канцелярские бумаги были для меня тарабарскою грамотой, и я ни разу не соблазнился административною почестью декана или ректора, вполне довольствуясь званием только профессора, который отвечает сам за себя и ничего другого не хочет знать. Признаваясь вам в этих взглядах и поступках, я вовсе не желаю их оправдывать и хвалиться ими, будучи уверен, что многие из вас меня не одобряют. Но что же будешь делать! У меня не хватало гражданской доблести. Вероятно, я смешивал ее с чиновничеством, которое было мне не по нраву. Я мог сколько умел служить университету только своею наукою; других талантов за собою не знал. Первым делом в организации университетского самоуправления было решить, кого избрать председателем в заседаниях совета. Вопрос этот на первых же порах сделался яблоком раздора в профессорской корпорации. Одни хотели иметь ректором Соловьева, а другие - Баршева, и, таким образом, желанное единогласие для общей пользы было нарушено и распалось на две враждебные партии - на Соловьевскую и Баршевскую. Первая была гораздо малочисленная последней; потому ректором был избран Баршев и оставался в этой должности несколько трехлетий сряду.

Принадлежать к какой-либо партии было противно моему нраву и обычаю. Вы уже знаете, что я умел сохранить свою независимость в борьбе славянофилов с западниками; точно так же оставался и потом в нейтральном положении между консерваторами и либералами. Я думал, что если какой-нибудь принцип разлагается на две противоположности, то каждая из них легко может дойти до бессмысленных и зловредных крайностей. Потому я сочувствовал многому, что находил существенным и ценным в убеждениях и взглядах обеих враждующих партий, устраняя от себя безрассудные и опрометчивые увлечения той и другой. А если дело касалось до избрания лица в представители учреждения, разделенного на партии, то надобно было согласоваться с пристрастиями и расчетами избирателей. Во всяком случае пришлось бы записаться в рядовые, стать под знамя ватаги и носить на себе ее ярлык. Впрочем, мои симпатии клонились к Соловьевской партии, потому что к ней принадлежали лучшие из

моих товарищей, хотя к ним же относил я своего приятеля Леонтьева, который, собственно, и был коноводом партии враждебной, а Баршев - только подставною фигурю.

Ожесточенная вражда, не умолкавшая в стенах университета, наконец опротивела мне донельзя. Она вредила и общему делу и была гибельна для отдельных лиц. Однажды в заседании совета Соловьев, в качестве декана, горячо защищал какое-то предложение или заявление филологического факультета от злостных и грубых нападков со стороны враждебной партии и до того был оскорблен и раздражен нахальством и дерзостью своих противников, что совсем изнемог, а воротившись домой, в тот же день слег в постель и целые шесть недель прохворал в нервной горячке. Другой случай советской передраги завершился еще горестнее. Между приверженцами Баршева самым ревностным и преданным был профессор юридического факультета Никольский, молодой человек, пылкий и рьяный; когда, бывало, он раззадорится - не говорит, а кричит благим матом, руками размахивает. При Баршове он состоял и пажом, и оруженосцем, и приспешником; в заседаниях совета всегда сидел около своего патрона и милостивца, всегда наготове храбро защитить его, огрызался направо и налево. Впрочем, был он человек добрый, даже милый, потому, может быть, и любил Баршева так горячо. Раз в заседании совета он чересчур раскипятился, геройствовал и зычно голосил напропалую, и представьте себе - какая жалость! - дня через три скончался от нервного удара.

Не мне одному претило такое тягостное положение в среде профессорской корпорации. Несколько молодых профессоров Соловьевской партии из самых даровитых и любимых студентами, утомившись в напрасной борьбе, покинули Московский университет. То были Дмитриев, Капустин, братья Рачинские, Чичерин.

Не думайте, пожалуйста, что я рассказываю вам все это для того, чтобы бросить тень на университетский устав 1863 г. Люди - всегда и везде люди. Общительность есть главное отличительное их качество, снабженное даром слова; потому не перестанут они никогда дружиться и ссориться, собираться в толпу и делиться на партии. И до нового устава бывали в нашем университете ссоры и

раздоры, которые оканчивались бедами. Был у нас профессором всеобщей истории Ешевский, очень дельный и даровитый преподаватель, но человек раздражительный и пылкий. Однажды в совете горячо повздорил он с бывшим тогда ректором Альфонским, а когда оставил залу совета, сильно взволнованный, и только что вышел за ворота университета, - повалился на мостовую, мгновенно пораженный параличом; прохворал около года и помер.

Весною 1867 г. Москва торжественно праздновала славянский съезд из представителей наших одноплеменников, населяющих австрийские области. Это небывалое доселе событие, которому газеты давали очень важное политическое значение для всей Европы, оставило в моих воспоминаниях смутную и непроглядную пустоту. Я был тогда в самом тяжком, горестном расположении духа. Моя жена страдала и томилась неизлечимою болезнью, а по осени скончалась.

XXIX

В 1868 году я женился на Людмиле Яковлевне Троновой. Крупные перевероты в жизни человека всегда оказывают на него свою решающую силу. Принявшись за прерванные на некоторое время мои ученые занятия, я почувствовал потребность дать себе определительный и ясный отчет в том, что и сколько я до сих пор успел сделать необходимого и полезного, что делаю теперь и на что рассчитываю в будущем. Начал я еще в молодых годах свою ученую карьеру педагогиею и дидактикою, потому что был учителем гимназии; а когда стал профессором, читал лекции по сравнительной грамматике и истории русского языка в связи с прочими славянскими наречиями. Но вскоре я заметил, что другие ученые, настоящие специалисты, и в Москве, и в прочих университетских городах, далеко опередили меня и в санскрите с зендом, и в славянщине; потому я сосредоточил свои силы на народной словесности и древнерусской литературе, проводя в науке приемы и результаты Гриммовской школы. А вот теперь бросаю и этот так давно и так глубоко проторенный мною путь. В университете целые три года сряду читаю о Данте, для музейного общества пишу исследования иконографического содержания. И стало для меня ясно как день, что по разнообразию предметов, на

которые расходую свои силы, я принадлежу к поколению стародавних профессоров, моих наставников - Давыдова, Шевырева, Погодина. Об энциклопедическом объеме занятий Давыдова я уже имел случай заметить, когда рассказывал вам о своих студенческих годах. Погодин читал лекции сначала всеобщей истории, а потом русской, писал повести и драмы, много тратил времени на политику и на разработку разных вопросов из современных интересов государственного и общественного строя. Шевырев одновременно читал лекции по истории литературы и всеобщей, и русской, печатал в погодинском "Москвитяине" длинный ряд критических статей и обзоров текущей литературы и с молодых лет и до старости посвящал свои досуги стихотворству, следуя знаменитому Мерзлякову, который был вместе и профессором русской словесности и поэтом.

Впрочем, я уже не разбрасывался в своих ученых и литературных замыслах так далеко и широко, как мои предшественники, и не вдавался в публицистику; но все же до нового устава 1863 г., по которому русская литература и иностранная разделились на две особые кафедры, я обязан был читать лекции обоих этих предметов. Чтобы сосредоточить свои силы и намерения в определенной группе занятий, я увлекся одною господствующею идеею, которую стремился открывать и разрабатывать в исследованиях русской старины и народности по сравнительному методу в связи с изучением иностранных литератур, в которых ограничился только народностью же и средневековою стариной. Так, например, я читал целый курс о русском богатырском эпосе и потом так же подробно знакомил своих слушателей с испанскими романсами о Сиде и с древнефранцузскою поэмою или "Песню о Роланде" (*Chanson de Roland*). Монографии, извлеченные из лекций об этих трех предметах, в недавнее время были перепечатаны отдельным сборником в изданиях трудов императорской Академии наук.

Учреждение в наших университетах особой кафедры общей литературы давало специалистам широкий простор для изучения этого предмета и открывало новые пути для сравнительного метода в исследовании ранних литературных источников, которые с далекого Востока, из Индии, при посредстве персов и аравитян,

вошли в византийскую литературу и оттуда распространялись по всей западной Европе, а также и особенно у нас на Руси и у наших соплеменников славян. Византийщина, так долго остававшаяся в загоне, была наконец оценена по достоинству и получила узаконенные права гражданства в исследованиях раннего периода в средневековой истории европейской цивилизации. Задаваться этим новым для меня делом не хватало уже моих сил. Я предоставил его молодому поколению ученых, между которыми любовался на своих учеников. Мне стало очевидно, что я начинаю стареть, что песенка моя спета. Однако не воображайте себе, что я унывал духом; напротив того, я радовался, что мои ученики опережают меня, со славою ведут дело, начатое мною; значит, не дурной был я учитель, когда умел взлелеять в таких учеников. В этом я находил себе оправдание и награду своей университетской деятельности.

От тяжелого бремени многолетних ученых трудов я вынес с собою не главную суть дела, а только ее приклад, который долго казался всем шелухой и только последнее время был оценен специалистами. Говорю о своих работах по археологии и древнерусскому искусству. Впрочем, для очищения своей ученой совести я читал лекции в семидесятых годах о новом направлении сравнительного метода в изучении мифологии, преданий, народного быта и литературы. Из этого курса я извлек несколько монографий и в популярном изложении напечатал в "Русском Вестнике", а потом одну из них внес во второй том "Моих Досугов", именно о странствующих, или переходящих, повестях и рассказах...

Однако я слишком далеко завел вас вперед, покинувши последнюю нить своих воспоминаний. Усердное и энергическое участие, принятое мною в музейном сборнике 1866 г., дало окончательный переворот моим ученым занятиям и задушевным интересам, которые я теперь, почти исключительно, навсегда сосредоточил на археологических исследованиях по русской иконографии и орнаментике и преимущественно в так называемых лицевых рукописях, т.е. на подробном изучении миниатюр в связи с текстом, который они объясняют и дополняют и служат ему истолкованием, составляя вместе с ним одно нераздельное целое. В этом отношении наши лицевые рукописи, согласуясь с ранними

образцами византийскими, имеют неоспоримое превосходство перед западными, в которых уже с XIII века миниатюра становится только украшением, а не толкованием текста.

Правду сказать, к окончательному результату этого утверждения я пришел уже потом, после многих и долгих разысканий и кропотливых исследований; но и в конце шестидесятых годов идея о нормальном отношении миниатюры к тексту меня сильно занимала и тянула меня вперед по избранному мною пути. Я должен был удостовериться и достигнуть цели.

В Страсбурге, в библиотеке при знаменитом готическом соборе была латинская рукопись XII столетия, громадный фолиант, под названием Hortus Deliciarum (сад или - по-старинному вертоград удовольствий). Это благочестивое произведение назидательного и повествовательного содержания написала и украсила множеством замечательно изящных миниатюр аббатиса одного из прирейнских монастырей. Я знал о прекрасной страсбургской рукописи из истории искусства Шназе и от берлинского профессора Пипера, и теперь мне необходимо нужно было ее видеть и основательно изучить для того, чтобы дать себе наглядное понятие об отношении рукописной иллюстрации западной к византийской.

И стала эта рукопись моею любимой мечтой и мерещилась мне радужными цветами своих миниатюр, как в сказках и романах знакомая незнакомка. Во что бы то ни стало, а надо спешить за границу и непременно в Страсбург, и в мае 1870 г. я отправился в дальний путь с женою и с сыном Владимиром, который тогда только что перешел с третьего курса на четвертый по филологическому факультету*. Чтобы было для вас понятно последующее, я должен вам сказать, как я распорядился со своими деньгами, ассигнованными на дорогу. Я разделил их на две половины: одну оставил при себе в сторублевых бумажках, которые везде можно было разменять на иностранные деньги, а другую через московский учетный банк перевел - не помню, к какому банкиру - в Париж, где намеревался в публичной библиотеке работать над византийскими лицевыми рукописями. Меня особенно интересовали две: "Григорий Назианзин" IX века и "Псалтырь" X в. Миниатюры той и другой были мне известны

только по немногим фотографиям.

* В настоящее время директор Серпуховской прогимназии Московского учебного округа.

В Берлине я виделся не раз с профессором Пипером, мечтал вместе с ним о страсбургской рукописи и привез ему московский гостинец - пять маленьких икон на досках с изображениями легендарного и отчасти апокрифического жития Пресвятой Богородицы для его древнехристианского музея. Затем пробыли мы несколько дней в Дрездене; утром посещали картинную галерею, а по вечерам слушали концерты на Брюлевой террасе. Оттуда через Гёттинген направились к Касселю, но по дороге остановились дня на два в Лейпциге.

В этом торговом городе мне вздумалось пополнить свой запас немецких денег разменом сторублевой ассигнации. Прихожу в банкирскую контору - не меняют; иду в другую - опять тоже. Спрашиваю: почему? Отвечают: на русские деньги нет биржевого курса. Это меня озадачило, но не могло надоумить, потому что газет я не читал и, стало быть, не думал, не гадал, какая у немцев с французами заваривается каша. Только по дороге из Касселя во Франкфурт-на-Майне узнали мы, и то невзначай, самую суть дела. Великая беда нахлынула, как снег на голову. В одном купе с нами, как сейчас вижу, направо от меня сидит у окна очень презентабельный немец средних лет и читает газету; вдруг встрепенулся, будто его что ошеломило, вскочил на ноги и крикнул: "Война, объявлена война!" К вечеру еще засветло мы приехали во Франкфурт и узнали, что завтра начнется мобилизация германских войск к берегам Рейна. Итак, мы очутились на рубеже, куда стягиваются войска двух великих держав, вступающих в ожесточенную борьбу. Сообщение пассажиров по железным дорогам будет прекращено, и на другой же день нам следовало бежать из Франкфурта. На дебаркадере вокзала была страшная давка - все публика элегантная, расфранченные кавалеры и дамы торопятся с минеральных вод в Швейцарию. Громадный поезд

тащился нескончаемо долго. Из Франкфурта мы выехали часов в шесть пополудни, а в Базель прибыли на другой день к позднему обеду. По дороге останавливались чуть не каждую четверть часа, чтобы не сталкиваться с поездами, доставлявшими германские полки к местам их назначения. Можете себе представить, как было мне грустно ехать мимо Кельского моста, перекинутого через Рейн на ту сторону, у самого Страсбурга, где ожидала меня драгоценная рукопись, к которой я так стремился.

И в Базеле встретила нас тревожная суматоха. Через этот город уже началось передвижение отрядов швейцарского войска к границам обоих враждующих государств, чтобы охранять страну вооруженным нейтралитетом. Дня через два в Базель пришла весть, что война вспыхнула именно у того самого Кельского моста, который был взорван, и немцы бомбардируют Страсбург, разрушают здания и предают пламени пожаров.

После я узнал, что в тот день сгорела и знаменитая рукопись. Профессор Пипер в заседании специалистов почтил ее память похвальным словом, а лет через пять потом страсбургские археологи предприняли издание снимков, которые в разное время были деланы с миниатюр этой рукописи, но оно почему-то приостановилось. Первыми его выпусками я воспользовался в своей монографии о русском лицевом апокалипсисе, напечатанной в 1884 г., и в приложенном к ней альбоме рисунков поместил несколько изображений из той рукописи.

Биржевая паника, о которой дано было нам знать в Лейпциге, напрасно нас взбаламутила. Мы меняли свои ассигнации на золото и во Франкфурте, и в Базеле, и в других городах Швейцарии только с громадным убытком, получая за рубль не больше полтины. Так перебивались мы день за день месяца полтора до тех пор, когда, наконец, я мог сноситься с Москвою, чтобы в надлежащем порядке время от времени пополнять так быстро оскудевающий при мне запас русских сторублевок.

В Швейцарии пережили мы и перечувствовали все грозные моменты франко-германской войны, начиная от взрыва Кельского моста и до рокового Седана. Что бы с нами было, думалось мне, если бы Луи-Наполеон поколотил немцев и с своими войсками

нахлынул бы на Германию? Ведь он непременно, по следам своего дяди, великого забияки, двинулся бы на Россию, взбудоражил бы австрийских славян против немцев, а поляков против нас. И запропастились бы мы где-нибудь в Альпийских горах без куска хлеба, перебиваясь кое-как вспомоществованием от заезжих соотечественников. Теперь вы поймете, как обрадовались мы, когда французский император был взят в плен и заключен в замке Wilhelmshöhe.

Еще так недавно, когда были в Касселе, мы любовались на этот загородный дворец, который высоко поднялся на одной из гор, замыкающих на далеком небосклоне широко раскинувшуюся равнину.

Впоследствии по одному случаю мне привелось в веселую минуту вспомнить об этой "Вильгельмовой Высоте" и позабавить себя. Во второй половине семидесятых годов мой добрый приятель, милый человек и прелюбопытный чудак, профессор Петербургского университета Орест Федорович Миллер, издал громадную книгу об Илье Муромце. Она представлена была в Академию наук на премию. Отзыв о ней поручили составить мне. В своем разборе, между прочим, я обратил внимание на слишком общий, пустопорожний принцип, который Миллер постоянно проводит в объяснении мифологических и баснословных сказаний. Везде он видит борьбу добра со злом, света с мраком, Ормузда с Ариманом и затем примирение этого дуализма в благополучном сочетании обеих противоположностей; в пример приводит греческую "Илиаду", финскую "Калевалу", у немцев Нибелунги, у нас былины о Добрыне Никитиче, об Илье Муромце. В своем разборе я заметил, что таким образом можно всякую войну в истории народов возвести в миф о борьбе двух противоположных начал, а про себя тогда же подумал, как бы складно и ладно можно было возвести в такой же миф франко-германскую войну. Ормузд - Вильгельм идет с светлого востока на темный запад, чтобы покорить Аримана - Наполеона, берет его в плен и в знак примирения сливается с ним воедино, - возводит его до своей "Вильгельмовой Высоты".

Однако я чересчур заговорился. Пора мне вернуться от милого Ореста Федоровича и от его воздушных замков в Базель. В нем пробыли мы дня три и поспешили в живописную глубь прекрасной

Швейцарии, чтобы в ее раздольях спрятаться подальше от треволнений, разгромов и бедствий опустошительной войны. Швейцария не богата памятниками старины и произведениями изящных искусств. Было слишком мало поживы для моих специальных работ. Оставалось пробавляться мелкими развлечениями заурядного туриста. От нечего делать я присматривался к нравам и обычаям обывателей в городах и местечках, входил в подробности их житья-бытья; за отсутствием монументальных зданий, которые я так любил изучать в Нюрнберге или во Флоренции, теперь я прилагал свой эстетический масштаб к изучению крестьянских хижин, этих деревянных домиков, известных под именем швейцарских chalets. Меня особенно интересовала их беспримерная удобность по отношению плана всей постройки к гористой местности и ко всевозможным удобствам домашнего и сельского хозяйства. Этим нераздельным согласованием, так сказать, приятного с полезным я объяснял себе художественный стиль швейцарской архитектуры. Разумеется, мы побывали и в Интерлакене, на этом всесветном гульбище, куда каждое лето отовсюду съезжаются богачи и высокопоставленные особы сорить деньгами, подышать живительною прохладой и любоваться на снежные вершины Юнгфрау; делали мы также и экскурсии к глетчерам и к водопадам, к Гиссбаху и к Штауб-баху, о котором я мечтал еще в Пензе, будучи гимназистом, когда читал "Письма русского путешественника". Замечу кстати, что в эту же поездку я в первый раз видел Рейнский водопад и сличал виденное с описанием Карамзина, которое, конечно, знал наизусть.

Говорят, что в злосчастные годы народных бедствий и гибельных переворотов мечтательные умы по врожденному инстинкту самосохранения вдаются в идиллическое настроение духа, чтобы хотя минутно забыться и уйти в светлый и безмятежный мир фантазий от горькой действительности. Когда в XIV столетии во Флоренции свирепствовала чума, небольшое общество молодых людей, три дамы и семеро кавалеров бежали из города и скрылись в уютной вилле, чтобы спастись от заразы и позабыться в самом веселом и беззаботном препровождении времени. Вы знаете из Боккаччиева "Декамерона", как они распевали любовные песенки, придумывали разные игры, танцевали и ежедневно забавляли себя затейливыми и

смехотворными рассказами. Так и я, пока разгоралась и бушевала франко-германская война, настроил свою идиллию под названием "Бурдорф", небольшой городок в Эмменской долине (Emmenthal), и эту корреспонденцию послал в "Русский Вестник", а в 1886 году перепечатал в "Моих Досугах".

Когда стали обнаруживаться результаты войны, мы направились к Женевскому озеру в Лозанну, а оттуда через Симплон в Италию. Но и там был свой переполюх, новая сумятица. Людовик Наполеон побежден и взят в плен; теперь некому охранять Пия IX и его священную курию французскими солдатами. Долой светскую власть папы! Виктор-Эммануил должен идти с войском на Рим, взять его с бою и сделать столицей объединенной Италии, а в противном случае свергнуть его с престола. Такова была программа митингов, которые собирались повсюду в городах и малых местечках, чтобы подвигнуть короля к немедленному действию и принятию решительных мер; один из них мы застали в Милане, устроенный в театре Радегонды городскими жителями среднего и высшего общества, другой - в Болонье, простонародный, в несколько тысяч человек, в публичном саду, а недели через две на площади св. Марка уже торжественно праздновали мы вместе с венецианцами победоносное вступление короля Италии в стены Вечного города.

Само собою разумеется, в такой коловратной суতোлке мне было не до того, чтобы усидчиво заниматься своим делом. Я невольно увлекся потоком событий, мчавшихся с невероятною быстротою перед нашими глазами, и стал мало-помалу втягиваться в современную политику. Внимательно прислушивался к толкам и спорам в кофейнях и в других публичных местах; гуляя по улицам, покупал у разносчиков летучие листы с карикатурами, иллюстрированные газеты с пасквилями и каламбурами в стихах и в прозе. От нечего делать я составлял из этого смехотворного материала корреспонденции для "Московских Ведомостей", а потом перепечатал их в "Моих Досугах" под заглавием: "Итальянские карикатуры во время франко-прусской войны".

Иногда нельзя обойтись без общих мест, хотя и знаешь, что они всем надоели. Говорят, например, что история человечества есть не что иное, как забавная трагикомедия громадных размеров. Нам

привелось быть зрителями одного крошечного из нее отрывочка, всего из двух явлений. Теперь, когда я вспоминаю с вами о великих переворотах в судьбах Германии, Франции и Италии, эти грозные и торжественные события сокращаются для меня в живописные группы мелких фигурок, игривых и затейливых, в тех потешных листах, по которым я составлял свои газетные корреспонденции, например: вот сидят за столом германский император Вильгельм и Бисмарк. Они обедают; оба, по филистерскому обычаю немцев, завесили себя салфетками, как завешивают за столом детей. На столе стоят два пирога, - на одном подписано: Лотарингия, на другом: Эльзас - и две бутылки с вином, одна с рейнвейном, другая с *Lacrimae Christi*; подписано: на первой Рейн, на второй - *Lacrimae Napoleone* (т.е. слезы Наполеона). Бисмарк налил в бокал рейнвейна Вильгельму. Вильгельм поднял свой бокал и собирается его выпить. У стола, отворотившись от пирующих, стоит французская императрица Евгения и вытирает полотенцем тарелку, между тем как горемычный Джиджи (т.е. Луиджи Наполеон), трактирный половой, с салфеткой на плече, преусердно откупоривает еще бутылку с ярлыком: Шампань. Около него на полу стоит целая корзина с пробками, которые он успел уже откупорить от бутылок других провинций Франции. Тут же всенижайше прислуживает мальчик, судя по орлиному носу - детище неумолимого откупорщика, который свою неблагодарную работу сопровождает горячими слезами.

Впрочем, я успел кое-чем дельным заняться и в эту злосчастную поездку. В Милане рассматривал древние лицевые рукописи Амброзианской библиотеки, латинские и греческие. В Парме нашел также много для себя интересного и полезного в тамошней городской библиотеке, и, между прочим, славянскую рукопись на пергаменте, XIV века, апокрифического содержания, нечто вроде Громовника, составил подробное ее описание и отправил в "Журнал министерства народного просвещения"; сверх того лично познакомился с самим библиотекарем Одориджи, которого до тех пор знал и уважал по составленному им превосходному описанию христианских древностей Брешианского музея, в котором он прежде занимал место директора. Из Болоньи мы съездили дня на три в Равенну. До тех пор я не был в ней ни разу. И с каким же восторгом посещал я мавзолей Теодорика Великого и его дворец,

превращенный в монастырь, усыпальницу Галлы Плацидии и эти бесподобные византийские церкви времен императора Юстиниана с драгоценными мозаиками!

В конце сентября мы воротились в Москву. Поездка эта для задуманных мною предприятий во всех отношениях была неудачна. Страсбургская рукопись сгорела; если что и видел хорошего, то просмотрел наскоро, мимоходом; в Париж не попал. А там мне необходимо было нужно войти в сношения с двумя археологами, которых издания по иконографии имели для меня авторитетное значение, именно с директором иезуитского коллегиума, монсеньёром Шарлем Кайэ, автором монографий по древнехристианскому и средневековому искусству, и с Полем Дюраном, знатоком византийской архитектуры и иконописи. Итак, надежды мои не оправдались. Ничего не успел я собрать для своих специальных работ и воротился домой с пустыми руками, по-прежнему в таком же шатком раздумье, что мне делать и на чем остановиться, с теми же неразгаданными стремлениями, по какому пути и к каким целям мне направить свои исследования по древнерусской иконографии и орнаментике. Покамест мне ничего больше не оставалось, как читать студентам историю народной и древнерусской литературы и усиленно догонять опережавшую меня науку, как об этом я уже говорил вам.

Не буду вспоминать о том, как тягостно и смутно жилось тогда в нашем отечестве, - все это так подробно излагалось в тогдашних газетах, что от себя прибавить ничего не имею. Буду говорить только о самом себе. Странное дело: от той поры, как воротились мы домой, целые четыре года совсем изгладились в моей памяти, - не то слились в одну точку, не то протянулись узенькой полоской серой бумаги, на которой не написано ни единого слова. От этого непробудного забытья я очнулся лишь по весне 1874 года, когда в мае месяце выехал вместе с женою из Петербурга за границу на целый год.

XXX

В октябре месяце мы были уже в Риме. Чтобы дать вам понятие о тогдашнем расположении моего духа, привожу следующее письмо

мое к милому Викторову от 29 октября*.

* Письмо это сообщил мне хранитель рукописей Московского Публичного музея Дмитрий Петрович Лебедев, который по смерти Викторова приобрел разные его бумаги, в числе их и несколько моих писем.

"По приезде сюда на другой же день получили мы ваше любезное письмо, дорогой Алексей Егорович, и только теперь, после двухнедельного пребывания здесь, успокоившись от массы впечатлений и усевшись на оседлом житье, собрался я с духом писать к вам.

Легко сказать! Я опять в Риме, через бесконечные 33 года, когда я, наконец, сделался тем, о чем я в молодости мечтал, гуляя по этим холмам, по этим узеньким улицам и широким, великолепным площадям с громадными фонтанами и бассейнами, сидючи на этом самом щебне вековых развалин Форума и Колизея, с Винкельманном и Тацитом или Горацием в руке, откуда я жаждал набраться сил и вдохновенья, чтобы со временем быть профессором и литератором. И вот я опять пришел в Рим; теми же молодыми мечтами пахнуло на меня с его красноречивых твердынь, и в ответ на них принес я зрелые результаты, деятельно прожив эти 33 года, для которых те мечты были вдохновением и руководящею нитью. Видите, что Рим мне не чужой город; это часть моей жизни, это та моя молодость, свежая и бодрая, когда запасался силами на всю жизнь.

Все это для меня стало воочию ясно только теперь, когда мы попали сюда. Рим меня не поразил новизною; я не прыгал с радости и не волновался, что, наконец, сбылись мои планы, что вот опять передо мною все то, что так глубоко вошло во все мое нравственное бытие. Напротив, точно будто мы воротились в Москву, или еще лучше, будто я очутился на своей родине, в Пензенской губернии, в городе Керенске. Потому что действительно Рим та же родина для моего нравственного существования, как Керенск - для физического.

Итак, приезд в Рим - это не путешествие, а возвращение в родные места, где каждая мелочь запечатлена воспоминаниями, где на самих камнях античной мостовой чувствуются следы тех животворных прогулок, которые вместе с лучшими радостями в жизни никогда не забываются.

И оказалось на поверку, как же славно знаю я Рим и до сих пор как хорошо его помню! Я узнавал местности и здания не только с лицевой стороны, но и с задней, так сказать - с изнанки. Идем по улице, вдали выступает здание, и по его характерным линиям я мгновенно догадываюсь, что по другую его сторону. Или едем по узенькой улице (я давно забыл ее название); издали вижу: она упирается в какую-то церковь, одну из сотен римских церквей; но положение этой церкви мгновенно рисует мне целую площадь, на которой она стоит и куда непременно приведет та узенькая улица, по которой мы едем.

Но чтобы так потряхнуть стариной, надобно было непременно водвориться в Риме на оседлое житье, по малой мере месяцев на шесть. Так мы и сделали, устроившись в меблированной квартире, в лучшей части города, между Monte Pincio, piazza di Spagna и piazza Barberini, на Via Sistina, т.е. на Сикстинской улице. Так как мы знаем все прелести Парижа, Версаля, Фонтенбло и других увеселительных знаменитостей, то вы можете поверить нам с женой, если Monte Pincio представляется нам лучшим во всем мире гуляньем. Это - гора, заросшая тенистыми аллеями из лавров, кипарисов, олеандров, с целыми полянами розанов, которые теперь во всем цвету, и с громадными кактусами, алоэ, юками, понтанусами и пальмами, которые высоко над лаврами и другими деревьями поднимают свои громадные листья и топорщат свои неуклюжие поросты. Пальмы и кактусы так велики, что достигают 2-го и 3-го этажа зданий и высоко тянутся над стенами. На эту гору (Monte Pincio) поднимаются с двух площадей, на которые выходят самые бойкие и самые великосветские улицы. Во-первых, с Piazza del Popolo откосными подъемами, зигзагом по склону горы, для экипажей. По сторонам подъемов - опять пальмы и кактусы с алоями и цветущие олеандры; уступы же подъемов, как стены террасы, выложены мрамором, с углублениями вроде гротов и с выступающими павильонами, которые таким образом громоздятся

один выше другого, увенчиваясь на горе красивым казино с кофейнею, около которой на огромном кругу ежедневно играет музыка. И все это: и спуски, и аллеи, и здания украшены мраморными рельефами, бюстами и статуями, которые живописно выступают светлыми пятнами на темной зелени южной растительности. Другой подъем на ту гору - только для пешеходов - с Piazza di Spagna, по колоссальной мраморной лестнице, расходящейся надвое широкими разводами, которые сходятся на площадке и опять расходятся и вновь на другой площадке сходятся. Все это вы лучше поймете, когда, Бог даст, воротившись в Москву, мы будем вам объяснять и показывать по гравюрам. Что касается до нас, то мы ходим на Monte Pincio (где обыкновенно гуляем), не поднимаясь наверх, потому что живем на самой этой горе и всего в пяти минутах ходьбы от гулянья.

Живя здесь по-московски, т.е. как обыватели, а не путешественники, мы не торопимся осмотреть все достопримечательности вдруг, а наслаждаемся Римом и его живописными окрестностями исподволь, гуляючи.

Если вам интересно знать, как мы попали сюда из Савойи, откуда я писал вам последнее письмо, то вот вам наш маршрут. Возьмите карту и читайте след.: Mont-Cenis (с громадным тоннелем), Турин (остановка 5 дней), Генуя (тоже пробыли 5 дней), берега Средиземного моря, Sestri Levante, на берегу моря (ночевали), Пиза (1 день), Флоренция (около месяца), Сиена (4 дня), Орвиэто (1 день) и наконец Рим. Столько в этом пути интересного, столько прекрасного и в природе и в искусстве, что пером не написать. Коль не на шутку собираетесь за границу, выезжайте-ка к нам на встречу: тогда увидите сами.

Берега Средиземного моря с горами, поднимающимися за облака, и с гранитными утесами, отвесно спускающимися в море, - вам напомнят наш Крым. Только прибавьте к этому дороги по головокружительным стремнинам, окаймленные кактусами и алоэ, да лимонные и апельсиновые сады. Генуя понравилась Людмиле больше Венеции, а Флоренция - еще более Генуи. Я во Флоренции уже четвертый раз; теперь она мне еще милее и дороже. Весь город - музей, и все это великолепие художественное не занесено извне, как в петербургском Эрмитаже или в парижском Лувре, а все оно

доморощенное. Все эти великие художники от XIV и до XVI вв. тут родились, тут жили и исподволь украшали свой родной город. Чтобы вполне понять историю искусства, чтобы насладиться изящным как необходимым, существенным элементом жизни, надобно пожить во Флоренции.

Из ученых во Флоренции я познакомился и сошелся только с профессором De Gubernatis, коротким знакомым Александра Николаевича Веселовского. Comparetti и других профессоров во Флоренции не было: все в разъезде на каникулы. Здесь же в Риме успел познакомиться только еще с одним знатоком Данта, с старым герцогом Сермонета, который известен и в Германии своими сочинениями о Данте. Это один из знаменитых патрициев римских княжеского рода Каэтани, к которому еще в XIII веке принадлежал папа Бонифаций VIII, помещенный Дантом в "Аду". Старинный palazzo герцога на площади Каэтани знают все извозчики в Риме.

Вам, может быть, приятно будет узнать, как приветствовала меня итальянская пресса. В ноябрьской книжке "Rivista Europea" найдете обо мне несколько симпатичных строк. Журнал этот выписывается в Московском университете.

Сверх того, счастливая неожиданность встретила меня в Риме. В молодости я учился и читал в Ватикане итальянские рукописи с одним тамошним библиотекарем, Francesco Masi. Я его давно уже потерял из виду и думал, что он давно умер. Представьте же мою радость: он не только жив, но и благоденствует, и много работает по литературе. В настоящее время его в Риме нет, но он скоро вернется. Все же я нашел его квартиру и видел его жену-старушку, которая, как услышала мое имя, тотчас вспомнила меня и разные подробности наших дружеских отношений с ее мужем. Тогда она была еще молоденькая женщина, а теперь у ее старшей дочери до 10 человек детей.

По этим образчикам можете судить, что мне в Риме живется как дома.

Пишите к нам чаще, адресуя по-прежнему *poste restante*" (до востребования (фр.)).

Охватившая меня в Риме живительная обстановка так удачно сложилась из целого ряда благоприятных случайностей, что, помимо моих мечтательных воспоминаний, воплотившихся теперь в действительность, мне посчастливилось сызнова переживать многое из тех двух лет моей ранней молодости, которые я провел в Италии.

Во-первых, мы с женою поселились на углу Сикстинской улицы и площадки *Caro-le-Case* в том самом доме, в котором жил в 1840 и 1841 годах мой хороший приятель, художник Иордан, изготовлявший тогда, как я уже вам говорил, свою знаменитую гравюру. Мы занимали в третьем этаже квартиру как раз над его тогдашней мастерской. Выходя от себя на улицу, я тотчас же шел мимо дома, в котором некогда жил при семействе графа Строганова, и очень часто останавливался, присматриваясь к балкончикам у окон верхнего этажа, чтобы угадать тот из них, на который я выходил из своей комнаты любоваться, как утреннее солнышко живописно озаряет купол Св. Петра.

Потом, по странному и вовсе не предвиденному столкновению одновременных обстоятельств, мне привелось в Риме и на этот раз давать уроки в фамилии графов Строгановых. Во время оно я учил здесь графа Григория Сергеевича, которому было тогда двенадцать лет. Теперь он жил опять в Риме с своей женою, будучи сорокапятилетним отцом взрослой дочери и сына Сережи, лет двенадцати. В своей семье мальчик слышал разговор только французский, потому по-русски говорил плохо, делал грубые ошибки в выборе слов, в склонениях и спряжениях и почти что не знал русской грамматики, которой его учил гувернер, полунемец. Сережа очень мне понравился. Он был умен, любознателен, энергичен и пылок характером, страстно любил Россию и все русское, хотя жил и вырастал при отце и матери в чужих краях и непременно стремился на родину. Мне его было так жалко, я его так полюбил и стал давать ему уроки русского языка по одному часу в неделю: больше не мог я урезать от моего драгоценного римского времени.

К Рождеству приехал в Рим на целые пять месяцев сам граф Сергей Григорьевич, а вслед за ним и два его сына - Павел Сергеевич с своею женой и Николай Сергеевич, уже вдовец. Когда в 1841 г. мы

жили на углу Грегорианской улицы и площади Сapo-le-Case, первому было шестнадцать лет, а второму всего три года; теперь оба они возмужали и постарели больше, чем на целую четверть столетия.

Граф Сергей Григорьевич остановился в гостинице на Испанской площади, близёхонько от нас. Раза два в неделю, после завтрака, он заезжал за мною, чтобы вместе посещать и осматривать, что его особенно интересовало, а по вечерам я часто бывал у него, и мы вдвоем беседовали о том, где были и что видели, а также и замыслили, куда еще следует нам направить свои расследования и наблюдения. Он брал меня с собою на публичные лекции в германском археологическом институте, в капитолийском и ватиканском музеях, даже на самой вершине крепости Святого Анила, в залах, расписанных учениками Рафаэля. В ватиканском Бельведере Гельбиг, секретарь германского археологического института, прочел нам лекцию об Аполлоне Бельведерском и, между прочим, сравнивал его по фотографии с той бронзовой статуэткой, которую, как вы уже знаете, граф приобрел от князя Юрия Алексеевича Долгорукова при моем деятельном участии. В древнехристианском отделении того же музея знаменитый итальянский археолог де-Росси показывал нам и подробно объяснял самые редкие и драгоценные по глубокой старине экземпляры крестов, потиров и другой церковной утвари первых веков христианства. Таким образом, обозревая римские примечательности под руководством графа Сергея Григорьевича и постоянно пользуясь его меткими указаниями, я вновь переживал свои молодые годы, когда в Неаполе под его наблюдением и по книгам, которые он давал мне, я изучал классические древности Бурбонского музея. И теперь, как тридцать три года назад, он часто бывал таким же моим учителем и наставником: так, например, в Кирхерианском музее иезуитского коллегиума он объяснял мне историческое значение и стиль бронзовых изделий Этрурии и своей восьмидесятилетней старости еще настолько был дальнозорок, что посвящал меня в мельчайшие подробности этрусских орнаментов. Но и я в своей специальности по византийско-русской иконографии уже настолько опередил своего учителя, как и меня в то время опережали во многом мои ученики, что мог иной раз сообщить графу кое-что новое и для него интересное. Так, например, в

крипте, или подземной церкви собора св. Климента, папы римского, где похоронен славянский первоучитель Кирилл, я объяснял графу очевидные следы византийского стиля в римских фресках XI столетия, изображающих житие Алексея Божьего человека и перенесение мощей св. Климента.

Впрочем, обо всем этом и о многом другом, что я в Риме видел и слышал и где бывал, говорить вам не буду, потому что ничего особенного, нового или занимательного не могу прибавить к тому, что подробно изложил я в своих газетных корреспонденциях, которые потом перепечатал в первой части "Моих Досугов", под заглавием "Римские письма 1874—1875 гг."

Прежде чем водвориться в Риме, я должен был непременно выполнить давно задуманный мною план - познакомиться и войти в сношения с теми двумя археологами, до которых в 1870 г. я не мог проникнуть в Париж, осажденный тогда германскими войсками. Зато теперь я был вполне вознагражден за тогдашнюю неудачу. Сначала я познакомился с Полем Дюраном. Скромнее его, благодуще, любезнее и угодливее я никого не знавал из иностранных ученых. Он сам привел меня к Шарлю Кайэ и откомендовал в самых лестных выражениях.

Монсеньёр Кайэ жил в иезуитском коллегиуме, по ту сторону Сены, за Пантеоном, и занимал в бельэтаже очень оригинальное помещение. Это была тогда громадная зала, как есть библиотечная. Ее разделяли на несколько комнат с переходами высокие шкафы с книгами; передняя комнатка назначалась для просителей и подчиненных, являвшихся к монсеньёру по делам службы; одна из задних была его спальнею, с кроватью и с дверью для прислуги; середину этого лабиринта занимал кабинет хозяина с рабочим его столом, у камина с широким жерлом, у которого он всегда сидел и время от времени в него поплевывал на кучу золы, которая заменяла ему песок в плевательнице. Тогда он насчитывал себе лет семьдесят, потому что в 1815 г. был он мальчиком лет десяти, когда со страхом и трепетом глядел на русских солдат, маршировавших по улицам Парижа под музыку с барабанным боем. Несмотря на преклонные лета, был он замечательно моложав: высок ростом и тонок, но не худощав; строен и гибок, быстр в движениях; держался прямо, будто испробовал на себе военную выправку. По

уставу своего ордена - обрит; седые густые волосы - гладко подстрижены; правильные черты лица украшались широким и высоким лбом, без единой морщинки, большими выразительными глазами и полными губами, по которым мелькает легкая улыбка, то добродушная, то насмешливая. Дома он всегда был одет в черном подряснике и подпоясан широким ремнем.

Общие обоим нам интересы по одной и той же специальности в изучении иконографии и церковных древностей очень скоро сблизили нас друг с другом, и я в течение целых двух месяцев каждую неделю раза по два приходил к нему, всегда после его раннего монастырского обеда, и беседовал с ним часов до трех. Он был очень сообщителен и любил поговорить; видя во мне внимательного и хорошо подготовленного слушателя, он охотно передавал мне свои разнообразные и обширные сведения, свои взгляды и замыслы по исследованиям средневековой старины. Все это было для меня ново и поучительно, но и я, с своей стороны, приносил ему пользу, дополняя и завершая его знания любопытными фактами из русской иконописи. Наши ученые беседы велись вот в каком порядке. Предварительно он приготавливал для меня несколько отдельных рисунков из своих монографий и подробно объяснял мне каждый из них, а на расставанье отдавал их мне в мою собственность, так что всякий раз я возвращался домой с порядочным запасом рисунков, от десяти до двадцати. Из них я составил потом для своей библиотеки целый альбом точных копий с редких произведений раннего средневекового искусства.

О Поле Дюране и моих сношениях с ним говорить вам не буду, потому что подробно рассказал я все это в своей корреспонденции, которую потом перепечатал в первой части "Моих Досугов", под заглавием: "Шартрский собор".

По осени 1875 г. мы с женой воротились в Москву. Я уже имел случай обстоятельно сообщить вам, что в эти последние годы, отказавшись от самостоятельных исследований по русской народности и по нашей старинной литературе, я сосредоточил свои силы на изучении миниатюр и орнаментов в наших рукописях. Единственным и ревностным пособником в этом деле был для меня мой милый Алексей Егорович Викторов. Никто лучше его не знал

наших рукописных и старопечатных сокровищ, рассеянных по всем концам России в публичных, монастырских, церковных, частных и во всяких других библиотеках. Для основательного и подробного изучения этого предмета он предпринимал несколько раз свои ученые объезды и на юг до Киева, Почаева, Острога, и на дальний север до Сийского монастыря, Архангельска и Соловков. Он был великий библиоман, и по тщательно собранным им сведениям, приведенным в систематический порядок в его записных книжках, он мог легко наводить справки для всякого желающего, где и что именно следует ему искать. Что же касается до печатных каталогов, рукописных и старопечатных коллекций, то он знал их как свои пять пальцев. Я постоянно обращался к нему за указаниями, и он всегда не только найдет, что мне нужно, но и выпишет для моего пользования ту рукопись в Московский Публичный и Румянцевский музей, в котором он заведовал рукописным отделением.

Так и теперь он выписал для меня из библиотеки Троицкой лавры рукописную псалтырь с воследованиями XV столетия. Эта единственная в своем роде рукопись, хотя и без миниатюр, отличается необычайным изяществом бесконечного числа орнаментов и разнообразием в почерках письма, которые иногда несколько раз меняются на одной и той же странице.

Свои исследования об этой рукописи я изготовлял не спеша, исподволь, одновременно с разными другими работами.

В 1877 г. известный ученый и архитектор Виолле-ле-Дюк, по заказу Виктора Ивановича Бутовского, директора Строгановской школы технического рисования, и на средства, ассигнованные русским правительством, издал сочинение под заглавием: "L'art russe, ses origines, ses elements constitutifs, son apogee, son., avenir" ("Русское искусство, его истоки, его апогей, его будущее" (фр.)), наделавшее в то время много шума и возбудившее противоречивые толки. Особенно оно понравилось нашим архитекторам, но некоторые из ученых специалистов смотрели на него другими глазами. Из них первый поднял свой голос граф Сергей Григорьевич Строганов в своей монографии с рисунками, под заглавием: "Русское искусство Виоллэ-ле-Дюка и архитектура в России от X по XVIII век, 1878 г.". Газетная критика, заступаясь за французского архитектора,

разнесла эту монографию напропалую, и тем язвительнее и бесцеремоннее, что граф не означил своего имени. Я не вытерпел и решился доканать Виолле-ле-Дюка, сколько хватит у меня знаний и сил, и составил объемистую рецензию, которую напечатал под заглавием: "Русское искусство в оценке французского ученого", в "Критическом Обозрении", издававшемся тогда профессорами Московского университета. Главное, на что я напирал, были наши рукописные орнаменты и византийско-русская иконопись, т.е. такие предметы, которые плохо знал Виолле-ле-Дюк. И меня не пощадила газетная критика, издевалась надо мною, топтала меня в грязь. Это очень забавляло меня: и теперь я разделял с графом ту же участь от газетных нападков и порицаний, как во время оно, когда в 1844 г. окатили меня бранью в "Библиотеке для Чтения" за мою книгу "О преподавании отечественного языка". Полемику, поднятую в газетах сочинением французского архитектора, Бутовский заключил целою книгою, изданною в 1879 г. под заглавием: "Русское искусство и мнение о нем Виолле-ле-Дюка, французского архитектора, и Ф.И. Буслаева, русского ученого археолога".

Пока в Москве шла ожесточенная война из-за русского национального искусства, в Петербурге князь Павел Петрович Вяземский и граф Сергей Дмитриевич Шереметев основали и устроили Общество любителей древней письменности.

Тогда же избрали и меня в почетные члены этого Общества. Викторов познакомил меня с князем Вяземским, и мы порешили, что я составлю для любителей древней письменности исследование об орнаментах и почерках упомянутой выше троицкой псалтыри XV века, которое будет издано от Общества со множеством снимков письма и орнаментов, воспроизведенных красками и золотом.

Кроме того, тогда же, по настоятельным увещаниям и советам Викторова, я обещал князю изготовить для Общества подробное описание принадлежащих мне двух лицевых Апокалипсисов XVI столетия, особенно замечательных по древнейшим редакциям рисунков и по изяществу их исполнения. Когда я принялся за эту работу, оказалось, что для ясности в определении особенностей раннего стиля мне надлежало касаться и редакций позднейших, к

которым относятся еще четыре других лицевых Апокалипсиса моей библиотеки. Викторов решил, что для полноты обзора мне необходимо иметь под руками великолепный, так называемый подносный экземпляр лицевого Апокалипсиса XVII века в библиотеке Московской Духовной академии в Троицкой лавре, и выписал его оттуда для меня. Затем понадобился мне Апокалипсис XVI столетия Соловецкого монастыря, перенесенный оттуда вместе с другими рукописями в библиотеку Казанской Духовной академии. Потом понадобилось и то, и другое, и третье. Викторов наводит справки в своих записных книжках и отовсюду выписывает для меня рукописи. Таким образом, накопилось к моим услугам до шестидесяти лицевых Апокалипсисов, и вместо описания только двух рукописей я предпринял многосложную работу обширных размеров.

По мере того, как я приводил в известность свои домашние, русские материалы, все живее чувствовал настоятельную потребность в их сравнительном изучении с источниками иноземными. Особенно необходимо было мне увидеть и изучить знаменитый лицевой Апокалипсис X столетия, находящийся в бамбергской библиотеке, не исследованный еще специалистами. Летом 1880 г. я отправился вместе с женою на четыре месяца за границу и недели три провел в Бамберге, просиживая ежедневно по пяти часов в тамошней библиотеке над знаменитою рукописью. Она превзошла мои ожидания. Хотя текст Апокалипсиса латинский, но миниатюры, великолепно исполненные, отличаются очевидными признаками той далекой старины, когда западная иконография пользовалась еще византийскими основами и принципами. Таким образом бамбергский Апокалипсис я положил краеугольным камнем в сооружении громадного исследования о редакциях апокалипсических изображений по русским рукописям от XVI столетия по XVIII-е. Кроме того, я работал у профессора Пипера в его древнехристианском музее при Берлинском университете, а также в публичных библиотеках, мюнхенской и венской. Две журнальные корреспонденции того времени из-за границы я перепечатал в первом томе "Моих Досугов", под заглавиями: "Бамберг" и "Регенсбург". Эту заграничную поездку я величаю про себя "апокалипсическою"...

Немедленно после 1 марта 1881 г. я покинул университет и вышел в отставку с двумя не вполне оконченными работами, предназначенными для Общества любителей древней письменности, с малою и большою. Первая, об орнаментах и письме Троицкой псалтыри XV века, была изготовлена в литографии Беггрова к декабрю 1881 г., и по приглашению князя Павла Петровича Вяземского и графа Сергея Дмитриевича Шереметева я должен был отправиться в Петербург, чтобы поднести экземпляр этого издания Государю императору*.

* См. в "Правительственном Вестнике", 15 декабря 1881 г., № 279, сообщение о заседании Общества любителей древней письменности, 10 декабря 1881 года.

Второй экземпляр только что отпечатанной моей монографии об орнаментах и почерках троицкой Псалтыри XV века я принес графу Сергию Григорьевичу Строганову.

В это двухнедельное пребывание мое в Петербурге, в конце 1881 г., я должен был по его желанию ежедневно обедать у него и всякий раз оставался потом часов до девяти вечера.

Это были прощальные дни нашего последнего на земле свидания. Он скончался в заутреню Светлого Христова Воскресения 1882 года, неожиданно и незаметно для домашних, один-одинёхонек в своем бесподобном кабинете, вам уже хорошо знакомом из моих воспоминаний. Бережно и чинно прилег он у своего рабочего стола и, скрестив руки на груди, заснул вечным сном безболезненно и мирно.

В 1884 г. Общество любителей древней письменности издало в свет на иждивение графа Сергея Дмитриевича Шереметева мое исследование "О русском лицевом Апокалипсисе" с альбомом рисунков. Этот многолетний труд посвятил я памяти графа Сергея Григорьевича с следующим объяснением, помещенным в предисловии:

"Посвящая это археологическое исследование незабвенной для

меня памяти графа Сергея Григорьевича Строганова, я желал выразить, сколько мог, благоговейную признательность за все, чем я обязан руководствованию и советам этого в высокой степени просвещенного государственного человека, не только в моей учебной, ученой и литературной деятельности, но и вообще в воспитании и образовании умственных и нравственных убеждений, а вместе с тем и любви к искусствам и археологии".

Этим я закончу и мои воспоминания...

Впервые опубликовано в "Вестнике Европы" за 1891 - 92 годы. Отдельным изданием: Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М.: Издание В.Г. Фон-Бооля, 1897.

Федор Иванович Буслаев (1818-1897) русский филолог, языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства, академик Петербургской Академии наук (1860).
